

ДРУЖБА НАРОДОВ



● *Шота Иаташвили*
Ален и Боб в Тбилиси
С грузинского. Перевод Александра Эбаноидзе

● *Андрей Волос*
Рассказы



● *Галина Климова*
Майка, Марфа и Жорж
Маленькая повесть о любви

● *Бахыт Кенжеев*
«Время было такое...»
Разговор ведёт Сергей Надеев

● *Последнее воскресенье августа*
*История одного события
на улицах литовского города*

12'2016

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzha/
LIVEJOURNAL: http://druzba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.10.2016.
Подписано в печать 27.11.2016.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 4364. Цена свободная.

Дружба народов 12'2016

Редакционная коллегия

Главный редактор Александр
ЭБАНОИДЗЕ

Лев
АННИНСКИЙ

Леонид
БАХНОВ

Ирина
ДОРОНИНА

Зам. главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Ответственный секретарь Сергей
НАДЕЕВ

Зам. главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Алла
ГЕРБЕР

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Александр
КЛЯЧИН

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Елена ЛАПШИНА. Вне места и времени. Стихи	3
Андрей ВОЛОС. Рассказы	6
Шота ИАТАШВИЛИ. Ален и Боб в Тбилиси. Стихотворение. С грузинского.	
Вступительное слово и перевод Александра Эбаноидзе	27
Ованес АЗНАУРЯН. Три церкви. Главы из романа	29
Колыбельная для Рахель. Три взгляда на новейшую литовскую поэзию.	
Донатас ПЯТРОШИЮС; Рамуне БРУНДЗАЙТЕ; Ильзе БУТКУТЕ. Стихи.	
Перевод и вступительное слово Елены Фельдман	94
Галина КЛИМОВА. Майка, Марфа, Жорж. Маленькая повесть о любви	99
Дарья ВЕРЯСОВА. Внутри, где музыка плыла. Стихи	118
Владимир ШПАКОВ. Два рассказа	120
Лауреаты открытого Чемпионата Балтии по русской поэзии—2016	
Дмитрий АРТИС; Ирина РЕМИЗОВА. Стихи	148
Улья НОВА. Сказка о слабости	152
Рахимжон РАХМАТ. Адашбой. Рассказ. С узбекского. Перевод Саодат Камиловой ...	160

Дружба на вырост

Нина ДАШЕВСКАЯ. Канатоходец. Рассказ	165
ПРОБА ПЕРА	
Нико ГЕЛОВАНИ. Два рассказа. С грузинского. Перевод Александра Эбаноидзе ..	176
Диана НЕМЫКИНА. Как Пушкин-лицеист с совенком подружился. Рассказ	179
Никита ЕГОРОВ. Рассказы	181

Первые стихи

Бахыт КЕНЖЕЕВ. «Время было такое...» Разговор ведет Сергей Надеев	186
---	-----

Нация и мир

Последнее воскресенье августа. История одного события, начавшегося в интернете и продолжившегося на улицах литовского города	192
--	-----

Публицистика

Владимир ЕРМАКОВ. Стремление впредь. Эссе о прогрессе	203
---	-----

Критика

Татьяна КОЛМОГорова. Выдох на усилиях. «Умр, или Новая книга обращений»;	
Санджар ЯНЫШЕВ. «Подбросьте мысль — продлите жизнь». Стихи	212

Библиокавказика

Ольга БАЛЛА. Вслушиваясь во время	219
---	-----

Книжный развал

Людмила ЛАВРОВА. На пограничье судеб и времён	239
Ольга ГЕРТМАН. Теперь навсегда	241
Елена МОВЧАН. «Эхо погасших дней»	244
Вадим МУРАТХАНОВ. Возвращение русского Киплинга	247

Культурная хроника

Юрий ПОДПОРЕНКО. Созвездие талантов из Апшерона	250
---	-----

Эхо

Сова прокричала. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	252
--	-----

Елена Лапина

Вне места и времени

* * *

Медведицей, утицей — всем, чем кажусь,
тебе я, царевич, ещё пригожусь.
На край и за край — за тобой по пятам
[куда ты подался? чего тебе там?
какой молодецкою блажью гоним?]
И я побежала за ним...
Остался на ветке в чащобе ночной
рукав лебединый да жемчуг речной.
Острадна крапива, горька лебеда —
по следу, по следу — а нету следа...
[Не имамый правды соделался пуст...]
И вся эта жизнь — как-сквозь-куст.
Чтоб хлеб с голодухи железный глотать,
и кровью давиться, и зубы глотать.
...Отнимешь глаза от земли, а над ней
и кроны редуют, и небо видней.
Ан вот он, родимый, лежит налегке
с калёной стрелой в заскоруждой руке,
на каждой глазнице — железный кружок:
Ну здравствуй, царевич, — заждался, дружок?
Прилягу и я отдохнуть под кустом,
тебя поцелую оржавленным ртом.

* * *

Перенимая птичью худобу
и сообразно возрасту повадку,
ходить бочком, очки носить на лбу,
беспечней относиться к беспорядку
(но памятки записывать в тетрадь),
при непогоде морщиться недужно.
Из тех вещей, что можно потерять,
мне ничего почти уже не нужно.
Вышёптывать стихи (куда ж их деть),
жить, никого собой не озаботив.
И будто бы в рассеяньи глядеть
на мальчика, сидящего напротив.

* * *

Мне говорили: «Всё без толку.
И то — какой с ребёнка спрос», —
когда заваливал на ёлку
крово-красный Дед Мороз.

Я упиралась со слезами,
пока, зловонием дыша,
тот шарил красными глазами
соседа «с пятой» — алкаша.

А взбудораженные предки
велят читать ему стишок.
...Я высоко на табуретке,
как будто пеночка на ветке.
А тот — берётся за мешок.

Я ничего не понимаю,
я свой подарок обнимаю
под сильный кашель горловой.
Оцепеневшею фигуркой
стою с пластмассовой Снегуркой,
и звон плывёт над головой.

* * *

Пробуя эхо, иди от всех,
стискивая виски...
Но одиночество — тяжкий грех
гордости и тоски.

И, до отцовских живи седин,
с этой смурной судьбой...
Но даже в смерти ты не один,
сыне, — Господь с тобой.

Обезображен, покрыт грехом,
гол с головы до пят.
Сыне — *лехаим!* — в саду глухом
ангелы шелестят.

Вот-вот по мытарствам поведут,
аки гордец и тать...
Но даже грешнику раз дадут
Господа повидать.

Всякой ли твари в аду гореть,
корчиться на крови...
Но стоит и выжить, и умереть
ради Его любви.

Что ворвалась бы, сбивая с ног,
превозмогая слух.
Но в этой жизни ты — одинок,
аки и слеп, и глух.

* * *

В той тишине, где яблони обветшали,
яблоко стукнет ржавый в траве ушат,
сумерки подошли в комариной шали,
листья шуршат...

Под одеялом то зазнобит, то жарко.
Склянкою ночь в проёме окна блестит.
Дождь шелестит, как лук шелушит кухарка,
дождь шелестит...

Дождь шелестит, и слыша его вполуха,
против течения в горнее уходя
и засыпая, сгорбишься, как старуха,
тая столпом соляным в глубине дождя.

* * *

Там на реке, плескаясь и хохоча,
шумной ватагою, — только один не в счёт.
Будто река другая с его плеча
жилкою голубой по руке течёт.

Если бы я не думала о таком —
тонком и нежном с шёлковым животом...
Мальчики пахнут потом и молоком,
а молоком и мёдом — уже потом.

Там по реке вдоль берега — рыбаки,
тянут песок и тину их невода.
А у него ключицы так глубоки,
если бы дождь — стояла бы в них вода.

Я бы купила серого соловья,
чтобы купать в ключице, да неспроста:
я бы хотела — этого — в сыновья,
чтобы глаза не застила красота.

* * *

Моей сестре Наташе Бондаренко (Мальковой)

И вроде бы лета короче, а зимы лютей,
и ночи бессонней, а сны наяву — беспробудней.
Уже фотографии стали дороже людей,
а воспоминания ближе сегодняшних будней.

И вещи уже тяготят, хоронясь по углам,
теснят в неуютные квартиры (тоска городская) —
желанные прежде — теперь превращаются в хлам.
Лишь те, что из детства, упорствуют, не отпуская.

И вот бы проснуться отсюда, и там — наяву —
себе постаревшей, как старому другу, доверя
и ключ от квартиры, в которой уже не живу,
и запахи комнат, и звук открываемой двери...

И чтобы все живы, и в воздухе пыльная взвесь,
воскресное утро, на кухне вещает столица.
И то, что даётся, и то, что кончается здесь,
вне места и времени длится,

и длится,

и длится...

Андрей Волос

Рассказы

Бабочка

Всё доведенное до совершенства полно своей собственной прелести.

Шервуд Андерсон. «Смерть в лесах»

Если я когда-нибудь допишу этот рассказ, он, конечно, будет вовсе не о бабочке. Сейчас мне трудно вообразить, во что в конце концов ему предстоит сложиться. Пока я просто ишу форму, в которую мог бы перелить свои смутные представления. Точнее даже — свои смутные представления непонятно о чем.

Наверняка кто-нибудь возмутится: «Как можно перелить во что-нибудь представления непонятно о чем — да вдобавок еще и смутные?»

На самом же деле очень хорошо, что они смутные: именно их начальная неясность вселяет некоторые надежды на успешность всего предприятия в целом. Потому что все, что в момент зарождения представляется отчетливым, как правило, обречено на неудачу.

Да, увы, именно так: если знаешь, что хочешь написать, можешь вовсе не браться за дело.

Работа ремесленника проще и понятней: ему следует всего лишь помнить об идеальном образце, на который должно походить будущее изделие. Строчит ли он пиджак, тачает сапог, кладет кирпичи — все делается заученным порядком, по известным лекалам, руководствуясь веками отработанными шаблонами. Стоит ему двинуться нехоженой дорогой (пусть даже бросив вызов традиции не сознательно, а просто, например, выпив лишку и в результате утратив способность отвечать незыблемости канона точностью своих движений), шов скривится, ботинок запросит каши, дом рухнет.

И, разумеется, он не может сделать что-нибудь из ничего. А если предложить ему это (вот именно, подобно Богу, сотворившему небо и землю из пустоты), бедняга только фыркнет и покрутит пальцем у виска, намекая на явное безумие заказчика, после чего вернется в наезженную колею, то есть хмуро потребует подходящего материала, уж не говоря о размерах и фасоне.

Шляпник, как никто знающий устройство головных уборов, раздраженно запротестует, если сообщить ему, что из старой шляпы можно извлечь что-нибудь, кроме пропотелой тесьмы, — и будет несказанно поражен, если увидит своими глазами, как некто во фраке, выхваченный из тьмы софитами, достает из нее ошеломленного ярким светом кролика.

Волос Андрей Германович — прозаик, лауреат Государственной премии Российской Федерации за роман «Хуррамабад». Последняя публикация в «Дружбе народов»: рассказы «Мираж», «Где тут место Богу», «Орден пламеносцев», «Число» (№1, 2013).

Однако вряд ли удастся растолковать потрясенному шляпнику, что несмотря на свое изумление он имеет дело с тем же ремеслом, пусть и другого толка. Вот если бы маэстро до последней секунды и сам не был уверен, какая именно вещь явится из его цилиндра — кролик, голубь, горящая свеча или букет, — лишь тогда про него можно было бы сказать, что он шагнул за пределы ремесленничества.

Придя к этой мысли, трудно остановиться. Что-то толкает двинуться дальше.

Знал ли Господь, приступая к акту творения, что итогом явится именно то, что получилось: земля и небо?

Разумеется, нам, не мыслящим своей жизни без неба и земли, следствие божественного усилия представляется единственно возможным, мы не способны представить себе иного. Но что если по сути это следствие случайно? — или, как минимум, случайность сыграла в нем важную роль? Разумеется, это была случайность такого рода, что заведомо обусловлена внутри себя и в отношении самой себя случайностью не является, — но обусловлена такими обстоятельствами, которые заранее не может предвидеть даже Бог?

Да, именно так. Трудно вообразить, будто Он, приступая к делу, имел, подобно портному или каменщику, твердый проект того, что предстоит сделать. То есть, вернее, сотворить.

Между этими понятиями огромная разница. «Делание» окажется неуспешным, если ему не предшествует осмысленный план. Что же касается «творения», оно не только не предполагает наличия плана, но, более того, принципиально не может им располагать, ибо как только возникает «план творения», само «творение» тут же превращается в «делание» — то есть вся затея снижается до ремесленного уровня ее понимания, каким обладает каменщик или портной.

* * *

Не помню, об этом ли размышлял я поздним вечером конца лета, когда бабочка — ночница-совка — залетела в проем раскрытой балконной двери.

В детстве я читал, что ночные бабочки, верша свои дальние рейсы, ориентируются на луну: придерживаются такого курса, чтобы ее диск или серп был виден под одним и тем же углом к направлению полета. Поскольку можно считать, что луна удалена в бесконечность, а также пренебрегая теми ничтожными погрешностями, что возникают благодаря ее не вполне постоянному характеру (ведь луна тоже не стоит на месте, она движется, пусть и не так порывисто, как бабочка), можно сказать, что этот прием позволяет мотылькам более или менее твердо держаться одной линии — по крайней мере, на протяжении той недолгой вечерней поры, когда они становятся на крыло.

Если это так и если моя полуночная гостья приняла свет настольной лампы, вовсе не удаленной в бесконечность, за сияние направляющего светила, ей, должно быть, показалось несколько странным, что нынче, пытаясь сохранить прежний курс, приходится так резко заруливать.

Сделав несколько заполошных виражей и бестолково пометавшись по комнате, она рывком достигла самого верха тюлевой занавески, приникла к ней, вцепившись невидимыми коготками, — и там замерла.

То есть физически она успокоилась, но вряд ли в настоящем ее положении ей стало спокойно — скорее всего, напротив, она чувствовала (если, конечно, это человеческое слово способно хоть сколько-нибудь верно отражать внутренний мир бабочек) знобкое состояние смятения, растерянности, потерянности в пространстве, отчаяния: какой уж тут покой, если выясняется, что, собравшись в путь, нельзя положиться даже на основные принципы навигации!..

Я стал вспоминать, оказывался ли я сам когда-нибудь в ситуациях, когда то, что еще совсем недавно представлялось надежным и верным, то, на что прежде ты мог безусловно положиться, неожиданно оборачивалось своей противоположностью.

Я сразу решил, что не стоит концентрироваться на событиях, которые связаны

с людьми, потому что, во-первых, вспоминать чужие предательства почти так же неприятно, как свои собственные, и, во-вторых, начиная доискиваться причин, непременно приходишь к выводу, что в случившемся ты виноват сам.

Что же касается предметов и явлений, не имеющих отношения к человеческой природе, то их оказалось множество. Я более или менее отчетливо воскресил в сознании два, а на остальные махнул рукой.

Первое из припомнившихся — это когда я, вселившись в гостиничный номер и приняв душ (душевой кабины там не было), стал выбираться из ванны. Тапочки оказались далековато от края, мне не хотелось ступать на пол и, решив все же достичь большим пальцем левой ноги одной из них, я оперся о поручень сбоку. Этот чертов поручень всем видом солидно заявлял о несомненной своей надежности: он был толстый, хромированный, стальной, тяжелый; он был присобачен к стене мощными винтами и явно способен выдержать куда большую нагрузку, чем я мог бы ему обеспечить своим весом.

Однако надежность оказалась дутой: стоило мне на него доверчиво налечь, как он резко сломился, оказавшись пустотелым, тонкостенным, просто, можно сказать, жестяным. А я спикировал за пределы ванны, успев за недолгое время своего полета в довольно кровавых деталях вообразить, чем он завершится, но каким-то чудом избежав серьезных травм.

Второе (по времени оно является первым) случилось, когда мне едва ли исполнилось семь и я еще даже не умел плавать. Был июль, отец взял меня с собой в поле. Утром все уходило в маршрут — считая отца, их было четверо, две маршрутные пары, — а я оставался в лагере с поварихой. Лагерем назывались три или четыре разнокалиберные палатки с одинаково задранными для продувки полами. На их растяжках вечно болтались сохшие после стирки трусы и майки (собственно, в тамошнем климате они высыхали минут за десять, а потом просто безжизненно пылились в знойном воздухе стеклянной жары). Ну и, разумеется, очаг, сооруженный из трех или четырех с толком подобранных, параллелограммовидных валунов. Возле очага стоял здоровущий зеленый чайник, а также несколько закопченных кастрюль. Доставивший нас кургузый грузовик ГАЗ-63, как только с него сгрузили экспедиционный скарб, убрался восвояси, и мы остались на берегу Зеравшана. Серо-желтая вода этой широкой, полноводной реки стремительно неслась куда-то, поблескивая на негаснувшем солнце золотыми крупницами слюды.

Наш берег был полог, с этой стороны бугристая степь только к самому горизонту оборачивалась корявыми, изъеденными эрозией холмами. Зато противоположный круто возносился от самого уреза течения. Разглядывать причудливое строение огромной горы можно было часами. Взгляд цеплялся за ее уступы, расщелины, скользил по серым языкам осыпей, снова карабкался вверх, достигал наконец вершины и, потоптавшись на ней, брал в сторону, чтобы повторить путешествие другим маршрутом. Наверное, вершина была еще более раскалена, чем все вокруг, — ведь она располагалась гораздо ближе к солнцу, но и все прочее выглядело бурым, выжженным, безжизненным. Только редкие метелки травы и таких же выгорелых кустов (отец говорил, что это арча) доказывали, что смотришь не на поверхность Марса.

Вода у того берега косматилась, белела, будто в приступе ярости, и снова и снова с ревом бросалась на выступы мешавших ей скал. Зеравшан был широк, и расстояние скрадывало хриплый рев, к нам долетал только ровный гул.

А с нашей стороны была заводь. Правда, это очень неточное слово для определения того, выражаясь языком фациального анализа, элемента ландшафта, что я имею в виду. «Заводь» тянет за собой привычный образ: недвижимое зеркало воды, ветви ивы, тихо клонящейся, чтобы взглянуть на свое отражение, и тишина, нарушаемая редким всплеском играющей рыбки.

Горные реки ведут себя иначе. Там, где они прогрызают скалы, им деваться некуда: сами прогрызли, сами потом и беснуются в неподатливом каменном ложе. А

где можно разлиться вширь, там они, до времени несколько умиротворившись, играют с песком и дрсвой: сегодня наташат сюда, соорудив косу или бар, завтра только что построенное смоят, а взамен возведут что-то похожее где-нибудь невдалеке.

Вот и здесь, у нашего берега, течение было спокойным. Вода намыла отмель, в результате и получилось то, что я назвал заводью. Думаю, именно на нее обратили внимание, когда присматривали место для лагеря: тут и воды для супа можно было зачерпнуть, не рискуя лишний раз жизнью, и окунуться по жаре. Песчаное дно опускалось постепенно, не страшно было зайти по крайней мере по пояс, почти не чувствуя течения и не опасаясь, что тебя заденет потоком: до него оставалось еще несколько метров, и уж там-то он во всю силу нес свое плотное тело — мощное, тугое, то тут, то там от натуги покрывающееся стеклистыми желваками и более всего похожее на безликую, напружиненную, сжавшуюся для удара плоть.

Исследовав дно, отец разрешил купаться дважды в день: сначала перед обедом, а потом ближе к вечеру, всякий раз под присмотром поварихи Веры Васильевны; а вот они вернутся из маршрута, и тогда всем вместе.

Однако со временем — может, мы уже неделю там торчали, не помню, — Вере Васильевне надоело за мной приглядывать, тем более что это занятие, в силу явной безопасности моих купаний, выглядело делом совершенно никчемным. И я стал пользоваться разрешением значительно чаще и шире, чем поначалу.

Короче говоря, я только и спасался от жары: ступал по песчаному уклону, пока не становилось по пояс, а потом плюхался животом в сторону берега и молотил руками, делая вид, что плыву.

И уже, наверное, без лишних слов всякому ясно, что река потаенно размывала прибрежную отмель, а я тем временем заходил все дальше и дальше.

* * *

Прошло несколько дней, прежде чем я снова обратил внимание на бабочку.

Как это часто бывает, я отвлекся от всего того, что так занимало меня перед ее появлением. Раздумья насчет разницы между «деланием» и «творением», неясные проблески смыслов, похожие на зарницы, что летними ночами озаряют непроглядный горизонт розово-фиолетовым сиянием — отчетливым, но столь кратким, что не успеваешь толком отделить свет от тьмы и различить границу между чернотой дальнего перелеска и густым сумраком затянутого облаками неба, — все это до поры до времени улеглось, отошло на второй план. Так стихает ливень: минуту назад еще настоятельно барабанил по листве, а теперь напоминает о себе только редкими каплями.

Я удивился, что она так и покоится там, где прервала свой полет. Я думал, она давно улетела; для этого, казалось мне, у нее были все возможности. Во всяком случае, раньше или позже я выключал лампу, погружая комнату если не во мрак, то как минимум в полутьму. Погода стояла теплая, балконная дверь не закрывалась. Короче говоря, ничто не мешало ей соблазниться если не луной, то хотя бы одним из дворовых фонарей и, для начала руководствуясь его светом, а потом, возможно, переключившись на лунное сияние, снова лечь на диктуемый инстинктом курс.

Однако тут же пришла и другая мысль: ну да, все так, луна висит, фонари горят, инстинкт мог бы снова позвать ее в дорогу, и балконная дверь на самом деле распахнута — но тюль! Тот самый тюль, на краю которого она пристроилась! — занавеска плотно закрывает проем, а потому мои соображения насчет того, что ночница могла бы, если хотела, свободно вылететь — просто лукавство.

Но еще через мгновение я снова переменял позицию: нет, я не виноват, что не подумал предоставить ей возможность отлета. Ведь она и не пыталась! Могла она хотя бы попытаться? Почему не попробовать? Ну, пометалась бы по комнате, снова и снова бесплодно тычась в занавеску. Даже если бы все ее усилия оказались напрасны, я в конце концов заметил бы ее отчаянные попытки и выпроводил летунью на улицу — а там уж сама, там уж как знает, я ей не сторож.

Но нет, она пальцем о палец не ударила, чтобы получить свободу. Она сидела на том же самом месте, куда плюхнулась с самого начала; вот и верно говорят, что под лежащий камень вода не течет.

Я придвинул стул, встал на него, протянул руку, уже представляя, как сейчас осторожно, но крепко возьму легкое тельце, скользкое от покрывающей его пылицы, как спущусь затем на пол, выйду на балкон и брошу ее в начавший сиреневеть сумеречный воздух. И она порхнет, взмоет, тут же провалится на полметра, снова поднимется, кренясь и беря в сторону, и окончательно пропадет в неверном свете вечера.

* * *

Я много читал в детстве — буквально глотал книжки одну за другой. Дома у нас была библиотека (по тем временам большая, а по нынешним — просто гигантская). Она занимала неказистый, но вместительный, в полстены, стеллаж из доски-сороковки. Школьной я тоже пользовался. По объему школьная отличалась в лучшую сторону, а по качеству — в худшую, там мало хорошего встречалось, вечно норовили подсунуть какую-нибудь чепуху вроде детства Буденного или что-нибудь в этом роде. Мне больше нравился «Капитан Фракасс». До сих пор мурашки по коже: скользнув мимо уже занесшего палицу палача, Чикита вонзает навагу в сердце Агостена. Ах, как меня волновало это слово — навага! (Кто-нибудь скажет, чего доброго, что навага — это нечто из ассортимента рыбных отделов, в то время как на самом деле навага — кинжал, которым так ловко владела Чикита; но разве этим любителям рыбной вони можно что-нибудь доказать?) Я вечно рыскал по окрестностям в поиске, что бы еще прочесть. Так или иначе, книг мне хватало. (Вообще-то даже ко времени моего детства их уже столько напечатали, что самому можно было вовсе не беспокоиться; однако эта мысль только сейчас пришла мне в голову.) Не знаю, сколько в общей сложности удалось осилить. Не думаю, что слишком много. Я всегда читал бессистемно и в основном для удовольствия. Книги — своенравные создания. Одни — таких не очень много — западают в память целиком, и даже годы спустя ты способен пересказать каждую более или менее связно. Другие оставляют по себе пару страниц, эпизод, иногда только фразу, а то и вовсе нечто такое, что не имеет отношения к содержанию — цвет корешка или чайное пятно на обложке. В любом случае то, что остается, обладает гипнотической силой: фраза или эпизод помнится так ярко, словно это было одно из главных переживаний твоей собственной жизни. В каком-то прочитанном мной романе герой (повествование ведется от имени юноши) рассказывает, как в каком-то прочитанном им романе ему попалось описание полутемной комнаты, освещенной светом лампы у изголовья кушетки. На кушетке лежит женщина в чем-то красном. Она тоже читает какой-то роман и курит. Время от времени, перелистнув страницу, она рассеянно тянется к пепельнице, чтобы стряхнуть пепел. А чуть позже, перелистнув следующую, берет со столика стакан, отпивает глоток вина и ставит обратно. Герой прочитанной мной книги уверял, что эта сценка из прочитанной им книги — комната, женщина в красном, книга, сигарета, вино — по сей день стоит у него перед глазами: сигарета неспешно дымится в пепельнице, шуршат страницы, вино багровеет в стакане. Я прочел его рассказ — и что же? — с тех пор перед моим собственным взором, стоит лишь подумать, появляется то же самое напоенное жизнью полотно. Доныне на нем дым струится с конца сигареты, едва слышно шелестит страница, донышко стакана с негромким стуком касается столешницы. И я не исключаю, что если кто-нибудь прочтет то, что теперь написано уже мной, он тоже подпадет под очарование этой картины, полной своей собственной прелести.

Так вот, кажется именно там, на Зеравшане, я читал одну из таких. В ней был эпизод, касавшийся каплей грязи: капли висели в воздухе вопреки закону тяготения, в соответствии с которым всякое тело, не имеющая опоры, должно упасть.

Но капли не падали, то есть вели себя непостижимо и противоестественно.

Тому, кто их видел, не удавалось более или менее достойным образом объяснить себе, почему они висят. Он смотрел на них в тупом изумлении — то есть совсем не в том веселом и радостном, с каким люди встречают появление кролика из шляпы иллюзиониста. В цирк приходят готовыми удивляться, заранее предполагая, что здесь будет происходить нечто необычное: люди пойдут по проволоке, женщина повиснет вниз головой, изо рта одного штукаря вырвутся клубы огня, из цилиндра другого выскочит кролик. Всегда можно отмахнуться: «Подумаешь, кролик из шляпы! Ничего особенного, ведь я в цирке».

Но тот, кто смотрел на эти необъяснимо парящие капли, был не в цирке.

Не помню точно, прочел я о них до или после того незначительного происшествия, когда могучий Зеравшан едва не слизнул меня своим драконьим языком. Может быть, я тогда был на середине романа: отложил на время, вылез из-под тента, где в жару валялся на пованивающей бараном кошме, и направился к реке.

Никто, к счастью, не видел, как все случилось, а сам я и не подумал рассказывать, не настолько уж я был глуп в свои семь лет. Да и о чем было толковать? Просто зыбкий песок ушел из-под цыпочек, вода властно шатнула меня к себе, по-хозяйски приобняла, словно уже имела дело с чем-то таким, что принадлежало ей законно и безвозвратно, и решительно потянула туда, где желвастый и тугой, как напряженная мышца, поток должен был лишить меня моих детских иллюзий.

Наверное, однако, мои прежние уловки насчет того, чтобы продемонстрировать заинтересованным лицам (самым заинтересованным из них, понятное дело, был отец), что я уже научился плавать (хитрость простая: руками молотить вроде бы по-настоящему, по-спортивно, но при этом ладонями поочередно жульнически отталкиваться от дна), все-таки не прошли даром. Ужас хлынул в меня от пальцев ног, только что бездумно упустивших опору; заполнил всего, до самой макушки, залил, чтобы сковать, окаменить, парализовать, словно тушканчика, принявшего в кровь порцию змеиного яда, — и все же сразу он со мной не справился: я бился, как мог, я пенил воду, я отчаянно сопротивлялся. И каким-то образом выплыл, хотя, как теперь понимаю, не должен был — слишком неравными были мои силы в сравнении с мощью Зеравшана.

Помню не то, как выползал на берег, а как меня потом долго рвало. Вера Васильевна, повторяю, ничего не заметила. Может быть, ей вообще было все равно, утонул я или нет. Приплетясь к очагу (о, какой это, оказывается, был очаг! какие палатки! какие трусы на растяжках! какая кошма под брезентовым тентом! как сладко пахла она чем-то живым! — все выглядело волшебным, драгоценным, родным, заново обретенным после неминуемой утраты), я кое-как пробормотал, что накопался вволю и теперь, пожалуй, еще немного почитаю.

* * *

Я стоял на стуле, протянув руку — но уже откуда-то зная, что стоит мне коснуться ее пальцами, как я почувствую вовсе не то, о чем только что думал: не скользкость пыльцы на готовых расправиться крыльях, не горячую пульсацию жизни, быющуюся и в самом малом, самом незначительном тельце, если оно еще готово к полету и порханию, — а только печальную, иссохлую легкость того, в чем жизни уже нет и не может быть.

Я стоял — и целое мгновение смотрел на нее с тем же чувством тупого удивления, с каким те видели застывшие в воздухе брызги грязи.

Ну да, со стороны им казалось, что эти капли просто висят в воздухе.

На самом деле это были не просто капли — это были предательские капли.

Тот, кто более или менее представлял себе, что происходит в округе, присмотревшись, понимал, похолодев, что они парят не просто так: они очерчивают форму человеческих ступней и лодыжек. Ступни грязь покрывала полностью, облепляя каждый палец и каждый ноготь на нем; лодыжки тоже были порядочно замараны, хоть

и не сплошь. Что касается голеней, то чем выше по ним, тем реже на них попадались брызги слякоти, однако даже десятка их вполне хватало, чтобы воображение посвященного наблюдателя мгновенно достроило недостающее и убедило его, что это именно они, голени.

(Может быть, на самом деле эта сцена в оригинале описана несколько иначе, и если я возьмусь перечесть, придется признать, что мои представления в чем-то неверны. Именно поэтому я не собираюсь этого делать: моя картина так выпукла, так хороша и убедительна, что было бы жаль ее испортить, неосторожно коснувшись истины.)

Короче говоря, уличная слякоть забрызгала босые голые ступни, выдав их обладателя преследователям.

Для того, кто не понимал, что слякоть просто пачкает кожу чьих-то прозрачных, как воздух, ног, все это оставалось совершенно непостижимо. А не понимал он по одной простой причине: ему и в голову не могло прийти, что по улицам Лондона разгуливает человек-невидимка.

Ведь вот что на самом деле важно. Чтобы разглядеть невидимое, совсем не обязательно сплошь марать его тем, что можно увидеть: достаточно лишь чуть забрызгать поверхность кажущейся несуществующей реальности, а воображение тут же достроит ее истинные контуры — и даже в больших подробностях, чем могла бы выявить самая надежная краска.

Но обычно мы не знаем, что рядом с нами ходит Невидимка, а потому не способны осознать истинный смысл того, что до поры до времени кажется невозможным.

— Что ты там делаешь? — спросила Ира.

Войдя в комнату, она удивленно остановилась: мне ведь не часто приходит мысль постоять на стуле у окна.

Я вздрогнул от неожиданности и выронил. А когда нашарил под стулом ее невесомое тельце, сказал, предъявляя и как будто в чем-то оправдываясь:

— Видишь? Просто бабочка.

Неудачная охота

1

— Вот и Гулино́р, — услышал Митька. — Приехали.

Что-то зашуршало, брякнуло — и стихло.

Он завожился, сел, ощупкой пробрался к заднему борту. Завалился животом, перелез и кое-как спрыгнул, почувствовав слабость в затекших ногах.

Его маленько пошатывало. Из-за машины доносились громкие голоса, небо было звездным, только по краям черное: то ли облака, то ли вершины гор.

— Я думал, вчера прикатите, — весело и громко звучал незнакомый голос. — А Мерген-то: нет, говорит, Володя, сегодня не жди, завтра будут... Ну, заходите, заходите!

Митька сделал два неуверенных шага и увидел чахлый свет, падавший из узкого окна. Ночь звенела вокруг, словно муха-цыцыга в спичечной коробке. Дверь кибитки раскрылась, бросив на землю желтый помаргивающий прямоугольник.

— Здрасьте, — машинально сказал он, переступая порог и озираясь.

Внутри пахло кожей, по углам громоздились ящики, дощатые щиты, спальные мешки в чехлах и — седла. На крючьях мотки веревок, брезентовых ремней. Посередке стол. Горели две керосиновые лампы — это их свет он видел снаружи.

Мызин черпнул из ведра и протянул кружку Клавдии Петровне. Она пила, запрокинув голову. По стенам и потолку кибитки гуляли крылатые тени.

Дверь то и дело хлопала. Вот вошел Коваль с двумя буханками хлеба, за ним

Мерген занес коробку с огурцами и помидорами. Заглянул Василийч, взял кастрюлю с водой. Мызин бросил ему, чтоб не больно размывался: есть пора. Василийч буркнул что-то, пропал, скоро вновь появился с пучком мытой зелени. Володя уже гремел мисками, раскладывая оглушительно пахнущую еду. Рыжий Василийчев пес по кличке Зарез тоже весело беспокоился и шмыгал то из кибитки, то обратно, пока ему не попало по заду хлопнувшей дверью.

Когда наконец расселись, Коваль, будто что-то вспомнив, вышел, а вернулся с двумя бутылками водки.

— Вот она, родимая, — сказал Василийч, следя за тем, как он водружает их на стол.

Коваль неуверенно взглянул на Мызина и сел на прежнее место, разминая ладони.

— Руки отмотал, — сказал он как бы между прочим. — Эх, жизнь!..

— Ну-ну, — сказал Мызин. — Прямо-таки отмотал. Тогда уж и стаканы давай, что ли.

Набив пузо макаронами с тушенкой, сытый, зачарованный порханием теней, Митька осоловело моргал, неотрывно следя за огнем, живущим в стекле лампы, и все, что случилось за день, скользило перед глазами чем-то вроде легкого сна или быстрой череды картин, слоящихся друг на друга.

Брякали ложки, булькала водка, гулкие голоса и смех долетали, казалось, откуда-то издалека.

Раскрасневшийся Коваль безостановочно нес какую-то чушь, адресованную Клавдии Петровне. Она то и дело ахала и говорила «Неужели?».

— А когда Пушкин шел по этой дороге назад... как это — откуда? Из Персии шел, откуда ж еще. И его, значит, схватили басмачи... Что? Почему это не было? Нет, басмачи всегда были. Поймали и говорят... Что на каком? На русском говорят, нашелся у них один... э, Клавдия Петровна, честное слово, какая вы все-таки недоверчивая. И, значит, говорят: выкуп гони. А он отвечает стихами...

Когда Митька третий раз ткнулся Мызину в плечо, тот сказал:

— Спишь? Иди-ка в машину. Пойдем, посвечу. Они тут долго еще литературоведением заниматься будут.

Под его присмотром Митька забрался в кузов, разложил спальник и кое-как в него засунулся. Кажется, еще пытался понять, попал во вкладыш или нет.

Но не успел.

* * *

Солнце еще гуляло где-то за хребтом, с неба струился серый и чуть розовый утренний свет. Дорога кончалась там, где стояла машина, а дальше было просто вытоптанное овцами пыльное поле, переходившее в каменистый желтый склон. Чуть поодаль и выше зеленел, лепясь по склону этажеркой глиняных крыш, кишлак. Тут и там поднимались утренние дымки. Заорал осел; откуда-то с другого конца деревни долетел певучий женский голос — кого-то отчитывал или на чем-то настаивал; в ближнем дворе, как заведенный, хрипло мекал баран.

Склон рос выше и выше, становился кручей, становился скалой, — вздымались горы, как ряд застывших в порядке старшинства негладких волн. Испещренные крапинами, чертами и штриховкой зелени, мелких ущельиц, глыб и камней, они, казалось, смотрят и все не могут разглядеть — это что же там такое копошится?..

Но вдруг на самой вершине самой высокой горы что-то вспыхнуло — словно там в один миг расплавился камень, а в следующее мгновение солнечная граница побежала ниже и ниже, оттеняя темный борт, — неудержимо потекла, и сразу стало теплее.

— Проснулся? — сказал Мызин. — Сбегай-ка за водой. По тропе вниз — там увидишь.

Подхватив ведро, Митька пошел, куда сказали, и вдруг увидел лошадей. Они

стояли, совсем настоящие, в квадратном загоне. Их было пять — две серые, две темно-коричневые, и одна — желтая.

Он подошел к ограде и встал, держась за проволоку. Лошади качали хвостами. Вот у желтой задергалась короткая шерсть на ляжке. Один из чалых потянулся к его ладони и разочарованно фыркнул, когда Митька, испугавшись, отдернул руку.

Вилась зыбкими столбиками мелкая мошкара. Лошади моргали. Чалый снова посмотрел — большим серым глазом с тонкой сетью розовых прожилок. Митька не знал, что делать. Он выпустил из рук ведро и бросился назад.

И наткнулся на мирно бредущего куда-то Ковалья.

— Лошади! — завопил Митька. — Там! Лошади! Лошади!

Он схватил Ковалья за карман штанов и потащил к загону.

— Ты чего? — удивился было Коваль. — Не волки же!

— Да вот же, вот! — крикнул Митька. — Вот они!

Коваль подошел к плетню и оперся. Потом отстранился, нашаривая папиросы.

— Да, — протянул он. — Ну, точно, лошади. Мерины. Ах, подлец, где ж ты хвост потерял? Глазищи-то, а!.. И ведь ездют на них, ну что ты скажешь. Тоже вот — техника...

— Настоящие!

— Ты лошадей, что ли, не видел? — спросил Коваль, посмотрев на Митьку. — Лошади, да. Это тебе не бараны... Копыта-то, а! Как даст по башке — и п-п-п... — он с усилием остановился, не договорив. Неудовлетворенно помолчав, вздохнул: — Вот уж не знаю, как их татары хавают. Одно слово — махан.

* * *

Коваль напился на дорожку чаю. Володя налил ему с собой большую банку ледяной воды, бухнул кружку крепкой заварки — вода вспенилась, чаинки закружили в ней, опускаясь на дно.

Коваль одобрительно кивал. Потом пожал всем руки. Митьку потрепал по плечу.

— Значит, — говорил Мызин, — через три недели ждем с продуктами. Деньги у Расула получишь. Понял? Не перепутай, двадцать третьего. Список-то не потерял еще? А то мы по твоей милости с голоду подохнем.

— Не подохнете, — отвечал Коваль. — Вы сейчас медведя завалите, пару кабанчиков, у-у-у-у, житуха!.. Ну все, ну все, — он поднял руки жестом сдающегося в плен. — Лады, лады... Двадцать третьего, Геннадий Николаевич, как в аптеке. Клавдия Петровна, Дангару буду проезжать, вам сухого коньяку купить? Ну какой-какой, обыкновенный сухой коньяк, заливаешь водой горсть, через неделю бочка... ну все, ну все.

Помахал из кабины рукой. Завелся мотор, пофырчал; после яростной перегазовки машина тронулась и покатила вниз по дороге, подпрыгивая на выпирающих камнях и перекашиваясь кузовом то вправо, то влево.

Они сводили лошадей на водопой (у Митьки тоже получилось, зря он боялся), а когда поднялись, Мызин увещевал Клавдию Петровну.

— Нет, поедете на самом смирном, да еще и в поводу, — говорил он, то и дело тыча пальцем в переносицу, чтобы поправить очки. — То есть ваш повод привяжем к седлу кому-нибудь... Мергену или Володе, — и поедете. Что? Можно и к моему, пожалуйста... Клавдия Петровна, вы когда еще знали, что придется ехать верхом... Нет, машина туда не идет. Машина по горам не ходит. Это ведь не козел. Машина уехала, вы сами видите... Что значит — почему? Не знаю, почему. Нет дороги, только тропа. Не сделали дорогу... Что значит — когда? Клавдия Петровна, мы этой дороги ждать не будем... Ну куда же он вас увезет, если его повод держит?.. Нет, не сбесится. Лошади от жары не бесятся... Что за случайность? Не бывает таких случайностей... Нет, и в пропасть не кинется. Зачем ей в пропасть?.. Что значит — кто ее знает? Ну, вы по себе посудите — вы станете ни с того ни с того в пропасть кидаться?.. Да, я понимаю, что вы не лошадь... Ну что вы, что вы! Бросьте, бросьте... Ни в коем случае. Клавдия

Петровна, пешком вы не дойдете, нет... Клавдия Петровна, господь с вами, ну на какой же старости лет! Вам больше сорока не дашь.

Клавдия Петровна с ужасом смотрела, как Володя выносит из кибитки потники и седла. Мерген выволок охапку каких-то ремней с железками, стал разбирать и вешать на изгородь.

— Кого под выюки-то ставить? — почему-то недовольно спросил он.

— Своего ставь, — сказал Мызин. — Володино ставь. И Орлика. На нем Митька поедет. Поедешь на Орлике?

— А это кто? — оторопело спросил Митька.

— Какая тебе разница, — сказал Мызин. — Вот Орлик. Которого ты поить водил. Митька заволновался. Его лошадь!..

Мерген взвалил Орлику на спину выючное седло. Орлик вздохнул и опустил голову. Как ни крути, думал Митька, присматриваясь к нему, а все же он самый красивый. Одно имя чего стоит — Орлик! Правда, чуть недостает хвоста — то ли выдрали, то ли сам вылез; во всяком случае, вместо тех роскошных, посвистывающих на лету хвостов, что были у других лошадей, сзади висела жидкая и короткая прядь. Ну да ведь дело не в хвосте!.. Митька ревниво обошел кругом, следя, как Мерген затягивает подпруги: затянул одну, ткнул Орлика кулаком в брюхо, затянул вторую, еще раз ткнул и дотянул обе. Ему стало неприятно, что его лошадь тычут кулаками. Он встал у Мергена за спиной.

— А вот ты не ходи сзади, — сказал Мерген и опять ткнул Орлика в пузо. — Как даст копытом, понял, башку снесет, и не живой будешь, а мертвый.

— Не даст, — хмуро сказал Митька. — Что вы его все тычете? Если вас так тыкать, вы тоже лягаться начнете.

— Ух ты! — сказал Мерген, поворачиваясь. — Умный какой. А мозги не жмут? А выюк сползет, кто переседывать будет? Ты, что ли, будешь переседывать?

На Митькино счастье, вышел из кибитки Мызин. Мерген отвернулся, принялся что-то поправлять в ремнях.

— Митя, — позвал Мызин. — Слышишь? Возьми кусок лепешки, дай ему, чтобы он тебя знал. Сейчас дай, пока не взнуздали.

Митька метнулся в кибитку, вернулся с хлебом. Протянул Орлику.

Орлик повел головой, помаргивая, потянулся к хлебу, а потом так ощерился и показал такие зубы, что Митька сробел и отдернул руку.

— На ладони давай, — сказал Володя. — С ладони он губами возьмет.

Митька растопырил ладонь, выгнув изо всех сил. Орлик моргнул, двинул ноздрями на запах и вдруг, обдав кожу теплым влажным дыханием, взял хлеб.

Митька еще стоял с ладонью дощечкой, но тут сердитый Мерген взял уздечку и начал залаживать удила, тыча железякой Орлику прямо в рот. Орлик щерился и крепко стискивал зубы. В конце концов поддался — и долго после этого огорченно жевал, лязгая зубами по железу. Мерген бросил повод Митьке и принялся за другую лошадь.

Подошел Сафед. Он должен был сторожить кибитку-склад, пока их не будет. Все по очереди пожали ему руки. Сафед улыбался и цокал языком. Тюбетейка криво сидела на лысой голове. Василийч мигом увлек его в быстролетный разговор. «Чучка много этот год, — кивал Сафед. — Все порыл, такой свинья!» Митька наострил уши. Чучка — это он знал, так, по-узбекски, таджики называли кабана. Василийч об охоте с Сафедом толкует. Много ли, дескать, в этом году кабана. Василийч — охотник заядлый и удачливый. Отец не раз говорил. Даже вроде как с завистью. Мол, мимо Василияча ни птица не пролетит, ни зверь не прошмыгнет. Трах! — и готово.

— Ну вот, — сказал Мызин. — Давайте, Клавдия Петровна, грузитесь.

Клавдия Петровна заохала. На седло ей приспособили подушечку. Сумку с торчащим из нее горлышком бутылки Володя привязал сбоку.

— Боже мой, — сказала Клавдия Петровна, задирая ногу. — Держите же его, Володя, держите!..

Она припрыгнула, встала в стремени и замерла, повиснув на седле животом.

— Тц, тц, тц! — сказал Сафед, горестно качая головой. — Бедный женщин!

— Вот так, — говорил Мызин, помогая ей усесться. — Вот сюда... Поедем шагом, так что учиться вам ничему не надо, но все равно упирайтесь в стремя — будет легче.

Мерген неожиданно залился смехом. Мызин цыкнул на него и повернулся к Митьке.

— Давай!

У Митькиного седла стремян не было вовсе. Да и седлом-то, как с огорчением понял он сейчас, назвать его можно было только с большой натяжкой: Володя бросил поверх яхтанов сложенный вдвое спальный мешок и перехватил веревкой, завязав узел у Орлика на брюхе, — вот тебе и все седло.

Митька занервничал, подпрыгнул было — и сполз.

На него смотрел и Володя, державший Орлика под уздцы, и Васильич, и Мерген, который, похоже, снова был готов засмеяться. Даже Клавдия Петровна, кое-как усевшись, на некоторое время перестала охать и взирала на его потуги с молчаливым ожиданием во взгляде.

Заспешив, Митька снова прыгнул. То же самое. Еще и рубашка задралась.

— Тц, тц, тц! — засмеялся Сафед. — Смело, кавалырист!

И махнул рукой так, словно Митька должен был тут же вознестись на небо.

Злясь, Митька выхватил у Володи повод и потянул Орлика к валявшемуся в трех шагах деревянному ящику. Ящик оказался калечным — стоило ступить, как он захрустел под ногой, доламываясь, но Митька уж оттолкнулся — и сам не понял, как оказался наверху. Распрямляясь, отпустил гриву и победно оглянулся.

Вдруг все кругом ужасно зашаталось, он снова вцепился, — а это просто Орлик шагнул, наклоняя голову к какой-то былке.

— Ну что, буденовцы, — сказал Мызин. — По коням!

Лошади неторопливо ступали друг за другом, а тропа заметно забирала вверх — туда, где лежали вдали альпийские луга.

2

Не могу точно сказать, сколько раз я принимался дописывать эту историю. Я брался за нее и очень давно, и просто давно, и сравнительно недавно (сравнительно с длительностью жизни), и полгода назад, и вот сейчас, в настоящий момент. В общем, что касается количества подходов, их было множество. В конце концов все они слились в нечто стремительное, длинное и размытое, какой при достаточной выдержке затвора получается фотография летящей птицы. В моем случае нужно добавить, что птица летела издали и за время полета вусмерть умоталась.

И все это время я был уверен, что самое главное здесь — это как можно более точно показать вещные составляющие мира, предъявить его материальную подоплеку — ведь именно она до поры до времени кажется сущностью. Требовалось найти такие слова, что смогли бы передать самую плоть, самую физику того, на что когда-то упал мой взгляд. Им надлежало как можно более зримо описывать предметы, передавая не только их вид, но и вес, объем, текстуру, запах и прочие атрибуты вещественности. По моему замыслу, предметы должны были выглядеть столь достоверно, будто их лишь мгновение назад вырвали из пространства жизни, и оно, пространство, еще не успело толком затянуться.

Короче говоря, я хотел с помощью слов заставить другого пережить то, что когда-то испытал сам: чтобы на сетчатке его глаз, на кончиках пальцев и на вкусовых пупырышках языка благодаря моим словам возникли такие ощущения, будто он и в самом деле на что-то смотрел, что-то осязал, что-то облизывал. И чтобы эти ощущения, в свою очередь, порождали в недрах его сознания образы — именно такие, что когда-то являлись мне самому. Только в моем случае это происходило при соприкосновении с реальностью, а в его должно было явиться результатом воздействия букв. И чтобы в итоге его уверенность в том, что все им прочитанное случилось с ним

на самом деле, оказалась бы настолько безоговорочна и тверда, что он, ничуть в себе не усомнившись, был готов засвидетельствовать истинность своего опыта хотя бы даже и на Страшном суде.

Что это в принципе возможно, я знал по себе: не раз и не два я, читая чужие слова, оказывался в причудливых измерениях неведомого прежде существования.

* * *

Поэтому я подробно и тщательно писал обо всем подряд. Например, про то, как ранним утром начала июня во дворе геологического Управления они грузили машину: закидывали в кузов выючные ящики, ворочали там, расставляя, поверх укладывали спальные мешки, палатки, неопределимые тюки и свертки — все тертое, засаленное; все приходилось по десять раз перекладывать, чтобы утыркалось.

В одиннадцатом часу переехали к базару.

Грузовик встал в пахучем тенечке, образуемом двумя старыми чинарами и сладостным чадом местных обжорок. Сначала двинулись в магазины, чтобы заполнить полотняные мешки крупой, макаронами, рисом, потом по рядам: валили в картонные коробки огурцы, помидоры, перец и баклажаны. Митька вступил в честную схватку с кулем лука, но победить не успел — указав на малолетство, Володя сам взял его на плечо.

Ближе к полудню, выехав наконец из города и с ветерком проскочив километров двадцать до развилки, двинулись на перевал.

Мотор надрывно выл, белое солнце томило асфальт до нефтяной испарины.

Митька устал таращиться по сторонам (ведь кругом все одно и то же — дорога, выгоревшая трава на обочине, пыль; справа — марево за кромкой обрыва, в котором дальние склоны теряют свои природные цвета и кажутся одинаково бурыми, слева — отвесная каменная стена, вся в желваках, заусенцах, в следах экскаваторных ковшей; вот серпантин завершил петлю и тут же — раз! — стороны поменялись местами; а впереди все та же масляная, неумолчно брнчающая цепью задница какого-то бензовоза) и смотрел на блестящую лысину шофера Ковалья, высунувшегося из кабины с безразличным видом человека, не имеющего к машине никакого отношения. Когда двигатель, не выдерживая натуги, почти глох, слышался скрежет неохотно переключающейся на низшую передачи, машина дергалась, и тогда Коваль снова свешивал локоть в проем окна.

* * *

В конце концов я пришел к выводу, что подробность изображения и достоверность деталей — это всего лишь что-то вроде прутьев клетки. Если бы я был птицеловом, тогда, конечно, мне пришлось бы позаботиться, чтобы они располагались близко друг к другу и были достаточно крепкими. Однако моя добыча — не журавль, не синица, а всего лишь давнее переживание. А переживание тем и отличается от синицы и журавля, что какие петли достоверности на него ни накидывай, сколь ни тесни прутья узилища, все равно: подобно тому, как струится туман между стеблями рогоза, эфемерность прошлого просочится сквозь любую решетку.

Поэтому хватит мелочей, пора обратиться к сути.

Суть же состояла в том, что время летело быстро и близился день, когда в кишлак Гулиногор снова должен был прибыть Коваль. Кому-то предстояло выдвинуться ему навстречу, чтобы забрать доставленные продукты. С другой стороны, Мызину нужно было как начальнику партии оказаться в Управлении на квартальном отчете, а Мерген третий день мучился зубной болью.

* * *

Трапезы проходили на древнегреческий манер — вкушали полулежа на большом брезенте вокруг стоящих в центре пачки соли и мешка с сахаром. Что же касается «большой» палатки (она и была большой, армейской), где стоял складной алюминиевый стол, какие в столовых, и несколько складных же брезентовых стульев, то там есть

никто и не пытался: там Мызин с Васильичем занимались камеральными работами, то есть раскладывали на столе карты и, тыча в них тупыми концами карандашей, кричали друг на друга то по очереди, а то и хором.

Пока, правда, выдался только один настоящий камеральный день, когда они занимались этим с самого утра и до вечера. А так заседали по вечерам, пару раз в неделю, после маршрута и ужина, когда невыносимо слипаются глаза и хочется только повалиться и уснуть. Но они ничего, не засыпали: у них горели две керосиновые лампы, на которые летели все новые мотыльки, шуршала бумага, голоса то вовсе смолкали, то повышались, и несло табачищем.

Насколько Митька мог понять из их перепалок, работы было много. На взгляд Мызина, чтобы успеть до конца сезона, следовало выкладываться по полной. Адресуясь к Васильичу, он всегда говорил в тоне неопределенного упрека. А Васильич бубнил ответно в тоне справедливого негодования. Однако мало-помалу он утишался и, часто пожимая плечами, повторял что-нибудь вроде «Да я разве спорю!» и «Ну конечно, сделаем».

Но бывало и так, что Васильич успешно отражал укоры. Тогда Мызин начинал говорить ровно и даже подчас с таким выражением, будто и сам понимает, что требует от себя и других слишком многого, в то время как имеет дело не с какими-нибудь там механизмами, а с живыми людьми, которым нужен отдых и удовлетворение кое-каких иных, кроме интереса к работе, потребностей. Уловив перемену, Васильич тут же сворачивал на то, что, во-первых, пора устроить полноценный выходной с горячей помывкой и, во-вторых, отпустить его за свиньей, чтобы обеспечить персоналу полноценное питание, а то макароны уже застревают в глотке. На эти заявления Мызин реагировал двояко: мог повздыхать насчет того, что хорошо бы в рай, да грехи не пускают, но чаще высказывался в том духе, что они сюда вообще-то не жрать приехали.

Вот именно когда Васильич начинал толковать о свинье, с Митьки моментально слетал сон. Его совершенно не тревожило, полноценное ли тут у них питание, но сам разговор его несказанно волновал.

Прежде этого ему никак не удавалось попасть на настоящую охоту. В прошлый сезон отец на пару с Мишей Корниловым ходил на кабана. Митька как ни просился, его не взяли, отец еще и прикрикнул, что, если будет ныть, отправит домой. Митька решил не спать до их возвращения и в самом деле долго разглядывал звезды, чудесно мерцающие в вышине, а потом под отцом закричала соседняя раскладушка. «Поймали свинью?» — спросонья ватно выговорил Митька. «Не поймали, — ответил отец. Он при этом усмехнулся, но все же голос прозвучал разочарованно — кому приятно признаваться, что поединок со свиньей окончился поражением. Стащил второй сапог и добавил хмуро: — Спи».

Если разбираться, вся Митькина охота сводилась пока к одному единственному случаю — и тот следовало бы называть не охотой, а тупым и бессмысленным убийством. Год назад ехали куда-то под вечер на грузовике. Отец сидел в кабине с шофером, Митька в кузове — с ружьем, двустволкой шестнадцатого калибра. Машина с натугой вобралась на взгорок и остановилась на самом вершине. «Митя! — позвал отец. — Видишь?» И показал, высунув руку, вправо, где на голой ветке сидела большая сизоворонка. На фоне слоившихся в ущелье сумерек она выглядела ярким пятном. Отсюда было не разглядеть, но он знал: грудка зелено-голубая, переливчатая, лазоревая; спинка ржаво-коричневая, а хвост — голубо-синего пера, и каждое с белым, будто мукой присыпанным кончиком.

Митька положил ружье на борт, взвел курки, прицелился...

Он думал, после выстрела она рванется, порхнет, взлетит напоследок. Но птица просто упала вниз, как падают неживые предметы.

Он слез, пошел к дереву, взял теплое тельце. «Добыл?» — спросил отец. Как будто сам не видел. «Добыл», — ответил Митька. Разве красивых перьев надергать? Он расправил оперение на груди — и тут же увидел клеща, надувшегося в размер белесой

ягоды. Вот еще один... еще. Размахнулся и бросил сизоворонку в кусты, мимо которых ехали.

Вот и поохотился... глупость какая-то.

С другой стороны, у него уже было — ну или почти было — собственное ружье: ИЖ-56-3 «Белка», двустволка бокфлинт, нижний двадцать восьмого, верхний нарезной калибра 5,6 миллиметров под патроны с капсюлем кольцевого воспламенения. Почти — потому что отец обещал отдать ее Митьке к четырнадцатилетию. А день рождения, как назло, был в самом конце лета, и потому здесь, в партии у Мызина, Митька оказался без ружья. Впрочем, отец говорил, чтобы он по этому поводу не больно расстраивался: дескать, четырнадцать ему или не четырнадцать, а все равно бы Мызин, какой друг ни будь, не согласился бы взять его сына в мирную геологическую партию, окажись тот не по годам вооруженным.

А какое это было ружьишко! (Митька именно так про себя говорил, поохотнички: не ружье, а, будь оно хоть золотое, хоть самого верного боя и медведя наповал, — ружьишко.) «Белкой» потому и называлось, что из него северные промысловики били зверька в глаз, чтобы не испортить шкурку. Митька без промаха сшибал орехи с веток: шелк! — и готово. А то как-то шли с отцом по дамбе канала и увидели, что вода несет яблоко. Метров сорок было, аж у того берега. Митька приложился, секунду помедлил, выцеливая: шелк! И яблоко припрыгнуло, расколовшись, и дальше уж поплыло двумя половинками.

Как-то раз, по-взрослому толкуя с Василичем насчет того, отпустит его Мызин на охоту или нет, Митька обмолвился, что ближе к осени станет обладателем «Белки». И Василич скривился, махнув рукой, — безделица, мол. Дескать, нижний двадцать восьмого палит — как вода из дуршлага течет. А верхний мелкашечный и вовсе никчемная вещь — куда с ним, если только на жаворонка. Но Митька-то знал, что Василич сам хотел занять такое. Он и деньги отцу предлагал, и мену — на штучную шестнадцатого калибра тульскую двустволку, с резьбой на ложе, с эмалью на цевье. Но отец не отдал. И правильно сделал. А теперь вон чего Василич — руками он теперь машет. Никчемная вещь, видишь ли... Зелен виноград, вот и отмахивается.

* * *

Вечером после ужина (усталые, сытые, у каждого кружка с недопитым чаем), в глубоких сумерках, разрежаемых показавшейся луной, нынче еще чуть ущербной, да мелкими всполохами дотлевающего в очаге огня, неспешно толковали насчет того, кто поедет в Гулино.

Митька слушал, позевывая и переводя взгляд с одного на другого. Говорили по очереди, не раз повторяясь, все, казалось, об одном и том же: сил у него не было эту жвачку слушать, прямо глаза сами собой закрывались.

С другой стороны, он уже кое-что понимал в жизни, и сейчас не мог не признать, что разговор вовсе не был бестолковым, а просто когда люди начинают всерьез въедаться в какое-нибудь совсем простое на первый взгляд дело, в нем тут же обнаруживается множество закавык.

Что Мергену дорога лежит, было ясно без лишних слов: он и теперь сидел с подвязанной щекой, в разговоре участия почти не принимал, а только время от времени, когда в зубе стреляло, едва заметно дергался.

Кому-то нужно было с ними ехать третьим, чтобы забрать продукты и лошадей, и по всему выходило, что придется Володе. Митька посматривал на него, понимая, что Володе ехать не хочется. Понятно, он бы и сам не захотел. Потому что хорошо в маршрут — все-таки по новым местам, где, можно сказать, еще не ступала нога человека и никого, кроме чабанов да баранов, не встретишь; другое — трястись по жарнице полдня до Гулинора по знакомой, а потому неинтересной дороге. Потом обратно с лошадьми в поводу... вот уж радость.

Но вдруг ему пришла мысль: это ведь на целый день!.. и без всякого надзора. Сначала туда с ними... а потом обратно — одному!..

— Геннадий Николаевич! — спешно выкрикнул он. — А давайте я с вами поеду! Мызин наморщил лоб и, чуть наклонив голову, посмотрел вверх очков.

— Куда поедешь?

— Ну куда... в Гулино.

— А потом?

— А потом обратно. С лошадьми. И с продуктами.

— Один? — спросил Мызин, будто сам того не понимал.

— Ну один, — насупился Митька. — А что такого?

— Сиди, — недовольно сказал Мызин. — Поедет он...

И постучал карандашом по блокноту.

— А я вот думаю, — сказал Володя с неопределенной надеждой. — Может, это... может, у Сафед лошадей оставите?

Мысль понятная: оставить лошадей у Сафед, постоят животные пару дней у сторожа, ничего с ними не делается; а зато когда вернутся, все готово, вот они, лошадушки — садись да и айда.

— Между прочим, вам можно и лишнего коника взять, — добавил Володя. — Третьего.

Это Митька тоже понял: он имеет в виду, что на обратной дороге третью лошадь они под выюк с продуктами поставят, а сами будут гарцевать налегке. А что, он бы так и сделал... с выюками-то не разгонишься.

— А пока они будут в Хуррамабад ездить да обратно, продуктам киснуть, — недовольно сказал Васильич.

— А чему там киснуть? — удивился Володя. — Макароны же...

— А овощи?

— А что овощи? Мы вон три недели огурцы едим, что с собой привезли, и ничего, подвяли только маленько, — сказал Володя. По его фразе выходило, что маленько подвяли те, кто эти огурцы ест. Мгновенно вообразив себя подвявшим, Митька прыснул. Мызин строго на него посмотрел.

— А Сафед знает, что мы ему лошадей хотим навялить? — поинтересовался Мызин. — Или прямо так вот, явочным порядком? Вдруг не захочет?

— Что ему не хотеть, — Володя пожал плечами. — Он мужик простой. Я был у него в хлеву. Большой хлев, поместятся...

— Тогда овес не забыть, — проскрипел Мерген, в очередной раз дернувшись.

— Бросьте, — вступил Васильич. — Что за новости — у Сафед оставлять. Нужны ему наши лошади!..

Васильич развил мысль: Сафед огородник, а вовсе не лошади. Да вдобавок и бестолков порядком, ему животных заморить — раз плюнуть. Лошадь с виду такая здоровая, а забудь водой обеспечить, тут же и заболит. Так что пусть все же Володя едет третьим, заберет и пригонит назад с продуктами, а через день сгонит еще раз, чтобы встретить, не переломится.

Володя горестно улыбнулся, но руками развел с таким смиренным видом, будто хотел показать: неприятно, конечно, что его приговорили к закланию, но если единогласно, то ничего страшного, он готов.

В конце концов Мызин так и постановил: Володя поедет с ними, вечером вернется с продуктами (продукты, продукты — просто уже в зубах навязли эти продукты!), а Васильич завтра сходит в маршрут на пару с Митькой.

— Ну и отлично, а вечером я тогда на Оби-Мумин смотаюсь, — неожиданно сказал Васильич, когда Митька уже решил, что дело в шляпе и можно идти спать. — Ночь там просижу, дело сделаю, утром Володя ко мне подъедет, поможет тушу погрузить. Помнишь Оби-Мумин? — спросил он. — Мы там в прошлом году с тобой были.

Володя кивнул.

— Помню.

— Где ореховая роща, знаешь же, — пояснил Васильич. — Ну вот, к обеду и приедем. А ты, Генуля, вернешься с Мергеном, уже все готово.

— Ты с живого не слезешь, — вздохнул Мызин.

— Я Клавдию Петровну научу, как жарить надо, — уверил Васильич. — Только день и потеряем. Лады? А ты прихвати чего ни то горло промочить. С полем-то...

Все это краткое время, пока стремительно длился, а потом завершился начатый Васильичем разговор, Митька сидел в совершенном остоленении. То есть Васильич, значит, на охоту собрался! Он, значит, завтра, когда они вернутся из маршрута, двинет на какой-то там Оби-Мумин, в ореховый сад, за свиньей! А чтобы его, Митьку, с собой взять, о том и речи нет!..

— А я? — вскрикнул он, когда дар речи вернулся. — Я с Васильичем поеду?

— Ага, — кивнул Мызин. — Поедешь. Чтобы тебя там секач на клыки взял.

— Да как же на клыки, когда мы на дереве будем! — шепотом закричал Митька, стуча себя кулаками в грудь. — Ну какие клыки же, Геннадий Николаевич!

— Нет, — жестко сказал Мызин. — На охоту — это ты с батюшкой. Я такого не могу позволить. Понял?

И перевел взгляд на Васильича.

— Законно, — вздохнул тот. — Спички детям не игрушка. Нельзя так нельзя. Не журишь, какие твои годы. Еще поохотишься.

3

Раннее утро и вообще-то время неприятное: пока бредешь умываться, ледяная роса обжигает голые ноги, а вода в речушке и того холоднее. Вершины еще не страхнули голубые лоскутья рассвета. Дай бог часа через два солнце бросит первые теплые лучи.

Между тем надо вести Орлика на водопой, самому быстро набивать пузо рисовой кашей с тушенкой, до горла наливать сладким чаем. Хорошо, если дадут потом пять минут посидеть у огня в сытом полубомороке, слушая, как Клавдия Петровна, возясь у очага, причитает: «Митя, что ж опять в такую рань! Куда ж тебя таскают-то, господи!..»

Но когда все заняты одним и тем же, еще ничего. А если отчетливо слышно, как за полотняной стенкой палатки невдалеке сладко похрапывает Мызин... Что ж, конечно. Им спешить некуда. Вот такая справедливость: одни ни свет ни заря в маршрут на весь день, а другие — Мызин вот, Володя, Мergen с больным зубом и раздутой щекой — эти почивают... дрыхнут себе, сколько влезет.

А если при этом чувствуешь себя не только оскорбленным до глубины души, но и обездоленным, но и навек несчастным!.. Васильич, значит, вечером в Оби-Мумин за свиньей, а он тут с поварихой останется... Спички детям не игрушка. А вот взять — и не пойти в маршрут. Не игрушка так не игрушка. Может, у него голова болит. И в носу щекоотно. Вон что Клавдия Петровна толкует. Она бестолочь, конечно, а все-таки. Гоняют ребенка в хвост и в гриву, как большого. А если простудился?.. Пусть уж Васильич сам как-нибудь. Ему за это зарплату дают. И полевые...

— Митя, ты седлаться-то думаешь? — спросил Васильич, показываясь из-за палатки. — Или штык в землю?

— Что? — Митька вздрогнул. — Ничего не в землю. Думаю, думаю!.. Заседлаюсь, и что, в седле тебя ждать?!

— Давай, давай, шевелись, ехать пора. Клавдия Петровна, перекусон нам собрали?

* * *

Тропа шла по краю плато — это была их собственная тропа, они ее проложили, каждое утро проезжая туда, и каждый вечер обратно, — потом брала на кособор, а миновав его, спускалась в ущелье, но не до самого низу, где ворковала река, а до середины борта. Потом выбегала на каменистую равнину, поросшую купами барбариса, колючего кустарника и тамариска. Чуть ниже зеленело плато — другое, но едва ли отличимое от того, где стоял их лагерь: такой же ровный ковер сочной травы, тут и там украшенный бело-розовыми свечами эремуруса.

Все это было многократно езжено, тыщу раз видено, и потому Митька равнодушно качался в седле, отдавшись своим угрюмым мыслям и безотчетно ловя звуки, издаваемые Орликом. Гамма их была многообразна — просто песня, а не лошадь. Во-первых, копыта: они то лязгали по камню, то скрипели по гравию, то шуршали в песке, то и вовсе чавкали, ступая по влажной луговине. Кроме того, скрипело седло, и тоже по-всякому: когда Орлик пер в гору, оно на каждый его шаг громко отзывалось противным писклявым голосом, а на спуске притихало, лишь изредка хрупая на манер ломаемого сухаря. Вдобавок и в самом Орликовом организме что-то беспрестанно звучало: ухало, гукало, подчас и булькало, будто у него там закипал чайник. Когда Митя, обеспокоившись состоянием Орликова здоровья, спросил у Мызина, что бы могло в его лошади так булькаться, тот ответил: «Это он селезенкой екает», — и тут же отвлекся, будто вопрос был исчерпан. Митьку объяснение совершенно не удовлетворило, но все-таки в конце концов он не то чтоб совсем перестал обращать внимание на эту музыку, но, по крайней мере, уже не очень беспокоился на ее счет, хотя опять и опять отмечал, что другие лошади на ходу ведут себя куда тише.

Пока ехали хоженными местами, разговаривать не было возможности — Васильич впереди, Митька метрах в пяти сзади, так что не докричишься; да и говорить не о чем. Митька ловил блеск, каким отзывалось на всякий луч Васильичево ружье за спиной, и снова вспоминал вчерашний отказ, и опять хмурился. Когда добрались до границы известного, Васильич придержал лошадь у кривого деревца, за которым начинался осыпной склон, и долго исследовал карту. Ветерок из ущелья то и дело ее заворачивал, Васильич чертыхался и расправлял. В другое время Митька подъехал бы вплотную и тоже в нее смотрел, а то, глядишь, и дал какой совет; но сейчас дождался чуть поодаль. Потом Васильич тронул своего Чернявого направо, и еще километра три они пробирались то пыльными паутинными зарослями, то открытыми взгорьями, по которым гулял ветер и пахло травами.

— Здесь и начнем, — сказал Васильич, спешиваясь и забрасывая повод на куст. — Не возражаешь?

Митька в ответ только надменно пожал плечами.

Время шло к двенадцати, начинало припекать. Они отработали четыре обнажения. Дело было привычное: Васильич, сев на камень, строчил карандашом в пикетажке, Митька раскладывал образцы в мешочки и писал на них дату и номер (но не простым, как Васильич, а химическим, чернильным, для чего приходилось слюнявить ткань, а руки к концу дня чуть ли не до локтей становились фиолетовыми), а если Васильич говорил «Второй на шлик», то выводил сверху еще и большую букву «Ш».

Васильич захлопнул пикетажку и сказал, потягиваясь:

— А что, не пора ли нам чайку, пока у воды? Разводи костер, Митяй!

— Ну конечно, — проворчал Митька. — Как на охоту брать, так спички детям не игрушка. А как костер, так сразу Митяй!..

* * *

Этим язвительным замечанием запал его обиды был исчерпан, и, как он потом ни напрягался, выдумывая, чем бы еще поддеть Васильича, ничего на ум не приходило.

К тому же Митька думал, что «чайку попить» будет, как у Мызина: у Мызина они с Володей утром наполняли четыре семисотграммовые армейские фляжки и до вечера отхлебывали по мере надобности.

Но у Васильича оказалось интересней: во выючке лежал походный котелок. Митя развел огонь. Васильич достал приготовленный Клавдией Петровной немудрящий провиант, расстелил тряпицу, в которую тот был завернут, наломал на нее сухую лепешку, разложил огурцы и нарезал помидоры (в отличие от и впрямь вялых огурцов эти были в самый раз, потому что их в свое время покупали зелеными, твердыми, как яблоки). Когда вода вскипела, бросил жменю заварки и накрыл.

— С другой стороны, конечно, хорошо можно кекликов брать, — ни с того ни с сего заметил Васильич, шурясь и задумчиво жуя.

Митька знал, разумеется, что кекликом называется каменная куропатка, только не понял, к чему это сейчас.

— «Белкой», говорю, — неясно пояснил Василийч. — Умные люди как делают. Берется щиток такой... ну фанерка. Вот такая, скажем, — Василийч очертил в воздухе прямоугольник. — Примерно, как от посылки. Мажешь клеем и всю-всю-всю залепляешь перьями. Кекличьими... они же пестрые такие... знаешь ведь.

— Ну да...

— Ставишь на склоне. Сам в кустах. Кеклик — птица любопытная. Увидит эти перья — и подходит. Целой стаей, бывает, идут. А ты из куста их по очереди: шелк! шелк!

— Да ладно, — не поверил Митька.

— Честно, — сказал Василийч. — Я знаю одного, он с «Белкой» пойдет, мешками приносит... Мелкашка же неслышно бьет. Ну, почти неслышно. Это же не из нормального ствола пальнуть. Если шестнадцатым дашь, так одного из стаи возьмешь, остальных только напугаешь до смерти. Пых — только их и видели. А «Белочка» — милое дело... Но нужно наповал класть. Одного подранишь — все. Как один начал трепыхаться, друзья разбегаются.

— Улетают, — поправил Митька.

— Если вниз по склону — улетают, — согласился Василийч. — А в гору — в гору кеклик ногами бежит. — Он отхлебнул из кружки и помолчал, размышляя. — Примерно так же и медведя. Только фанера больше нужна. И молоток.

— Зачем молоток? — спросил Митька.

— Зачем, зачем... ты слушай. На фанере рисуешь медведя, чтоб как живой. Идешь в горы, прячешься за этой фанерой. И сидишь с молотком. Приходит медведь...

— Уже настоящий? — уточнил Митька, подозрительно щурясь.

— Ну конечно, тот, что заявляется, уже настоящий, — подтвердил Василийч. — Видит нарисованного. Ага, думает, соперник. А у них как заведено? Присмотрел конкурента — вперед!.. Бросается он — и пробивает фанеру когтями.

Митька хмыкнул.

— А тут ты с молотком. Загибаете ему быстренько когти, чтобы не сорвался. И тащишь в сдаточный пункт. — Василийч замолчал, с усмешкой на него глядя. — Понял?

— Да понял я, понял, — тоскливо сказал Митька. — Ты уже рассказывал. Нет, Василийч, ну честно, взял бы ты меня на охоту!

4

По правде сказать, он так и не понял, почему в итоге все повернулось. Ничто не предвещало. Он уже и думать забыл, смирился. Ну что делать — ладно, пусть так. Вот уж на будущий год, когда у него будет свое ружье... Василийч все поглядывал на солнышко — прикидывал, сколько им чапать до дому, а потом еще сколько ему до той ореховой роши, где он собирается охотиться.

И вдруг, когда уже до лагеря было рукой подать, он сказал: «Ну что с тобой делать. Ты ведь с живого не слезешь, как Мызин говорит. Ладно, поедем».

— Оби-Мумин — это что? — спросил сейчас Митька.

— Оби-Мумин? — рассеянно отозвался Василийч.

Его Чернявый медленно шагал по траве. Под самыми деревьями, метров на пять вокруг стволов больших, старых, в несколько обхватов деревьев, было совсем голо: трава здесь, во всегдашней тени, почти не росла.

— Кишлак, что ли, был?

— Оби-Мумин-то? — переспросил Василийч, спешиваясь. — Не знаю. Какая разница. Оби-Мумин, ну.

— А на карте как? — задал Митька следующий вопрос.

— Не морочь голову, — невпопад ответил Василийч. Он сделал несколько шагов, присматриваясь. — Нет ореха-то.

Митька слез с Орлика и бросил повод на луку седла. Сам пошел, наклоняясь.

— А вот, — сказал он, подбирая один. Крупный такой, с одного бока уже шкурка подсохла. — И вот!

— Это разве орех, — раздраженно отмахнулся Василийч. — Это слезы, а не орех. Он снял с плеча ружье, поставил к дереву, сам сел на высоко выступающий из земли корень и принялся сосредоточенно закуривать.

— Да ладно, слезы, — весело урезонил его Митька. — Ничего не слезы. Вон еще один.

Он не вдумывался ни в смысл того, что говорил Василийч, ни в суть тех слов, что произносил сам. Какая разница! Оби-Мумин, не Оби-Мумин, есть орех, нет ореха — все это уже не имело никакого значения. Важно другое: Василийч все-таки его взял.

— В общем, сюда кабан не ходит, — хмуро сказал Василийч. — Тут ему ловить нечего. Тут ореха нет... Надо в Кухимардон двигать.

— В Кухимардон? Это где? — согласно спросил Митька. Ему, собственно, было все равно. В Кухимардон так в Кухимардон. Какая разница? Он уже на охоте.

— А тебе придется назад.

Васильич добивал окурок, напоследок часто и решительно затягиваясь. Митька тупо смотрел на него.

— Володя вернется, скажешь. Может, он уже вернулся. Так и так, мол. Не в Оби-Мумин, а в Кухимардон. Володя Кухимардон знает. Мы там с ним бывали. Только сказать надо: Кухимардон, а не Оби-Мумин. Утром вместе приедете. Запомнишь?

— А как же тогда... — пролепетал Митька.

— А то он притащится сюда, — терпеливо разъяснял Василийч. — Понимаешь? И будет тут дурак-дураком головой крутить. А кабана я если и завалю, то в Кухимардоне. Так надо известить. Сообразил? Ладно, давай, Митька. Нечего время терять. Мне уж пора шевелиться. Дотуда часа полтора ходу. Поздно приеду, только распугаю всех. Ничего не бойся. Езжай себе потихоньку, вот и доедешь. — И, помолчав, неуверенно спросил: — Ведь не заблудишься?

— Где тут можно заблудиться, — через силу хмыкнул Митька, лихорадочно пытаясь восстановить в памяти дорогу, по которой они ехали сюда, чтобы, повернув ее к себе другим концом, сделать дорогой обратно.

— Лошадь вывезет, — успокоил Василийч. — Доверяйся. Лошадь, она...

Но не договорил, только махнул рукой, а потом сунул ногу в стремя.

* * *

Митька уже повернул Орлика, но еще медлил понудить его к движению, и они стояли, точно так же, вероятно, окутываемые густеющими сумерками, как и Василийч, только Василийч уже ходко двинул по тропе и вот-вот должен был скрыться в зарослях, а Митька, озираясь, все еще смотрел ему в спину, ловя тусклые отблески на стали ружья и никак не находя решимости сделать первый шаг: этот шаг должен был подвести черту и окончательно подытожить его новое состояние.

Васильич обернулся напоследок, помахал и растворился в темной зелени.

Тогда он сказал вполголоса, инстинктивно боясь нарушить навалившуюся со всех сторон тишину:

— Давай, Орлик, поехали.

* * *

Можно было бы рассказать, как быстро темнеет в горах, но это давно стало трюизмом.

Хотя, конечно, одно дело размышлять о такого рода банальностях при свете лампы, при свете бра, при свете абажура и в приятной компании. Совсем другое — при свете луны, яркой как прожектор, и в полном одиночестве, если, конечно, не считать Орлика полноценным компаньоном.

Луна висела невозможная, невообразимая: совершенно круглая, будто ее выводили циркулем; и такая большая и тяжелая, что само нахождение ее над головой вызывало опаску.

Этой ночью она раскрылась целиком, выкатилась в полную силу: без утайки являла себя миру, без стеснения показывала все свои шербины и оспины, которые, впрочем, вовсе не умеряли ее сияния.

На взгляд Митьки, в ее пронзительном, но призрачном и неживом свете,

рождавшем такие же призрачные и неживые тени, всему живому следовало затаиться, если не оцепенеть. Он и затаился бы, но Орлик, которому не было до луны никакого дела, твердо шагнул вперед; Митька хотел бы верить, что деловитость его поступки свидетельствует о том, что Орлик знает, куда топает.

Вот, например, тропа выбежала на бугристое, поросшее травой и кустами пространство между далеко разошедшимися друг от друга бортами ущелья. Проезжали они с Васильичем это место? Трудно сказать... может, и проезжали. Но если и так, все равно не узнать: тогда это была долинка, вызолоченная низким солнцем, напоенная травяным настоем; над ней безмолжно звенели цикады, стрекотали кузнечики, с жужжанием просвистывали мимо уха литые, будто пули, жуки, порхали крапивницы...

А теперь — теперь глубокая, кованого серебра чаша, налитая прохладой и сиянием. Днище помято и выщерблено, а каждая травина, каждый куст, каждый лист на нем — чернь по блестящему металлу.

— Пых! — взорвалось что-то у Орлика под копытами.

Орлик шарахнулся.

Митька тоже шарахнулся, едва не выпрыгнув из седла, но кое-как удержался.

— Чтоб тебя! — крикнул он дрожащим голосом, когда осознал, что это была птица, с хлопаньем сорвавшаяся, метнувшаяся шумной тенью поперек луны, а вот уже и канувшая во тьму где-то на дальней стороне. — Ты что! Ворон не видел, дуралей!

Орлик извинительно пряднул ушами и взял прежний темп.

Миновали открытое пространство, тропа нырнула в заросли узкой лощины. Здесь было совсем темно: луна спряталась за бортом, да если бы и не спряталась, все равно ее свету было не пробиться сквозь густую листву. Вертлявая речушка шумела, будто что-то все пытаясь выговорить, о чем-то предупредить, предостеречь — да так и не пересиливала косноязычия, только изредка взблескивала отражением пробившегося к черной воде луча. Тропа то и дело прыгала с одного берега на другой, норовя выбрать местечко, где больше дресвы и меньше валунов, но все равно Орлик то и дело оступался и так гремел копытами, что отзывалось эхо.

Потом снова выбрались на открытое место... а потом опять куда-то нырнули; и все ехали и ехали, ехали и ехали, шаг за шагом избывая то, что нужно было, кровь из носу, избыть — эту длинную ночную дорогу.

Орлик стучал и стучал по камням, качал и качал его в седле, луна светила и светила, и в конце концов все это стало казаться Митьке то ли сном, то ли собственным беглым мечтанием, то ли даже какой-то картинкой, на которую сам он смотрел со стороны: скажем, раскрыл книжку, а на странице как раз иллюстрация: мальчик-подросток едет на лошади ночью в горах. Глядя на рисунок, нельзя было сказать «он боится», ведь мальчик был изображен наравне с прочим, художник не уделил ему какого-нибудь особого внимания, а уравнивал с луной, с Орликом, с посеребренными вершинам вдали, с блестящими монетками листьев и сверкающими самородками камней. Мальчик ничем не выделялся из их совокупности, а потому заявить, что он боится, было бы так же нелепо, как сказать то же самое о луне, камнях или вершинах. На смену страху пришло ощущение равенства с тем, что его окружало, пронзительное чувство растворенности в сущем.

Потом на них выбежали собаки.

Митька вспомнил — ну да, они их и по дороге туда встречали. Чабанские, сказал тогда Васильич, волкодавы, сказал он; где-то неподалеку большая отара, вот и рыскают. Им не попадайся — сожрут. Их же как кормят? Хорошо если раз в неделю кусок сырого теста швырнут. У них просто: что потопали, то и полопали.

Но когда они ехали туда, псы остановились невдалеке и сидели, настороженно следя за тем, как они проезжают мимо. Ишь ты, усмехнулся Васильич, умные: ружье видят.

А теперь ружья не было, а может и вовсе не в ружье было дело. Так или иначе, появившись из зарослей, они — серебряные, увеличенные лунным светом раза в полтора — тут же бросились: окружили Орлика, глухо рыча и лишь время от времени позволяя себе хриплое взлаивание.

Но Митьке уже явился образ серебряной картинки, на которой он по праву занимал отведенное ему место, и теперь он насмешливо посматривал сверху, осыпая волкодавов то злобной взрослой руганью, то издевками насчет их куцых хвостов. Ноги, правда, из стремян на всякий случай вынул и поджал к седлу.

А Орлик шел как шел... шел себе и шел. Однако все же они и его раздражали, и в какой-то момент он стал брыкаться, норовя хоть кому-нибудь разбить башку. Но псы ловко отскакивали, Орлик ни по кому так и не попал, а вот Митька в первую секунду едва не слетел: уже вообразил, как его сейчас сожрут, но в последнее мгновение успел клешом впиться в гриву и усидеть в седле.

Собаки донимали их минут десять: то отвлекались на что-то, то опять сбегались. Но Орлик шагал и шагал, не обращая на них внимания, и скоро псы тоже остались позади, как оставалось все, мимо чего они ехали.

Он удивился, когда в конце концов увидел серебряное блюдо — а это было их плато; а на нем серебряные шатры — а это были их палатки; и от них уже бежала такая же серебряная, как те, что остались позади, только вдвое меньше, собака — а это был рыжий Васильичев пес Зарез.

Время давно перевалило за полночь, но Володя еще не уснул. Услышав возбужденные голоса, поднялась и Клавдия Петровна.

— Господи, — восклицала она, вываливая на сковородку банку тушенки. — Одного! Ночью! Да он с ума спрыгнул!..

* * *

На этом можно было бы и остановиться, ведь я рассказал главное из того, что хотел. Осталось только логическое окончание. Оно ничего уже не может изменить, но чтобы производить впечатление чего-то завершенного, картина должна быть взята в раму. Поэтому придется сообщить, что спал Митька плохо. Его стало трясти, как только забрался в спальник, и он стучал зубами до тех пор, пока Володя не заставил вылезти и надеть свитер и шерстяные носки; тогда кое-как угрелся, и все равно: закроет глаза — тянутся серебряные кусты и камни, повернется на другой бок — серебряные камни и кусты. Но проснулся легко и весело, будто вчера совершил что-то важное, не ударив в грязь лицом. Они быстренько позавтракали и двинули к Васильичу. По третьему разу дорога стала узнаваемой. Вот лысый холм... вот роща, где напали собаки (он сдержанно рассказал Володе, как они, подлые, бросались, умолчав насчет того, как сам чуть не вылетел из седла); вот и ущелье, где вчера Орлик оступался и гремел копытами. Часа через два добрались до Оби-Мумина, Митька узнал место, где он простился с Васильичем. Двинули дальше, и еще через пару часов услышали выстрел: Васильич пальнул, чтобы привлечь внимание. Тогда они взяли правее, туда, где он, величиной с богомола, махал руками со склона близ ореховых деревьев.

Васильичева охота оказалась удачной. Он уже разделал тушу и разложил по व्यюкам. Только огромная голова лежала на земле, запрокинувшись, и скорбно смотрела в небо маленькими желтыми глазами. Рядом валялись четыре голяшки с копытцами. Метрах в десяти дальше, на краю промоины, трепалось что-то вроде лоскута сине-зеленого тюля: это зыбкое облако мух бешено роилось над потрохами.

— А это куда? — сказал Митька, пересиливая содрогание.

— Что? Да куда его... Тут оставим.

— И куда оно денется? — спросил Митька, не рассчитывая получить ответа.

Однако Васильич все же ответил.

— А куда все девается? — сказал он, пожав плечами. — Туда и денется. Пойди-ка, философ, орехов набери, пока выючимся. Тут много.

Митька пошел собирать орехи. Далеко не отходил — в глазах стояла кабанья голова, и взгляд желтых глаз сверлил его, о чем-то вопрошая.

Шота Иаташвили

Ален и Боб в Тбилиси

С грузинского. Перевод Александра Эбаноидзе

В середине 80-х годов ветер странствий занес в Тбилиси двух популярных деятелей американской контр-культуры — поэта Алена Гинзберга и певца Боба Дилана; они не давали интервью, не устраивали встреч и концертов, только разок заглянули в Союз писателей и, незамеченные никем, исчезли.

В начале 90-х поэт Шота Иаташвили опубликовал стихи об этом скромном визите знаменитостей. Быть может, одним из побудительных мотивов к написанию стихотворения послужило то, что Иаташвили заинтересовала нашумевшая поэма Алена Гинзберга «Вопль» — этот манифест американских битников, — которую позже он успешно перевел на грузинский.

А.Э.

Ален Гинзберг инкогнито живёт в гостинице «Иверия».
Боб Дилан инкогнито живёт в гостинице «Иверия».
Ален Гинзберг и Боб Дилан инкогнито смотрят на вечерний Тбилиси.
Ален курит исключительно «Астру»,
Боб бережёт горло и предпочитает «Космос».
Это время, когда патлатых парней
с перехваченными лентой волосами и с гитарой в руках
не пускают ни на улицы, ни даже в подземные переходы.
Это время, когда Ален и Боб инкогнито приехали в наш город.
Спой, Бобби, давай спой своим хриплым голосом
песни написанные на Бродвее,
спой их у памятника Ленину,
только перед этим не забудь почтительно положить цветы к пьедесталу.
О, ты знаешь, Боб, цветы у пьедестала так же необходимы
как бумага в клозете.
А бумага в клозете нужнее, чем в типографии,
и это прекрасно знает твой духовный брат,
который вместе с тобой инкогнито смотрит на Тбилиси с балкона «Иверии».

Шота Иаташвили (1966 г.) — поэт, прозаик, главный редактор литературного журнала «Ахали саундже». В 1993 г. в «ДН» была опубликована повесть «Больной город».

На сегодняшний день автор 13 книг стихов и прозы. Среди них — «Притяжение» (2011), «Шрам» (2012), «Горечь поэтического опыта» (2015).

А Тбилиси не похож на Нью-Йорк,
ни на Вашингтон, ни на Чикаго не похож Тбилиси.
Но знает, знает Ален,
что в этом странном городе напишет он стихи,
которые со временем переведёт Дато Чихладзе.
И тогда Ален Гинзберг на ломаном грузинском раскроет перед нами
смрадную и прекрасную анатомию городов.
Спой, Бобби, давай спой в Союзе писателей,
среди солидных писателей в костюмах и при галстуках,
с волосами, расчёсанными на пробор,
или зачёсанными на сторону при помощи бриолина.
Ничего, если они спутают тебя с Магомаевым или Кобзоном.
Пой, Бобби, пой, ты же знаешь, что главное петь везде,
у памятника Ленину,
в Вудстоке,
в Риме.

Посмотри на Алена, ведь он всюду пишет свои стихи,
вот и сейчас, бросив окурок «Астры» с одиннадцатого этажа,
он почувствовал, что вот сейчас, именно сейчас
напишет стихотворение, какого никогда и нигде не писал.
Он напишет стихи о Тбилиси, Мехико и Гималаях,
напишет стихи о хиппи, йогах и коммунистах,
напишет стихи о горах мусора, чадающего в Гарлеме и Глдани¹,
напишет стихи о Бобе, которому никак не поётся в этом городе.
Давай же, Бобби, что с тобой, спой, Бобби,
а когда допоешь свою песню,
смачно харкни с одиннадцатого этажа
и вслед добавь «фак ю» на десерт.
Такие выходки обожают в этом городе,
и, если в чём-то другом вас тут не поняли,
будь уверен, в этом все дружно поддержат,
тем более, что *дружба* и *преданность* популярнейшие слова в Тбилиси,
здесь все женщины преданы своим солидным супругам,
а солидные супруги преданы заграничным презервативам,
которые можно приобрести за валюту в магазине «Цицинателя»,
а то и вовсе за рубли у цыганок,
которые в свою очередь преданы замурзанным младенцам у себя за спиной
и лезвиям «Жилет», и тем самым фирменным сигаретам,
что обрыдли Алену и Бобу.
И вот сейчас они инкогнито смотрят с одиннадцатого этажа «Иверии»
на вечерний «Тбилиси»,
и блаженствуют, затягиваясь нашими отечественными сигаретами,
и стоят, долго стоят на балконе,
а потом Бобби вдруг спросит: «Не пройтись ли нам по улице?» —
и Ален сразу оторвётся от своих мыслей,
взглянет на Боба, кивнёт, зайдёт в номер,
влезет в свои кеды, наденет джинсовую куртку
и, спустя пару минут, они неторопливо двинутся по Руставели.

¹ Глдани — пригород Тбилиси.

Ованес Азнаурян

Три церкви

Главы из романа

Отцы наши грешили: их уже нет,
а мы несем наказание за беззаконие их.

Книга Плач Иеремии, 5:7

Армения — потусторонняя страна.

Алиса Ганиева

1

Мамикона еще летом 1996 года нередко можно было встретить в белых брюках, зеленой майке и белой широкополой ковбойской шляпе. Обычно он стоял на Большом мосту в центре Дзорка и с отрешенным выражением лица плевал в кристально чистые воды реки Ган (не Ганг — та в Индии, а Ган, что в Дзорке). Мамикон выглядел, пожалуй, глупо в этой своей ковбойской шляпе, но все в маленьком провинциальном городке Дзорк давно к нему привыкли, равно как и к его бездельничанью и некоторой недалекости.

— Эш Мамиконн а, эли, инч арац¹?

Он не имел каких-либо определенных занятий, точнее сказать, не занимался ничем вообще. Ему и не надо было работать, потому что отец его, Рафик Суреныч, работал за шестерых, имея в Дзорке сеть магазинов-маркетов и кафе, объединенных маркой «Суреныч». До 1991 года, то есть до развала СССР и провозглашения независимости, Рафик Суреныч был крупным партийным и административным чиновником в районе (после того как покинул пост директора Дома отдыха в Кармрашене), так что в его семье денег всегда хватало. Злые языки даже утверждали, что его жена, Норетта, старшая дочка уважаемого Аршака Ашотовича Унаняна, хранила деньги мужа под матрацами кроватей и что их было много. Теперь же, после наступления независимости и окончания «приграничной войны» (1992—1994 годы, когда семья Рафика переехала на время в Ереван, где купила — и это в те-то годы! — квартиру недалеко от метро «Дружба»), у них денег стало вообще видимо-невидимо. Практический талант, талант делать деньги, у Рафаэла Суреныча расцвел в полную силу в условиях рыночных отношений.

Азнаурян Ованес — родился в 1974 году, окончил факультет истории и основ права Ереванского пединститута, пятнадцать лет преподавал историю в школе, в настоящее время работает системным администратором. Печатался в «Литературной Армении», «Неве», «Дружбе народов» и других литературных журналах. Автор сборников повестей и рассказов «Симфония одиночества» (Ереван, 2010 г.) и «Симфония ожидания» (Ереван, 2014 г.). Финалист литературной премии «Русский Гулливер». Живет в Ереване.

¹ Ну, ишак Мамикон, что поделаешь! (арм.) (Здесь и далее прим. автора)

Мамикон же, как нетрудно догадаться, был «папенькиным сыном», чему виной, конечно же, по мнению дзоркцев, — богатство отца, и, как часто бывает с сыновьями богачей, Мамикон был уверен, что ему все дозволено и все простится. Однако при всем при этом у него было доброе сердце и в общем-то наивная душа, и люди поэтому думали, что Мамикон попросту глуп. Кто знает? Но то, что он добрый малый, каждый знал точно.

В детстве, когда его наказывали за какой-нибудь проступок, он заливался слезами: «Почему вы на меня сердитесь?! — недоумевал он — На меня ведь нельзя сердиться!»

Это удивление тем, что на него могут рассердиться, он перенес из детства во взрослую жизнь. Мамикону Унаняну было уже тридцать три года. Десятью годами раньше он окончил престижный факультет Ереванского университета — скажем, факультет международных отношений, — но был настолько нерасторопен (или глуп?), что даже отец не мог его никуда пристроить. Так он и дожил до возраста Христова, нигде больше двух недель не проработав. Конечно же, Мамикон стал выпивать. Пиво, шампанское, потом и водка, а также карты и женщины составляли все содержание его никчемной жизни. В карты он всегда проигрывал, потому что не умел блефовать, но зато ему везло с женщинами, и, кстати, среди представительниц прекрасного пола не было ни одной представительницы древнейшей профессии. Мамикон взял за правило: никогда не водиться со шлюхами, потому что он патологически боялся подхватить какую-нибудь заразу. Вообще, Мамикон был брезглив до невозможности — черта характера, видимо, унаследованная от матери, Норетты, в доме которой все было вычищено до стерильности. Когда же друзья сказали ему, что заразиться можно и не от шлюхи, Мамикон возразил, приведя в качестве аргумента какие-то «процентные соотношения». Что до женщин, то они буквально гроздьями висели на шее у Мамикона, несмотря на то, что он почти всех их заставлял пройти полный медосмотр. Только удостоверившись, что его дражайшему здоровью ничто не угрожает, Мамикон соглашался лечь в постель с той или иной женщиной. Женщин Мамикон любил очень, но они ему надоедали довольно-таки скоро, и он их менял. Имена многих подруг он и не запомнил...

В августе же 1996 года случилось событие, которое перевернуло жизнь Мамикона. На машине отца — свою он отдал в ремонт — Мамикон сбил человека, когда возвращался с Сюзи после прогулки по окрестным лесам. Человек этот не погиб, но оказался тяжело покалечен. Мамикон сам отвез его в больницу. Все было бы хорошо, если б журналоги местной газеты «Рабочий Дзорка», неизвестно откуда узнавшие о происшествии, не подняли шум. «Сынок монополиста останется безнаказанным?!» — гласил заголовок одной из статей (тогда еще можно было писать такие статьи, не то что теперь). Заявились представители органов и стали задавать вопросы. Рафаэлу Суренычу пришлось выложить немало денег, чтоб замяли дело, однако начальник районной милиции посоветовал ему отослать Мамикона на некоторое время из города, «чтоб глаза людям зря не мозолил». Решено было отправить его в Ереван.

— Дашь машину? — спросил сын. — Моя все еще в ремонте.

— Поедешь на автобусе! — взорвался отец.

По пути в Ереван, трясясь в старом грязном автобусе, Мамикон, дитяtko тридцати трех лет от роду, вдруг подумал, вполне серьезно: «Если в Ереване не найдется ничего, за что можно будет зацепиться, брошусь с моста...» Неизвестно, мысли о человеке, которого он сбил, были тому виной или нескончаемо долгая дорога до Еревана (большие «Икарусы» доезжали за семь-восемь часов), или что-то еще, но Мамикон вдруг почувствовал себя очень уставшим. «Ереван на все должен дать ответ. Ереван сам будет ответом. В противном случае — конец», — решил он.

Осев в столице, Мамикон очень изменился. Это был уже не тот беспечный, привыкший жить на всем готовом Мамикон. Настолько изменить человека способна только любовь или какая-нибудь неожиданно овладевшая им идея, потребовавшая для своего осуществления упорной, целенаправленной, тяжелой работы. Это-то и случилось с Мимиконом внезапно.

В Ереван он приехал с явным намерением никогда больше не возвращаться в Дзорк и действительно пополнил ряды «навсегда покинувших провинцию». На деньги, присланные отцом, он снял однокомнатную квартиру в Черемушках и стал думать, чем бы ему заняться. Это уже был прогресс, ибо раньше Мамикону и мысль о работе в голову не приходила. Он целыми днями как потерянный слонялся по городу, забредая в такие уголки, о существовании которых знал далеко не всякий коренной ереванец. Мамикон искал что-то, что именно — он и сам не знал, однако верил, что обязательно узнает, если встретит. Бывает, человек так и не находит того, что ищет, но Мамикону повезло. И то, что он нашел, изменило его жизнь.

2

В одно из ветреных и дождливых ноябрьских воскресений Мамикон, бесцельно гуляя по Еревану, зашел в церковь сурб Григор Лусаворич¹ на улице Амиряна². Это была новая, купольная церковь из белого туфа, строительство которой началось в 1869 году, однако строительные работы протекали с перерывами и завершились только в 1900-м. Спустя два года к восточной стороне была пристроена башня-колокольня. Не то чтобы хотелось помолиться — Мамикон был воспитан в атеистических традициях, — а просто так, как порой заходишь в церковь, не задумываясь зачем. И вот Мамикон зашел в церковь сурб Григор Лусаворич и сел на скамейку. Пахло ладаном и чем-то еще. В церкви никого не было, если не считать пяти-шести нищих, переживающих ветер и дождь. Они что-то ели, расстелив на скамейке старую газету. Мамикон не знал, хорошо это или плохо — есть в церкви, но подумал, что нищим это, наверное, позволено и тер-тер³ закрывает на это глаза.

Мамикон просидел в церкви довольно долго, смотрел то на нищих, то на свечи, ярко горевшие в левой и правой нишах под изображениями Богородицы, Иоанна Крестителя, ангелов и Григория Просветителя, сына Анака из парфянского рода, Анака, который и убил отца царя Трдата Великого — Хосрова. Над алтарем же было изображение распятого Христа с мертвенно-белой кожей. Мамикону казалось, что Иисус безмолвно пытается помочь ему, но он ничего не мог понять...

Когда дождь перестал и нищие стали выходить из церкви, Мамикон тоже решил уйти. Он только не знал, полагается ли зажечь свечку. И тут он увидел, как в церковь входит маленькая старушка в черном. Она закрыла зонтик и быстрыми шагами прошла к правой нише, где находилось изображение Григория Просветителя. Старушка открыла сумочку, достала завернутые в носовой платок свечи, зажгла одну и воткнула в песок рядом с другими. Постояв немного, отошла, села на скамейку, достала из сумочки какие-то фотографии и начала их разглядывать. Мамикон с интересом наблюдал за ней. Каждое ее движение казалось продуманным, имеющим смысл и, наверное, о чем-то говорило. В худой и сморщенной старушке было что-то очень молодое. Заметив взгляд Мамикона, она сказала:

— Хотите посмотреть фотографии?

Тот кивнул и подсел поближе.

Фотографий было три, на каждой — молодой мужчина, все очень разные, но чем-то похожие друг на друга... Все трое — в военной форме.

— Мои сыновья, — объяснила старушка. — Вот этого зовут Ованес, этого — Саргис, а этого — Григор.

— Они военные? — спросил Мамикон.

¹ Церковь святого Григория Просветителя.

² Реальная церковь святого Григория Просветителя была разрушена до основания в 1939 году, и теперь на ее месте стоит школа имени Е.Чаренца.

³ Священник (арм. *простонародное*).

— Нет, — ответила старушка. — Они просто пошли на войну. И погибли. Все трое, в девяносто втором. Девятого мая. В Шуши¹.

— Простите...

— Ничего. Вы ведь не знали.

— Да, — сказал он. — Не знал.

Маленькая старушка опять стала перебирать фотографии.

— Видите, какие они красивые? Все пошли в отца. Он был красавец, не то что я... Но он меня любил! Очень любил!

— А где теперь ваш муж?

— Махацел а. Вагуц...² И с тех пор я одна, — констатировала отрешенно старушка.

— И как вы живете одна? — спросил Мамикон, думая о чем-то своем.

— Живу... — был ответ. — Да, живу... И каждое воскресенье хожу ставить свечи. Сначала в церковь сурб Ованес-Мкртич, потом по улице Прощяна и Пароняна спускаюсь в церковь сурб Саргис, потом по Проспекту — сюда, на улицу Амиряна, в церковь сурб Григор Лусаворич. Я только в эти церкви и хожу, потому что моих сыновей зовут Ованес, Саргис, Григор... Звали...

— А я в церковь вообще не хожу, я неверующий, — сказал Мамикон, как бы извиняясь. — Сам не знаю почему.

— Если не знаешь... может, лучше и не ходить, — сказала старушка. — Хотя нет, плохо быть неверующим... — Потом добавила: — В церковь нужно ходить всегда. Даже если неверующий.

— Я не могу, — сказал Мамикон. — Сегодня зашел случайно. Проходил мимо, вот и решил зайти.

— Многое бывает случайно, а потом понимаешь, что эта случайность — сама судьба. Моих сыновей тоже убили случайно...

Маленькая старушка спрятала фотографии в сумочку и собралась уходить.

— Дайте мне одну свечку, — попросил Мамикон. Старушка дала ему две и вышла из церкви.

Мамикон посидел, потом встал и поставил две свечки перед святым Иоанном Крестителем. Он не знал, почему сделал это. Постояв немного, он вышел из церкви. Дождя уже не было, но Мамикон пошел быстрыми шагами, как будто спешил куда-то. Его взволновала мысль, мелькнувшая в голове, когда он разговаривал со старушкой: сколько вообще в Армении церквей?

На следующий день Мамикон опять пришел в церковь сурб Григор Лусаворич, дождался тер-тера и, познакомившись с ним, спросил, знает ли тот, сколько в Армении церквей. Сурб-хайр³ ничего конкретного на этот счет сказать не мог, сообщил какую-то приблизительную и предположительную цифру, которая показалась Мамикону преувеличенной.

Тогда Мамикон решил начать с малого и поехал в родной Дзорк, где первым делом пошел в местное ведомство по охране исторических памятников при Министерстве культуры. Начальник ведомства, маленький человечек с лысой головой, но с густой бородой, не докурив одну сигарету, сразу же закуривавший следующую, тоже ничего точно сказать не смог. Все названные им цифры сопровождались словом «около». В конце концов начальник приказал своей секретарше — не по годам молодящейся женщине — принести какие-то таблицы по Дзоркскому району, и Мамикон было обрадовался, но начальник по охране памятников предупредил, что и в таблицах сведения неполные.

— Церквей и монастырей в Армении вообще, и в Дзоркском районе в частности,

¹ Военная операция, проведенная 8—9 мая 1992 года, вследствие которой был освобожден город Шуши.

² Умер. Давно еще. (арм.).

³ Святой отец (арм.).

намного больше, просто многие не занесены ни в какие каталоги. — К тому же за последние годы построены новые, — сказал он.

— Но есть ли хоть один человек, который знает, сколько в этой стране церквей? — не выдержал Мамикон и закурил.

— Нет, — спокойно ответил лысый бородач. — Этого не знает никто. Ведь никто не считал...

— А почему ваше ведомство не считает? Почему не ведется подобный учет?

— А никому дела нет до всего этого. К тому же для такой работы нужны средства. А денег-то нет! У государства нет денег! Почему народ не хочет этого понять?!

— Но мне нужны — слышите? — нужны эти данные!

— Могу дать только один совет. Обратитесь в Министерство внутренних дел, ну, или в Министерство национальной безопасности...

— Куда?!

— Да-да, именно туда, куда я вам посоветовал.

Мамикон попрощался, ушел, и с этого дня началась одиссея его хождений по кабинетам разных представительств МВД и МНБ Дзорского района. Он обивал пороги двух самых влиятельных в стране министерств весь ноябрь, всю зиму и весну. Никто не мог — или не хотел — дать ответ на его вопрос: сколько же в Армении церквей? Вскоре он понял, что его, Эш Мамикона, не спускают с лестницы лишь потому, что у него такой уважаемый в стране отец (если в 1996 году Рафаэл Суренович был уважаем в границах Дзорского района, то уже к 1998 году уважение к нему распространилось за пределы района и приняло республиканский характер, а в 1999-м Рафик стал депутатом Национального собрания).

И вот однажды, в конце мая 1998-го, сына Суреныча пригласил в свой кабинет начальник какого-то отдела нацбезопасности, очень вежливый человек, все время улыбающийся деланной нарочито наивной улыбкой, хотя было совершенно очевидно, что за ней скрывается настоящий профи. Высокий, красивый, усатый, сероглазый, он представился как полковник Шаварш Багратович Киракосян, или просто «полковник Шаварш», что звучало, по правде говоря, несколько комично. Его дед, энкавэдэшник «полковник Баграт», выступал на пленуме Дзорского райкома партии перед самой войной, в сорок первом, и из-за этого его выступления чуть было не арестовали деда Мамикона, Аршака Ашотовича Унаняна. Но Мамикон об этом не знал.

— Нам известно, по какому делу вы к нам пришли, — сказал полковник Шаварш. Мамикон вспыхнул:

— Еще бы! Я уже полгода обиваю пороги ваших кабинетов, и все без толку!

Начальник отдела опять слащаво улыбнулся.

— Вы должны нас простить. Это следствие некоторой нерасторопности наших сотрудников, с одной стороны, и характера деятельности нашего министерства — с другой. Вы меня понимаете?

— Лучше, чем вы думаете, — ответил Мамикон.

— Прекрасно, что вы все так хорошо понимаете. — Полковник Шаварш прищурился. — В таком случае позвольте вас спросить: зачем вам это нужно?

— Просто так! Я задался этим вопросом и хочу получить на него ответ. Что в этом недозволенного?

— Прекрасно! А зачем вы переехали жить в Ереван из Дзорка, а потом вернулись в Дзорк? Вам, кажется, неплохо жилось в Ереване... Вы исправно платили за квартиру в Черемушках...

— Это мое личное дело.

— Хорошо, — сказал начальник отдела. — А вы знаете, что человек, которого вы сбили около двух лет назад, недавно скончался? Причиной его смерти признаны те травмы, которые он получил вследствие ДТП.

— Я не знал об этом...

— Ну, стало быть, именно мне выпало сообщить вам эту «радостную» новость.

— Но при чем тут это?

— В общем-то, ни при чем. Но знаете ли вы, что случившееся ставит вас в весьма двусмысленное положение?

— Я вас не понимаю.

— А тут и понимать нечего. По вашей вине умер человек. Это можно сформулировать иначе: вы убили человека, и тут уже не помогут никакие деньги вашего отца. Вы поняли?

Мамикон понял.

— Но какое это имеет отношение к церквям? — спросил он, бледнея и чувствуя, как немеют губы от страха.

— Сейчас объясню. — Полковник Шаварш встал и принялся расхаживать по кабинету. — Те сведения, которые вы пытаетесь получить, засекречены. Они — из тех, что попадают под гриф «совершенно секретно», это государственная тайна.

— И вы мне угрожаете, — догадался Мамикон.

Начальник отдела вновь изобразил слащавую улыбку.

— Зачем так резко? Мы никому не угрожаем. Мы объясняем. Из Еревана попросили пригласить вас и объяснить.

— Тем не менее, я не понимаю, — сказал Мамикон, — за какой надобностью засекречивать данные о количестве церквей и монастырей в республике?!

— Это не вашего ума дело.

— Как же мне быть?

— Займитесь чем-нибудь другим.

— А может...

— Нет! Прощайте, — улыбнулся начальник отдела, полковник Шаварш. — Я не говорю вам «до свидания». Вы понимаете? Передавайте привет вашему батюшке, мы все его очень уважаем. И в Ереване его тоже уважают.

И Мамикон ушел. Он понял только то, что никто не предоставит ему никаких сведений. Ему это ясно дали понять и даже пригрозили. Мамикон вернулся в Ереван. Он был подавлен. Перед ним опять встал вопрос: что делать? И понадобился целый месяц, чтобы принять решение. Оно рождалось трудно, медленно и не сразу обрело окончательные очертания. Но в конце концов Мамикон нашел единственно правильный выход — собственно, с этого и надо было начинать, если б он, конечно, знал заранее, как сложатся обстоятельства, — а именно: самому сосчитать все монастыри, церкви, колокольни и часовенки. Просто ходить по Армении и считать их, описывать, устанавливать дату основания, записывать истории, связанные с ними. Он отдавал себе отчет, насколько масштабна подобная работа, и осознавал всю ее трудность. Но другого пути не было. И еще он смутно предчувствовал, что собираемый им материал когда-нибудь ляжет в основу книги, труда, который он, может быть, напишет.

Получив некую сумму от отца, Мамикон купил все необходимое для путешествия и ранним августовским утром пешком ушел из Еревана. Перед тем как покинуть город, он попрощался лишь с одним человеком. Это был тер-тер церкви святого Григория Просветителя, сына Анака из парфянской династии Сурен-Пахлавов, ветви царского дома Аршакидов, убийцы отца царя Трдата Святого — Хосрова Великого...

Мамикон вышел из Еревана через «восточные ворота», как он всегда называл мост по дороге в зоопарк и Ботанический сад. Он шел и думал о предках. О предках вообще. И вспомнил Плач пророка Иеремии. И Анака Парфянина. И про город свой думал. Он вдруг поймал себя на мысли, что не может сказать, какой город для него теперь *свой* — Дзорк или уже Ереван?

А что касается предков... Слишком многое намешано в наших предках, думал Мамикон. *Отцы наши грешили*. И отцы наших отцов грешили тоже... Может, все началось с основателя нашего рода Унана? Или раньше? А что было раньше? Никто не знает.

Первым был Унан, коренной арцабердский крестьянин. Он занимался земледелием и садоводством. Был известным в округе кузнецом...

3

Унан был коренным арцабердским крестьянином. Занимался земледелием и садоводством. Был знаменитым в округе кузнецом и родил троих сыновей: Григора, Ахагюла и Месропа. Первую мельницу в Арцаберде, которая действовала многие годы, построил именно он. Прибыль же с нее распределялась поровну между семьями сыновей, которые разделились, построив собственные дома, но все равно продолжали жить одной большой и шумной семьей.

Григор долгие годы был кехвой¹. Ахагюл же, известный своей начитанностью, мудростью и стремлением к самообразованию, стал земледельцем, посадил большой фруктовый сад. Ну а Месроп в совершенстве владел ремеслами каменотеса, укладчика стен и кузнеца. Он также занимался садоводством. Говорят, стены медеплавильни, основанной в Дзорке предпринимателем из Шуши Мелик-Азаряном, воздвигал именно варпет² Месроп Унанян. Он же выстелил ложе первого в Дзорке оросительного канала, когда Дзорк только-только готовился стать городом.

У Месропа Унаняна было два сына — Ашот и Арам. Оба окончили местную двухлетку, а став постарше, уехали на заработки в промышленный город Баку.

Ашот в Баку надолго не задержался, уехал в Пятигорск, а потом, узнав о смерти отца, вернулся в родное село, чтобы стать во главе отчего дома. Женился Ашот в 1904 году на дочке почтенного Тер-Аветиса прекрасной Ашхен, которая родила ему четверых детей. Самым младшим из них был Аршак. Но 4 ноября 1914 года в возрасте двадцати восьми лет прекрасная Ашхен умерла, и дом Ашота осиротел. Ашоту с малолетними детьми — особенно с двухлетним Аршаком — помогали теща Ехсапет и свояченица Астхик. Как *первую* маму Аршак запомнил именно тетю Астхик. Ашот женился через три года во второй раз на вдове из села Мегануш, дочери Ависа, пользовавшегося большим общественным авторитетом как сельский глава. Ее звали Парандзем. Выбрал Ашот Парандзем еще и потому, что та была бесплодна, как ему сказали. Но это оказалось не так. Парандзем подняла пришедшее в упадок хозяйство и родила мужу восьмерых детей. Самого младшего, 1936 года рождения, Парандзем назвала Мамиконом в честь утонувшего в реке брата.

Период благосостояния длился недолго, и колесо истории Ашотова дома вновь завертелось вспять. В 1930 году колхозными стали коровы, овцы, свиньи, пчелы и даже двухколесная арба. Старшие дети, включая Аршака, покинули Арцаберд и обосновались в Дзорке, начав работать на медных рудниках. Ашот погиб в 1933-м: упал с дерева, собирая для колхоза орехи. Парандзем умерла в 1939-м, в возрасте сорока трех лет. В том же году обобществили большой фруктовый сад, посаженный некогда Ашотом. Двенадцать детей были вынуждены либо сами зарабатывать на пропитание, либо жить на иждивении родственников, старших братьев и сестер.

Аршак все детство провел в Арцаберде, а юность — в Дзорке. С малолетства помогал отцу Ашоту пасти скотину, ухаживать за садом. Перебравшись вслед за старшими братьями в город, Аршак получил образование в техникуме при медноперерабатывающем заводе и в дальнейшем уже никогда не покидал Дзорку, если не считать годы Отечественной войны. Женился Аршак на Соне из семьи бывшего священника села Арачадзор, дочери Шмавона, погибшего из-за схода лавины, когда он вез через перевал оружие для фидайнов. У Аршака и Соны было три дочери — Норетта, Клара и Ашхен, названная в честь матери Аршака, которой он никогда не видел.

Аршак всю жизнь занимал высокие должности, с тридцатых годов работал в райкоме партии, а после войны был даже председателем горсовета, то есть мэром; тогда-то Дзорк стал действительно городом и начал процветать. Если поехать в Дзорк,

¹ Сельский староста (арм.).

² Мастер (арм.).

то можно будет и в наши дни увидеть посаженные Аршаком платаны вдоль рек Ган и Чаги и пройти по улицам, им же проложенным. Именно Аршак всю жизнь помогал самому младшему сыну отца от второго брака Мамикону, единокровному брату, взяв его жить в дом. Из дома Аршака и Соны Мамикон Аршакович ходил в школу, из их дома уехал учиться в Ереванский политехнический институт. Но Мамикона убили в шестидесятом году. Несмотря на высшее образование, полученное в Ереване, Мамикон Унанян вернулся и, обосновавшись в родном селе Арцваберд, стал простым механизатором. У него был отличный голос, он прекрасно пел. И вот однажды на своем комбайне, единственном, кстати, в колхозе, он собрал хлеб с полей, что простирались за селом Арцваберд, лег отдохнуть немного под деревом, за маленьким оврагом, и по обыкновению запел. Громко, звучно, прекрасно! В тот день он пел фидаинские песни, восхваляющие зоравара Андраника¹ и национальную борьбу. А потом заснул там же, в тени деревца, рядом со своим комбайном. Тогда и зарезал Мамикона азербайджанский пастух из соседней деревни Парахли, что пас своих овец на лугах неподалеку. Зарезал из-за песен...

В доме Аршака и Соны проживал также и сын фронтового друга Аршака — Сурена родом из села Багаберд. Когда Сурен умер, Аршак и Сона взяли к себе в дом его единственного сына, маленького Рафика, оставшегося сиротой. Он тоже из дома Аршака и Соны ходил в школу, из их дома уехал учиться в Ереванский политехнический институт, именно у них дома жил первое время, когда женился на Норетте, старшей дочери Аршака и Соны, пока не обзавелся собственной квартирой. Не без помощи тестя стал Рафик впоследствии директором Дома отдыха в Кармрашене, потом занимал всякие чиновничьи должности, а потом неожиданно для всех разбогател. Аршаку Унаняну это не нравилось. Ему не нравились богатство и пронырливость зятя.

Аршак Ашотович, почетный гражданин города Дзюрк, бывший первый секретарь горкома партии, бывший директор птицефабрики «Дзюрк», бывший председатель Совета ветеранов войны и труда, к концу жизни писал автобиографию, историю своего рода и родного города. Ему многое не нравилось в новой жизни, и он лишь время от времени, вздыхая, говорил жене Соне:

— Больше всего жалею Мамикона. Он все пьет и пьет.

— Во всем виноват твой зять! Он тоже пьет! Поэтому и внук у тебя алкоголик. Виноваты Рафик и еще мир, который сошел с ума! — констатировала бабушка Сона. Бабушка Сона всегда считала неправильным, что Норетта, старшая дочь, назвала своего единственного сына в честь дяди, зарезанного азербайджанцем из села Парахли, то есть Мамиконом. Ведь и тот был назван в честь брата Парандзем, мачехи Аршака, утонувшего в реке Воротан.

— Да... — вздыхал обычно дедушка Аршак, соглашаясь с женой. — Мир сошел с ума. — И думал: «Миры периодически рушатся. Рождаются и исчезают звезды, галактики. Рушится жизнь. И вот мир в очередной раз пошел к чертям». Но это уже было в девяностые, в эпоху страшных зим.

А пока...

4

А пока в очередной раз мир рухнул. Через семь лет после того, как погиб отец Аршака — Ашот, и через два года после того, как умерла Парандзем-мамам. В июне 1941 года, когда Аршаку Ашотовичу было всего двадцать восемь лет, в райкоме партии Дзюрка состоялся пленум. На пленуме, как всегда, присутствовал сотрудник районного НКВД — Баграт Шаваршович Киракосян («полковник Баграт», как он любил представляться. Комично это звучало, по правде говоря. Высокий, красивый, усатый,

¹ *Андраник Торосович Озанян* (1865—1927) — один из лидеров армянского национально-освободительного движения конца XIX — начала XX века, национальный герой армянского народа. Также известен как *Полководец Андраник*, *Генерал Андраник* (в Российской империи).

сероглазый «полковник Баграт».) Он-то и выступил в конце заседания с речью, в которой, коснувшись международного положения и приведя цитаты из речей великого вождя всех времен и народов Сталина, указал на то, что в Дзорке все еще проживают недобитые интеллигентские личности старой формации, которые могут быть опасны именно в силу своего гнилого происхождения — таких людей надо арестовывать и, если не расстреливать сразу, то хотя бы отправлять в ссылку. Тогда это называлось «чистками».

— Например, — сказал Баграт Шаваршович, — небезызвестный в Дзорке школьный учитель Айк Ависыч! Да, именно Айк Ависыч. Неизвестно, как он учит наших детей и насколько вредно его «воспитание» в целом. Арестовать! Причем, надо добиться того, чтобы в этом деле — в деле очистки нашего города от недобитых интеллигентов — работники райкома принимали самое действенное участие. Поручим подобные дела нашим младшим товарищам. Мы предлагаем, например, арест школьного учителя поручить Аршаку Унаняну. И ничего, что Айк Ависыч — кери¹ товарища Унаняна. Аршак Ашотович, хоть и член партии, сам был сыном *середняка*, и поэтому мы обязаны проверить его. Мы, товарищи, должны быть бдительными относительно своих собственных рядов...

Сразу после пленума член партии с 1930 года товарищ Саргсян, человек уже пожилой, держа в руке смешную фетровую шляпу, со всех ног бросился в сторону железнодорожного депо. Двадцативосьмилетнего Аршака Ашотовича Унаняна он нашел именно там. Подойдя к нему очень близко, товарищ Саргсян быстро зашептал ему в ухо, почти не размыкая губ:

— Был пленум. Тебе поручили арестовать Айка ами², но ты не должен этого делать, потому что он брат твоей матери. Поэтому сделай так, чтобы тебя *не нашли* в Дзорке сегодня: тебя отправили в Баку передать тамошним товарищам секретный пакет. Вот этот пакет. Должен был отвезти я, но отвезешь ты, потому что я «заболел». Все.

Аршак Ашотович все понял и прямо в железнодорожном депо сел на лошадь и усакал в Баку. Айка Ависыча все равно арестовали. И сослали на Алтай. В родной Дзоре он вернулся уже после XX съезда партии³. Но зато Аршак Ашотович не запятнал свою совесть и остался жив (ведь если бы он не выполнил решение пленума, его наверняка расстреляли бы). А 22 июня 1941 года началась Отечественная война, и уже всем было не до него — мир был разрушен в очередной раз.

Война закончилась для Аршака Унаняна чуть позже, чем для других. До сорок шестого года он оставался в освобожденной Праге и вернулся оттуда с необычным подарком для бабушки Соны: набором из скатерти и шести салфеток, красиво расшитых узорами. Так вот: скатерть и пять салфеток были голубого цвета, а одна — желтого. На недоуменный вопрос бабушки Соны, почему одна салфетка другого цвета, Аршак объяснил, что такой же набор приобрел его боевой товарищ Сурен из Багаберда. Только у Сурена скатерть и салфетки были желтыми. Вот они и обменялись одной салфеткой в память друг о друге и о Праге. Этот набор бабушка Сона хранила до конца своих дней. Несмотря ни на что.

Уже после войны у Аршака и Соны родилась третья дочь, Ашхен, любимица. А в марте 1974 года — любимый внук, Аристакеc. Мужа Ашхен, отца Аристакеcа, звали Вардан. Ашхен и Вардан познакомились восемнадцатого мая.

Это случилось восемнадцатого мая. Был чей-то день рождения, и Ереван, куда Ашхен приехала учиться на филфак Государственного университета из родного Дзоре, был весь заснежен тополиным пухом, а на улицах продавали сирень...

Еще совсем недавно всем казалось, что наступил решительный поворот в истории XX века: рождались новая музыка, новая поэзия... Молодежь поверила в будущее, потому что жить стало немного легче. Были шестидесятые с их «yes, yes, yes»,

¹ Дядя, брат матери (арм.).

² Дядя, брат матери (тур.).

³ Съезд КПСС 1956 г., на котором был осужден культ личности Сталина.

а до «по, по, по» семидесятых было еще далеко. В ереванских кафе (например, в «Поплавке», или «Парусе», как теперь оно называется, напротив драмтеатра) часто звучали стихи. Просто кто-то вдруг вставал и начинал читать свои стихи. И уже были узкие брюки, и в моду вошли водолазки. Модно было говорить о физике, атомах, космосе (человек полетел в космос!!!), об альпинистах или геологах. Модно было носить бороду, пускаться в дальние походы с рюкзаком и гитарой за плечами. Жизнь казалась легкой, и за горизонтом таилось будущее, светлое-светлое...

Вардан и Ашхен точно помнили, что это было восемнадцатого мая, когда уже наступили семидесятые и Ереван был заснежен тополиным пухом, и на улицах продавали сирень...

Они собрались у кого-то на дне рождения, все были молоды, пили шампанское и танцевали под «Beatles». Вардан сел рядом с Ашхен и курил сигарету за сигаретой, а она ела апельсин, и он сказал, что ему это напомнило Хемингуэя, и это сразу же подкупило ее, потому что она была помешана на «папе Хэме», особенно ей нравилась «Фиеста». Они познакомились, и он признался, что не любит «Beatles». Ей это показалось страшно оригинальным, хотя сама она очень любила песню «Мишель». Зато он был без ума от Шарля, и это решило все, ибо она тоже была от Шарля без ума. Ашхен решила, что это и есть ее Жан-Луи Трентиньян, хотя Вардан и не был гонщиком. В ту пору она носила прическу а-ля Анук Эме и поправляла волосы совсем как героиня фильма «Мужчина и женщина». Ашхен очень любила этот фильм, правда, ему он не нравился, но в то время это не имело значения, а в тот самый день, восемнадцатого мая, ничего вообще не было, только она решила, что это — ОН. Вардан же вообще никаких решений не принимал и даже осознал, что любит Ашхен, много позже, и тогда они поженились. Ашхен мечтала дать своему сыну имя Аристакес. Это имя нравилось ей всегда, и Вардан принялся рассказывать, что был такой святой Аристакес Первый, который родился в Каппадокии, был вторым армянским католиком, младшим сыном святого Григория Просветителя.

— Того самого Григория Просветителя? — спросила Ашхен.

— Конечно! Аристакес был сыном Григория Просветителя, который в свою очередь был сыном Анака из парфянского рода, убийцы отца царя Трдата Великого — Хосрова.

— Как ты много знаешь! — восхитилась Ашхен.

— А еще моего отца зовут Аристакес... — добавил Вардан.

И когда мальчик родился, Ашхен и Вардан дали ему имя Аристакес.

5

Тогда Аршак Ашотович Унанян уже построил дачу в Кармрашене, в двадцати четырех километрах от Дзорка, по дороге в Веревунк.

На дачу в Кармрашен ездили каждое лето. После девяносто первого года, то есть после наступления независимости, дачный поселок Кармрашен стал для дочерей Аршака и Соны и для внуков и внучек потерянным раем. Потерянным навсегда. После девяносто первого уже ничто не было таким, как прежде. Ведь миры периодически рушатся. Периодически рождаются и исчезают галактики и звезды. Периодически рушится жизнь.

А в те времена, когда еще казалось, что устоявшийся мир вечен, то есть до школы, в том счастливом большом детстве, маленький Аристакес жил у дедушки Аршака и бабушки Соны — осенью, зимой, весной в Дзорке, а летом — на даче, в Кармрашене. И Ашхен с мужем Варданом приезжали в Дзорк на поезде навещать сына. Иногда каждые выходные, иногда реже. А с некоторых пор мама Ашхен стала приезжать одна. И маленький Аристакес не понимал почему. И не понимал, где отец. Он только точно знал, что мама, когда уезжала, скучала по нему. И это его примиряло с разлукой.

В тот день, холодным январским утром 1978 года, на высоком подоконнике, в

красивой светлой спальней комнате, на коленях, прижавшись лбом к холодному окну, сидел четырехлетний мальчик с коротко стриженными волосами. Он смотрел на улицу, на проезжающие внизу автомобили и спешащих куда-то прохожих. Недавно был Новый год, и воздух все еще пах празднично и по-новогоднему, и дух самого праздника еще не отшумел и не растаял. В гостиной стояла огромная елка с пятиконечной звездой на макушке, с тяжелыми, но хрупкими шарами; елка блестела всякими «дождями» и «серпантинами». А под большим столом в упаковочных коробках, которые мальчик имел привычку хранить, лежали игрушки. Его приводила в восторг мысль, что они все там, в гостиной, и так удивительно пахнут, эти новые игрушки. Можно было сидеть еще и еще на подоконнике в спальне, а потом пойти в гостиную, зажечь огни на елке, сесть на пол и, вытащив из-под стола новые игрушки, «знакомить» их со старыми. Это была такая игра, лицо мальчика при этом было сосредоточенно, а на душе — безмятежно счастливо, как бывает только в детстве, а детство у него было большое, очень большое и счастливое...

Аристакеc часто прижимал к лицу игрушки и с наслаждением вдыхал новый запах. Это было время запахов, которые вскоре превратятся в воспоминания и не вернуться уже никогда.

Поставив машины в «гараж», он стал смотреть, как вращаются спиралеобразные ленты в электрическом камине и отбрасывают странные тени на экран. Перед камином мальчик тоже мог проводить целые часы. Ему приятно было сидеть и чувствовать, как от электрического тепла у него пылают щеки и «горят» глаза. Как и очень многое другое, этот старый камин Арис запомнит на всю жизнь.

Потом в гостиную вошла бабушка Сона, принесла с собой запах чего-то очень вкусного.

— Хочешь пойти с дедом погулять? — спросила она.

— Да.

— Тогда давай одеваться.

И вот четырехлетний мальчик, одетый с помощью бабушки, стоит у входной двери и нетерпеливо смотрит, как медленно — о, слишком медленно! — одевается дед.

— Папи¹, скорее же! — крикнул мальчик, потеряв терпение.

— Снег не растает, — ответил с расстановкой дед и улыбнулся ему.

Они вышли на улицу. Воздух пах снегом, и мороз весело щекотал в носу. Быстро замерзшей рукой Аристакеc держался за всегда теплую руку деда, и они шли по улицам маленького Дзорка.

Деда без конца останавливали знакомые, и он подолгу разговаривал с ними. А внук, решив сначала для себя, «добрый» ли знакомый или «злой», отходил в сторону и принимался играть в снегу. Часто, задыхаясь от восторга, Аристакеc окликал деда и показывал на свое пальто, белое от налипшего снега, и тогда дед смотрел на него и улыбался...

Но вот очередной разговор закончен, и мальчик со стариком продолжили путь.

— А он добрый, этот дядя, или злой? — спросил мальчик, держась за руку деда и подпрыгивая от возбуждения.

— Скорее добрый, — ответил дед. — Он добрый и несчастный.

— А кто он?

— Это дядя Рафик. Ты его не узнал?

Мальчик ничего не ответил, и они пошли дальше. Когда проходили большой мост, он остановился, чтоб посмотреть, как течет внизу Ган. Летом Аристакеc будет уже большой и с другими мальчиками пойдет ловить рыбу, стоя, как и они, в воде. А сейчас река спала, и на ней образовались островки, засыпанные снегом.

Дедушка был уже далеко и звал его. Мальчик подбежал к нему и, как обычно, взял за руку. И вдруг в голове его мелькнула потрясающая мысль: он нагнулся, набрал ковшиком ладони снег и лизнул...

¹ Папи (разг. арм.) — дедушка, дед, деда.

— Не ешь снег! — сказал строго дед, отряхивая варезку внука.

— Но он вкусный!

— Здесь он грязный, — улыбнулся дед, а потом, подмигнув, добавил: — В сквере он намного чище...

Когда они дошли до парка, за которым была мэрия, пошел снег. Пошел снег, и стало темнеть, и было хорошо смотреть на желтые фонари в парке. Или же можно было просто стоять и, запрокинув голову, смотреть вверх, на черное небо, и чувствовать на щеках, губах и ресницах обжигающие снежинки. Мальчику было хорошо, тепло и даже жарко, и он поел-таки вкусного *чистого* снега, и щеки его пылали...

Мальчик огляделся и увидел деда, сидящего одиноко на скамейке. Он был весь в снегу, сквозь который кое-где чернело его старое пальто. Он сидел, как-то съездившись, держа руки в карманах. Мальчик понял, что деду холодно.

— Пойдем домой, папи, я устал, — сказал мальчик и поцеловал его в чисто выбритую щеку, как-то удивительно пахнущую дедушкиным «Шипром». Аршак Ашотович улыбнулся, улыбнулся так, как всегда улыбался, улыбкой, которую мальчик будет помнить вечно и вспоминать, когда становилось трудно.

— Пойдем, — сказал он, — тати¹ приготовила что-то вкусное.

Аристакес снял мокрую от снега варезку, и Аршак зажал в своей теплой руке маленькую ручонку внука. А мальчик подумал, что, несмотря ни на что, рука у деда даже без перчатки всегда теплая.

Хорошо было вернуться в теплый светлый дом после снежных сказочных улиц, освещенных желтыми фонарями. И по всей квартире разносился запах чего-то очень вкусного, и Аристакес догадался, что бабушка приготовила то, что он очень любит: котлеты. Он любил горячие котлеты запивать горячим сладким чаем.

Бабушка снимала с него пальто, а он все время норовил вырваться и прыгал от возбуждения.

— Тати! Я ел чистый снег! — крикнул Арис, не выдержав. Бабушка сурово сдвинула брови и посмотрела на деда. А тот тихо рассмеялся.

— А если он заболит? — спросила сердито бабушка Сона. — Что я скажу Ашхен?

— Не заболит, — уверенно ответил дед Аршак.

— Отвечать будешь ты! — Бабушка повернулась и ушла на кухню.

Аршак все еще смеялся.

— Бабушка ничего не понимает, — сказал он Аристакесу, а Аристакес пошел в кухню и сел на табурет. Бабушка колдовала у плиты.

— Снег был вкусный и чистый, так что я не заболею, — сказал он, и бабушка уже улыбалась.

— Скажи дедушке, что мы сейчас будем ужинать, пусть режет хлеб.

— Тати, а можно я это сделаю? Я уже большой!

— Нет. Он ведь дедушка! Хлеб всегда режет дедушка.

Аристакес встал и вышел из кухни, но бабушка остановила его.

— Завтра мама приезжает...

И Аристакес почувствовал, что немеет от счастья.

— Мама? МАМА?!

— Да. Она уже в поезде.

— Она в поезде и приезжает ко мне?

— Да.

— Из Еревана?

— Конечно.

Аристакес побежал в гостиную. Там в кресле перед телевизором сидел дед; у него на коленях лежала развернутая газета. Дед явно спал. Аристакес крикнул:

— Аршак-папи! Завтра мама приезжает!

¹ Тати (разг. арм.) — бабушка.

Дедушка вздрогнул и открыл глаза. Сначала он ничего не понял, но Аристакеc продолжал прыгать на месте и кричать:

— Она уже в поезде и приезжает ко мне!

Дедушка усадил четырехлетнего Аристакеcа себе на колени.

— Завтра мама приезжает? — переспросил он.

— Да. Поездом!

— В таком случае ты точно не должен заболеть. — Потом позвал бабушку: — Сона! Поставь чай: к нему завтра мама приезжает...

— Я и без тебя знаю, что ребенку нужно чаю, — пробурчал из кухни сердитый голос бабушки. — Да! Чтоб не заболел. Нечего было позволять ему есть снег... Режь хлеб!

Они ужинали в гостиной. Аристакеc ел горячие котлеты и запивал сладким чаем. Бабушка с дедушкой разговаривали.

— Я видел Рафика.

— Как он?

— По-прежнему.

— А Мамикон? Что сказал Рафик? Мамикон пьет?

— Да. В городе его называют «ишак Мамикон».

— Что делается! — сказала бабушка Сона, а потом, обращаясь к Аристакеcу: — Ешь, ешь, а то мама приедет завтра и скажет: «Какой у меня худой сын!»

Аристакеc знал, что он вовсе не худой, а очень даже толстый, и щеки у него видны сзади, как у хомяка, но бабушке все казалось, что он худой.

Вечер проходил тихо и спокойно. Чувствовалось, что за окном идет снег, хотя он и не был виден. Аристакеc сидел за письменным столом деда в нише гостиной и рисовал. Горела настольная лампа с желтым абажуром, и он смотрел на книжные полки, за стеклами которых были его, Аристакеcа, фотографии. Потом смотрел на деда: тот сидел в кресле, смотрел телевизор и одновременно читал газету, вернее, у него не получалось делать ни то, ни другое: он просто засыпал. Рядом с ним на тахте сидела бабушка и вязала жилет (ему, Аристакеcу). Она вязала и слушала телевизор. Слышен был стук старых часов. Они не тикали, а именно стучали, и ночью их стук был слышен даже в спальне.

Аристакеc выключил лампу и пошел к бабушке.

— Тати, а ты мне расскажешь сказку перед сном?

— Конечно. Как всегда.

— Я хочу, чтоб ты рассказала мне ту сказку... Помнишь? В тот день, когда я упал с велосипеда, ты ее рассказывала.

— Обязательно, раз ты хочешь ту. Сейчас помою посуду, а потом пойдем спать, и я расскажу тебе сказку. Ты заснешь, а утром приедет мама.

— Хорошо, что приезжает мама, правда?

— Ну конечно!

И вот уже сказка рассказана. Бабушка молчала, но Аристакеc точно знал, что она еще не спит.

— Татик, а почему у меня нет брата? Я очень хочу, чтоб у меня был брат. Я бы его *тоже* любил.

Бабушка промолчала, ничего не ответила, а Аристакеc услышал тяжелый вздох дедушки — оказывается, тот тоже еще не спал. Аристакеc спрятался с головой под одеяло и постарался уснуть.

«МАМА ПРИЕЗЖАЕТ!» — думал он.

Утром Ашхен действительно приехала.

Было солнечно и морозно, и не верилось, что вечером опять пойдет снег, а между тем так бывало каждый день. Аристакеc с дедом Аршаком стояли на перроне и ждали поезд из Еревана. Замерзший снег хрустел под ногами, и Аристакеc боялся, что мама не приедет или с поездом что-то случится. Но вот поезд подъехал, медленно раскачиваясь, и Аристакеc увидел маму. Сначала он увидел ее в окне купе; она помахала ему рукой,

и у него запрыгало сердце. Потом она вышла из вагона, и он бросился к ней. От нее пахло какими-то волшебными духами, и мальчик вдыхал их запах, когда мама целовала его. Потом мама поцеловала деда Аршака, и дед обнял ее. Они пешком пошли домой — вокзал был рядом с домом: мама, бабушка и между ними Аристакеc. Бабушка нес мамин чемодан, а он — ее сумочку, чтобы что-нибудь тоже нести. Мама что-то рассказывала бабушке, дед все молчал, слушал. Аристакеc тоже молчал, но не вслушивался в то, что рассказывала мама, а лишь смотрел на нее. У мамы был длинный-предлинный красный шарф с узелками на концах, и он думал о том, что очень любит этот шарф, любит маму и вообще влюблен в нее. Неужели мама приехала?! — не верилось ему. Еще он думал о том, какие подарки она ему привезла.

Бабушка встретила их; Аристакеc видел, что на глазах у нее слезы. Мама сняла пальто, шарф и показала ему подарки, которые привезла из Еревана, а он показал ей свои новые машины, и мама терпеливо выслушивала: эта машина всегда очень серьезна, а эта всегда почему-то смеется... А потом они завтракали.

После завтрака Ашхен и Аристакеc пошли по магазинам. Ашхен всегда говорила, что того, что есть в провинциальном Дзорке, в Ереване не найти. Большую часть покупок опять составляли подарки ему, Арису.

Когда приезжала мама, она с сыном спала в гостиной; Аристакеc — на тахте, Ашхен — на раскладушке. Она, как и бабушка, рассказывала ему перед сном сказки, но чаще — пела. У Ашхен был низкий, очень красивый голос, и она ему пела колыбельные песни. Он очень любил мамин голос, а когда она заканчивала песню, притворялся спящим. Тогда Ашхен включала лампу на письменном столе (желтый абажур) и, подперев голову ладонью, читала книгу. Аристакеc осторожно открывал глаза, смотрел на нее и улыбался, когда улыбалась она, прочтя в книге что-то смешное. Но вот свет выключался, и слышно было, как мама кутается в одеяло. Можно было спать!

А потом наступило утро. Солнце смотрело в окно и освещало гостиную. От этого все в комнате улыбалось. Елка была совсем другой, нежели ночью, не такой сказочно волшебной, и тоже улыбалась. Часы стучали каким-то утренним стуком, а телевизор все еще спал. У Аристакеcа сердце радостно екнуло: ведь мама приехала... Он слышал ее голос из кухни. Она пила свой неперменный утренний кофе и беседовала с бабушкой. Дед пошел на работу. Был понедельник.

— Не разбудить ли его? — спросила мама.

— Ашхен-джан, пускай спит, — ответила бабушка. — А мы приготовим ему что-то вкусное на завтрак.

И тогда Аристакеc закричал:

— Мама, я уже проснулся!

В гостиную вошла мама и поцеловала его. Она была в халате, надетом поверх ночной сорочки, и от этого он почувствовал себя счастливым: значит, сегодня мама не уезжает.

Потом опять был вечер. Они все сидели в гостиной. Как обычно: дед в кресле смотрел телевизор или читал газету, бабушка на тахте вязала внуку жилет, рядом с ней мама читала книгу. А он, Аристакеc, рисовал автомобили, сидя за письменным столом деда. Он думал о том, что ему очень хочется спросить маму о брате, сказать, что ему очень хотелось бы иметь братика, но понимал, что сейчас об этом не надо спрашивать. Сегодня Ашхен была очень грустная, глаза ее печалились, и, когда она поднимала их от книги и смотрела на него, он видел в них какую-то непонятную ему тоску. И ему хотелось крикнуть ей: «Ни о чем не думай, ни о ком! Ведь у тебя есть я, твой сын, есть бабушка и бабушка, и никто не может тебя любить так, как мы. Улыбнись мне, и я поцелую тебя и буду рассказывать тебе о реке, о том, что летом я стану уже взрослым и смогу ловить рыбу... Только ты обязательно улыбнись, ну пожалуйста! Бабушка сейчас принесет чай, и мы будем ужинать... А потом ты возьмешь меня с собой в Ереван. Ведь правда? Мы уедем вместе? И там я никому в обиду тебя не дам. Только

улыбнись. Сейчас. Улыбнись, чтоб я мог жить, чтоб я не умер. Я умираю, когда ты грустная; я думаю, что ты грустишь из-за меня...»

Он смотрел на свою маму: она читала книгу. Она читала быстро, то и дело переворачивая страницы. А потом вдруг захлопнула книгу и посмотрела на сына. Она улыбалась. Очень-очень счастливо. Он бросился к ней и поцеловал. Он жил. Он это чувствовал. И тогда еще не знал, что ровно год назад, таким же январским вечером, поезд увозил в Ереван его отца, Вардана. И не знал, не мог знать, как тот, еще на перроне, заметил незнакомую молодую женщину, которую провожал незнакомый мужчина одного с ним возраста, в дурацкой старомодной шляпе. *А потом* оказалось, что отец Аристакеса и эта молодая женщина едут в одном двухместном купе. *А потом* — что на станции Нахичеван поезд простоял целых два часа. *А потом* — что все было как-то не так, когда наступило утро. Ведь по утрам всегда бывает как-то не так...

6

По утрам всегда бывает как-то не так... И утром поезд ехал быстрее, стараясь, казалось, наверстать потерянное время. И это было в те времена, когда еще ходили поезда Ереван — Дзюрк — Ереван.

Монотонно стучали колеса, вагон раскачивало из стороны в сторону, время от времени слышался гудок электровоза где-то там, впереди. Было утро. За окном виднелся снежный пейзаж, мелькали телеграфные столбы, далеко за равниной поднималась снежная вершина Горы. Через полтора часа поезд прибудет в Ереван...

В двухместном купе было тепло. Он и она уже проснулись, оделись и сидели друг перед другом, смотрели из окна на равнину, на Арарат, на то, как вороны опускаются на поля. Теперь, утром, все было по-другому, он и она опять перешли на «вы».

— Так вы хотите, чтоб я рассказал о себе? — спросил он.

— Да. Хочу. И это тоже останется со мной. У нас еще полтора часа впереди...

— Как-то непривычно говорить о себе.

— А вы не скромничайте.

— Ну... ладно. Начало похоже на биографию, какую пишут при поступлении на работу. Я родился в таком-то году в Ереване, в самой что ни на есть среднестатистической семье: папа у меня инженер, мама филолог. Меня отдали в среднестатистический детский садик, потом я поступил в такую же школу, учился на средние оценки, в классе был неприметным, ничем не выделялся, но в то же время с некоторых пор стал чувствовать в себе какую-то силу, не помню, когда это началось. Мне стало казаться, что я могу нечто, чего другие не могут; мне показалось вдруг, что я и чувствую иначе, чем другие... Короче, для окружающих я был самым средненьким пареньком, но самому себе таковым не казался. После школы я долго раздумывал, в какой институт поступить, и никак не мог выбрать себе профессию — я и тогда носил очки, так что армия мне не грозила. И вот однажды мне в руки попал томик стихов Бодлера; я прочел стихи — и был сражен, я понял, к чему могу приложить свою силу... Да-да! Вы улыбаетесь, но это именно так! Во мне что-то взорвалось. Та сила, которую я смутно ощущал, нашла выход, подобно лаве — простите за банальное сравнение. Я написал стихотворение, очень похожее на бодлеровское, но оно мне не понравилось, и я его сжег. Потом родилось второе стихотворение, затем третье, четвертое и так ровно тридцать два стихотворения, одни лучше, другие хуже, но их я уже не сжигал, а отпечатал на машинке, которую попросил у друга, — теперь он знаменитый писатель. Я носился с этим сборником по городу, показывал друзьям и даже незнакомым — однажды подошел в парке к старику, абсолютно чужому, и попросил прочесть мои стихи. Одни хвалили, другие советовали поработать еще, но в общем-то тоже хвалили, и я понял, что мои стихи кое-чего да стоят. Потом в моей жизни произошло событие, которое перевернуло всю мою жизнь, стало причиной моего несчастья и счастья одновременно: я встретил девушку, полюбил ее и, как это ни удивительно при моей природной робости, она полюбила меня... Мы познакомились восемнадцатого мая, на

чем-то дне рождения. Понятно, я дал ей прочесть свои стихи. Она пришла от них в восторг, сказала, что сборник нужно опубликовать, но добавила: жаль, что стихов в сборнике тридцать два, и предложила мне написать тридцать третье стихотворение, что я и пообещал ей сделать. Естественно, цифра тридцать три к чему-то обязывала, и в голове у меня завертелись мысли и образы, связанные с Евангелием. Я думал несколько дней, потом однажды ночью, внезапно, в полусне, появилась первая строчка; она звучала так: «Вчера Христа распяли в Иудее...» Я записал ее и лег спать, так и не сумев найти продолжение. На следующий день опять ничего не вышло. И так никогда больше... С тех пор я больше ничего не смог написать. Сначала я решил: пока не напишу это, не пошлю в редакцию журнала ни одного другого стихотворения из моего сборника; потом решил наплевать и написать совсем другое стихотворение, но у меня опять ничего не вышло. Так я перестал писать стихи. Иногда, как сумасшедший, напишу ту самую строчку — «Вчера Христа распяли в Иудее...» — и на том дело кончается. Потом я поступил в Политехнический институт и стал, как и отец, самым что ни на есть среднестатистическим инженером. А женился я на той самой девушке, которая посоветовала мне написать тридцать третье стихотворение. Ее зовут Ашхен. У меня родился мальчик, мы назвали его Аристакес...

— А что вы делали в Дзорке?

— Разводился с женой.

— Смешно...

— Очень! Теперь я «средний» во всем, такой же, как миллионы других, стал скучным, а иногда и занудливым... — Он усмехнулся. — Вот вам моя история. Я так и остался среднестатистическим человеком с обидным ярлыком: неудачник. Что же касается той силы, которую я в себе когда-то чувствовал, то она все более и более во мне угасала, пока не погасла совсем...

— М-да... — сказала она. — Грустная история. А у меня история совсем простая. Влюбилась, он меня бросил, когда я была беременна, потом родила сына, так замуж и не вышла, имела множество любовников...

— И последнего вы бросили вчера вечером на перроне вокзала, — закончил он.

— Да. Вы правы.

Поезд приближался к Еревану. И он, и она знали, что больше никогда не встретятся, однако каждый уносил в себе историю другого.

В тот день по прибытии в Ереван Вардан, отец Аристакеса и бывший муж Ашхен Унанян, так и не пошел на работу, а прямо с вокзала отправился к своим давним друзьям и напился. Потом поехал домой, заснул (вернее, забылся в полудремоте-бреду) и проснулся уже ночью. Он подумал, что мир его рухнул. Что больше ничего уже нельзя сделать; пить он больше не мог и жалел об этом. Когда состояние полудремоты-бреда отпустило его, Вардан, не вставая с дивана, через плечо посмотрел в открытое окно и так и остался сидеть, уставившись в него, пока перед самым рассветом не увидел падающую звезду. Звезда падала очень красиво, медленно, величественно. Она плыла по черному небу, царственно кланяясь другим звездам — налево кивок, направо кивок, — а потом исчезла так же неожиданно, как и появилась. И он спохватился: желание забыл загадать!

Неизвестная женщина из поезда так никогда и не узнает, что ее попутчик через год снова сойдется с женой Ашхен (но это случится лишь летом), и у них родится второй сын, которого нарекут Аршак, в честь бабушки, и которого все всю жизнь будут называть Аршо.

Да, это было летом, тем самым летом, когда однажды Аршак Ашотович Унанян привез с собой на дачу в Кармрашен телеграмму. Никому ничего не сказав, он молча, хмурая брови, отдал телеграмму своей младшей дочери Ашхен.

— От твоего... — пробурчал он. — Делай, как считаешь нужным. Если надумаешь поехать в Дзорк, шофер тебя отвезет.

В телеграмме значилось: «Буду звонить вечером тчк надо поговорить тчк надеюсь ты будешь тчк Вардан».

Оник был шофером Рафо, мужа Норетты, и Ашхен смущало, что повезет ее именно он, когда-то бывший ее учеником в вечерней школе. Но она знала, что шестичасовой автобус из Кармрашена в Дзорк уже ушел. Ашхен выглянула из окна веранды в сад. Там под яблоней на одеяле лежал ее Аристакеc и смотрел в небо.

— Аристакеc, вставай, поехали.

— Куда, мама?

— В Дзорк.

— Почему? Мы же позавчера все ездили в город купаться!

— Нужно, *балес*¹. Нам к вечеру надо быть в Дзорке: позвонит папа.

Мальчик встал и пошел к воротам, где его ждала Ашхен. Выйдя за ворота, которые заперла за ними бабушка Сона (дедушка не вышел их проводить), они сели в машину.

— Аристакеc, когда ты женишься? — спросил Оник. Он всегда задавал этот дебильный вопрос, когда видел шестилетнего Ариса, и громко раскатисто хохотал.

Они поехали в Дзорк.

Аристакеcу так и не удалось увидеть ночное небо, зато он нагляделся на небо днем. Это очень хорошо — смотреть на небо, и он снова будет смотреть на небо, когда вернется сюда завтра; ведь здесь небо совсем другое... Он уснул, удобно устроившись на заднем сидении, и во сне видел синее небо и белые облака, медленно скользившие по нему; видел, как пошел дождь и как потом выглянуло солнце. Кажется, это было его последнее лето перед школой.

7

Когда Аристакеc пошел в школу в Ереване, в Дзорк и Кармрашен он стал приезжать лишь на каникулы. Раньше до Дзорка добирались на поезде, а потом, когда там построили аэропорт, летали на маленьком самолетике. Ездили на поезде и летали на самолете, и никому в голову не приходила мысль ехать на автомобиле по пыльным горным дорогам, через перевалы и ущелья...

Раньше было по-другому. Раньше все было по-другому — волшебнo-сказочно-счастливо, потому что раньше было ДЕТСТВО.

А детство у внуков и внучек Аршака Ашотовича и бабушки Соны было большое и круглое, как волшебный воздушный шар, и такое же легкое, и олицетворением этого детства был маленький городок на юге Армении — Дзорк, куда они приезжали каждое лето (не считая зимних, весенних и осенних каникул), приезжали все вместе и искренне удивлялись тому, как можно на лето поехать в какое-нибудь другое место. Им это и в голову не приходило. Они знали, что с наступлением каникул все поедут в Дзорк, а потом — в дачный поселок Кармрашен, который находился в двадцати километрах от Дзорка, высоко в горах.

После, вернувшись с каникул в Ереван, когда все рассказывали, кто где провел лето (Батуми, Сухуми, Евпатория, Пицунда и *даже* Ленинград), они презрительно махали рукой и с гордостью сообщали, что были в Дзорке, а потом — в Кармрашене, некоторые даже не знали, где это. И теперь, повзрослев, они понимали, что наверное, их тогда принимали за чокнутых: ведь в Кармрашене не было ни моря, ни озера, ни даже речки. Был только большой огромный лес (в детстве все было огромное).

На самолете из Еревана в Дзорк можно было прилететь за тридцать пять минут — не успеешь взлететь, уже надо приземляться. А на поезде — совсем другое дело. Семьи Клары и Ашхен Унанянов вечером садились в поезд «Ереван — Дзорк», который отходил зимой в 20:23, а летом в 21:41, ехал всю ночь и утром где-то в 8—9 часов доезжал до Дзорка. Они ехали двумя семьями, у них всегда было два купе, и пока еще не надо было ложиться спать, одно из них превращалось в кают-компанию, и лица у всех были счастливые...

¹ Малыш (арм.).

Утром, за час до приезда, они, дети, прилипали к окну и спорили, кто из них раньше увидит дедушку, который придет их встречать. В Дзорке, они выпрыгивали из вагона и бросались на дедушку Аршака и целовали его, а он обнимал их и счастливо смеялся своим тихим смехом. Затем они пешком шли домой, потому что дом, где жили дедушка с бабушкой, находился недалеко от вокзала. Сначала шли по шпалам, потом еще немного по траве, а потом выходили на ту самую улицу Железнодорожников, которой бредили в Ереване. И увидев еще издалека бабушку Сону, стоявшую на балконе и махавшую им рукой, не могли удержаться — бросались к дому, не помня себя от радости (кто первым поцелует бабушку?)...

Дзорг — маленький город и находится на маленьком клочке ровной земли, с четырех сторон зажатом горами, на месте впадения реки Ган в реку Чаги. Когда город стал расти, пришлось дома строить на склонах гор, и не просто дома, а шести-, семи-, девятиэтажные здания, каким-то чудом «приклеенные» к бурым склонам. Каждый этаж представлял собой ступеньку в большой лестнице, внутри которой жили люди, и каждый этаж имел свою крышу.

В детстве Аристака, любимый внук Аршака Ашотовича и бабушки Соны, извездил весь Дзорг вдоль и поперек на велосипеде. Он помнил каждую яму, каждый поворот... Не говоря уж о дачном поселке, куда перебирались на все лето сразу же по приезде ереванцев. В дачном поселке жили тремя семьями — семьями трех дочерей Аршака и Соны: Норетты, Клары и Ашхен. И это было большое трехмесячное счастье, даже несмотря на то, что порой случались туманы... Как, например, тем утром, когда Аршаку Ашотовичу Унаняну вдруг показалось, что жизнь кончается.

8

Дачный дом, где жили Аршак и Сона со своими дочерьми, внуками и внучками, находился у подножия холма, поросшего лесом. Перед домом рос фруктовый сад, и вся территория огорожена деревянным забором. Доски забора, заостренные на концах; они были очень старые, почернели и покрылись мхом.

Поле начиналось от подошвы длинного холма, на северном склоне которого и располагался лесенкой поселок. Из окна дома можно было видеть поле, широкое, зеленое, утыканное кривыми телеграфными столбами. Когда из-за тумана столбы не виднелись, нельзя было увидеть и само поле, и казалось, что там, за забором, — пропасть, а сам этот клочок земли с фруктовым садом и маленьким одноэтажным домом висит в воздухе, среди облаков... Но вот дул ветер, и туман начинал отступать, открывая поле, а за ним и почерневшую от дождя дорогу. Ворота были покрашены в серый цвет. Они местами проржавели, стала набухать и трескаться краска, и из трещин вытекала грязно-красная жидкость. От ворот к дому вела бетонированная дорожка.

Старик лежал с открытыми глазами и слышал, как стекает с крыши дождевая вода, капая на плиточный пол балкона с особым шлепающим звуком...

В то холодное туманное утро Аршаку Ашотовичу Унаняну не надо было просыпаться рано. Тем не менее, он проснулся, когда все в доме еще спали. Старик лежал в теплой постели и слушал, как идет дождь. Он подумал, что сегодня ничего не будет делать. Все равно непогода, к тому же воскресенье. Буду сидеть на диване и читать газеты, подумал он. Весь день читать... А потом вдруг ему пришло в голову, что жизнь кончается. Ни с того, ни с сего. Просто подумалось...

Старуха все еще спала. Он посмотрел на нее. Интересно, она знает, что жизнь кончается? Наверно, да. Но ей некогда задумываться над этим. Нужно помнить о детях, об обеде...

Эй, Сона! Сона яр!¹ Сколько же ты на своем веку приготовила обедов и выстирала белья? Не счесть. Сколько ты связала носков? Тоже не счесть. Но одно я могу сказать точно: вырастили мы трех дочерей и пять внуков. Тоже неплохо, если учесть, что не

¹ «Сона любовь» — название и строка из песни Комитаса (арм.).

всегда и не во всем нам везло. А сколько мы натворили глупостей? Не счесть... И старику стало тоскливо.

Старику было уже много лет, и теперь он часто думал о том, что жизнь подходит к своему завершению, но в то же время он был уверен, что не зря прожил ее. Он немало сделал для своих дочерей, внуков, и не только для них. Это на самом деле так, думал он, лежа в постели, но жизнь все-таки кончается... А жаль. Потому что хочется пожить еще. Может, и удастся. Может, еще с десяток лет... Ишь, чего захотел, старик, сказал он себе. Поживешь еще — захочется жить и дальше. Но вряд ли можно столько прожить. Еще пять лет будет в самый раз. Восемьдесят — в самый раз.

В Бога он не верил. Знал, что все эти штуки насчет загробной жизни — глупости. Человек умирает — и все тут. И еще он знал, что жизнь иногда бывает жестокой, и тут ни один бог ничего не может поделать. Кому-то везет больше, кому-то — меньше, и Бог тут совсем ни при чем. Все равно: главное — человек, верил старик. Он верил еще, что человек должен быть сильным и уметь хитрить. Старик был сильным, но хитрить не умел, и теперь жалел об этом.

Хоть бы ты проснулась, Сона, мысленно сказал он жене. Поговорили бы. А то ведь и вправду жизнь кончается, а мы так мало говорим...

И в эту минуту старушка зашевелилась, фыркнула сморщившимися от старости губами и открыла глаза.

И старику перестало быть тоскливо. Начиналось воскресенье. Почти такое же, как и всегда.

Жизнь продолжалась.

Старик встал и начал одеваться, поглядывая в окно. «Проклятая погода!» — подумал он.

Старик со старухой спали на застекленной дачной веранде. Все остальные — в комнате: три дочери Аршака и Соны — Норетта, Клара, Ашхен, все со своими детьми. Среди внуков и внучек был и Аристакеc, сын Ашхен... Именно тем летом десятилетний Аристакеc впервые влюбился.

9

Уже подходил к концу август. Семейство Симонянов, живущее через две-три дачи от дачи Аршака-папи и Соны-тати, пригласило Вардана (он приехал в отпуск на десять дней из Еревана), Ашхен и маленького Аристакеcа на чай. В семь часов вечера они пошли к ним в гости (маленький Аршо остался дома, спал). В воздухе пахло корой деревьев и сухой травой. Листья на деревьях тихо шелестели от ветра, и все, казалось, начинало успокаиваться и приходить в себя после знойного дня. Старое солнце заходило за далекий холм, низко над полем летали жуки. Теплый вечер, обещающий волшебную ночь, что-то тихо нашептывал им.

Открыв калитку в больших зеленых воротах, Вардан крикнул:

— Гостей принимаете?

И сразу они увидели главу семейства, мужчину средних лет, с курчавыми волосами, уже тронутыми сединой, и орлиным носом. Он спустился по крутой деревянной лестнице, ведущей с веранды в сад, и по бетонной дорожке пошел им навстречу.

— Очень рад, — сказал Симонян, широко улыбаясь.

— Моя жена, наш старший сын, — представил Вардан Ашхен и Ариса.

— Очень рад, — повторил Симонян и повел всех наверх.

Территория дачи была большая. По обе стороны от дорожки росли груши и яблони, на которых висели спелые плоды. Аристакеc заметил, что между двух яблонь, в глубине сада, натянут большой гамак; в нем лежали две подушки и пластмассовая кукла в красном платье.

— Познакомьтесь: моя жена, — сказал хозяин дачи, указывая на довольно

молодую женщину с большими глазами и родинкой на шее. Она познакомилась с Ашхен и Варданом, а потом сверху вниз посмотрела на Аристакаеса.

— Какой красивый мальчик!

Аристакаес покраснел, и Симонянша рассмеялась. Потом из комнаты вышла девочка. Мать поманила ее к себе и поцеловала.

— А это наша дочь Анна.

На столе стояли чайник, сахарница, варенье и *шоколадные конфеты*. Аристакаес особенно налегал на конфеты, и Ашхен то и дело шипела на него:

— Хватит! Ты один съел все конфеты.

— Ничего, ничего, — улыбалась глазастая тетя Симонян. — У нас еще есть, я сейчас принесу.

Аристакаес с восхищением посмотрел ей вслед.

«У них так много шоколадных конфет! — подумал он. — А у нас они вчера кончились».

На другом конце стола разговор уже шел в полную силу:

— Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, — говорил Вардан, весь окутанный дымом.

— Конечно-конечно-конечно-конечно-конечно, — соглашался с ним Симонян и моргал слезившимися от Вардановых сигарет глазами.

Аристакаес попросил еще чаю и почувствовал (не увидел, а почувствовал!), как Ашхен сверкнула глазами. Тетя Симонян (как же ее звали-то?!), тем не менее, налила ему еще, и Аристакаес гордо посмотрел на ее такую же глазастую, как и она, дочь Анну.

— А что вы здесь сидите с нами? — сказал Симонян-отец. — Идите в сад, поиграйте. Анна, покажи мальчику наш сад.

По крутой лестнице дети спустились в сад. Анна сразу пошла к гамаку и села на подушки, положив на колени куклу.

— Красивая кукла? — спросила она.

— Нет, — ответил Аристакаес.

Она фыркнула.

— Ты ничего не понимаешь в женщинах.

— А вот и понимаю! — убежденно сказал Арис, но Анна пожала плечами, не желая, очевидно, знать, что именно Арис понимает в женщинах.

Потом стемнело, и на веранде зажгли свет. На небе одна за другой появлялись звезды. Мама Ариса и мама Анны о чем-то тихо беседовали, а папы, выпив кроме чая еще кое-чего, спорили, не соглашаясь друг с другом. Анна сидела в гамаке, Арис раскачивал ее, стоя под яблоней. Она говорила, что они недавно купили эту дачу и теперь каждое лето будут приезжать сюда, в Кармрашен. Аристакаес отвечал, что они уже давно каждое лето приезжают в этот дачный поселок.

— Нашу дачу построил мой дед. Аршак-папи!

Анна смотрела на звезды. Аристакаес — то на звезды, то на нее. На траве под гамаком, закрыв пластмассовые глаза, спала кукла в красном платье... Аристакаес вдруг сообщил, что перешел в пятый класс и ему уже десять лет! Она посмотрела на него и сказала, что тоже перешла в пятый. Опять возникла пауза. Потом послышались шаги родителей. Ашхен позвала сына: пора было уходить. Аристакаес услышал пьяный голос отца Анны:

— Вы посмотрите! Это что-то из русской классики. Дама сидит в гамаке, кавалер раскачивает ее, и они говорят, вероятно, о любви! — Он был учителем русской литературы и работал в одной из дзорских школ.

Ему ответил такой же пьяный голос отца Аристакаеса:

— Да, что-то чеховское!

— Что ты! Это же Тургенев!..

Прощавшись, они пошли вдоль дачных заборов по широкой ухабистой тропе. Ашхен с Варданом о чем-то говорили, а Аристакаес смотрел на черное небо. Он думал о том, какое оно здесь красивое и как много здесь видно звезд... А может, он думал еще о чем-то, но потом не мог вспомнить о чем: это было слишком давно. Только стал он

ждать целый год летних каникул, чтоб приехать в Кармрашен уже не только из-за любимого велосипеда, но еще и из-за глазастой Анны.

Позже Симоняны переехали жить в Ереван, и случилось так, что глазастая Анна пошла в ту же самую школу, куда ходил Аристакеc. Ее определили в тот же самый класс. Но в Ереване они не дружили. Так уж выходило, и Аристакеc очень переживал по этому поводу.

А потом прошли школьные годы, не оставив ни в сердце, ни в душе ничего такого, что стоило запомнить. Когда же в очередной раз наступил март, засветило солнце, закапало с крыш и в Ереване началась настоящая весна, закончились очередные каникулы. Ученики встречались у входа в школу, радостно бросались друг к другу и рассказывали о том, как провели каникулы. Было шумно, в классе царил хаос, который продолжался до прихода старой учительницы литературы Нелли. Когда она вошла, все утомонились и расселись по своим местам.

Одна красивая большеглазая девушка села у окна, а один очень красивый парень — у противоположной стены, тоже, как она, на последней парте. И что-то между ними случилось, чего они и представить себе не могли. Они учились в одном классе уже несколько лет, но совсем не знали друг друга, и вот то, чего не происходило за все эти годы, произошло за десять дней каникул. И вот она сидела у окна, он у стены, а учительница рассказывала о каком-то поэте, рассказывала весь урок.

Когда занятия кончились, девушка и парень пошли домой вместе, потому что им было по пути — но не только поэтому. Учительница же подумала, что стоит завтра посадить их за одну парту. Вот только будет ли это педагогично? Девушкой и парнем были Анна и Аристакеc.

10

В последний день 1990 года Вардан и Ашхен поехали к друзьям встречать Новый год, взяв с собой младшего сына Аршо. Аристакеc сказал, что останется дома и к нему в гости придут Хорен и Гаспар. Это было тем декабрем, когда так сильно пахло весной. Да и казалось, что уже наступила весна, как бы невероятно это ни было.

Однажды в Ереване в декабре наступила весна... Было так тепло, что люди ходили в легких куртках и пиджаках вместо тяжелых шуб и пальто. С крыш капало, весь снег растаял, и улицы быстро высохли. Люди очень удивлялись этому и часто поднимали голову посмотреть, настоящее ли это солнце или их обманули, но солнце было настоящим, и оно светило, как в апреле. Все время дул сухой ветер, и деревья раскачивали ветвями, словно проверяя, действительно ли так тепло или это им кажется, но решив, что все-таки это весна, успокоились, и на их ветках стали появляться почки, даже птицы прилетели с юга, чтобы посмотреть, что же происходит в этом городе.

И так продолжалось до самого Нового года.

Весь день 31 декабря было тепло, и вот наконец наступила ночь, и часы пробили двенадцать.

— Посмотри, пожалуйста, что делают наши деревья во дворе. На них уже появились листья? — попросила Анна. Она была слегка пьяна от шампанского.

Аристакеc встал и открыл окно.

— Ну, что там? — спросила она.

— Снег идет!

Они помолчали.

— Жаль деревья. Они так верили, что наступила весна! — сказала она. — Деревья на нас похожи. Обнимаются под землей, переплетаясь корнями, чтоб никто не увидел. Тайком.

— Ничего. Весна никуда не денется. Просто по случаю Нового года выпила немного и подумала, что пришел ее черед, но теперь протрезвела и удивленными глазами смотрит, как идет снег, — ответил Аристакеc и вернулся к Анне.

— А это ничего, что мы занимаемся такими вещами? Нам ведь еще всего по шестнадцать, и мы пока ходим в школу... — сказала Анна.

— Конечно ничего, — ответил Аристакес и поцеловал ее в губы. «Запомни этот поцелуй, — приказал он себе. — Тебе понадобится для рассказа...»

Именно той осенью он начал писать короткие рассказы и теперь понял, для чего было то, что началось с самого раннего детства: «Запомни это! Это пригодится!»

Школу Аристакес окончил в 91-м и поступил на исторический факультет.

Роман с глазастой Анной продолжался у него довольно долго и после школы, продолжался пунктирно, вяло — они то сходились, то опять расходились, пока однажды его не пригласил на свой день рождения школьный товарищ. Там почему-то была и их одноклассница Анна, его Анна. Когда из динамиков магнитофона слышались первые гитарные ноты бессмертной композиции «Лед Зеппелин» «Since I've been loving you», Аристакес пригласил Анну потанцевать.

Он танцевал с глазастой Анной, и ему было хорошо и уютно. В комнате никого не было и царила абсолютная темнота. В такой темноте он даже не различал ее лица, но чувствовал, что она неотрывно смотрит ему в глаза, хотя, наверное, тоже ничего не видит. Они танцевали, и он чувствовал ее теплое дыхание на своем лице и жар ее руки, покоящейся на его плече.

Музыка вливалась в комнату, раскачивала и согревала, как хороший, выдержанный коньяк. Справа виднелись маленькие красные точки, одиноко мигающие на магнитофоне и показывающие уровень записи, а может, и уровень всего остального. Виднелись также пять маленьких огоньков от сигарет вышедших на балкон покурить его друзей.

Это был день рождения его друга, тоже начинающего писателя, и не удивительно, что тот пригласил его, Аристакеса. Но что тут делает Анна, единственная женщина среди этого мальчишника? Наверное, друг пригласил ее ради него? Очень мило с его стороны... — думал Аристакес.

Блюз кончился. С балкона вернулись друзья и зажгли свет. Анна села рядом с Аристакесом. Он налил ей шампанского, себе красного вина и закурил. Они сидели на диване за слишком загроможденным столом. Тепло разливалось по телу, и ему было хорошо от вина и еще от того, что рядом, закрыв глаза, сидела чуточку опьяневшая Анна.

«Какое чудо, что она здесь! — думал Аристакес. — И неважно почему, важно, что здесь, в этой комнате, он может, сев поглубже на диване, положить голову ей на плечо, а она склонит к нему свою, и ее волосы будут шекотать ему лицо...

— Твое здоровье, Ан.

— Твое здоровье, Арис.

Они выпили, он был уже по-настоящему пьян и, поднявшись, чтобы стряхнуть пепел в пепельницу, стоявшую на другом конце стола, сильно качнулся. Сев снова и обведя глазами друзей, он подумал, как удивительно проясняется голова, когда выпьешь, и как жаль, что нельзя писать, когда пьян; он этого себе никогда не позволял.

А за окном только что кончился дождь, и улицы теперь были мокрые, и из открытой балконной двери веяло свежим воздухом. Он истосковался по этому запаху, который бывает таким только в этом городе. Снова зазвучал блюз.

— Анна, потанцуем?

— Давай. — И снова было тепло, уютно, темно... — А ты знаешь, я вышла замуж.

— Что?

— Ты не знал?

— Нет.

— Ну, так вот...

— А за кого?

— За Эрика. По-твоему, почему я здесь, одна среди вас?

— Не знал.

— Ты что, правда, не знал?

Оставив всех в комнате, он перебрался в кухню, где никого не было. Там он сел на пол под распахнутым настежь окном и поставил рядом с собой только что откупоренную бутылку, бокал, сигареты и пепельницу.

11

Всю ночь палатку, разбитую на песчаном берегу озера Севан, под шеренгой сосен, трепал ветер. Рождаясь где-то в горах, он с жутким воем стремительно рвался вперед и, выскочив из-за холмов, набрасывался на озеро и хлестал по воде, и звук при этом получался такой, какой бывает, когда хлещешь кнутом по стальному листу. Время от времени он все же затихал, и тогда становилось непривычно тихо, слышался лишь шум прибоя: волны с шипением накатывали на берег и, теряя силу на прибрежных камнях, отползали обратно. Но затишье длилось недолго, и опять откуда-то срывался ветер, и вой его слышался задолго до того, как он прилетал и, скользнув по крыше палатки, принимался хлестать по озеру.

Когда только-только начало светать, доктор Арман, известный в Ереване хирург, которому в августе 1993 года исполнилось пятьдесят пять лет, оделся и вышел из палатки. Он был выше среднего роста, с пробивающейся сединой в волосах, немного полноватый, но крепкий, все еще атлетического сложения; у него были глубоко посаженные умные глаза и, как говорили, золотые руки, из чего следовало сделать вывод, что он действительно был хорошим хирургом. Работал он в больнице № 4, был уважаем среди коллег и всю жизнь менялся.

Похолодало. Ветер с рассветом улегся, но все еще был сильный прибой. Доктор Арман отошел от палатки метров на пятьдесят, помочился за кустами, потом, набрав сухих веток, вернулся и разжег костер. Вскоре начало всходить солнце, как всегда красиво и величественно. Озеро, темно-синее до тех пор, стало менять цвет: сначала на воде появлялись лазурные полосы, потом они расширялись, пока все озеро не приобрело лазурный оттенок. Только узкая полоса вдоль берега стала светло-фиолетовой и такой оставалась весь день. Когда взошло солнце, подул слабый ветерок, зато волны сразу же успокоились и уже не набрасывались с таким голодно-свирепым шипением на берег.

Доктор Арман приготовил себе кофе. Он сидел на складном стуле в десяти шагах от воды, смотрел на меняющееся цвет озеро и пил кофе, приготовленный по-турецки, на угольках, из большой черной чашки, специально привезенной из Еревана. Когда пьешь такой кофе, чувствуешь запах, вернее, вкус дыма, и с этим, был уверен доктор Арман, ничто на свете не может сравниться...

Костер, предоставленный сам себе, начал гаснуть. Низко над водой летали чайки, при каждом повороте кончиками крыльев, как бритвой, рассекая гладь озера. Увидев с воздуха рыбу, они пикировали в воду и взлетали уже с добычей в клюве. Но иногда рыба срывалась, и чайка, разочарованно вскрикнув, делала несколько кругов над тем местом, где потеряла ее. Другие чайки при этом начинали истерично хихикать, подобно старым девам, злорадствующим над очередной неудачей подружки, у которой вот-вот должно было что-то получиться.

— Арман? Опять встал ни свет ни заря? — услышал он позади себя. Это была жена, Клара. От неожиданности он даже вздрогнул. — И что тебе не спится?

— Не знаю, — ответил Арман. — Куда собралась?

— В кусты. Куда же еще? Потом еще лягу спать.

— Так можно проспать всю жизнь, дорогая, — иронично сказал доктор, но Клара нетерпеливо отмахнулась.

— Перестань! Если ты думаешь, что я в восторге от этого дикого отдыха, то сильно ошибаешься!

Доктор Арман промолчал. Клара, проваливаясь в песок и спотыкаясь о камни, пошла вдоль берега; муж смотрел ей вслед и думал, какой она стала толстой, некрасивой.

— Не хочешь поспать немного? — спросила Клара, вернувшись.

Муж покачал головой:

— Нет. Я уже выпил кофе.

— Кофе, кофе... — пробурчала Клара. — От тебя только и слышишь, что *кофе*! Ничего, кроме кофе и сигарет. — Она опустилась на четвереньки и влезла в палатку, а доктор почувствовал, что от его хорошего настроения почему-то ничего не осталось.

Для доктора Армана и его семьи начинался третий день отдыха на берегу озера Севан.

На завтрак ели тушенку с макаронами и сгущенное молоко, которое запивали чаем. Они сидели и валялись на одеяле, разостланном на песке, в тени сосен; одеяло служило им одновременно и скатертью. Все, кроме доктора Армана, ели с аппетитом: Лора, старшая дочь, — потому что перед завтраком съела два яблока, а яблоки, как известно, возбуждают аппетит; Эва, дочь младшая, — потому что плавала и гуляла; Клара — потому что у нее всегда был хороший аппетит. Что же до доктора Армана, то у него аппетита не было вовсе из-за кофе и сигарет.

После завтрака решили поплавать. Солнце припекало вовсю, вода в озере была очень теплая. Плавала даже Лора, правда, немного. Потом улеглись на песке позагорать. До них долетали восторженные крики и визг других пляжников, плескавшихся в воде.

Мимо проплыла яхта с отдыхающими, которые платили большие деньги, чтобы покататься по озеру. Яхта была очень красивая, вся белая; когда ветер вдруг менял направление, паруса начинали громко хлопать.

— Куда она везет этих богачей? — спросила Эва.

Арман ответил:

— Проплывет пролив между полуостровом и нашим берегом, выйдет на Большой Севан, доплывет до середины и вернется обратно мимо полуострова.

— Мне бы тоже хотелось поехать на полуостров, — сказала Клара.

— На обратном пути обязательно заедем.

— Когда это будет, Арман?

— Тебе не терпится вернуться в Ереван?

— Да, — ответила Клара. — Если честно, я устала.

— А на полуострове хорошо? — спросила Лора. — Я тоже хочу там побывать. Интересно, наверное, стоять на нем и знать, что он когда-то был островом.

— Тебе будет намного интереснее, если ты узнаешь историю острова, — сказала Клара.

— Расскажи, папа, — попросила Лора. — А лучше скажи, кто такой был Аристакеc? — спросила Ло. — Наш Арис что-то такое говорил о своем имени. Кстати, любопытно, какая из себя его подруга? Он сказал, что ее зовут Тина.

— Жалко, что вас в школе этому не учили, — сказал доктор Арман. — И кто только был вашим учителем истории?! Святой Аристакеc Первый, который родился в Каппадокии, был вторым армянским католиком, младшим сыном Григория Просветителя. В триста двадцать пятом году он в качестве представителя Армянской Церкви отправился на Первый Вселенский собор в Никею, и его имя было записано в деяниях Собора рядом с именами других великих Отцов Церкви как представителя Великой Армении. Он привез в Армению Никейский Символ веры, который был одобрен святым Григором. Через год Аристакеc стал Католиком Армянской Церкви. А потом его убили...

Послышался гул подъезжающего автомобиля. Стараясь не задавить загорающих, машина ехала по кромке воды. Автомобиль был такой же, как у Армана, только другого цвета, кремового. Поравнявшись с Арманом, Лорой и Эвой, машина остановилась. Из нее вышел молодой человек и спросил Армана, не будет ли тот против, если он разобьет палатку рядом с палаткой его семьи. Арман ответил — ничуть, наоборот, он будет рад соседям, и вообще, пляж общий, слава богу, его еще никто не приватизировал, так что он не мог бы быть против даже при желании.

Пока шли переговоры и обмен любезностями, из машины вышла жена молодого человека и, подойдя к разговаривающим, улыбнулась:

— Добрый день.

— Меня зовут Вааг, — представился молодой человек. — А это моя жена Татевик.

— Очень приятно. — Доктор пожал руку Ваагу и посмотрел на Татевик. — А это мои дочки: Лора и Эвелина.

Пока Вааг и Татевик ставили палатку, доктор, Лора и Эва переоделись. Лора, по обыкновению взяв книжку и яблоки, улеглась в гамак и начала читать; Клара, которая тоже выходила познакомиться, устроилась в палатке с неизменным детективом и предупредила, чтоб ее до обеда не беспокоили. А доктор Арман пригласил новых соседей на обед: «У нас будет рыба!»

Вааг и Татевик пришли в гости. Доктор жарил на костре рыбу, Лора и Эва помогали Кларе «накрывать на стол».

Вааг и Татевик принесли бутылку белого вина и арбуз.

— Белое вино и рыба: чудесно! — воскликнул доктор Арман.

Вааг был мужчиной двадцати пяти, как он сказал, лет от роду — невысокого роста, полноватый, с проплешиной в черных волосах и серыми волчьими глазами. За обедом он много шутил, вообще был очень приятным, судя по всему, неглупым и даже остроумным собеседником. По его словам, в настоящее время он ничем не занимался, вернее, нигде не работал, но не падал духом: предвидится несколько проектов, весьма интересных. Вааг окончил Архитектурный институт, но вообще-то не собирается работать по специальности, что очень огорчает его отца, одного из известнейших в Ереване архитекторов, с которым, кстати, доктор Арман был шапочно знаком. Вааг мечтает открыть собственный бизнес и знает, что все будет хорошо...

Татевик была высокой — на голову выше мужа, у нее были длинные каштановые волосы и выразительный, чуть насмешливый взгляд. Когда Татевик смеялась, у нее собирались морщинки в уголках глаз и морщился нос; улыбка была очень хорошая и добрая. Татевик понравилась доктору сразу и безоговорочно. Она как-то сразу подкупила его своей открытостью, обаянием и теплым спокойным взглядом кофейных глаз. В ее присутствии Арман ощущал приятное волнение и уют, он был рад, что с ней можно говорить запросто, без пышных слов. Каждый раз, когда Татевик смотрела на него, у доктора сжималось сердце, он опускал глаза и краснел. Арман опять ощутил какую-то смутную тревогу...

— ...Мы поженились всего год назад, — сказала Татевик в ответ на вопрос Клары.

— Вы живете отдельно или с родителями?

— Отдельно, — ответил Вааг. — Мы снимаем квартиру на Монументе¹.

— А быть архитектором интересно? — спросила Лора, и Арман с удивлением заметил, что его старшая дочь строит глазки Ваагу.

— Нет, не очень. Работа как работа. Вот у вашего отца действительно интересная работа — лечить людей.

— Ребенка заводить не собираетесь? — спросила Клара.

— Я бы с удовольствием, — покраснела Татевик. — Но сейчас очень трудно (Клара закивала головой), да и Вааг считает, что еще рано, нужно как следует встать на ноги и все такое. Вот Вааг организует дело, а там можно и ребенка завести.

Когда закончили есть, доктор Арман бросил в костер рыбы косточки — как он выразился, «чтоб замести следы», Клара принялась мыть посуду. Татевик предложила свою помощь, но отказалась:

— У вас очень хорошие руки, красивые; еще успеете испортить.

Доктор Арман и Вааг закурили. Вааг рассказывал о своем отце, что тот человек со старыми понятиями, и вообще от него мало чего можно добиться; у отца, конечно, есть средства, и Вааг очень благодарен отцу за помощь, но нет у него практической жилки. А все же хочется что-то свое.

— Ничего не хотеть невозможно. Я не виноват, что хочу жить по-человечески. Когда хлеб можно купить лишь по талону на 250 граммов, когда электричество дают только на два часа днем и на два ночью, когда в доме можно подохнуть от холода, если

¹ Район в Ереване, в народе названный так из-за близости к Парку Победы.

нет железных печек или этих отвратительных керосиновых обогревателей; когда нет горячей воды, и, если хочешь искупаться, нужно кипятильником нагреть целое ведро... Я не считаю такую жизнь человеческой! Моя жена дома зимой ходила в перчатках, чтобы не отморозить пальцы, потому что она — пианистка и должна давать уроки двум идиоткам, дочерям каких-то богачей, которым не жалко выбрасывать по двадцать долларов, чтоб их дочери научились бренчать популярные песенки...

Вааг объявил, что теперь его очередь идти за дровами на вечер, и вообще, сказал он, в полночь можно устроить праздник озерному богу, если таковой существует.

— Нет такого, — возразила Лора, которая, казалось, знала все. — Есть морской бог — Посейдон, или Нептун.

— Вот в честь этого Посейдона-Нептуна и устроим праздник, — сказал Вааг, беря топор, который ему протянул доктор Арман.

— Жаль, нет настоящей выпивки, — вздохнул Арман. — Какой праздник без спиртного? Я поеду куплю чего-нибудь.

— Не надо, — хитро улыбнулась Татевик. — У Ваага есть две бутылки коньяка, мы можем приготовить грог.

— Тогда давайте подумаем об ужине! — сказал доктор Арман.

— Вот в чем прелесть дикой жизни, — съехидничала Клара. — Плотно пообедав, сразу же начинаешь готовить ужин!

— И можно не сомневаться, — поддержала ее Татевик, — пока приготовишь этот ужин, все снова проголодаются.

Сумерки на берегу сгустились очень быстро, и скоро совсем стемнело. Вернулся с дровами Вааг и под торжественные аплодисменты принес две бутылки коньяка, которые решено было тут же смешать, перелить в видавший виды чайник и поставить на огонь. Расселись полукругом возле костра и укутались одеялами. Клара раздала алюминиевые кружки, из которых, как сказал доктор Арман, только и надо пить грог, сидя у костра на берегу озера Севан.

Ветер часто менял направление, и сидящих у костра то и дело обдавало дымом.

— Так мы можем разгневать богов, а этого никак нельзя допустить. Ваши эти разговоры... — улыбнулся доктор Арман.

— О, простите нас, боги! — Татевик шутливо воздела руки к небу. — Прости нас, великий Посейдон. Видишь, я приношу тебе жертву. — И она бросила в огонь шишку; шишка сразу же вспыхнула. Прodelка Татевик привела всех в восторг, и полетели шишки в огонь.

— Странно все-таки, — сказал Вааг, — несмотря ни на что, мы сумели приспособить язычество к христианству, а христианство к язычеству...

— Да, — согласился доктор, — может быть поэтому у нас не было инквизиции. Благодаря язычеству нашей христианнейшей церкви почти всегда хватало здравого смысла. Связь христианства и язычества в том, например, что многие языческие праздники и обряды перекочевали в христианство — Вардавар¹, матах²... И еще: ведь

¹ Вардавар (арм.) — армянский национальный праздник в честь богини любви Астхик; празднику более 5000 лет, он возник до христианства, но после 301 г. католикос Григорий Партев соединил народный праздник с христианскими традициями. Его начали отмечать на 98 день после Пасхи и называли праздником в честь Преображения Господня. Известен своим обычаем обливать друг друга водой. Слово «Вардавар» переводится с древнеармянского как «обливать водой».

² Матах (арм.) — обрядовая традиция, существующая в Армянской апостольской церкви. Дословно матах означает «вознести соль» — *матуцанел* (вознести) и *ах* (соль). Главный смысл матаха — дар Богу через подаяния бедным, пожертвования. Происходит либо как благотворительная трапеза, либо это раздача мяса пожертвованного животного. Обряд матаха появился во времена святого Григория Просветителя. Предание Армянской церкви гласит, что по принятии христианства в Армении в 301 году перед Церковью встал вопрос об использовании животных, прежде специально выращивавшихся для жертвоприношений в языческих храмах. Поскольку Жертвой Господа Иисуса Христа были отменены жертвоприношения животных, святой Григорий Просветитель предложил использовать их для жертвы милости. Теперь христианин мог принести жертву не кровью животного, а в виде благотворительности, раздав мясо бедным.

отец Григория Просветителя Анак Парфянин был языческим жрецом. Тот самый Анак, который убил отца царя Трдата — Хосрова Великого. В ночь убийства няни-кормилицы спасли двух мальчиков — это и были будущие первый католикос Армянской Апостольской церкви Григор и первый христианский царь Трдат...

— А знаете, что общего между христианством и язычеством? — вдруг спросила Лора. — Это — *жертвоприношение*.

Все с удивлением посмотрели на нее. Этого никто не ожидал.

— Так давайте, — предложил доктор Арман, — бросим в костер еще шишек. В жертву всем христианским и языческим богам!

— Не богохульствуй, Арман, — осадила его Клара.

— Не бойся! Здесь, на Севане, можно. Нас слышат все рыбы озера, которых запрещено ловить, на нас смотрят миллиарды звезд, которым нет до нас дела, мы на виду у острова, который стал полуостровом, так что мы неплохо защищены. Этой ночью мы все и христиане, и язычники. — И все опять бросили в огонь по шишке.

Наконец поспел грог; он был очень горячий и обжигал, пили его маленькими глотками и чувствовали, как он согревает душу и тело. Все быстро пьянели, от дыма глаза покраснели и слезились.

— В такие ночи хочется совершать безумства! — сказал Вааг, и Лора подумала, что «безумства» никак не вяжутся с его лысиной.

— Вы верующий? — спросила она.

— Вообще я — агностик. Знаете, иногда хочется написать на плакате *жирными масляно-красными буквами*: «Я — АГНОСТИК» и пройти по улицам Еревана... Впрочем, у нас в Армении лучше на плакате написать: «Я — БЕСПАРТИЙНЫЙ»...

— А я никогда не совершал безумных поступков, — как-то горько признался доктор Арман.

— Неправда! — возразила Лора. — Помнишь историю с *экспериментом*? Мама, расскажи! Ты ведь нам рассказывала, да я и сама все помню!

— Расскажи ты... — Клара сделала глоток из алюминиевой кружки.

— Татевик, Вааг! Слушайте! Каждое лето мы все (а это три семьи) ездили на дачу в Кармрашен — ну, это дачный поселок в двадцати шести километрах от города Дзорк, на юге фатерланда, по выражению дяди нашего, Вардана. Три семьи — потому что у бабушки с дедушкой три дочки, а значит, получаются классические три сестры. И это было в детстве, когда время казалось нескончаемо долгим и ты знал, что целых три месяца на даче лучше, чем в какой-нибудь Евпатории или Пицунде. Там же, в Кармрашене, кроме дачного поселка наличествовал и Дом отдыха. Здравница, так сказать, всесоюзного значения, ибо воздух там — лесной и горный — считался целебным. Директором этого Дома отдыха был муж старшей сестры дядя Рафик. Именно он — большой фантазер дядя Рафик — и придумал, что в здравнице всесоюзного значения, обязательно должен быть бар. А то, мало ли, спросят — а у нас ни одного бара. В течение трех райских месяцев обязательно получалось так, что из Еревана дней на десять приезжали мужья двух других сестер (один из них — точно мой папа). Ну, дядь Рафик и давай водить свояков в вышеозначенный бар, а потом — в шашлычную, что была у края поля, рядом с третьим корпусом, а после — снова в бар. И так до самой ночи. Первым обычно сбегал дядя Вардан, муж тети Ашхен. Кое-как, на своих двоих, а то и по-пластунски спасаясь от дяди Рафика, спаивавшего свояков до потери пульса, добирался он до дачи, и из-за ворот — потому что сил открыть их не было — орал:

— Meine Ashkhen!! Открой! Он меня угробит!

Дядя Вардан, когда выпьет, всегда почему-то называет мою тетю, свою жену, на немецкий лад — Ашхен. Любит он немцев, значит.

Однажды, когда дядя Вардан давно уже спал дома на раскладушке, видя чернотелые трофейные сны образца сорок третьего года, после отбоя в Доме отдыха вернулся дядя Рафик. Пьяный, довольный, веселый!

¹ Моя Ашхен! (нем.)

Мама с удивлением спрашивает: «А где Арман?» Дядя Рафик еще шире улыбается, цокает языком и, качаясь от сквозняка в дверном проеме, отвечает: «Как где? Дома!» Тут тетя Норетта не выдерживает и рывкает на мужа: «Где Армана потерял, алкоголик?!» — «Не любишь ты меня, Нореттик, ох, не любишь. А за что? Я ж тебя люблю, моя девочка!» — «Пошли спать! Пьянь!»

Тут мама запротестовала: никто никуда не уйдет, пока не найдут ее мужа!

Тетя Ашхен отмахнулась: не беспокойся, мол, вернется, никуда не денется. Зря она это, конечно, там ведь леса бескрайние, запросто можно заблудиться.

У мамы — слезы на глазах: «Тебе хорошо! Твой-то давно храпит на раскладушке».

Вот тут как раз пора ввести новый персонаж. Вернее, двух. Первого звали Шекли, и он был не американским писателем-фантастом, а всего лишь коккер-спаниелем моего папы (он сдох два года назад — собака в смысле), который слывет, как вы догадались, большим любителем литературы. К тому же и сам пес был весь в светлорыжих пятнах¹. Второй персонаж — мой дед, старый Аршак-папик. Когда децибелы ссорящихся достигли ощутимых высот, Аршак-папик медленно опустил газету «Труд», снял очки и произнес: «Да-а-а-а! Есть мысль! А что если дать собаке понюхать грязные носки Армана? И пусть ищет своего хозяина. А мы подождем. — И уже обращаясь персонально к средней своей дочери, моей маме, добавил: — Есть у тебя грязный носок мужа?»

«Да! Я всегда храню грязные носки своего мужа! Потом отдаю их в краеведческий музей!» — простонала мама и пошла в комнату за валерьянкой. И тут бабушка Сона сказала деду знаменитую фразу, ставшую хрестоматийной: «Аршак, ты молчи, не лезь. Они сами разберутся со своими мужьями!»

Но Рафику мысль тестя понравилась, и он велел маме принести что-то из папиной одежды. Это действительно оказался носок. И естественно, сразу же послышалась язвительная реплика тети Норетты: «Эта идиотка и правда хранит грязные носки своего мужа!»

Стали тыкать носком в морду утонченного Шекли. Бедный пес чихал, пускал слезу и не понимал, зачем его пытаются (в это время дядя Вардан из спальни во сне вскрикивал: *Арбайтен! Шнелле! Золдатен унд официрен!..*) В итоге вытолкали бедного Шекли в темень, за ворота то есть. Мы, дети, с восторгом кричали на весь дачный поселок: «Ищи, Шекли! Ищи хозяина! Где хозяин, Шекли? Ищи!»

Бедный спаниель, понимая, что этот ад, наверное, никогда не закончится и что, наверное, так бывает — люди в определенные дни становятся невменяемыми, затрусил к соседским воротам, весьма элегантно поднял лапку и, обессмертив чужие ворота (кстати, давно нуждавшиеся в покраске), мирно вернулся домой, лег на свой коврик и притворился спящим псом, которого никто никогда не сможет разбудить.

Дядя Рафик почесал лысину и объявил, что не ожидал такой подлости со стороны коккер-спаниеля (он таки выговорил это слово!), и стал звонить своему шоферу: «Делать нечего, нужно ехать искать».

«В морги! В морги нужно звонить!» — стенала мама, в десятый раз сбиваясь со счета валерьяновых капель. «Дура! — кричала тетя Ашхен. — Ближайший морг в городе! Вряд ли труп твоего мужа смог за это время добраться до Дзорка и попроситься на ночлег!..»

Закончилась эта история хорошо, хотя и немного грустно. Папу нашли. Он лежал на обочине трассы Веревунк — Дзорк. Когда его, уже совсем замерзшего, благополучно вернули домой, а мама отпаивала его на кухне чаем, мы подслушали их разговор: «Зачем ты это сделал?» — «Я ставил эксперимент!» — «Какой эксперимент? Мы переживали!» — «Мне было интересно, остановится ли кто-нибудь из водителей, предложит помощь? Может, человеку плохо, или он ранен...» — «И как?» — «Представляешь — ни одна сука не остановилась!»

Все смеялись. А доктор Арман, тоже смеясь, попросил дочь не употреблять непристойных слов.

¹ Шек — блондин (арм.).

Ровно в полночь Вааг торжественно встал и, держа в руке алюминиевую кружку, произнес тост:

— Поднимаю бокал в честь морского бога Посейдона... Хвала тебе, бог Посейдон, прославленный брат громовержца Зевса! Ты властвуешь над морями и озерами, и волны послушны малейшему движению твоей руки, вооруженной грозным трезубцем. Там, в глубине, живешь ты со своей женой, прекрасной Амфитритой, дочерью морского вещаго старца Нереея. Смотри, о великий Посейдон, мы приносим тебе в жертву шишки с этих прекрасных сосен, а также даруем напиток, достойный богов! — Тут Вааг вылил полкружки грога в костер, который в тот же миг ослепительно вспыхнул. — Я вижу, о, Посейдон, ты слышишь меня! Пью из этого кубка во славу твою и всех богов олимпийцев. Слава богам!

— Слава богам! — крикнули все хором и выпили. Вааг, довольный собой и сильно захмелевший, опустился на место.

Лора, сидевшая рядом, наклонилась к нему:

— Вот уж не думала, что вы знаете мифологию. Амфитрита меня убила наповал.

Взошла луна; идеально круглая, она, оторвавшись от верхушек холмов, повисла в черном небе. На озере появилась золотая лунная дорожка. Зачарованные волшебным зрелищем полнолуния, решили выпить за Луну.

— Я сейчас упаду в костер, — предупредила пьяная Лора.

— Не надо, — сказал Вааг, — боги этой жертвы не примут.

— Жаль, что боги не принимают всякую жертву, — вздохнула Лора; у нее слипались глаза.

— Хочу танцевать! — объявила Татевик. — Жаль, нет музыки.

— Волны — это орган, звезды — скрипки, луна — труба, — сказал Вааг. — Вот тебе и оркестр, дорогая. Разве нужна другая музыка?

— Нет. — И Татевик закружилась вдоль берега.

— Арман, — попросила Клара мужа, который смотрел на танцующую Татевик. — Налей мне еще грогу. Кутить так кутить!

Татевик споткнулась и упала.

— Татевик, вставай, — крикнул Вааг жене, лежавшей на песке у самой воды. — Простудишься.

— Арман? — окликнула мужа Клара. — Так ты мне нальешь или нет?

— Да... — спохватился тот и подумал: «Глупое сердце! Почему ты так бьешься?»

Вааг, качаясь, подошел к Татевик, взял ее на руки и поднес к костру.

— Хочешь, брошу тебя в костер?

— Да, — тихо ответила Татевик.

— Бросьте, бросьте ее в костер, Вааг, — сказала Лора. — Посмотрим, примут ли боги *такую* жертву?

— Брось меня в костер. Я очень тебя прошу. Брось — как шишку, — сказала Татевик. — Раз ты не позволяешь мне родить ребенка, то лучше в огонь!..

— Обожжешься, — предупредил Вааг.

— Пусть!

Доктор Арман напряженно, несмотря на три-четыре выпитые кружки грога, следил за выражением лица Ваага. Он готов был в любую минуту броситься в огонь и спасти Татевик.

— Неужели вы и впрямь можете бросить жену в костер? — осведомилась Клара, но Вааг не ответил.

— Ну почему же ты меня не бросишь?

— Не хочу, — ответил Вааг и опустил Татевик на землю.

— Слава богам! — весело воскликнула Эва.

— Слава богам! — подхватили все хором, снова выпили и бросили в огонь шишки.

— Что-то становится жарко, — сказал доктор Арман. — Не искупаться ли?

— Ты что, папа! Ты же утонешь! — испугалась Эва.

— Не бойся.

— Арман, ты не будешь купаться! — забеспокоилась Клара, но доктор даже не глянул в ее сторону.

— Что вы уговариваете его, как маленького ребенка? — сказала Лора. — Он взрослый человек, ему пятьдесят пять лет и ему лучше знать, что делать.

Она произнесла это с труднообъяснимым цинизмом, и доктор Арман смерил ее долгим внимательным взглядом. Потом стал раздеваться.

— Да, я уже взрослый человек, мне пятьдесят пять лет, я совсем уже старик! А за всю жизнь совершил только один безумный поступок. Пусть будет еще один!

— Арман, ты не сделаешь этого! — крикнула Клара, но доктор Арман холодно посмотрел на жену.

— Сделаю! Конечно же, сделаю.

Бросив в костер еще пару шишек, доктор Арман пошел к воде. Вааг с любопытством наблюдал за ним; он до последней секунды не верил, что Арман решится поплыть.

Войдя в воду по пояс, доктор крикнул:

— Памяти Омара Хайяма посвящаю! — И нырнул, исчез на четыре-пять секунд под водой, потом вынырнул и поплыл по лунной дорожке.

Стоящие на берегу видели черную точку, быстро удаляющуюся от берега в лунном свете. Странно было сознавать, что эта черная точка, плывущая в никуда, в бесконечность, — человеческая жизнь, бьющееся сердце, думающий мозг.

Вода была холодная, хотя доктор Арман не сразу это почувствовал. Зато хмель выветрился моментально, только тяжело стало ногам и рукам. Проплыв метров двадцать, он собрался было уже возвращаться, но решил сыграть шутку с теми, кто его ждал на берегу: вернуться не по лунной дорожке. Впрочем, в тот момент он думал только о Татевик. Нырнув снова, он выплыл в черной, не освещенной луной воде. Ему отлично был виден костер на берегу, берег вообще выглядел отсюда очень красиво: костры, костры, тени людей... Словно в каменном веке, подумал он.

И тут нога доктора за что-то зацепилась. Арман подергал ею, но не смог освободить. Рукой он нащупал рыболовную сеть, но освободить ногу не удавалось, к тому же нужно было еще и держаться на плаву. В следующую секунду застряла другая нога, и доктор подумал, что гибнет. Сначала им овладело какое-то буйство, он отчаянно барахтался, бил ладонями по воде, но потом затих, почувствовав вдруг невыносимую усталость, ему захотелось спать; глаза сами закрывались, и он не в силах был их открыть... Однако голова продолжала работать, и он решил в последний раз попытаться высвободиться из сетей. И ему удалось! Сначала освободилась одна, потом другая нога, и доктор сначала почувствовал и лишь потом осознал, что спасся. Радость освобождения придала ему сил, и он энергично поплыл к берегу, почти автоматически, ничего не соображая. Выбравшись из воды, он упал на песок, тяжело дыша. «Живой!» — пронеслось у него в голове, и он прошептал:

— Спасибо, Господи!

Только теперь он сообразил, что, плывя к берегу, заметно отклонился от своей палатки, и с трудом поднявшись на ноги, пошел к палаточному городку, видневшемуся сквозь сосны.

Когда он оделся, сел у костра, налил себе грогу, выпил одним духом, бросил в огонь две шишки и закурил, Вааг спросил его:

— Где вы были, доктор? Мы вас потеряли из виду и уж думали: что-то случилось.

— Ничего не случилось, — ответил доктор Арман. — Просто я решил разыграть вас и вернуться берегом.

— Мы испугались, — сказала Татевик.

— Хотели уже звать на помощь, — подхватила Эва.

— А мама чуть с ума не сошла, — добавила Лора.

— Во всяком случае, — сквозь рыдания произнесла Клара, — после этого я не хочу тебя знать!

Вааг и Татевик, пожелав спокойной ночи, ушли в свою палатку.

— Пойдем, уже поздно, — сказала мужу Клара.

- Вы идите, я докурю и тоже приду.
— Спокойной ночи, папа, — сказала Эва и вместе с матерью скрылась в палатке. Лора задержалась.
— Па, — спросила она, — ты тонул?
— Да.
— Тебе было страшно?
— Да. Сначала.
— А потом?
— Потом наступило отупение.
— Спокойной ночи, папа. Я тебя очень люблю.
— Я тебя тоже, Ло. Ты никому не говори про это, ладно?
— Хорошо.

Доктор Арман выкурил сигарету и сразу закурил другую. Потом услышал шум мотора приближающегося катера. Катер вскоре причалил к берегу, и из него вышли двое полицейских. Подойдя к доктору, они поздоровались и представились.

- Чем могу служить? — спросил Арман.
— Вы не видели здесь рыбаков? — поинтересовался один из полицейских.
— Нет, — ответил доктор. — Ловля ведь запрещена.
— Запрещена, — согласился другой. — Но кто-то пренебрегает запретами.
— Здесь никто не появлялся, — сказал доктор Арман. — И ничего не было слышно.

- Вам никто не предлагал купить рыбу? Из местных жителей?

— Нет. Я бы и не купил — ненавижу всех браконьеров на свете с их сетями, ловушками и капканами!

Полицейские удивленно посмотрели на Армана и, пожелав ему спокойной ночи, вернулись к катеру. Выругавшись про себя, Арман пошел в палатку и лег.

Клара не спала. Она думала о том, что завтра со всем этим кошмаром будет покончено и они вернутся домой, в Ереван. Она успокаивалась, вспоминая о доме. «Да, — думала она, — завтра вернемся домой, и все опять будет хорошо».

Единственное, чего боялась в жизни Клара, — это потерять мужа. И дело было не в том, что Арман мог бросить ее ради другой женщины, нет! Своего мужа она знала слишком хорошо; она была уверена, что Арман никогда на это не решится, как, впрочем, на очень многое в жизни. Клара боялась другого: что Арман сделается к ней равнодушен, просто не будет замечать, это было бы страшнее всего на свете! Его презрительного равнодушия она бы не вынесла. В 1993 году ей было пятьдесят четыре года...

Когда осенью сорок второго года Аршак Ашотович Унанян, сдав бронь, ушел на войну, с Klarой, которой тогда исполнилось уже четыре года и которая разговаривала с двухлетнего возраста, вдруг что-то случилось. Она замолчала, перестала говорить. И так продолжалось целых два года. Никто не мог сказать, почему это случилось, как никто не смог объяснить, почему Клара вдруг заговорила снова. Во всяком случае, к тому времени, когда Клара заговорила и пошла в первый класс дзоркской начальной школы, она решила, что всего должна добиться в жизни, и действительно добилась. Окончила школу с медалью, поступила на биологический факультет университета и, навсегда покинув Дзорк, перебравшись в Ереван, в студенческое общежитие, отвергнув помощь отца, который уже тогда занимал солидную должность. Окончив учебу, Клара работала в Институте молекулярной биологии, куда устроилась вместе со своей близкой подругой по университету. А с 1991 года — в Министерстве здравоохранения, возглавив там отдел эпидемиологии и гигиены.

Клара считала большим своим счастьем встречу с Арманом. Он стал единственным человеком после отца, Аршака, которого она готова была любить беззаветно и самозабвенно, и поэтому очень хорошо понимала, что для нее означала бы потеря Армана. В ту августовскую ночь 1993 года она была готова покончить с собой, если бы с ним что-то случилось. Когда Арман стал меняться, сделался равнодушным, в том

числе и к ней, Клара ушла в религию, и только это помогло ей выжить. Когда потеряет мужа в декабре 2000 года, эта женщина, став к тому времени уже истово верующей, поступит на службу в Эчмиадзинскую церковь и с того времени перестанет общаться с дочерьми, они ей будут уже не нужны. Как раньше, в детстве, она любила только Аршака, а потом только Армана, так теперь она будет любить только Иисуса Христа...

Ветер трепал их «двухкомнатную» палатку, небо было усыпано миллиардами звезд, и луна по-прежнему светила ярко, оставляя золотой след на воде.

Как и Клара, ни на секунду не сомкнула глаз и Лора. Всю ночь ее терзала мысль, что отец мог утонуть. Перед самым рассветом Лора вышла из палатки, разожгла маленький костер, побросала туда все шишки, какие нашла поблизости, и только после этого спокойно уснула и спала очень долго и очень крепко до тех пор, пока ее не разбудила Клара, позвав завтракать. Первое, что сделала Лора, выйдя из палатки, — поцеловала отца, и Арман понял, кто встал раньше него и принес в жертву столько шишек. Доктор был несколько разочарован. Он думал, что это сделала Татевик.

После завтрака все искупались — семья доктора Армана в последний раз, — а потом Лора, Эва и Татевик легли на песок позагорать; Вааг принялся что-то чинить в машине, а Арман и Клара — собираться.

— Откуда у вашего папы такие страшные шрамы на ногах? — спросила Татевик, глядя на Армана.

— Авария, — ответила Лора.

— Автокатастрофа, — добавила Эва. — Это случилось, когда мне было пять лет, в 1984 году.

— Мы тогда жили у бабушки с дедушкой, и мама с папой куда-то ехали, — подхватила Лора.

— Папа пострадал больше, чем мама, — добавила Эва. — С мамой почти ничего не случилось.

— Нет, случилось, — возразила Лора. — У мамы была черепная травма.

— Я этого не помню.

— А сколько вам лет? — спросила Лора у Татевик.

— Двадцать девять.

— Вы на четыре года старше своего мужа? — удивилась Лора.

— Тебе это кажется странным?

— Нет, мне странно не то, что вы на четыре года старше мужа, а то, что вам двадцать девять лет!

Татевик улыбнулась: «А у этой Лоры есть зубки».

Потом Клара позвала дочерей, пора было одеваться. Доктор Арман собрал палатку и вместе с рюкзаками и сумками уложил в багажник машины. Лора и Эва переоделись — уже в машине. И все стали прощаться.

— Очень рады были познакомиться, — сказал Вааг.

— Мы тоже, — ответил доктор. — И мы славно провели время, правда?

— Да, — согласилась Татевик.

— А давайте обменяемся адресами, — предложила Эва. — Будем встречаться и в Ереване.

Они обменялись адресами, доктор, Лора и Эва сели в машину, а Клара шепнула Татевик:

— Не тяните с ребенком. Вааг еще очень молод, и лишь ребенок, особенно сын, удержит его в лоне семьи...

Доктор Арман завел машину, и они поехали; сначала по песку вдоль берега и деревьев, потом выбрались на шоссе. Дорога была пустынной, их обогнала белая машина, битком набитая арбузами, спустя десять-пятнадцать минут ту же машину обогнал доктор Арман. Он включил магнитофон и молчал до самого Еревана. Только в начале пути Клара спросила, заедут ли они на полуостров.

— Нет, — ответил Арман.

— Почему? Ты же обещал вчера!

— Не знаю. Не хочется...

Доктор Арман понимал, что все эти адреса, обещания встретиться в Ереване, все это — пустой разговор: никто не позвонит, никто не придет, и они тоже никому не позвонят и никуда не пойдут. Он знал, что ему теперь с *этим* жить и носить *это* в сердце своем («Ах, какое же ты глупое, сердце мое!»). Он подумал, что это будет его *великой тайной*, которой никто не узнает... Доктор Арман почувствовал вдруг страшную тоску и понял, что умер, вернее, не умер, а умирает — точно так же, как ночью, когда запутался в сетях браконьеров. И еще он осознал, что и не хочет больше жить, но у него никогда не хватит духу, решимости, которой у него никогда и не было, чтобы свести счеты с жизнью. Не об этом ли предупреждали боги, чуть было не отнявшие у него жизнь? «Кто знает этих богов. Никогда не угадаешь, что они задумали!» Доктор нащупал в кармане куртки три маленькие шишки, которые почему-то взял на память (о чем?!), и подумал: «Миры периодически рушатся. Периодически рождаются и исчезают галактики, звезды. Периодически рушится жизнь. Разве мир в очередной раз не пошел к чертям?»

12

«Ох уж эти гении!» — подумала Тина, когда Арис сказал, что закончил рассказ, и спросила:

— Мы идем к тебе?

— Нет, — ответил он. — Мои предки сегодня дома. Да и Аршо... тоже.

— Жаль.

— Да. Но у меня есть ключи от одной квартиры.

— От какой?

— Неважно.

— От чьей квартиры ключи?

— Зачем тебе знать?

— Просто интересно.

— Ну, ключи мне дал Хорен.

Тина ничего не сказала, и Аристакес был рад этому. Они шли к станции метро. Жара была нестерпимой, и отовсюду пахло разлагающимся мусором. Вонь стояла ужасная. Сухой ветер сушил легкие. У прохожих лица были изможденные, совершенно очевидно, они мечтали о том, чтобы поскорее прийти домой и облиться холодной водой. К запаху мусора примешивался запах человеческого пота. Город, казалось, гнил живо. Люди стояли в очередях за мороженым. Банки пива, колы и фанты охлаждали в ледниках для соков.

Когда Тина заговорила снова, Аристакес понял, что рано радовался.

— Противно, боже, как это противно, — сказала она.

— О чем ты? — спросил он.

— О том, что мне противно быть похожей на шлюху.

— С чего ты взяла? С ума сошла, что ли?

— Нет, дорогой. Это ты сошел с ума. В эту квартиру Хорен приводит своих шлюх, а теперь туда иду я.

Аристакес постарался взять себя в руки и сказал спокойным, ровным голосом:

— Не вижу никакой связи между шлюхами Хора и тобой.

— Какой ты благородный!

— Перестань!

— Не перестану! Небось, Хорену сказал, что приведешь «девочку»?

— Нет. Я сказал, что нам с тобой некуда сегодня пойти, и он дал мне ключи.

— Ты сказал, что приведешь туда именно меня?

— Да.

— Идиот! Ты понимаешь, что ты наделал?

— Послушай, я тебя никак не пойму. То ты говоришь одно, то другое...

— И не поймешь!

— Пожалуйста, не кричи так на улице, на нас смотрят.

— Противно. Боже мой, как это противно! — шептала Тина. — Значит, Хорен знает, что мы с тобой спим. Ты ему все рассказал. Ты подонок, Арис!..

— Заткнись! — Аристакусу очень захотелось ударить ее, к тому же он не понимал, в чем его обвиняют. — Заткнись! Не надо портить вечер. Мы пойдем туда и будем любить друг друга, и все станет на свои места, все будет хорошо.

— Нет, — Тина покачала головой. — Ничего уже не будет хорошо.

— Дура! — Аристакус сорвался на крик, и ему самому это было противно. — Не все ли тебе равно, где трахаться? Я же не виноват, что мои предки сегодня решили не ехать на какой-то день рождения! А в этой проклятой квартире нам никто не помешает. Тина, что с тобой сегодня?

— Заткнись! *«И не кричи так, на нас смотрят»*, — мысленно добавила она.

— Послушай...

— Заткнись, я сказала! Надоело!

Они спустились в метро. Там было прохладно, но одежда прилипала к телу. Им нужно было проехать две станции до квартиры друга Аристакуса.

«Не хочу жить!» — подумал вдруг Аристакус.

Это было в августе, когда Ереван гнил под лучами палящего солнца.

А до того, еще совсем недавно, был март.

Конец XX столетия, планета Земля (два тысячелетия сюда, миллионы лет туда), и маленькая часть этой планеты — Республика Армения, и ее столица Ереван, где теперь шел снег. Он то замедлял свой ход, то убыстрял, и снежинки со слабым стуком ударялись в окна. Постукивания снежинок нельзя было слышать. Оно только подразумевалось. А из окна виднелась длинная очередь. За чем? Наверное, за хлебом.

Аристакус отошел от окна и лег на диван. «Конец двадцатого столетия, — думал он. — Земля, и еще март».

Он услышал, как Тина открывает дверь в квартиру. Он знал, что это она, потому что ключей больше ни у кого не было. Только у Тины. Интересно, снимет она пальто в прихожей или так, в пальто, и пойдет в комнату?

— Привет, Аристольчонок. Поздравляю, — сказала Тина и поцеловала его. Она была в пальто. На меховом воротнике и шляпке серебрились снежинки.

— Спасибо. — Аристакус не встал с дивана. — Ты опоздала на полчаса.

— На сколько? — улыбаясь, переспросила она.

— На тридцать минут! — ответил он.

— Я думала, больше.

Теперь улыбнулся он, потому что не было случая, чтобы Тина куда-нибудь не опоздала.

— Я сниму пальто и вернусь, ладно? Ты лежи.

Тина ушла и долго не возвращалась; должно быть, расчесывала волосы. Когда же она снова вошла в комнату, Аристакус вскочил с дивана: так она была красива.

— Я польщена, — сказала Тина. — Значит, я действительно неплохо выгляжу, раз ты оторвал свой зад от этого ужасного дивана.

— Да ты потрясающе выглядишь! — сказал он.

— Спасибо. А теперь дай я тебя по-настоящему поцелую.

Целуя ее, Аристакус посмотрел, идет ли все еще снег за окном или перестал.

— Слушай, — спросил он, — а что тебе не нравится в моем диване?

— Он ужасно скрипит, джанс.

В этом была вся Тина.

«Вообще, — думал Аристакус, — когда ждешь женщину, никогда не знаешь, что будет. Каким будет тон встречи, какие оттенки? И поэтому стоишь у окна, как идиот, и смотришь на улицу. Я очень боюсь первых минут при встречах с женщинами. Это всегда опасность для нервов». Но теперь опасные минуты остались позади.

- У тебя ужасно холодно, — сказала Тина. — Почему бы не растопить печку?
— Сделаю сейчас, — сказал он и взял с письменного стола спички.
— А я накрою на стол.
— У нас ничего нет. Даже хлеба. Аршо где-то пропадает. Мама с папой в Дзорке.
— Знаю. Не беспокойся. Я все принесла.

Аристакеc пошел к своей маленькой печке. Дрова у него были сухие, поэтому быстро вспыхнули ярким пламенем, и печка весело загудела. Конец двадцатого столетия, железная печка...

Он смотрел на Тину. Та возилась у стола, вынимая из большой спортивной сумки какие-то свертки, бутылки, мисочки. Тина и впрямь была очень красивая. Сегодня на ней было облегающее платье, такое короткое, что дух захватывало, и туфли на высоких каблуках — Аристакеc вспомнил, что когда она заходила в комнату в первый раз, на ней были сапоги. Стриглась Тина коротко — говорила, что чистый голый затылок очень возбуждает мужчин. Аристакеc неотрывно смотрел на Тину и думал: неужели такое возможно в Ереване в конце двадцатого столетия, при железных печках, очередях?..

- Пожалуйста к столу! Кушать подано!
— Боже мой! Когда ты успела все это приготовить? — удивился Аристакеc.
— Вчера. У нас, по счастью, не выключали свет.
— Ты ненормальная!
— Конечно, — согласилась Тина. — Садись, я достану подарок. Удивляюсь, как ты выдержал и до сих пор не спросил о нем.
— Я скромный!

Тина взяла сумочку, достала оттуда что-то маленькое, завернутое в кальку, и с поцелуем вручила ему.

- Нет, ты на самом деле ненормальная, психованная, — сказал он и взвесил авторучку на ладони (привычка такая). — Люблю, когда мне дарят авторучки.
— Я знаю, джанс. Тебе нравится?

- Очень.
— Теперь давай есть. Я проголодалась.

За окном снег замедлял свой ход, и под этим тоже тогда что-то подразумевалось. Аристакеc ел «оливье», запивал вином, болтал с красавицей Тиной и думал о том, что вот, конец двадцатого века, планета Земля, март и день его рождения. «Двадцать первый, кажется?» Он улыбнулся этому «кажется».

Аристакеc и Тина поженились в августе 1995 года. Тогда, и вплоть до 1999-го, Тина верила, что ее Арис — гений.

«Ох уж эти гении!» — часто повторяла она мысленно. То была еще Эпоха Страшных Зим.

13

1996 год

«Миры периодически рушатся. Периодически рождаются и исчезают галактики, звезды. Периодически рушится жизнь. Разве мир в очередной раз не пошел к чертям?»

Следующий день.

«Зачем я так написал вчера? Непонятно!

Так что? Сегодня 20 января 1996 года. Согласно шагомеру отшагал 7890 шагов. Нужно использовать это в романе. Да, я пишу роман. Уже месяц.

О гладкости и формах: у меня в кармане конский каштан. Зачем? Не знаю. Просто приятно чувствовать на ощупь его гладкость и форму.

Человек на крыше дирижирует восходом солнца. — Это тоже использовать в романе».

Следующий день.

«Встал в 11:00 и до 13:00 ничего не делал. Потом, с 13:00 работал с серебром —

работа утомительная, мелкая: из тонких полосок серебра вырезаю формы, которые потом ювелиры используют в сережках, браслетах и так далее. Это дело мне дал дядя Арман — муж моей тети Клары и отец моих двоюродных сестер Лоры и Эвы, чтоб я чем-нибудь занимался на каникулах (пока в школе нет занятий: я преподаю в школе уже год с лишним). Одновременно сочинял стихи. Они начинаются так: "Жаль. Я когда-нибудь умру..."

Может, использую в романе?

Роман я сегодня вообще не писал.

Потом, где-то в 16:15, мы с Тиной пошли к ее родителям. По дороге купили хлеб и макароны. У родителей Тины ели рис (вкусный). Вова (отец Тины) сказал, что ничего не может сделать для того, чтобы я не пошел в армию (я на пятом курсе пединститута, по окончании которого мне грозит армия. Мы думали, что он устроит меня в МВД, где работает сам)...

У них был свет. От них мы вышли в 21:00. По дороге встретили Лёву (мой ученик).

В 21:40 мы были уже дома, у себя в "Зеленой квартире". Мы ее окрестили "зеленой" потому, что в ней стены грязные и зеленые. Мы здесь живем с августа 1995 года, с тех пор как поженились. Квартира на улице Тиграна Меца принадлежит каким-то знакомым отца Лоры, которые живут в России. Вещи хозяев мы перетащили в спальню, а сами живем в гостиной.

Сейчас Тина моет посуду. Будем смотреть телевизор. Он очень маленький, экран с открытку. После того как его принес Мартин на Новый год, он остался у нас. Я его ставлю на живот, и мы с Тиной так смотрим. С утра Тина уйдет на работу, я буду писать роман, потом делать серебро. У меня каникулы».

Следующий день

«Встал в 10:00. Тина уже пила чай и вскоре ушла на работу. Я очень хотел ее, но она сказала, что опаздывает. Писать роман не было охоты, и поэтому, выпив кофе, я засел за серебро. Работал до 16:00. Очень доволен собой. В четыре пришла Тина. Она приготовила поесть, и мы поели (зеленый горошек), потом занимались любовью, потом почему-то заснули. В 17:30 пришли Грант и Маришка, потом Мартин и Лора, а потом Хорен и Рипсима — наши друзья. Сели играть в лото. Тина и я выиграли 80 драмов, кои я и положил в "фонд". Фонд — это ящик, который висит у нас на стене, рядом с дверью в гостиную. Все, кто сколько выиграл, тоже положили в фонд. Решили ящик вскрыть в последний четверг января и деньги прокутить. Гости ушли в 21:00. Мы с Тиной ели тосты — кстати, завтра утром нужно пойти за хлебом, — и одновременно смотрели последнюю серию "Зимней вишни" по маленькому телевизору, который мы нарекли форточкой в мир, или просто "форточкой". Теперь лежим в постели. Тина смотрит какой-то фильм по какому-то рассказу Распутина. А я собираюсь читать Эккермана.

Думаю, Гёте был одиноким. Все бессмертные были одиноки именно потому, что они были бессмертны. Ведь смертные умирают, уходят, умирают...

Все. Спокойной ночи!

P.S. Херово все на самом деле...

P.P.S. Завтра пять месяцев, как мы поженились».

Следующий день.

«Проснулись в 10:00 (слишком поздно!!!). Как придурок, смотрел "Санта-Барбару", потом мы поели. Потом засел за серебро и работал до 16:00. С 12:00 у нас не было света. Я делал серебро, Тина вздремнула. В 16:00 позвонила Рипсима — однокурсница Тины, Лоры, Ники, подруга моего друга-одноклассника Хорена, и сказала, что мы можем приехать к ней посмотреть видеокассету, которую прислал из Америки брат Тины — Тига. В 16:00 дали свет, мы поели (черт, забыл, что ели, а спрашивать у Тины неудобно) и поехали к Рипсима. Там были Хорен и отец Рипсима. Потом пришли мама Рипсима и Маришка, ее сестра. Мы смотрели кассету. Это было долго, очень долго... Потом я пошел за Лорой и привел ее к Рипсима. Кончили смотреть кассету, и у них вырубили свет. В 22:00 мы с Тиной вернулись на метро (успели!) домой. В 22:45 были уже дома.

Поели хлеба (ничего другого не было), посмотрели "Лунный свет" с Брюсом Уиллисом, уснули в час ночи. Сегодня я отшагал 4896 шагов (по шагомеру). Думаю, эти шаги использовать в романе. Вот и все».

Следующий день

«Я встал, как обычно, поздно. Делал серебро до 16:45, потом мы с Тиной пошли к родителям. Она — к своим, я — к папе. Потом я пошел за ней. Мы наскоро пообедали, потому что в 18:00 должны были быть дома. В метро отдали письмо Эммы (мама Тиной) для передачи в Америку Тиге. Когда доехали до дому, нас уже ждали Амик (троюродный брат Мартина) и Ника (двоюродная сестра Ара и однокурсница Тиной, Лоры, Рипсима). Они ждали у подъезда, и мы поднялись к нам. Потом пришли Хорен и Рипсима, Грант и Маришка (сестра Рипсима). Сели играть в лото. Мы с Тиной проиграли 80 драмов (80 — наверное, число для нас роковое) своих и еще 160, одолженных у Рипсима. Потом пришли Ара — друг Мартина, двоюродный брат Ники и Ира, его подружка, русская. Они остались у нас ночевать. Когда все ушли, мы вчетвером поели и смотрели идиотский фильм "Опасное влечение" до двух часов ночи. Потом легли спать. Ара и Ира трахались в соседней комнате (той, которой мы никогда не пользовались, где вещи хозяев квартиры). Было слышно, как скрипит там старая железная кровать и как дышит Ира. Мы с Тиной долго не могли заснуть».

Следующий день.

«Мы с Тиной проснулись от звонка моей мамы (из Дзорка). Потом позвонил мой father и сказал, что звонил мой научный руководитель. Я должен позвонить ему насчет диплома, но мне до чертиков этого не хочется делать. Тина приготовила макароны, потом встали Ара и Ира (я к тому времени уже выпил свой кофе). Мы позавтракали, потом Ира стригла Ара, потом он помыл голову. Я смотрел, как она стрижет, и меня вдруг стошнило, непонятно от чего. Ара служит в армии, в Минобороны, куда его устроил его папаша, и на выходные приезжает в город, вернее, к нам, поскольку к себе домой ему не хочется — он поссорился с родителями. Они ушли где-то в 14:30. Потом мы с Тиной занимались любовью. Я в очередной раз удивился, откуда Тина умеет так хорошо делать минет. На этот раз я задал вопрос велух:

— Где ты научилась так классно сосать?

— Я не училась, это... по наитию...

Потом я поехал к папе Лоры и Эвы, дяде Арману, доктору, отдавать серебро — первую партию. Получил от него 1000 драмов предоплаты (осталось еще 2000) и, купив хлеб за 150 драмов, вернулся домой. Тина приготовила чечевицу, мы поели, потом легли и посмотрели подряд фильмы: "Один дома", "С меня хватит", "Обыкновенное чудо" и "Лунный свет". Свет мы потушили в 2:30, но долгое время не могли заснуть. Вспомнил о том, что, когда возвращался от дяди Армана, встретил в метро Артака. Он был моим другом в школе до восьмого класса — причем самым близким. Но все это было в до хорено-арсеновский период... В душе — ничего. Я ничего не почувствовал, встретив давнишнего друга. Мир слишком быстро и резко поменялся, подумал я, и мы стали совсем другими...»

Следующий день

«Встал в 10:30. Кое-как приготовил себе кофе — не было света, и, как оказалось, у нас кончился запас сухого спирта. Только что встала Тина. Я решил, что сегодня не буду делать серебро. Теперь сижу и не знаю, чем заняться. 12:05...»

(Продолжаю писать уже на следующий день)

Свет дали в 14:00, и мы сразу вышли из дома. Пошли к маме Тиной, посидели там до 17:00, потом вернулись в "зеленую квартиру". В 18:00 пришли Хорен и Рипсима. Мы с Тиной в это время обедали, потом вчетвером выпили чаю. Мы очень много говорили, в частности об Ара и Ире (попросту сплетничали). В 21:30 они собрались уходить, и мы с Тиной решили проводить их до метро. Вышли и ахнули: шел снег. Когда мы с Тиной вернулись домой, дали свет, который выключили еще в 20:30. Я позвонил Багдасаряну (мой научный руководитель), потом мы смотрели первую серию "Войны и мира", а потом легли спать. 5664 шага.

Сегодня проснулись поздно. Сначала не было света, потом дали, потом снова вырубili. Где-то в час пошли к родителям Тины, признавшись себе, что идем туда с тайным намерением пообедать... Эмма была одна. Мы выпили растворимого кофе. Потом с работы вернулся Вова, и мы пообедали, потом пошли к Мартину (он болен). Там были Хорен и Рипсима, Грант с Маришкой и Лора, моя двоюродная сестра. Мартин показывал нам, как дрессирует своего Пастора (доберман-пинчер). Посидели до 21:30 и ушли. Приехали в "зеленую квартиру" в 22:40. Света не было, и мы легли спать.

Да, забыл! До того, как пойти к родителям Тины, мы зашли к моему папе. Его не было дома, и мы оставили записку.

Сегодня — 8880 шагов».

Следующий день

«Абсолютно мертвый день. Ничего не делал, просто лежал на тахте и даже не читал (Эккерман со своим хозяином скучают и пылятся на тумбочке). Свет со вчерашнего дня так и не дали (как оказалось, кабель в подъезде перегорел). Вечером мы с Тиной играли в карты — в дурака. Сыграли 4 партии. Я стал дураком 4 раза».

Следующий день

«Сейчас 16:50. До сих пор света нет. Сегодня проснулись в 8:15 по будильнику и поехали в Академию заказывать в библиотеке книги для моей дипломной. Оттуда зашли к папе, но его опять не оказалось, зато он оставил записку. Мы, в свою очередь, тоже оставили записку и ушли. Встретили Эдика и Рипу. Рок-группы "MDP" уже нет, а Эдик есть. Небритый. Обменялись телефонами, они обещали позвонить и прийти в гости. Потом пошли к Тининой маме. Опять пили растворимый кофе и просидели до 14:30, потом пешком пришли домой. Было холодно, промозгло, слякотно. Вова с работы зашел к нам в "зеленую квартиру" и принес дров и бумаги для нашей печки (которую мы в последнее время не топили — нечем было). Теперь печка весело гудит, нам тепло, и мы уже пообедали. Надеемся: может, дадут свет?

Сегодня Грант лег в больницу. Завтра его оперируют.

Парапроктит».

Следующий день

«Пишу сразу: сегодня отшагал 9090 шагов. Вот так!

Рано утром, выпив кофе, пошел к Гранту в больницу №8, причем я их не сразу нашел (и больницу, и Гранта). Грант после операции чувствовал себя хорошо. Шутил. Говорил, что он больше не девственник в плане ануса и это несколько обидно. Там были Рипсима, Хорен, Маришка и мама Гранта. Потом Рипсима, Хорен, приехавший позже Мартин и я ушли. Я поехал к папе. Сегодня из Дзорка приезжал Аршо (мой родной брат). В это время Тина была у своих родителей. Она ходила в Академию брать заказанные для меня книги. Мы с папой выпили кофе, но Аршо все не было. У нас дома было холодно, неудобно, накурено. Пришла Тина; мы просидели у папы до 17:45 и, так и не дождавшись Аршо, ушли. Его мы встретили в метро (автобус из Дзорка опоздал). Там же в метро мы встретили Лору. Она ждала Мартина — они собирались идти к нам. Мы вдвоем стали ждать Мартина, потом все вместе поехали в "зеленую квартиру". О радость! У нас был свет, кабель починили! Это означает тепло (прежде всего!) и телевизор. Мартин и Лора ушли в 21:00 (метро закрывается в 22:30, Мартин должен был проводить Лору до улицы Киевяна, где она жила с родителями, и успеть вернуться на метро же на Московскую улицу). Мы с Тиной посмотрели "Лунный свет" и теперь собираемся спать».

Следующий день

«Встали поздно. Как же долго я спал! По очереди добросовестно посмотрел все сны. Один за другим. Это был какой-то фестиваль недосмотренных, отложенных снов. Проснулся с уставшими от сна глазами...

Позавтракали и поехали в больницу к Гранту. Он чувствовал себя хорошо. Просидели там до 15:00. Потом поспешили домой, потому что в 16:30 должен был прийти Аршо. Он, естественно, опоздал (пришел в 18:30). До того мы с Тиной поели, а в 18:00 дали свет, который опять выключили через час. После этого пришли Амик и

Ника и портили нам нервы до 21:35. В 22:15 пришли Ара и Ира. Мы вчетвером посмотрели "Лунный свет", и Ара с Ирой пошли спать. Мы с Тиной остались сидеть. Должны были прийти еще Лора и Мартин, но так и не пришли».

Следующий день

«Встали рано. Света не было. Ара и Ира встали лишь в 11:00.

Мы с Арой пошли за хлебом, причем хлеб купил я. Потом мы ели, потом все вместе вышли и пешком пошли: мы с Тиной к ее родителям; Ара с Ирой — к Мартину домой. У родителей Тины меня постригли (Эмма, теща), и я помыл голову. Пообедали и вернулись к себе.

У нас был свет, который выключили в 20:00 и больше не давали. Наш долг в "фонд" составил уже 300 драмов. Плохи наши дела».

Следующий день

«Все утро был свет. Тина приболела. Я до 15:00 ровным счетом ничего не делал. Потом мы поехали к Гранту в больницу. Он уже ходит. Там мы играли в идиотскую игру: прикосновением пальцев к кисти руки ты должен с закрытыми глазами определить свою подругу/жену. Все отгадали правильно, кроме меня, и все потом смеялись надо мной. Там были Мартин/Лора, Амик/Ника, Маришка, Рипсима/Хорен и мама Гранта. Когда туда пришел отец Гранта (он в разводе с его матерью), мы все встали и ушли. Домой мы вернулись, как обычно, на автобусе № 1. Хорен оплатил наш проезд (денег нет!). Дома был свет. Смотрели телевизор, потом в 22:15 свет отключили, и мы легли спать. Свет дали где-то ночью».

Следующий день

«Встали очень поздно, позавтракали, вышли из дома. Тина поехала в Академию опять же взять для меня книги из библиотеки, а я поехал к отцу. Там был только Аршо. Он жаловался на папу (мол, самодур). Я долго играл на пианино, потом пришла Тина (с книгами). Потом — папа.

Мы пошли к родителям Тины. Посидели немного (я опять играл на пианино), потом пообедали, потом пришел Вова, и мы ушли домой. Сначала свет был, потом его выключили. Пришли Хорен и Рипсима. Свет опять дали где-то в восемь, Хорен и Рипсима ушли в 21:30. Мы с Тиной посмотрели "Спартак" с Кирком Дугласом и уснули. Отшагал 5863 шага».

Следующий день

«Встали очень рано, и я сразу же сел писать диплом. Получается хорошо (в принципе перепечатаваю все из книг, изредка меняя предложения; большего и не требуется). Писал до 15:00, и все время был свет. В 15:15 вышел за хлебом, мы с Тиной поели, потом поехали в больницу к Гранту. Там были Маришка, Рипсима, Хорен, потом пришли Лора и Мартин. Лора принесла 1000 драмов из расчета за серебро (осталось еще 1000). От Гранта мы вышли в 21:00 и долго стояли на остановке, автобусов не было. Шел снег. Не дождавшись автобуса, мы сели в маршрутное такси (верх расточительства!) и доехали до станции метро "Дружба", оттуда — домой. Свет был, но не было воды (сегодня ее нет весь день).

Подумал: кажется, что Земля переворачивается. А на самом деле лишь кто-то приставил к Земле огромный кусок *магнита*».

Следующий день

«Странное ощущение: наступил февраль. С утра не было света, и поэтому мы с Тиной пролежали в постели до 13:30. С утра и до сих пор идет дождь. В 13:30 дали свет, и мы позавтракали. Воды по-прежнему нет. Тина жарит семечки, а я буду писать диплом. За окном дождь (в феврале!). Кстати, два месяца зимы уже прожили. Слава богам! Остался февраль.

Долго писал диплом, потом мы поехали к Тининым родителям, там поели вермишели и выпили кофе (растворимого) и вернулись на метро домой. Свет есть, но ни капли воды».

Следующий день

«Встали в 9:00, когда дали свет. Из остатков воды приготовил себе кофе и засел

за диплом. Писал до 11:30. Потом смотрели "Санта-Барбару" (дожил!), потом позавтракали. Свет выключили в 12:15. Потом снова — диплом. Потом до трех писал (роман!). Потом ничего не делал до пяти (не дали ни воды, ни света), затем мы поели (хлеб, посыпанный солью), потом, взяв бутылку из-под колы и термос, поехали к Гранту. В больнице, перед уходом, наполнили бутылку и термос водой и в восемь вернулись домой (сначала на маршрутке, потом на метро). Воды нет, но свет дали. Тина готовит поесть (чечевицу — пища богов!), а я смотрю телевизор. Собираюсь завтра встать в 7:30. Посмотрим».

.....

«Не писал с самого 2 февраля. Не ручаюсь за достоверность хронологии, во всяком случае, попытаюсь изложить коротко все, что произошло за это время.

Вплоть до 8 февраля нам так и не дали воды, а 7-го у нас опять перегорел кабель в подъезде, и мы опять остались без света. С 3 по 8 февраля мы с Тиной каждый день носили воду к себе в "зеленую квартиру" в бутылках (то из больницы, где лежал Грант, то из дома родителей), а когда 7-го перегорел и кабель, я решил, что хватит. Придя 8 февраля из школы домой (занятия начались 5-го) и увидев Тину, съехившуюся от холода в постели, убедившись, что кабель не починили и воду не дали, я решил перебраться жить к родителям Тины. И вот с 8 февраля мы живем здесь, и отныне дом родителей Тины называется «домой», «наш дом». С "зеленой квартирой" мы распрощались, кажется, навсегда (правда, до сих пор перетаскиваем вещи).

Черт знает, что есть наша жизнь! Как паутина. Жизнь — это паутина. Капельки росы на паутине — слезы паука.

Мы и наши слезы...

Я, как паук, цепляюсь за жизнь — за паутину».

.....

«Март! День моего рождения. Встал очень рано. В 8:00 пошел к папе. Оказалось, в четверг приходили за мной из военкомата. Мы с папой решили, что в военкомат пойдет один, без меня. От него я пошел в школу. Там меня все поздравляли, администрация подарила мне 3000 драмов, а девочки 9 «е» класса — блокнот и кассету Элтона Джона. Из школы я вернулся домой, и мы стали ждать папу и Аршо, Аршака. Они пришли в 17:15 и принесли шампанское (где они раздобыли деньги, господи!). Мы все пообедали. Они остались до 22:10, а потом ушли. Тогда и дали свет. Рипсима, Маришка, Грант, Хорен позвонили и поздравили меня. Мы с Тиной легли рано».

Следующий день

«Шел снег весь день (как я люблю мартовский снег!). Вечером, в 19:00, пришли Хорен и Рипсима. Света опять не было. Они подарили мне майку и бритвенный набор. Посидели до 21:45 и ушли, чтоб успеть на метро, которое закрывается в 22:00. Мы с Тиной поужинали, посмотрели "Лунный свет" (дали электричество!) и легли. Сегодня суббота. Все утро писал роман. Где-то днем позвонила Ника и поздравила меня с днем рождения».

Следующий день

«Все утро писал роман (я работал над той частью, которая впоследствии получит название "Реквием", о похоронах Алена. Прототипом Алена был Акон Аконян, мой одноклассник, тогда, 3 марта, еще живой. 26 марта он покончит с собой, и я перестану писать до самого октября того же, 1996, года. — Примечание 2015 года).

Писал сегодня до 13:00, потом проверил письменные работы 5 «г» класса. Потом мы с Тиной пообедали и в 15:00 вышли из дома. Компанией решили на нашей старой "зеленой квартире" отметить мой день рождения и начало весны, и еще попрощаться с квартирой, в которой мы жили с 19 августа. Встретившись с Аршо, мы сели в метро и поехали. Купил томатную пасту для "кровавой Мэри". Прибыв на место, подмели, я вычистил печку. Потом пришли Хорен, Рипсима, Маришка, Грант и Лора. Лора подарила мне сигары, которые мы и раскурили вместе. Потом пили "кровавую Мэри". Потом пришел Мартин, и мы в 21:20 ушли. Аршо и я несли по сумке наших вещей, которые еще оставались в "зеленой квартире"».

Следующий день

«Выпил кофе и пошел в школу. Там, как всегда, было очень холодно. Я улучил момент и зашел к директрисе. Она обещала поговорить кое с кем из Министерства обороны, чтобы в виде исключения меня не взяли в армию "ввиду того, что я *очень* нужен школе".

После уроков я пошел к Лоре, двоюродной сестре. Дома был только доктор Арман, и мы говорили о политике (с ума сошли!). Потом я пошел к Рипсиме. Тина, Грант и Маришка были уже там. Выпили кофе. В 16:30 мы с Тиной пешком вернулись домой. Пообедали, потом вышли погулять. Зашли к моему папе. Туда позвонил Арменчик и сказал, чтоб я завтра (во вторник) пришел в институт. Когда мы с Тиной вернулись домой, дали свет, мы посмотрели "Метод Крекера" и легли спать».

Следующий день

«В 8:30 пошел в институт, узнал, что в среду и четверг у меня экзамены (ликвиды), и еще, что нужно принести справку о том, что я работаю в школе. Из института я пошел в школу (пешком, денег на метро не было), взял справку и предупредил завуча, что не приду в среду и четверг. Пришел домой, поел и больше ничего не делал. У меня не было сигарет (а значит, денег), и я нервничал. Дозвонился до мамы в Дзюрк; она сказала, что приедет на следующей неделе. Звонил папа. Сказал, что если шеф сделает мне отсрочку от армии, я смогу поступить в аспирантуру (*в то время из аспирантуры не забирали в армию. — Примечание 2015 года*). Вечером я написал рассказ. Там главный герой взрывает автобус. Потом сидел до 23:00, ничего не делал, потом лег спать. Очень-очень плохо без сигарет...»

Следующий день

«Сегодня встал в 8:30, выпил кофе, позавтракал (!) и пошел к папе. Взял у него 100 драмов и пошел в институт, купив по дороге сигареты. В институте мы ждали преподавателя до 13:00, окоченели основательно. На экзамене я зашел первым и с большим трудом, еле-еле получил свою тройку. Багдасарян — мой руководитель, сидел на экзамене, но ничего не сделал. Сука! Вместе с Арутом (мой институтский друг) я ушел из института. Мы гуляли до 16:00. Встретили моих учениц Ингу (9 класс), Анну и Джемму (8 класс).

Пришел домой, пообедали. Потом играл на пианино. Сейчас идем с Тиной гулять. Может, зайдём к папе. Два дня уже настоящая весна. Завтра, в четверг, у меня опять экзамен (Музоян — сука), но я не буду готовиться. Черт с ним. Ем морковку».

В марте

«После переезда из "зеленой квартиры" забросил Эккермана и читаю Стендаля, пишу роман. Недавно написал рассказы "О собаках и кошках", и "Короткий рассказ"».

В марте

«Раньше я читал книги, чтоб узнать что-то новое. Теперь же — лишь для того, чтоб найти в них подтверждение собственным мыслям (использовать в романе)».

В марте

«Если в книге нет мыслей, которые есть у меня, эта книга мне неинтересна».

Опять в марте

«В авторе той или иной книги хочешь найти друга, единомышленника. Это позволяет думать, что ты не одинок. Наверное, это мысли для рассказа "Самоубийца", о котором думаю. (*Затем опять из той же записной книжки вижу, что весь март до 24 числа записывал афоризмы великих людей, которые у меня накопились на листках с самой школы. Эта работа (137 афоризмов) была закончена 24 марта. Дальше в книжке ничего нет. 26 марта покончил с собой Акон Аконян, мой школьный друг, прототип Алена из романа. Я узнал о его смерти в школе, на перемене. Сначала не поверил, потом — пришлось, хотя и до сих пор не могу осознать. 28-го состоялись похороны. Были Арам (Жак), Вова (Вольф), Хорен (мой Хорен Адамян — Койтен) и Гаспар (Гаспар). Помню этот день. Шел дождь, помню, как, когда уже ехали на кладбище (на машине Арама), друзья меня высадили у Оперы, чтоб я пошел домой, ибо был день рождения Тины, двадцатилетний юбилей. Так что я на похоронах не был (в романе же подробно описал похороны). На*

следующий день мы встретились, выпили, думали о том, как все это сказать Саше (Алеку из романа), который был уже тогда в Москве и ничего не знал. И я корил себя за то, что своим рассказом о похоронах Алена накликать беду. Ведь этот отрывок был написан до того, как Акон покончил собой. Так что меня на похоронах не было, как не было и Саши (Алека). После этого я бросил писать, чего-то, видимо, испугавшись. — Примечание 2015 года)».

Где-то в апреле

«У дедушки Аршака изменился характер. Он стал требовательным, и это порой переходит в сварливость (использовать в романе)».

Май

«Сажу в прохладной классной комнате, за окном солнышко, небо до одури синее, и дом жилой виден из окна с бельевою веревкой, на которой женские трусики, лифчики и несколько пар мужских черных носков.

В классной комнате двадцать детишек-пятиклассников пишут контрольную работу по истории. В учебнике тема, которую мы проходим, умещается всего на одной странице, но детишки сопят от натуги, пытаются вспомнить сложные, малопонятные слова ("индоевропейская семья языков"). У всех у них сосредоточенные лица, и мне детишек немного жаль...

Прямо перед моим столом сидят две девчушки (королевы класса, соперницы). Одну зовут Сатик, другую — Ануш. Я смотрю на Сатик. Она каждые десять секунд поднимает на меня свои голубые глазки и улыбается озорной улыбкой, и я знаю, что у нее шпаргалка. Бог с ней, думаю я, хоть бы двойку не получила. Когда она получает двойку (что, кстати, случается очень редко), она обиженно смотрит на меня, и мне становится не по себе от этого взгляда. В нем видится упрек уже взрослой женщины, которую как-то подло обманули».

Тот же день

«Познакомился с поэтом Сёмой Рубиным. Он русский. Живет в Ереване».

(Примечание 2015 года. Конец мая — начало июня: «"Последний звонок" в школе, церемонию вел я, сдавал госэкзамены в институте, защитил диплом, принимал экзамены по истории в школе».

13 июня: (В записной книжке — выписки из биографии Шопена.)

16 июня

«14 июня 1996 года я, Аристакес Азарян, окончил Педагогический институт, промучившись там целых пять лет. 15 июня стало известно, что я не иду в армию. Пока отсрочка. Но и это хорошо. (Примечание 2015 года: дальше — заметки из биографии Ф. Шопена.)»

22 июня, после выписок из афоризмов Ф. Ницше "Злая мудрость":

«Началась война. Отечественная. В 41-м.

Сегодня поздно вечером мы с Тиной выходили гулять. Проходя мимо гостиницы «А», увидели, что у дверей стоит швейцар в грязной, с винными пятнами, синей форме. К нему лез какой-то пьяный человек, что-то просил, даже требовал, но швейцар, несмотря на грязную форму сохранявший достоинство, отказывал ему. Перед гостиницей стояла машина. В ней сидели двое мужчин и курили сигареты, гремел магнитофон. Один из мужчин высунулся из окна и крикнул:

— Она скоро выйдет? А то нам некогда.

— Сию минуту, — ответил швейцар, отбиваясь от пьяного.

Потом вышла "она" и, кивнув швейцару, села в машину к двум мужчинам. Машина сразу же отъехала. А пьяный все лез, кричал, и швейцар, казалось, уже терял терпение.

"Ночная бабочка"? — спросила меня моя жена. — "Да", — ответил я. — "Откуда ты знаешь? Может, и нет". — "Знаю, — сказал я. — По тому, как она кивнула швейцару".

Уже было темно. Мы возвращались домой. Вечер был такой теплый!»

3 июля

«Из "Так говорил Заратустра": "Пустыня ширится сама собою: горе тому, кто сам в себе пустыню носит..."»

10 июля

«Детство когда-нибудь кончается. Вернее, кончается то, что было в детстве. Я подумал: последним годом моего детства был 1991-й. В том году я окончил школу, поступил в институт. Но самое главное то, что летом 1991 года я в последний раз поехал в Кармрашен на дачу. В следующем году этого сделать уже не удалось: началась приграничная война. С самого 1991 года я не был в Дзорке. А эти два слова — "Дзорг", и "Кармрашен" — для меня означают детство. *(Примечание 2015 г.: В Кармрашене я так и не был до сих пор — там уже нет дачного поселка, а корпуса Дома отдыха пустуют и разграблены. В Дзорг же поехал только в октябре 1996 года — на похороны бабушки Соны.)*

Сегодня начал писать новую вещь. В первую очередь она о Кармрашене (отсюда и мысли о детстве)».

11 июля

«Я вот что подумал: "Дачный роман" нужно писать от первого лица и обязательно в настоящем времени. Так лучше, и точнее можно передать одиночество».

17 июля

«Читая Историю, я всегда смеюсь, но потом, кончив читать, конечно же, плачу... Журнал "Литературная Армения" отобрал 4 моих рассказа: "Наступил ноябрь", "Пробуждение", "Ян и Элиби" и "Эдит". Я перепечатал их. Сегодня отнесу редактору».

3 августа

«"Песни песней" Соломона: "Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви" 2:5. "Доколе день дышит..."»

7 августа — продолжение выписок в записную книжку афоризмов Ницше «Злая мудрость».

20 августа

«"Танго делало с нами все, что хотело, и подстегивало, и пьянило, и вело за собой, и опять отдавало друг другу..." Хосе Луис Борхес. Написать что-то о танго».

22 августа

«Запомнить: Бетховен, соната для ф-но №17, опус 31, Allegretto (3-я часть)».

30 августа

«Сегодня кончил делать двухтомник своих рассказов. В первом томе — "Книга" и "Дом для Человека", во втором — "Чашка кофе и сигареты", новый сборник, куда вошли рассказы, написанные с 1993 года, включая и последний — "Рассказ без названия". Устал. Устал печатать, перепечатывать... Интересно, когда-нибудь будет возможность не перепечатывать, а скопировать и вставить в текст, где это нужно?!»

(Примечание 2015 года: Дальше ни в дневниках, ни в записных книжках нет никаких записей вплоть до 4 декабря. В октябре умерла бабушка Соны, и я поехал в Дзорг, впервые после 91-го года. В Дзорке пробыл 3 дня. Никогда не забуду, как плакал дедушка. Он сразу постарел, похудел, сгорбился. Я его таким никогда не представлял. Никогда не забуду, как плакали мама, тетя Норетта и тетя Клара (три сестры!). Вернулся оттуда полусломленным. В ноябре стал писать "Все то, что не осень" — впоследствии войдет в роман как "соната". Так прошла та осень. Теперь в душе от нее (и весны 97-го года) осталась лишь горечь выжженной травы.)»

4 декабря

«Нужно постараться, слушая "Крейцерову сонату" Бетховена, не думать о Толстом. Передумать все еще раз, прочитав графа снова. Ох уж эти гении!

Год устал к концу пути...

И я тоже устал. И я никогда не закончу роман...

Не становиться же алкоголиком из-за всего этого... И из-за романа... Ведь нет же! Я же не как Мамикон! И никогда им не буду! Не буду пьяницей! Не буду *баради эш*¹???»

¹ Никчемный ишак (арм.).

14

Был летний, душный с утра субботний день. Поев зеленой фасоли с котлетой и выпив свои обязательные пятьдесят граммов полуденной тутовки, дед Аршак Ашотович Унанян, недавно вернувшийся с баха¹, мирно дремал на тахте в гостиной. Бахча, к слову сказать, была за городом, недалеко от ГЭС, и до нее нужно было добираться автобусом № 6. Впрочем, это был единственный автобус в городе, других просто не существовало. Никаких пятых или седьмых номеров. Жена его Сона-татик² сидела на той же тахте в ногах и вязала внуку носок, как и полагается, пятью спицами, закрепив шестую в волосах. Никто не знал, зачем бабушке шестая спица, которая не использовалась никогда, но старушка никому этой тайны не открывала. Бабушка Сона вязала носок и постоянно думала сразу обо всех важных вещах, волновавших ее и служивших предметом беспокойства, грусти и тревоги одновременно. Что жизнь у ее дочерей сложилась несчастливо: у старшей, Норетты, муж, откровенно признаться, алкоголик и проныра, как и ее сын; у средней, Клары, муж хирург, и ему вообще дела нет до семьи, а у младшей, Ашхен, муж-инженер вот уже пятый год безработный, с тех пор как развалился Союз. Еще — что Маня, соседка сверху, опять постельное белье неправильно повесила сушиться: пододеяльник нужно вешать *вот так*, а наволочку *вот так*. И что характер у Аршака становится все несноснее — сломался он, когда на пенсию ушел, а потом еще больше — когда на пост председателя Совета ветеранов избрали другого, более молодого. Что эта Америка обнаглела совсем, все время *наращивая гонку вооружений*... И много-много еще о чем думала Сона-татик, когда вязала внуку носок. И чем больше она себя накручивала, тем больше нитки накручивалось на ее указательный палец и тем громче и быстрее стучали спицы в ее пальцах, от чего все глубже и глубже погружался в сон ее муж, старый дед Аршак. Короче говоря, был привычный летний, душный с утра субботний день.

А потом в дверь квартиры № 5 дома тоже № 5 по улице Железнодорожников в Дзорке постучали, и бабушка Сона пошла открывать. На пороге стоял старый почтальон Вазген, Вазо, который был всего на десять лет моложе бабушки Соны, но упорно называл ее не иначе, как «Сона-тота»³.

— Я письмо принес, Сона-тота, — все еще задыхался от подъема на второй этаж Вазо. — Письмо для Аршака-даи⁴.

— Заходи, Вазо-джан, не стой в дверях. Вот твои 200 драмов, а это передашь Розе — совсем ненадеванное. Не отказывайся! Очень хороший, теплый шерстяной жакет! — сказала бабушка Сона, доставая из шкафа в коридоре полиэтиленовый пакет с непонятной надписью «Marlboro». — Мне моя Клара из Еревана прислала, но цвет не подходит. К моим зеленым глазам этот жакет... ну никак!

— Не надо, Сона-тота... Спасибо... Письмо, говорят, очень долго шло...

Когда почтальон Вазо ушел, бабушка Сона с письмом в руках вернулась в гостиную, села на тахту и принялась разглядывать конверт: «Украина, город Чертков, от Юрия Середниченко...»

Чертков — это же город, куда Аршак в сорок третьем отправился на Высшие офицерские курсы политруков, вспомнила бабушка Сона. Оттуда офицеров посылали уже на фронт. Аршак в Черткове пробыл год... Письмо важное! Вдруг они запрашивают какие-то документы для местного Архива воинской славы! Нужно прочесть. Аршак-то мой все хуже видит, да и русский я знаю лучше его! И бабушка Сона, опустив со лба очки, открыла конверт и достала письмо. В конверте была еще фотография, скрепкой припиленная к листкам: мужчина средних лет, брюнет, усатый...

¹ Огород.

² Бабушка Сона.

³ Тетя Сона.

⁴ Дядя, брат отца.

— Это же мой Аршак в молодости! — сказала вслух Сона. — Но... фотография новая, цветная... Это ж Аршак мой! Вай! Аман! — И она стала читать.

«Уважаемый Аршак Ашотович. Меня зовут Юрий Петрович Середниченко, и я сын Надежды Осиповны, на квартире у которой вы жили с января по декабрь 1943 года. Вы были молодым офицером, готовящимся отправиться на фронт и, быть может, погибнуть там. Моя мать к тому времени уже получила похоронку на первого своего мужа, погибшего за полгода до Вашего прибытия в г.Чертков. Он так никогда и не стал отцом. Я ношу фамилию второго мужа моей матери, который стал моим отчимом в 1947 году и которому я обязан всем на свете. Вам же, уважаемый Аршак Ашотович, я обязан фактом моего появления на свет, проще говоря — своей жизнью. Знаю, что после освобождения Праги, в 1946 году, по пути на родину, в Армению, Вы на две недели остановились в Черткове у нас с матерю. Мне было тогда три года. Я знаю, это именно Вы подарили мне офицерский кинжал, трофейный. Храню его до сих пор... Зачем я пишу? Подумал, что Вы должны знать. Месяц назад мы похоронили маму, Надежду Осиповну... Пусть земля будет ей пухом... Я знаю — мама хотела бы, чтоб я Вам написал. У меня семья. Скоро родится внук. Не знаю, дойдет ли письмо. В маминых бумагах я нашел лишь один этот довоенный адрес. Если письмо потеряется, значит, так тому и быть... Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет! Ваш ~~Юрий Петрович Середниченко~~ сын Юра».

Сначала у Сона-татик перехватило дыхание, потом она и вовсе перестала дышать, потом задышала, но уже не так, как раньше. Перевела взгляд на мирно спящего после пятидесяти граммов тутовки мужа. Она не знала, разбудить его или нет. Подумала, что, будь она помоложе, — просто выцарапала бы Аршаку глаза, вот так, пока он спит. Или убила б... Ишь! Офицерский кинжал подарил! Я тебе покажу, как строгать на стороне детей! Мальчика хотел, да?

Сона-татик села за письменный стол мужа, достала из ящика лист бумаги, ручку и трясущейся от старости рукой стала писать («кто бы мог подумать, что через столько лет мне понадобится мой русский! Спасибо тифлисской гимназии!»):

«Уважаемый Юрий Петрович. Пишет Вам вдова Аршака Ашотовича, Сона Карапетян. Столько лет прошло! Скорбим о Вашей утрате. Вот и у нас горе. Аршак Ашотович — Ваш отец — умер. Он долго болел страшной, неизлечимой болезнью. Сначала у него отнялись ноги, потом руки, потом он ослеп, потом ему все тяжелее и тяжелее стало дышать, он почернел лицом, потерял слух, пошел пятнами, потом у него ~~отвалился, оторвался, егни...~~» Сона Карапетян, Сона-татик, Сона-тота не знала, как продолжить. Немного подумав и не придумав, на какие еще мучения обречь своего неверного супруга, она скомкала неоконченное письмо, скомкала она и украинский конверт с письмом и фотографией, завернула все это в газету и выбросила в мусорное ведро на кухне. Потом пошла на балкон и позвала соседского мальчика, внука той самой Мани, гонявшего с утра на велосипеде. Когда мальчик поднялся домой, Сона-татик попросила:

— Пойди-ка, выбрось, пожалуйста, мусор, ведро до краев полное...

Проснувшись, дед Аршак спросил:

— Кто к нам приходил, Сона? Я что-то слышал.

— Да нет, показалось тебе, никто.

Сона-татик умерла через два с половиной месяца. Просто однажды не проснулась. Аршак Ашотович дожил до 99 лет...

В одиночестве прожил. Все больше старел и думал о том, что мир уже никогда не будет прежним.

15

Действительно, с тех пор как умерла Сона, Аршак Ашотович Унанян очень постарел. Теперь в нем уже нельзя было узнать прежнего человека, сильного, несгибаемого, твердого. Он похудел, как-то сжался, стал маленьким и ходил, опираясь на палку с большим набалдашником, чего раньше никогда не делал; с трудом передвигал ноги, дрожание рук стало еще более заметным, и, главное, постарели глаза.

Постарели глаза, и в них появилось какое-то равнодушие к окружающему миру, и город, город, в котором старик прожил всю свою жизнь, уже не радовал его.

Время уходить, проносилось все чаще в его голове. И он не понимал, почему его *не отпускают*, ведь пора уже уходить!

И старик ждал, когда его отпустят.

«Скоро я приду к тебе, Сона, — думал он, — мы встретимся...» Впервые при упоминании ее имени у него не выступили слезы, и его не стали душить рыдания. Значит, действительно пора...

Шел дождь, было душно. Дождь шел уже третьи сутки, а духота все не спадала, такая погода была делом привычным в середине июня в Дзорке.

Держа в одной руке зонтик, а другой опираясь на палку, старик по Большому мосту перешел реку Чаги, которая шумела, бурлила внизу грязно-мутной водой, а потом, перейдя улицу, очутился на другом мосту, но внизу уже была Ган, несущая свои кристально-чистые воды навстречу Чаги. Здесь старик остановился перевести дух и, опершись о парапет, посмотрел сначала вниз, на реку, а потом на гору Сухну, на склонах которой и брала начало река Ган. Гору сейчас нельзя было увидеть, потому что ее скрыли облака, и старик подумал, что наверняка сейчас в Кармрашене туман. Ему стало больно при воспоминании о Кармрашене, потому что дачного поселка уже не существовало. Уцелели, говорят, лишь кабачок у дороги и корпуса Дома отдыха. Прежнего времени не вернуть. Того времени, когда старик и старушка вместе с дочерьми и внуками, приехавшими на каникулы из Еревана, отправлялись в поселок на все лето... Все ушло, Сона ушла... Старик снова подумал, что пора уйти и ему.

Он спустился с моста, пошел по тротуару, посмотрел на фонтаны, которые из-за дождя вовсе не радовали, потому что нет ничего на свете безнадежней, чем фонтаны под дождем; прошел под плакучими ивами, которые оплакивали свою плакучую судьбу, и, перейдя площадь перед гостиницей, направился домой, на улицу Железнодорожников.

Открыв дверь квартиры и сразу всем своим существом ощутив одиночество, старик повесил зонтик, снял туфли, надел тапки и пошел в комнату. Более одиноким, чем Тот, Кого распяли римляне в Иудее, может быть только Человек. У Того был Бог, а у этого Он не всегда есть...

И вот тут, посмотрев на увеличенную фотографию Соны в рамке над сервантом, старик зарыдал, сквозь рыдания причитая:

— Сона, Сона яр!.. Ведь ты за всю свою жизнь не сделала мне ничего плохого. Почему же ты так поступила теперь? Почему ушла раньше меня? Почему?.. Потом, успокоившись, сел в кресло перед фотографией и заговорил. Говорил долго, вспоминал, часто смеялся, плакал и все время повторял ее имя: Сона! Сона! Сона...

— А помнишь нашу первую встречу? — спросил он у фотографии и заулыбался. — Я все помню... А весну тридцать седьмого года помнишь? Ты работала в редакции газеты, и я прямо туда и пришел с цветами. И ты, не любя меня, вышла за меня замуж, потому что у тебя были «родители-интеллигенты», а в то время за это наказывали. А я был комиссаром...

А потом у нас была любовь, какой ни у кого не было. И ты давала мне читать очень много книг, о которых я и понятия не имел. И, читая чьи-то стихи, я смеялся, говоря, что все эти «охи» и «вздохи» — пережитки буржуазного прошлого. Но ты сделала из меня образованного человека, а потом... Помнишь, как ты боялась, что меня арестуют и расстреляют за то, что я женат на «аристократке»? И как меня действительно чуть было не арестовали из-за Айка-ами? Но не успели, потому что началась война и я ушел на эту войну, а ты плакала, когда я уходил, потому что с этой войны не все возвращались, и ты говорила, что без меня тебя арестуют, а у нас уже тогда родились две дочери...

А помнишь сорок четвертый год, когда меня отпустили на две недели и ты выехала мне навстречу, но я об этом не знал, и мы разминулись, и наши поезда проехали совсем рядом, но в разных направлениях, и ты не знала, что я в том поезде,

а я не знал, что ты в этом. А потом время отпуска кончилось, и мы так и не встретились, ты вернулась в Дзюрк, а я, не повидав тебя, — в полк. И встретились мы лишь в сорок шестом, спустя год после окончания войны, и ты не верила, что меня задержали военные дела на оккупированной территории, убежденная, что я там, в Праге, где для меня окончилась война, завел чешку-любовницу. Но я убедил тебя, что ты неправа, и ты поверила, хотя на войне всякое бывало.

А потом родилась наша третья дочь, Ашхен, а я так хотел сына!.. А потом началась мирная жизнь, пошли внуки и внучки, а потом мы с тобой построили дачу в Кармрашене...

Старик много чего еще вспоминал, и от воспоминаний ему делалось то радостно, то грустно. Так проходили все его вечера после смерти Соны-татик. Бывало, что из Еревана недели на две приезжала Ашхен, потом женившийся Аристакеc и не женившийся пока Аршо. Бывало, что навещала старшая дочь Норетта. И с каждым вечером силы все больше покидали старика, потому что без Соны не имело смысла жить. Со смертью старушки, казалось, умер и старик, и он поверил тому, чему не мог поверить никогда: жизнь — это капкан, из которого не вырваться до самой смерти.

И еще: *жизнь остановилась*.

16

Жизнь остановилась, когда Анна уехала в Англию, тогда многие уезжали — да и теперь не меньше. Глазастая Анна носила очки, и у нее была привычка поднимать их на лоб. Анна была красивая; не то чтобы красавица, но в ней было что-то такое, от чего все говорили: «Анна красивая...» Довольно широкие скулы отнюдь не портили ее, потому что у нее были такие глаза — огромные, карие, — заглянув в которые можно было умереть. И Эрик умер навек, а потом уехал в Америку учиться. Тогда ведь многие уезжали. Сначала, после развода, уехал он, Эрик, потом Анна — в Англию. В Анну влюблялись многие. Анна всем говорила *ласково* «нет», и видно было, что это ей нравилось. Ей нравилось ходить по головам отвергнутых воздыхателей, и счастливы были те, кто избежал ее чар, но таких было немного.

Был Аристакеc, потом муж — Эрик, потом снова Арис. Нет! Арис появился снова, когда еще был Эрик, однажды, случайно... А потом Анна развелась, потом развелся Аристакеc (Тина сказала: «Я не хочу с тобой больше жить!»). И время от времени они встречались и занимались сексом.

В последний же раз Аристакеc встретил Анну в декабре, случайно, на улице, недалеко от Оперы. Они поцеловались, и она сообщила, что едет в Англию. Аристакеc вздохнул. Анна была весела и жизнерадостна как всегда. Ее жизнерадостность являлась одной из причин ее успеха у парней, потому что все они были почему-то грустными, все были поэтами в душе.

— Что ты там будешь делать? — спросил Аристакеc. Он был небрит и казался каким-то черным — решил вообще не бриться до Нового года.

Анна улыбнулась.

— Для меня найдут работу. У меня там тетя.

— Понятно. Возвращаться не собираешься?

— В этот ад? — Анна широко раскрыла и без того огромные глаза. — Нет уж, спасибо! Я устала!

— Завидую тебе черной завистью!

— Есть чему, правда?

Проехал троллейбус и застрял на повороте. Штанги не сорвало — значит, электричество вырубилось. Люди высыпали из троллейбуса и стали толкать его к остановке, которая была, к счастью, близко. Аристакесу это показалось смешным, потому что троллейбус был огромным по сравнению с людьми.

— Кого-нибудь видишь, слышишь? — задала она всегдашний вопрос бывших одноклассников.

— Нет, — ответил Аристакеc. — А ты?

— Только Эрик иногда пишет. Он уехал в Америку.

— Знаю. Он приходил попрощаться со мной.

— Представляю его лицо.

— Все еще любит?

— Да. Он вздыхал так, что цветы, которые он мне принес, завяли на следующий же день.

— Цветы были несвежие, — предположил Аристакеc, но Анна покачала головой. Она была без шапки, в очках с толстой оправой.

— Нет. Просто Эрик слишком много вздыхал, — сказала она.

— Может быть.

Анна спросила, не пригласит ли Аристакеc ее в кафе, но тот ответил, что у него нет денег. С некоторых пор он приучил себя не смущаться от того, что у него хронически нет денег. Они помолчали, потом Аристакеc спросил:

— Теперь у тебя период прощаний, пожеланий и визитов?

— Да, — ответила Анна. — Я как раз иду к Нелли. Пойдешь со мной?

— Да. А как она, не знаешь?

— Нет.

Она взяла его под руку, и они пошли. Лед сковал панцирем тротуары, и никто не мог с этим бороться: не было соли. В городе не было соли! По радио советовали гражданам купить новую обувь, чтоб избежать падений. Но люди не могли купить новую обувь — она стоила очень дорого, и несмотря на то что все ходили не по тротуару, а по проезжей части, падений нельзя было избежать. Анна и Аристакеc шли и видели, как падают люди. Упавшим помогали подняться, следовал длинный поток ругательств в адрес президента, и, если упавшим оказывался мужчина, его претензии чаще всего перескакивали с личности президента на личность его матушки. Интересно, подумал Аристакеc, знает ли президент, что каждое падение приводит к маленькому антиправительственному митингу? И еще он думал об Анне, которая сейчас шла рядом с ним и которую он хотел спросить кое о чем, но так и не спросил. Он чувствовал, что очень любит ее. Анна была в длинной шубе...

Нелли, как ее за просто называли ученики, преподавала язык и литературу. Ей было около семидесяти, но она выглядела намного моложе. Нелли была видной женщиной, все еще красивой и в полном смысле этого слова интеллигентной.

Анна и Аристакеc постучали в дверь — света не было, звонок не работал. Через минуту Нелли открыла и, всплеснув руками, впустила их в квартиру. Аристакеc заметил, что она постарела.

— Ох, детки, как хорошо, что вы зашли! Как хорошо! — щебетала Нелли. Анна и Аристакеc сели в кресла возле кофейного столика, а Нелли — на диван. — Ну, как вы живете в этом *новом мире*? — У Нелли был очень приятный голос, тихий и нежный, когда она волновалась, он у нее дрожал.

— Так себе, — ответил Аристакеc. — Вот Анна в Англию уезжает.

— Правда? Это прекрасно! Поздравляю, Аннушка, спасешься!

Аристакеc заправил сигарету без фильтра в мундштук и закурил.

— А ты все куришь? — Нелли укоризненно посмотрела на него.

— На сигареты пока хватает.

— Я помню, как ты однажды во время урока поднял руку и сказал: «Можно выйти покурить?» — Нелли рассмеялась.

— Это было давно, — улыбнулся Аристакеc.

— Не так уж...

Потом говорили об Анне. Нелли сказала, чтоб Анна вела себя хорошо в Англии, и та улыбнулась.

— Я знаю, что ты уже взрослая, — сказала Нелли в ответ на ее улыбку.

— Настолько взрослая, что уже успела развестись, — сообщила почему-то Анна.

В комнате стояли огромные часы, которые били каждые пятнадцать минут, на

стенах висели старые фотографии. Нелли угостила их выдержанным коньяком (откуда у нее был коньяк?) и печеньем. Рядом с ней на диванной подушке лежала книга с закладкой. Аристакеc не мог со своего места прочесть название.

Прошло еще пятнадцать минут, потому что часы опять пробили. Анна сидела в кресле, подняв очки на лоб, на ней была очень короткая юбка. У Анны были красивые ноги, и, когда часы стали бить опять, она положила одну ногу на другую. Аристакеc смотрел на Анины ноги.

— Аннушка, ты не боишься ходить в такой короткой юбке? — спросила Нелли, и Анна ответила, что у нее длинная шуба. Аристакеc же подумал, что Анне, наверное, бывает холодно, ноги мерзнут.

— Скоро Новый год, — вздохнула Нелли. — Не знаю, что мы будем делать и что вообще будет...

— Ничего не будет, — сказал Аристакеc.

— Какой ты мрачный! — фыркнула Анна.

— Тебе-то что? Ты вон в Англию едешь. Там, небось, свет выключали только во время Второй мировой войны.

— А ты бы не уехал, если бы была возможность? — обиделась Анна.

— Обязательно бы уехал. Как ты говоришь, я устал!

— Вот видишь...

— Не ссорьтесь, детки, — сказала добрая Нелли. — Почему вы не едите печенье? Правда, у меня ничего другого нет... — Она подвинула бывшим ученикам вазочку с печеньем. Аристакеc и Анна взяли по одному. — Можем зато выпить коньяку! — Нелли подняла свой бокал. — Твое здоровье, Аннушка. Счастливого пути и не забывай нас.

— Спасибо. Не забуду. — Глаза Анны счастливо блеснули.

Потом Нелли сказала:

— Все уезжают. Никого уже не осталось.

— А по-моему, это их счастье, что они могут уехать. Здесь оставаться не имеет смысла, — сказал Аристакеc.

— Не знаю, — вздохнула Нелли.

Потом молодые люди стали одеваться. В прихожей было темно, и Нелли посветила им свечкой. Они уже выходили, когда до них донесся бой старых часов.

— Детки, а все-таки лучше читать классиков... — сказала им на прощание Нелли.

На улице стоял густой туман (прямо лондонский, подумал Аристакеc), и было холодно. Анна поехала. Они пошли через площадь мимо Оперы. Там строили к новому году сцену, и уже торчал остов елки.

— Скоро здесь будут веселиться и танцевать, — сказала Анна. — Пир во время чумы. Как хорошо, что я уезжаю! А ты еще спрашиваешь, вернусь ли я. Боже упаси!

Они дошли до метро. Как всегда, там было много народу.

— Знаешь, Эрик обещал позвонить мне из Америки. Я дала номер телефона тети, у которой буду жить в Англии, — сказала Анна.

— Поздравляю... — Аристакеc опешил.

— Смешно, правда?

— Очень.

Они поцеловались, и Анна ушла. Аристакеc домой не пошел, хоть и стало холоднее, потому что туман рассеялся. Анна же, сидя в вагоне метро между какой-то старушкой и мужчиной в грязных стоптанных сапогах, подумала, что Аристакеc был единственным по большому счету, кому она не говорила свое ласковое «нет». И еще она подумала о том, что это ее последняя встреча с Аристакесом, больше она его никогда не увидит, и немного пожалела об этом... Аристакеc, в отличие от многих других, никогда никуда не уедет. Даже когда жизнь остановится.

17

- Свободны?
- Смотря куда едем, — ответил водитель.
- В Эчмиадзин, например.
- Нет, я занят.
- А все-таки, до Эчмиадзина довезете?
- Стоянка такси, едущих в другие города, находится на автовокзале.
- И вы предлагаете мне поехать на автовокзал, чтобы там пересесть на другое такси?
- До автовокзала я вас довезу, — сказал таксист.
- А может, не будем делать остановку на автовокзале и сразу поедem в Эчмиадзин? — спросила она.
- Это будет дорого стоить.
- Неужели 100 долларов?
- Что вы!
- Тогда поехали.
- Таксист рассмеялся:
- Садитесь, хоть вы и очень настырны. В Эчмиадзин я везу за 3000 драмов.
- Спасибо, — сказала Ванда, усаживаясь на заднее сидение. — Плохой день?
- Плохой, — ответил таксист.
- А по-моему, день прекрасный!
- Таксист не ответил, только бросил взгляд на Ванду в зеркало заднего вида, но она не заметила, рассматривая прохожих, дома, другие машины. Она была в джинсах и кожаной курточке; темные очки сдвинуты на лоб, волосы стянуты сзади в хвостик. В руках, кроме сумочки, целлофановые пакеты с подарками для сына. Особенными подарками, ибо у Даниэля был день рождения («Моему Дане исполняется шесть лет!»), и Ванда очень надеялась, что подарки ему понравятся.
- Так что у вас стряслось? — спросила его Ванда.
- Неважно, — ответил тот.
- А все-таки?.. Хотя... можете не отвечать.
- Ничего особого. Просто неурядицы.
- Неурядицы у всех.
- Таксист вздохнул:
- Да... Это правда.
- Ванда снова вспомнила о сыне, как покупала ему подарки. Вспомнила свой телефонный разговор с ним («Джан, я к тебе завтра обязательно приеду; ты проснешься — и я буду у тебя...»). А потом, как всегда в день рождения сына, в памяти всплыл роддом — грязные стены палаты, грязные одеяла — и первый разговор с матерью.
- Ну, что же нам делать? — спросила Магда тогда, в апреле 1991 года, входя на следующий день после рождения внука в палату дочери. Она не поздоровалась и на малыша бросила лишь мимолетный взгляд.
- Ах, мама, не начинай все сначала, — взмолилась Ванда. — Ничего особенного делать не надо. Будем растить мальчика.
- А что я людям скажу?! Ты об этом подумала? Позор! Моя дочь рождает ребенка неизвестно от кого!
- Людям ничего говорить не надо, — спокойно ответила Ванда. — У меня есть сын, и неважно, от кого он. Никому дела до этого нет!
- Чью же фамилию ты дашь сыну? Этого подонка?
- Не надо о нем, мама... Его уже нет, и точка! Фамилию ребенку я дам свою, а назову Даниэль.

— Ох, — вздохнула Магда. — Ты никогда, никогда меня не слушалась, всегда поступала по-своему, и вот что из этого вышло!..

Через четыре дня Ванду с маленьким Даниэлем выписали, и они вернулись домой. Самыми тяжелыми были 1993 и 1994 годы, без света и тепла зимой, когда не спасал даже газовый обогреватель, подаренный одним из тогдашних любовников Ванды. Потом Магда уехала жить в городок Эчмиадзин, где у ее двоюродной сестры, старой девы шестидесяти лет, имелась квартира. Она забрала с собой и Даниэля. Жить стало намного легче, к тому же Ванда начала работать в Министерстве здравоохранения и получала хоть какие-то деньги, часть из которых посылала матери.

А Магда была прекрасно осведомлена о любовниках дочери и при каждом случае называла ее шлюхой, но не требовала блюсти нравственность, ибо была заинтересована в тех средствах, которые Ванда, по ее словам, «выкачивала из своих любовников». К тому же в глубине души она надеялась, что дочь наконец-то выйдет замуж...

Тем апрельским утром 1997 года Ванда ехала в такси и думала, что через год заберет Даниэля у матери и отдаст его в одну из ереванских школ. Она прекрасно понимала, что, как только Даниэль переберется к ней, холостяцкой жизни придет конец, но не жалела об этом...

За всю дорогу от Еревана до Эчмиадзина таксист не проронил ни единого слова, только когда въехали в город, спросил, где именно остановиться. Ванда заплатила 3000 драмов, вошла в последний подъезд последнего дома неширокой улицы и, поднимаясь на шестой этаж, почувствовала, как сильно заколотилось сердце: она всегда волновалась перед встречей с сыном. «Какой же душой нужно быть, чтоб жить без Даниэля», — каждый раз думала она, но когда выходные заканчивались, все равно оставляла его и спешила в Ереван. Вот и теперь, поднимаясь по крутым ступенькам и считая этажи, она думала о том, что и на этот раз все будет точно так же...

— Мама, привет, это я.

— Привет, Ванда, ты сегодня рано, — сказала Магда, целуя дочь.

— Где он?

— Где ж ему быть в такую рань? В спальне. Спит еще.

Ванда сняла куртку, пошла в спальню и села рядом с кроватью сына. Даниэль спал, чуть приоткрыв рот, и улыбался во сне. Проснувшись и увидев Ванду, мальчик вскочил и бросился ее обнимать.

— Доброе утро, милый. С днем рождения!

— Мама! — произнес мальчик, еще крепче сжимая объятия. — Ты приехала!

— Да, джан... Но ты меня так задушишь... Ты у меня уже такой большой, сильный!

— Мама, как хорошо, что ты приехала!

— Ты правда рад?

— Очень! Очень!

— В таком случае давай оденемся и пойдем посмотреть, какие подарки я тебе привезла.

Глядя на дочь с внуком, Магда задумчиво сказала:

— По-моему, лучший подарок для него — это ты. Каждый раз после того как ты уезжаешь в Ереван, у него поднимается температура.

— Я знаю, мама.

— Знаешь, но не хочешь менять свою жизнь.

— Уже скоро, мама, уже скоро все изменится, — сказала Ванда, и они с Даниэлем пошли в гостиную.

Когда они завтракали, сидя вокруг большого стола, Магда спросила дочь:

— Как твой старик?

— Нормально. Он наконец поговорил с Суриком, моим бывшим, своим племянником. Тот отстал, а этот обещал подарить машину.

— Он этого никогда не сделает.

— Почему?

— О машине все узнают, а он не захочет, чтоб все знали, что у него молоденькая любовница.

— Ему плевать на всех, мама. К тому же я уже не молоденькая...

— Что ж ты будешь делать с машиной?

— Продам, когда понадобится, а пока буду ездить.

— Ты умеешь водить машину?

— Он сказал, что научит меня, — ответила Ванда. — Почему ты так плохо поел, Дэни? — спросила она, видя, что сын собирается встать из-за стола.

— Не хочется больше, ма, — ответил Даниэль и побежал играть новыми игрушками.

— Он в последнее время плохо ест, — сказала Магда. — Боюсь, как бы не заболел.

— Не заболит.

— Тебе-то что! Ты будешь в Ереване, а мне смотреть за ним.

— Пожалуйста, мама! Потерпи еще год, и я возьму его к себе; он пойдет в школу.

— Странно, что он вообще тебя любит! Интересно, будет ли он любить тебя, когда узнает, что ты самая настоящая шлюха?

— У тебя устаревшие понятия о шлюхах.

— Ты хоть считала, сколько мужчин прошло через твою постель?

— Перестань, мама!

— Почему ты не выходишь замуж?

— Не могу! Не хочу!

— Потому что ты шлюха!

— Не надо, мама! Сегодня день рождения Дэни. Только не сегодня, прошу тебя. — Ванда встала из-за стола. — Эй, Дэни, хочешь, пойдем погуляем?

— Да, — ответил Даниэль. — Очень.

— Тогда давай одеваться.

— Когда вас ждать? — спросила Магда.

— К обеду.

Магда подошла к Ванде.

— Ты прости меня, ладно?

— Ничего, мама, я же понимаю, как тебе трудно.

— Это ничего. Просто я хочу, чтоб тебе было хорошо.

— Я знаю, мама. Ты всегда хотела, чтобы мне было хорошо, но всегда делала мне больно. И в детстве, и сейчас...

— Мама, почему ты плачешь? — спросил шестилетний Даниэль, надевая куртку.

— Я не плачу...

Когда они вышли на улицу, Даниэль потянул Ванду за рукав; Ванда наклонилась.

— Мама, — сказал он, — когда ты уезжаешь, бабушка о тебе плохие вещи говорит; я не понимаю, но знаю, что очень плохие... И сердится на тебя.

Ванда поцеловала сына.

— Не верь ей. Ты ведь меня любишь?

— Да...

— Значит, никогда не верь, если обо мне будут говорить гадости.

— Я люблю тебя, мама.

— Вот и хорошо. Знаешь, что мы сейчас сделаем? Убежим в Ереван!

— А бабушка?

— Она ничего не узнает. Мы вернемся к обеду.

— Тогда давай убежим!

Ванда остановила такси (вспомнился утренний таксист), и они поехали в Ереван. По дороге Ванда решила уже из Еревана позвонить матери и сказать, что Даниэль переночует у нее и что они вернутся в Эчмиадзин лишь в воскресенье вечером. Даниэль болтал без умолку, что-то рассказывал, а Ванда перебирала в памяти места, куда можно свозить сына.

— Как хорошо, что мы будем вместе, — вдруг сказал Даня. — У меня никогда не было такого дня рождения...

Ванда кивнула и упрекнула себя за то, что у Даниэля никогда не было *такого* дня рождения...

Когда пешком пройдя по Проспекту, Ванда с Даней свернули на улицу Амиряна, Ванде вдруг пришло в голову зайти в церковь святого Григория Просветителя, того самого Григория, сына Анака из парфянской династии Сурен-Пахлавов, ветви царского дома Аршакидов, убийцы отца царя Трдата Святого — Хосрова Великого...

И с того дня, сама не зная почему, Ванда стала часто заходить в эту церковь.

«Уж не превращаюсь ли я в Клару?» — думала она иногда.

Ванда помнила, что именно в эту церковь она зашла в тот день, когда в последний раз встретилась с отцом Даниэля. Тогда всю ночь шел снег, а утром перестал.

18

«Церковь сурб Григор Лусаворич на улице Амиряна была сравнительно новая купольная церковь, из белого туфа... Башня-колокольня, построенная после, по своему цветовому и объемно-пространственному замыслу гармонично вписывалась в общую архитектуру города. Архитектор Рафаел Израелян в 1979 году представил проект фундаментальной реконструкции церкви католикосу Вазгену Первому. В 1980-е годы сын Рафаела Израеляна, архитектор Арег Израелян, продолжил дело отца, и церковь подверглась полной реконструкции. Был построен купол, внешние стены облицованы туфом. Большая работа была проделана и по реставрации интерьера: с западной стороны построена галерея для хора, главный алтарь украшен барельефами. Позже были возведены колокольня и учебно-воспитательный центр "Ованес Козерн", где преподают английский язык, готовят художников-иконописцев...» — так напишут на сайте мэрии города Еревана позже, когда появится сам сайт.

А пока, в одно из ветреных и дождливых ноябрьских воскресений 2000 года, Мамикон, гуляя бесцельно по Еревану, зашел в церковь сурб Григор Лусаворич на улице Амиряна и сел на скамейку. Пахло ладаном и еще чем-то; чем — не разберешь. В церкви никого не было, если не считать пяти-шести нищих, пережидających ветер и дождь. Мамикон подумал, что за то время, что его не было, тут ничего не изменилось. Нищие и теперь что-то ели, разостлав на скамейке старую газету, как и тогда! Только теперь он уже знал, что нищим разрешается есть в церкви... Он просидел довольно долго, глядя то на нищих, то на свечи, ярко горевшие в левой и правой нишах под изображениями Богородицы, святого Иоанна Крестителя, ангелов и святого Григория Лусаворича. Над алтарем же по-прежнему было изображение мертвенно-белого Христа. И распятый Иисус по-прежнему пытался помочь...

Когда дождь перестал и нищие стали выходить из церкви, Мамикон тоже решил уйти. Он только подумал, что поставит свечку перед изображением святого Григора и помолится в память о священнике, который служил тут еще в девяносто восьмом... Теперь он знал, как правильно. Теперь он умел молиться.

А потом Мамикон увидел, как в церковь входит женщина. Видимо, средних лет, но моложавая на вид, темные очки сдвинуты наверх, волосы стянуты сзади в хвостик. Она выглядела гламурной (впрочем, нет, тогда этого слова еще не было), ухоженной и явно не бедной. Что ей тут понадобилось? — подумал Мамикон, отметив, что уже три дня как идет дождь, а у женщины — темные очки, хоть и сдвинутые наверх. Наверное, *мода* такая, решил он. Женщина миновала несколько скамеек и почему-то села недалеко от Мамикона. Женщина была красивой и не казалась ни грустной, ни веселой. Она была *никакой*. На ее лице ничего нельзя было прочесть. Она просто села и просто стала смотреть на Иисуса Христа. Может, она ждет каких-то ответов от Него? — подумалось Мамикону.

— Почему вы на меня смотрите? Что-то у меня не так?

— Простите, — сконфузился Мамикон. — Простите. Я случайно.

— *Случайно* смотрите в другую сторону, — велела женщина. — Нечего пялиться!

— Простите... Я же извинился!

— Ладно. — Женщина улыбнулась. — Вы тоже простите мою резкость.

— Бывает. — Мамикон неожиданно усмехнулся и добавил: — Смешно!

— Что смешно? — поинтересовалась женщина, тоже заулыбавшись.

— Да так... Три года назад, когда в первый раз зашел в эту церковь, я познакомился со старушкой. А теперь... В церковь вошли вы.

— Вы в церкви клеите женщин? — рассмеялась женщина. — Это же грех!

— Нет, не клею. К тому же мы еще не познакомились.

— Думаете, имеет смысл?

— Я ничего не думаю.

— Очаровательно! — улыбнулась женщина. — В таком случае, меня зовут Ванда.

— А меня — Мамикон.

— Редкое имя.

— Вовсе нет... А дождь еще идет?

В следующий раз Ванда и Мамикон встретились в церкви святого Григория Просветителя через четыре дня. Встретились уже как старые знакомые. Сразу же принялись болтать, но тихо, шепотом, чтобы не мешать молящимся, которых было не так уж и много. В какой-то момент Ванда сказала: интересно, сколько церквей в Ереване и в Армении в целом?

Мамикон удивленно уставился на нее и выпалил:

— В Ереване их шесть: церковь сурб Катохике, церковь Вардананк, Кафедральный собор святого Григория Просветителя, Храм Покрова Пресвятой Богородицы, Церковь святого Зоравора, Церковь святого Ованеса... А во всей Армении храмов, монастырей, церквей — сто восемьдесят пять...

— А вы что, считали? — съязвила Ванда.

Мамикон рассмеялся.

— Представьте, да, считал.

Он достал из сумки большую толстую тетрадь, сшитую из нескольких амбарных книг, и показал Ванде...

— Вот тут они все...

— Но это же чудо! — восхитилась Ванда, листая огромный том. — Так вы ходили по Армении из деревни в деревню, из города в город и считали церкви?!

— Да, и описывал, излагал их историю... Теперь буду писать книгу. Вот...

Мамикон, вернее, его труд, не шел у Ванды из головы. Она рассказала о нем не только своей матери, но и бывшей своей начальнице и подруге Кларе, ставшей монахиней Шушаник, когда в очередной раз приехала в Эчмиадзин.

— Мамикон? — переспросила Клара. — Да это же мой племянник, сын моей сестры Норетты!

— Тесен мир! — рассмеялась Ванда.

А в декабре, лежа в кровати и глядя, как ветер треплет пожелтевшие мертвые листья на верхушке тополя за окном, Ванда спросила:

— Тебе понравилось, джан?

— Ты еще спрашиваешь! С нами *такого* еще не было, правда?

— Правда.

— И ты все еще меня любишь?

— Да, дорогой. Только не надо все время об этом спрашивать.

— Я просто боюсь, что однажды ты скажешь «нет».

— В таком случае тем более не надо все время спрашивать.

И он решил больше не спрашивать никогда. Он решил поверить и на самом деле поверил, что она полюбила его. Он вспомнил ее глаза и дал себе обещание не задумываться: ведь так хорошо верить, что тебя любит тот, кого любишь ты...

Тополь раскачивал верхушкой, а Мамикон думал о том, что скоро наступит Новый год, сменится тысячелетие. Но это его не пугало. На этот раз его не пугало, что осень умирает.

— Знаешь, — сказала вдруг Ванда, закулив сигарету и поставив пепельницу себе на живот. — Когда мне было четырнадцать лет, я решила, что никогда не буду плохой девочкой.

— Что это означает?

— Я тогда думала, что я плохая, потому что мне это внушили моя мама и моя учительница. Они без конца твердили, что я плохая, потому что дерусь с мальчиками, издеваюсь над девочками, грублю учителям... А однажды я стукнула физичку классным журналом по голове, когда она поставила мне двойку. Какой поднялся шум! Собрались все учителя, директор, все кричали, а у физички была истерика, и она все время повторяла, что убьет меня. Вызвали маму, она унижалась перед всеми и просила прощения за меня. И тут один мальчик из нашего класса заявил, что виновата учительница, поставившая мне несправедливую оценку, и что я стукнула ее по заслугам. И тогда моя мама предала меня, сказав, что я веду себя так, потому что я сумасшедшая, как и мой отец. В тот день я впервые всерьез задумалась о своем отце, которого никогда не видела, и решила: если моя предательница-мать называет его сумасшедшим, значит он был очень хороший человек. Когда же мама, извиняясь перед учителями, сказала, что я такая дикая, потому что росла без отца, я решила, что больше не буду плохой девочкой, чтобы никто никогда не говорил ничего плохого о моем отце. С тех пор я очень изменилась, стала тихой, даже училась хорошо. Но все-таки какую-то дикость в себе так и не смогла до конца искоренить и, в общем-то, осталась такой же плохой девочкой.

— Я это заметил, Ванда, — сказал Мамикон. — Ты плохая девочка, потому что куришь все время, потому что по утрам пьешь пиво (странно, что ты не толстеешь!), потому что любишь коньяк с шоколадом и занимаешься любовью, как дикарка.

— А тебе не нравится? — улыбнулась она.

— Нравится! Я такую и хочу — плохую девочку. А что случилось с тем пареньком, который защищал тебя?

— Через год он перевелся из нашей школы в другую.

— Печально.

— Да. Я думала, что он, должно быть, похож на моего отца.

— Почему?

— Потому что защищал меня. Я тогда думала, что меня может понять до конца только мой отец...

— Можно мне тебя поцеловать? — спросил он.

— Это поцелуй-жалость?

— Нет, — удивился он.

— Врешь! Ты пожалел меня.

— Клянусь, нет! Я просто хочу тебя поцеловать.

— Тогда целуй. И в следующий раз не спрашивай, можно или нет.

— Я это запомню...

За окном по-прежнему дул ветер, и тополь раскачивал верхушкой, и заканчивалось тысячелетие, и Мамикон чувствовал себя очень счастливым.

Еще он чувствовал себя счастливым от мысли, что у него в рюкзаке — огромная толстая книга, в которой записаны ВСЕ церкви и монастыри Армении. Он был счастлив, потому что знал: пора начинать делать книгу. А еще потому, что из раскрытого окна донесся колокольный звон церкви святого Григория Просветителя, того самого Григория, сына Анака из парфянской династии Сурен-Пахлавов, ветви царского дома Аршакидов, убийцы отца царя Трдата Святого — Хосрова Великого...

Мамикон почему-то подумал о том, что святой Григорий загладил грехи своего отца-убийцы.

19

В Дзорке шел снег, он шел уже два дня. Город оделся в ослепительно белую пушистую шубу, уровень воды в реках Чаги и Ган снизился, и островки припорошило снежным покровом. Было очень тихо, особенно по ночам, когда тишину не нарушал шум автомобилей. Но и днем, когда по улице Железнодорожников то и дело проезжали машины, снег все равно глушил все звуки. На улицах было мало прохожих, и каждый вороний крик слышался ясно и отчетливо. Когда вороны садились на ветки деревьев, с них срывался снег. Еще снег падал тогда, когда дул ветер. Но снег шел и шел, и конца ему не было видно... Стоял декабрь 2010 года, в Дзорке была зима...

Аршак Ашотович Унанян сидел в кресле, за окном шел снег, но старик не обращал на него внимания. Он сидел с закрытыми глазами, на коленях у него лежала газета, и мысли проплывали в голове медленно, спокойно, размеренно. Он вел воображаемую беседу с Соной, и беседа эта тоже была спокойной, и сам он был спокоен и почему-то чувствовал, что стал ближе к жене. Ему не надо было уже говорить с фотографией — большим портретом, висевшим над сервантом. Теперь Аршак Ашотович закрывал глаза и говорил с Соной. Он больше не вспоминал, не плакал. Это была просто беседа...

Старик почти все дни проводил в кресле, вставал только чтобы поесть немного или сходить по нужде. С тех пор как пошел снег, он вообще не выходил в город: ему было трудно идти по снегу, он очень уставал. И поэтому целый день сидел в кресле, читал газеты или закрывал глаза и беседовал с Соной. Отныне, если ему хотелось пойти куда-нибудь, он просто закрывал глаза и шел туда в своем воображении: на площадь, в парк, к фонтанам, к рекам. Если ему вдруг очень хотелось поехать в дачный поселок Кармрашен, он закрывал глаза и ехал туда, и в этих путешествиях-фантазиях было то преимущество, что в спутники себе он мог взять Соню, своих дочерей, внуков...

В дверь позвонили. Старик нехотя встал и пошел открывать: оказалось, сосед, как всегда, с просьбой одолжить молоток и дюжину гвоздей. Когда сосед ушел, старик вернулся в комнату и снова сел в кресло.

«Странные люди, — подумал он, — не могут купить молоток, что ли? Странные люди, Сона, наши новые соседи!»

А потом старик почувствовал, что умирает. Он не удивился, лишь подумал: «Значит вот как это бывает!»

И умер. А в Дзорке шел снег, и когда сосед опять позвонил в дверь, чтобы вернуть молоток, ему никто не открыл...

Старику было девяносто девять лет, он умер в декабре, не дожив до своего столетия всего полгода.

Жизнь кончилась...

20

В январе 2015 года Белла очень сердилась.

— Разве непонятно было с самого начала, что он ребенок?! Великовозрастный ребенок! И что он всегда таковым останется, никогда не повзрослеет! Ты с ним была почти год! Разве тебе не ясно все стало уже через неделю? Просто тебе тогда показалось, что он гений. Ох уж эти гении! Ты его сочинила! И как же больно сейчас осознавать, что он зауряден! Правда? Самый заурядный в мире репортер! Заурядный трус!

Эти слова Ванды, самой близкой, самой закадычной подруги Беллы, звенели у нее в ушах и с противной навязчивостью прокручивались в голове снова и снова, как будто кто-то ставил диск на один и тот же «трэк» (раньше бы сказали — «пластинку заело»).

В Ереване стояла весенняя погода, хоть зима перевалила еще только за середину.

Белла дошла до Оперы, перешла на другую сторону улицы и через небольшой сквер, где стоит памятник Комитасу, вышла к консерватории. Она открыла тяжелую дверь и очутилась в полумраке, в мертвой, пыльной прохладе вестибюля. Никто не видел, как она входила в консерваторию. Никто не мог бы сказать, что ей понадобилось там. Или кто... Машину свою — желтый «мини-купер» — она оставила в одном из дворов на улице Туманяна, за одной из забегаловок национальной сети питания «Карас».

Белла злилась. Она злилась уже три дня — в первую очередь на себя: за то, что злится. «Разве непонятно было с самого начала, что он ребенок?!» Выходка ее «гения» с эсэмэской ее доконала. У нее даже в висках застучало, когда она получила эсэмэс следующего содержания:

«Дорогие друзья! Завтра у меня день рождения! На самом деле мой день рождения именно завтра, а не в марте! В метрике — ошибка. Буду рад, если вы меня поздравите с новым днем рождения завтра!»

Белла решила, что с нее хватит. Не хотелось верить, но приходилось: дурацкую эсэмэску написал сорокалетний мужчина. Уже почти сорокаоднолетний! «Невероятно! — думала Белла. — Разве это нормально?!» И она прожила с ним почти год!

Встретившись с кем нужно в консерватории, Белла Азатян (после развода она не поменяла фамилию обратно на девичью) отправилась выпить капучино в «Ретро». Ей очень хотелось в «Ван Гог» или в «Модильяни», но она боялась столкнуться там с ним. Его она как раз и не хотела видеть. Ведь именно он был причиной того, что она сердилась. И хоть уже третий день у нее не было секса и это начинало ее нервировать, все равно она не хотела с ним встречаться. А ведь вначале ей казалось — задохнется без него.

Белла была высокая («длинная»), тонкая, с узкими бедрами, острыми коленками и всегда ходила на высоких каблуках-шпильках. Природная бледность лица и хрупкость рук делали ее невесомой, утонченной и какой-то неземной, нездешней. Вместе с тем, часто руководствуясь в своем поведении рядом внутренних законов и принципов, делавших ее отчасти «вещью в себе», Белла не теряла чувства реальности и, в общем-то, довольно твердо стояла на этой земле своими тоненькими ножками — да еще и на шпильках. Могла быть колкой, иногда даже резкой и почти всегда требовательной. Требовательность ее несколько ослабла, когда у нее появился Аристакес. Так его звали. Репортер журнала «Ереван. Вчера. Сегодня. Завтра». Поначалу она не увидела в нем ничего, к чему можно было применить свою требовательность. Но так было до поры до времени. Постепенно, как это бывает, «несносные» качества Аристакеса проявлялись все больше, но Белла до последнего старалась их не замечать. Однако три дня назад Аристакес послал всем своим контактам ту идиотскую эс-эм-эску, и Белла взорвалась. Она написала ему в ответ: «Да пошел ты!», а потом он позвонил ей... Но она его послала снова, теперь уже устно.

В кафе «Ретро» было много народа, но она нашла свободный столик в нише. Официантка, принявшая заказ, вскоре вернулась с чашкой капучино и неожиданно спросила:

— Простите, вы у нас часто бываете, это не вы оставили здесь большую толстую тетрадь? Кажется, дневник. Она толстая, как книга.

— Нет, — улыбнулась Белла. — Никогда не писала дневников.

— Посмотрите, — не унималась официантка, — может, все же вы ее забыли? — и достала с полки книгу, сшитую из нескольких общих тетрадей.

Взглянув на титульный лист, Белла опешила, узнав почерк.

— Нет, это не мой дневник... Но не разрешите ли мне почитать его? Это очень интересно!

— Конечно, не уносите только, пожалуйста. Мы три дня уже всех спрашиваем. Может, хозяин еще объявится...

Положив немного сахара в свой капучино, помешав осторожно, Белла начала читать:

«1996 г.

Миры периодически рушатся. Периодически рождаются и исчезают галактики, звезды. Периодически рушится жизнь. Разве мир в очередной раз не пошел к чертям?

Следующий день

Зачем я так написал вчера? Непонятно!»

21

— Бари луйс.

— Бари луйс, Само-папи.

— Гарун а?

— Гарун а, Само-папи.

Дед Само сплюнул, смачно отпустил сложноподчиненное непечатное ругательство и добавил:

— Хеч эл гарун чи: На хабум а мез. Цхум ес?¹

Дед Само из второго подъезда жил по соседству с Аристакезом. Подъезды у них были разные, но одна стена общая. Дед Само был вечно небрит, уже вечность беззуб, одет в вечный, хоть местами все же и расползшийся костюм. Ему было за восемьдесят, и жил он один. Лишь раз в три месяца к нему приезжала из Москвы дочь. Ранним утром дед Само выходил к подъезду, садился на лавочку и смотрел. Смотрел на собак, кошек, ворон, прохожих. Когда открывался магазин «Все для дома», он давал «дельные» советы водителям автомобилей, как лучше припарковаться — кто-то даже совал ему деньги за это. Так проходил его день. Дед Само каждое утро заговаривал с Аристакезом. Можно сказать, с деда Само начинался день, им и определялся. А иногда, когда Аристакез с Беллой уж слишком распоясывались ночью, он утром упрекал:

— Сынок, хоть бы дали поспать немного. И сами тоже бы поспали, жалко вас...

Покулив с дедом Само, Аристакез пошел на работу.

Уже три дня дул ветер — такой, какой бывает в марте: сильный, порывистый, почти ураганный! Освобождающий Небо. Вычищающий до блеска Солнце. Приближающий Гору на расстояние вытянутой руки, когда видишь каждую впадину, трещину, каждый ледник. Ветер, который промыл воздух до невероятной степени прозрачности — безо всякой помощи дождя. Ветер, какой бывает в шестнадцать лет, двадцать, тридцать пять... Ветер, растворяющий гранулы бессонницы без кипятка. Ветер, вылизывающий ожоги от полнолуния. Ветер! Всегда спасительный Ветер. И разве не бывает после декабря март? Ветер принес весну! Все начинается с Ветра, — так думал Аристакез.

Но сейчас был январь.

20 января 2015 года

Аристакез спускался по улице Абовяна и думал: «Дорогой Аристакез-джан! С днем рождения, самый близкий, единственный знакомый на все сто процентов, родной, хоть и опостылевший человек! Нет никакой гарантии, что ты проживешь больше восьмидесяти лет, как твой дед, так что ты смело можешь сказать, что половину своей жизни ты уже прожил. И как ты ее прожил? Плохо! Так ничего путного и не сделал. Писал репортажи последние десять лет своей никчемной жизни, потому что ты чертов репортер. Менял газеты, журналы, которые делали тебя несчастным, менял женщин, которых делал несчастными ты. И все! Никчемна твоя жизнь... Она

¹ — Свет добрый!

— Свет добрый, дед Само!

— Весна?

— Весна, дед Само!

— Совсем не весна! Она обманывает нас. Куришь? (арм.)

тем более никчемна, что ты поздравляешь сам себя с днем рождения — вот до чего ты докатился! Она никчемна, потому что когда-то ты был писателем, во всяком случае, таковым себя ощущал. А теперь ты — репортеришка. Настоящий писатель должен быть настоящим писателем и никем другим, а ты... кем только ты ни был! Доброе утро, родной!..»

На улице Абовяна, рядом с церковью Катогике, посреди тротуара стояли мальчик и девочка — максимум второкурсники. Он держал ее руку и целовал. Девочка была курчавенькая, воздушная, тонкая, с толстым вязаным шарфом на шее. Мальчик — в серой куртке, тоже вязаной шапочке, с рюкзаком за спиной. Они ни на кого не обращали внимания.

Она:

— Уже поздно... Уже ничего нельзя поделать.

Он, целуя ей руки, быстро-быстро, словно боялся не успеть сказать все:

— Ничего не поздно! Ты не понимаешь! Не поздно! Все еще можно сделать!..

Пройдя мимо них, Аристакес почувствовал себя стариком. Сорок лет! Он шел и думал о том, действительно ли нужно как-то измениться, раз стукнуло сорок, — не материться, скажем, без повода, как того требует Белла? Или он наконец-то попал в свой возраст?

На самом же деле, ему сорок исполнилось в марте еще прошлого года — в настоящем марте. А в тот день... В тот день просто обманная весна почему-то не давала покоя.

«Дорогие друзья! Завтра у меня день рождения! На самом деле мой день рождения именно завтра, а не в марте! В метрике — ошибка. Буду рад, если вы меня поздравите с новым днем рождения завтра!» **(Отправлено 243 контактам. 14.01.2015.)**

После этой его выходки Белла его бросила, послала ответную эсэмэску: «Да пошел ты!..»

— Ты это специально перед моим днем рождения? Это такой подарок? — спросил ее Аристакес.

— У тебя не завтра день рождения, а в марте.

— Но мы же решили, что завтра...

— Тогда да, это — подарок. Только ты этого еще не понимаешь. Я бросаю тебя, и это мой подарок.

— Ты ведь меня только что убила, ты это хоть понимаешь? Перед самым моим днем рождения ты убила меня!

— Знаю! Но так тебе лучше. Поверь! И не драматизируй.

— Какая же ты эгоистичная сука!

— Не надо грубостей, милый.

— Да иди ты в...!

И он бросил трубку.

Любовь!

Любовь — это Вселенная! И поэтому ее всегда будут описывать. Ведь для того, чтобы дать ее полное описание, нужно будет описать каждую галактику, каждую из 1,000,000,000,000,000,000,000... звезд, каждую планету, каждый метеорит, каждую комету, каждую космическую пылинку! А еще ведь пока неизвестно, есть ли другие вселенные... Известно лишь, что наша имеет границы, она не бесконечна, но пока что единственная известная. Наша Вселенная одинока! Если и есть другие, то они тоже одиноки. Ведь они не знают о существовании друг друга. Просто, может, они расположены друг в друге и поэтому не имеют никакой возможности знать... И еще каждая вселенная думает, что она уникальна. С ума можно сойти от этой астрономии! Но как же одинока наша Вселенная! Особенно, когда ее бросают...

Он почему-то стал думать о звездах, планетах, кометах, космической пыли... Как он, например, однажды утром стоял у окна, курил, когда Белла лежала в постели — голая, неприкрытая, удовлетворенная — и, подперев голову рукой, смотрела на него.

— Ах, какая погода! Какая погода!!

— Солнце? — спросила она.

— Нет. Пасмурно, и вот-вот пойдет дождь.

— Я поняла...

— Что поняла?

— Ты — плесень! И поэтому тебе нравится пасмурная погода. Ну, а мне очень нравятся такие, знаешь, сыры — с плесенью! — и рассмеялась.

И еще он вспомнил: как-то поздно вечером, выйдя с какой-то выставки, они решили подняться на Каскад и там выпить бутылку коньяка. Оставив ее «мини-купер» на улице Терьяна, побежали в супермаркет «SAS», купили трехзвездочный «Арапат», плитку шоколада и понеслись на Каскад. Сели на третьем ярусе и стали смотреть на осенний город. Наступила полночь, они выпивали, но им по-прежнему было холодно. Странно! Не согревали ни коньяк, ни шоколад. Рука, в которой он держал бутылку, немела от холода.

— Блин, рука замерзла!

— Не ругайся, дорогой! Поставь бутылку на гранит и дай руку, я согрею.

Белла положила его руку между своих ног и сжала. Они стали целоваться.

Любовь! Зачем он помнил все это? Эти мелочи были его счастьем. Ведь именно казалось бы незначительные мелочи вызывают счастливые воспоминания. Потому что по большому счету жизнь — дерьмо... Вселенная устроена не так, как надо, поэтому нужно успокоиться и радоваться мелочам.

Пришел на работу. Анжела из отдела кадров в лифте прошептала, обдав его кисло-сладким ароматом «Ж'Адор»:

— Зачем ты сочинил себе день рождения? Хочешь подарков, маленький? Не можешь подождать два месяца?

— С днем рождения!!! Шнорхавор¹. — Это был уже Каро, заведущий по рекламе — низкий, лысый, толстый, этакий колобок в очках. У него была вторая жена. Красавица! Высокая! Статная! Тонкая! Невозможно было, глядя на Каро, подумать, что у него такая жена. Каро выкладывал ее фотографии на facebook, но Аристакес не верил.

И тем не менее, у Каро была именно *такая* жена! Аристакес специально напросился к нему домой, чтобы ее увидеть. Она действительно оказалась красавицей, на две головы выше мужа, звали ее Рита, и Аристакес невольно подумал, что, наверное, коротышки умеют в постели что-то такое, чего не умеют люди с нормальным ростом, и попробовал представить себе, как именно Каро занимается сексом с женой (прости меня, Каро).

Он вообще всегда женщин представлял в постели. Знакомых, незнакомых. Всех! Правда, ни к одной из них его не тянуло по-настоящему. Но порой бывало так, что он не мог представить женщину в постели. И вот именно такая женщина и определяла его судьбу, становилась его безумием, его болезнью и выздоровлением, затмением и озарением одновременно...

Беллу он никак не мог представить в постели. А когда все случилось, не мог поверить...

В обед он сам с собой пошел погулять. Так, вдвоем с самим собой, они гуляли час и всю дорогу молчали. Чужие лица проплывали мимо, и никому дела не было до них, то есть до него. Каждый был занят собой — кто-то улыбался, кто-то разговаривал со спутником, кто-то выяснял отношения со спутницей, кто-то обсуждал новый BMW, кто-то ругался по телефону насчет ремонта... Аристакесу пришло в голову, что каждый занят своего рода «ремонтom» — ремонтирует свою жизнь. А у него — сплошные разрушения... Разболелась голова. Человеческий череп устроен неправильно, подумал он. Должна быть крышка, чтобы время от времени можно было ее открыть и снять пену (как с варенья). Или — слив, или дренажная трубка... Хорошо бы, если б была возможность все слить и очистить стенки от накипи. Но это фантазии. С рождения мы обречены носить череп, герметично закупоренный только изнутри. Туда проникает все, но оттуда ничто не исчезает и никуда не уходит.

¹ Поздравляю! (арм.)

Аристакес вернулся на работу — молча, как и всегда.

После обеда его вызвал шеф и сказал, что для какой-то выставки нужно написать о журнале — что-то вроде рекламного буклета, краткой истории, о сотрудниках, о целях журнала.

— Ведь наш журнал старейший в своем роде... А еще лучше, — добавил шеф, подмигнув (у него была идиотская привычка подмигивать, отчего собеседнику становилось неловко), — если это будет маленькая книжка. Представь, все конкуренты сдохнут от зависти! Ты талантливый, говорят, когда-то писал художественные рассказы... Выставка в апреле, время еще есть.

Согласился Аристакес вынужденно — даже несмотря на «художественные рассказы». И пошел курить. Вернувшись на рабочее место через 5 минут 49 секунд, понял: новость о том, что ему поручено написать «книжку» о журнале, разлетелась по всей редакции (источник — конечно же, секретарша шефа, Джуля). И весь остаток дня, чуть ли не каждый сотрудник (включая водителей) считал своим долгом подойти к Аристакесу и, заискивающе поздравив с мнимым днем рождения, попросить, чтобы тот написал о нем в своей книжке.

Лишь одна из немногих штатных журналистов, Лана (которая давала всем, как мужчинам, так и женщинам), подошла, когда он в очередной раз курил на балконе четвертого этажа, и, стряхнув с его плеча пепел, сказала своим низким *волнующим* голосом:

— Не пиши обо мне ничего, ладно? Ну, ты понимаешь... Мама, папа, брат прочтут... Не надо...

Аристакесу стоило огромных усилий не расхохотаться, но он пообещал. Лана тоже странная! Ведь речь шла о рекламном буклете, но она почему-то решила, что Аристакес будет писать *подробное* исследование... Аристакес спал с ней три раза (до Беллы, понятное дело). В тот третий раз Лана и спросила, не захотел бы Аристакес трахнуть и ее подругу тоже. Но с условием, предупредила Лана, что она должна не только присутствовать, но и участвовать. Аристакес отказался. Лана, похоже, не обиделась, но спать с ним больше не соглашалась.

Ну а потом у него появилась Белла, и он потерял к ней всякий интерес...

— Как ты? Чувствуешь себя сорокалетним?

— Ага! Мертвее не бывает.

— Ты действительно решил написать книгу?

— Да!

— Напишешь обо мне? Я расскажу тебе кучу историй! — Это был Каро! И Аристакес подумал: поразительно, насколько людям хочется быть увековеченными — на фотках порой незнакомых им людей, на страницах еще не существующей книги (причем, даже не задумываясь о том, что это будет за книга). Людям хочется обрести бессмертие. Оставить какой-то след или хотя бы стать лужицей в чьем-то следе. Больше всего люди боятся исчезнуть. Навсегда. Бесследно. Вечный кошмар человечества: исчезнуть бесследно...

Каро снова пожал ему руку, поздравляя с днем рождения, и положил на стол сувенирную пишущую машинку (где он ее раздобыл?!). Та... Та пахла так, как пахли игрушечные машинки в детстве. Такие, коллекционные... И когда Каро отчалил, Аристакес поднес сувенирчик к носу и стал жадно вдыхать этот запах...

Вообще-то он ненавидел запахи! Говорят, запах — самый древний и устойчивый из всех видов человеческой (и не только человеческой) памяти. Иногда какой-нибудь слабый-слабый, еле ощутимый, неизвестно откуда взявшийся запах мог поднять в душе бурю давно забытых воспоминаний! И воспоминания, особенно о раннем детстве, могли заставить сердце сжаться до боли. Потому что тогда, в детстве, он был абсолютно счастлив... А с годами становился все несчастнее и несчастнее. В то же время он почему-то всегда чувствовал себя сорокалетним. В шестнадцать лет, в двадцать, в тридцать... И вот ему действительно исполнилось сорок. Хотелось верить, что теперь он наконец успокоится, попав «в свой возраст», и перестанет маяться от

преследующей его дисгармонии. Он надеялся на это. И на то, что, даже когда ему исполнится шестьдесят, он все равно будет чувствовать себя сорокалетним.

«Пропави все пропадом! — подумал он. — Все равно *дэ-рэ* встречать в одиночестве: Белла ушла от меня, а друзья думают, что я буду праздновать с ней вдвоем, и постесняются прийти. Они, конечно, все позвонили, но я им ничего не сказал».

И Аристакеc мазохистски решил провести свой мнимый день рождения в мученическом одиночестве. Кокетство? Вероятно. Впрочем, все мазохисты (особенно моральные) и все мученики (высокоморальные!) склонны к кокетству.

Под предлогом «великого юбилея» он отпросился у шефа и выбежал из редакции.

На улице был январь, пахнувший мартом! А значит, *не было* у него сегодня дня рождения.

Он направился в «Ван Гог» выпить с Эдиком. С Эдиком всегда можно было напиться до беспамятства! Уже целую вечность не существовало рок-группы МДП, но Эдик был, и у него был «Ван Гог». Аристакеc летел туда и мысленно говорил с Беллой:

«Ты хоть понимаешь, что не просто бросила меня? Ты меня убила! Отшвырнула назад! В тот душный и бездушный август! Когда ничего не было и казалось, что больше никогда ничего не будет... Что жизнь — это тоннель, свет в конце которого отодвигается по мере твоего приближения, а потом затухает вовсе. И я уже переставал дышать в этом безвоздушном августе, жить больше не хотелось... Но появилась ты!»

На какой-то благотворительной акции их представили друг другу. Белла недоумевала: зачем мне знакомиться с каким-то репортером полуглянцевой журналы?!

Ей ответили:

— Да, он репортер. Но это совершенно неважно. Он мог бы быть кем угодно. Важно, что это Аристакеc!

Ей стало интересно. Хотя она и остерегалась подобных знакомств. А потом... Потом они познакомились и сбежали с той благотворительной акции. А потом... Потом...

«Теперь опять я оглохну, — продолжал свой мысленный монолог по пути в "Ван Гог" Аристакеc. — Глух не тот, кто не слышит, а тот, с кем никто не разговаривает. Глохнешь, когда никого нет рядом.

Зачем я придумал себе этот день рождения? Хотел, вероятно, чтобы мне снова и снова исполнялось сорок — возраст, когда у меня случилась ты! В сорок один не хочу — там нет тебя...

Годы не бегут, годы убегают. Неправда, что время не ждет... Оно как раз ждет. Остановилось и выжидает. Не время уходит, а мы. Я хочу настоящую весну. И чтоб ветер не был обманщиком, и чтоб облака были кучевые, а не перистые, и чтоб на улицах продавали фиалки, мимозу, вербу. Чтоб гулять долго и не замерзать и чтоб хотелось улыбаться — улыбаться, верить, гордиться, радоваться, не бояться.

Слушай, по одному зернышку риса нельзя судить о том, вкусный ли получился плов. Простить меня за эту мою эсэмэску? Как ты можешь убивать меня? Пускающий стрелу не чувствует, как больно она врезается в тело...

Мир рухнул без тебя. Потому что однажды ты стала для меня этим миром.

А миры периодически рушатся. Периодически рождаются и исчезают галактики, звезды. Периодически рушится моя жизнь...

Периодически рушится жизнь!»

В общем, все плохо. А тут еще этот буклет. У Аристакеcа не было никакого желания что-то писать.

Белла верила в него. Как и Тина до нее. Как еще раньше Анна. Когда вера иссякла, Белла и Тина ушли, а Анна уехала. И тогда рухнула жизнь.

Все уходят...

Друзья? Да не было у него друзей! Так получилось...

Лора — в Лондоне, Мартин — в Гамбурге, Рипсима и Хорен — в Торонто, Маришка с Араиком — там же, Грант — в тюрьме, Ника и Амик — в Чикаго, Сюзи и Рудик развелись, и о них ничего не слышно. Сёмка — тот вообще живет в Познани.

Друзья были в прошлой жизни, а прошлой жизни давно не существует.

В «Ван Гог» они с Эдиком (оба «старперы» по сравнению с другими посетителями кафе) только приступили к «второй стороне» оперы «Jesus Christ Superstar».

Аристакеc удивлялся, что очень хорошо помнит девяностые годы и совсем не помнит нулевых, будто эти годы просто были изъяты из памяти...

Прошлой жизни давно не было.

Прошлая жизнь началась очень давно.

«Как-то глупо жизнь прошла, — подумал он. И еще: — Мы все — реки. — И еще: Мы все попали в эту жизнь, как в ловушку».

22

Ему снилось, что он умер и попал в Эдем. Но там никого не было. Он брел по Саду один. В Эдеме была осень. Он увидел, как орел перелетел хребет высоких синих гор на востоке и скрылся за ним. И еще: зашло красивое солнце, и на Эдем опустилась ночь, все погрузилось в покой; только шумно дышали звезды на черном небе, и яркий, какой-то неестественный, но очень красивый месяц с любопытством заглядывал в Эдемский сад.

Вардан зашел в домик, стоявший на поляне, зажег свечу и, найдя на письменном столе перо, чернила и бумагу, сел и начал писать. Он писал о том, что на яблоне не хватало одного яблока. А потом из-под его пера вышла строчка: «Вчера Христа распяли в Иудее...»

Вардан Азарян проснулся от звонка в дверь и очень удивился, увидев на пороге своего старшего сына Аристакеcа.

— Ты легко одет, мой мальчик. Ты один? А где Белла?

— Па, я легко одет, потому что на улице тепло — весна. А один, потому что Белла меня бросила.

— Ну проходи.

Аристакеc зашел и подумал, что напрасно пришел к отцу. Можно было просто позвонить.

— От мамы есть что? Я звонил, она не ответила.

— Я сегодня говорил с Meine Ashkhen. Она в Дзорке, в своем раю. Наверное, пошла к Норетте и забыла свой сотовый дома.

— Понятно.

Аристакеc перенесся мысленно в Дзорг, на улицу Железнодорожников 5, но, пропустив первый, пошел во второй подъезд, поднялся на третий этаж и вошел в квартиру тети Норетты и дяди Рафика. Сразу же увидел тетю Норетту в домашнем халате и свою маму на кухне за чашкой кофе, обсуждающих, как всегда, своих мужей, Рафика и Вардана. Эти разговоры порой напоминали медитацию, некий обязательный дневной ритуал, смысл которого никогда не иссякал. Тетя Норетта, по обыкновению, была более категорична, ругала своего мужа, а еще больше — мужа своей сестры Ашхен. Старый Рафик был в Ереване «по своим правительственно-депутатским делам», и Норетту это в общем-то устраивало. Отсутствие Рафика всегда было удобно. Теперь Норетте исполнилось уже 77 лет, и она все чаще вздыхала о том, что не все ее мечты в этой жизни сбылись, и понимала, что не сбудутся уже никогда. Аристакеc знал, что самой несбыточной мечтой тети Норетты было поехать в Милан и в театре Ла Скала послушать «Травиату». Больше всего она любила именно эту оперу. Обладая, как и ее дядя Мамикон (она очень хорошо помнила Мамикона, того, которого зарезал азербайджанский пастух), прекрасным голосом, Норетта знала многие арии из бессмертного произведения Верди наизусть. Когда Ашхен уходила домой после ритуально-медитативного сеанса кофепития, она включала старый проигрыватель «Вега», ставила пластинку на максимальную громкость и слушала эту оперу. И не

только слушала, но и подпевала. Соседи говорили: «Видать, Рафика нет дома! Распелась!» А иногда стучали в стену или потолок, чтоб Норетта замолчала, но та плевать хотела на соседей. Она все пела и пела. Тетя Норетта всегда пела о несбывшихся мечтах.

Аристакеcс приготовил для себя и «фатера» кофе, они пили его и молчали. А потом Аристакеcс спросил, когда отец собирается в Дзорк, к маме.

— Скоро, мой мальчик. Уже скоро поеду. И мы с твоей мамой вернемся в Ереван.

Некоторое время они опять молча пили свой кофе, курили.

— А как у тебя вообще дела? — спросил сына Вардан.

— Нормально, никак, — ответил Аристакеcс. — Вот поручили написать маленькую книгу о журнале.

— Получается?

— Нет.

— А ты начал?

— Нет.

— Из-за Беллы?

— Нет.

— Уверен?

— Нет.

— Понятно... Скоро придет Аршо. С женой и ребенком. Они пошли по магазинам. Поешь с нами?

— Нет, па. Я пойду.

— Останься!

— Я лучше пойду. Пока.

Аристакеcс никого не хотел видеть. Вернее, хотел видеть только одного человека — Беллу. Он понимал, что без Беллы у него уже ничего не получится. Без Беллы он — абсолютный неудачник. Он неудачник без Анны, неудачник без Тины, неудачник без Беллы... Только эти три женщины бросили его (остальных бросал он). Только этих трех женщин он любил по-настоящему. Только без этих женщин у Аристакеcса создавалось твердое убеждение, что миры все же периодически рушатся, что периодически рождаются и исчезают галактики и звезды, что периодически рушится жизнь, и от этого никуда не деться.

Белла давала ему те жизненные соки, без которых Аристакеcс не мог существовать.

23

В тот день Аристакеcс написал Белле последнюю эсэмэску. Он слал их ей раз в неделю, зная, что она не ответит. Последняя была следующего содержания: «Когда-нибудь комету назовут твоим именем, а астероид — моим. И когда астрономы будут удивляться, почему они не встречаются, не сталкиваются никогда на Небесах, им кто-нибудь обязательно объяснит: потому что они когда-то встретились на Земле».

Белла так и не вернулась к нему. Только однажды она ответила ему эсэмэской, в которой посоветовала зайти в кафе «Ретро» и забрать забытый там дневник. Беллу Аристакеcс больше не интересовал. Она его «уволела» из своей жизни, как шеф уволил его из журнала. Ведь Аристакеcс не выполнил поручения. С конца мая он начал выпивать, а потом и вовсе превратился в законченного алкоголика. В последних числах июня 2015 года его видели на многотысячных митингах против повышения тарифов на электроэнергию держащим вместе с другом Ваагом — известным общественным деятелем-оппозиционером — плакат: «Я БЕСПАРТИЙНЫЙ!» А 31 августа того же года Аристакеcс вышел из дома и не вернулся.

Потом пошли дожди, похолодало, наступила осень; листья пожелтели, подул ветер и сорвал их; дожди все шли и шли, в парках сжигали опавшие листья, собранные в кучи, и на качелях уже никто не качался.

Пришла осень. Долгая, всегда печальная, всегда мокрая от слез. Зонтики успевали высохнуть только ночью, а слезы не высыхали никогда. Такой была осень 2015 года...

Говорят, Аристакес покинул Ереван через «восточные ворота», как некоторые называли мост по дороге в зоопарк и Ботанический сад, и исчез окончательно. Где он, до сих пор не знает никто и вряд ли когда-нибудь узнает.

Мысли же Беллы весной 2015 года были заняты исключительно организацией Международной туристической выставки. В частности, ее интересовала одна презентация, на которую она должна была обратить особое внимание по просьбе своей старшей подруги Ванды. Речь шла о презентации фундаментальной книги мужа Ванды Мамикона, двоюродного брата Аристакеса. Книга, вышедшая на трех языках, называлась «Храмы Армении и Арцах». Мамикон, закончив книгу о храмах Армении, предпринял экспедицию, или, можно даже сказать, паломничество в Арцах, сосчитал и описал все тамошние церкви и монастыри. Книга должна была стать главным событием среди мероприятий апреля 2015 года и действительно стала им, за книгу эту Мамикона наградили высшей государственной наградой. На презентацию книги Мамикона пришли все: Ванда, ее сын Даниэль, который стал двадцатипятилетним молодым человеком, бывший полковник, старик Шаварш Багратович Киракосян, двоюродные сестры Мамикона Лора и Эва со своей матерью Кларой — монахиней Шушаник, Аршо с семьей, сильно постаревшие Вардан и Ашхен, приехавшие из Дзorca; присутствовали и родители Мамикона, которые никогда не верили, что из их сына выйдет толк, — влиятельный Рафик и уже очень старая Норетта. Кстати, на этой презентации выступил и знаменитый квартет имени Комитаса, к первой скрипке которого Белла и ходила в январе в консерваторию, чтоб ангажировать квартет. Не было только Аристакеса...

В тот апрельский жаркий день презентацию книги Мамикона «Храмы Армении и Арцах» открыл новый, совсем молодой тер-тер церкви святого Григория Просветителя, сына Анака из парфянской династии Сурен-Пахлавов, ветви царского дома Аршакидов, убийцы отца царя Трдата Святого — Хосрова Великого...

31.08.2015—7.11.2015

Ереван

Колыбельная для Рахель

С литовского. Перевод и вступительное слово Елены Фельдман

Три взгляда на новейшую литовскую поэзию

Новейшая литовская поэзия пока мало известна российскому читателю, а большинство авторов, дебютировавших в последние два десятилетия, еще только ожидают своих переводчиков. Тем не менее, в поколении тридцатилетних уже звучат сильные узнаваемые голоса.

Донатас Пятрошюс дебютировал в 2004 году книгой «из сохранения Д». В 2009 году вышел второй поэтический сборник автора «Аорист», за который Пятрошюсу была присуждена премия Союза писателей Литвы. Его творчество отличают смелые эксперименты с синтаксисом, самоирония и культурная разнородность образной системы (так, в стихотворении «Жертвоприношение вола» сквозь аграрную Литву естественно проступает Древняя Греция с присущим ей мифологическим мышлением). Пятрошюс критичен и к себе, и к окружающему миру: жизнь человека не дороже жизни быка, а все, чем в действительности владеет лирический герой верлибра «Как носит меня земля», — книжный шкаф и четыре пары кроссовок.

Рамуне Брундзаите дебютировала в 2013 году сборником «Друг мой бабочка», который сразу же был удостоен премии «Поэтическая осень Друскининкай» за лучший дебют года. Действие многих ее стихотворений разворачивается в абстрактном европейском пространстве, вобравшем в себя черты одновременно Литвы и Италии, где прошла студенческая юность поэтессы. Интонация Брундзаите во многом исповедальна, стихи изобилуют мелкими, но ностальгически дорогими автору деталями: запах глицинии, старый велосипед, крыло бабочки, шпиль костела. Тем не менее, это не лирический дневник — автором движет стремление увидеть за мимолетными приметами времени глобальный ход истории.

Поэзия Ильзе Буткуте наиболее приближена к русской литературной традиции. В отличие от большинства ровесников, обратившихся к верлибру, Буткуте продолжает работать в рамках классической силлаботоники, делая ставку на оригинальность метафор и разнообразие тем. В сборниках «Колыбельные караванов» (2011) и «Карнавальный месяц» (2014) мы встречаем и тонкие пейзажные зарисовки, и неоромантические фантазии, и пронзительную лирику, которая ставит своей целью переосмысление исторического наследия Литвы (например, одно из программных стихотворений Буткуте «Колыбельная для Рахель» посвящено 70-летию ликвидации Вильнюсского гетто).

Фельдман Елена Александровна — поэт, переводчик, кандидат филологических наук. Родилась в 1989 году в г. Иваново. Лауреат многих поэтических и переводческих конкурсов, в том числе обладатель Гран-при посольства Великобритании «За лучший поэтический перевод с английского языка» (2013). Живет в Москве.

Переводчик выражает глубокую благодарность Анастасии Ильяшевич, Уршуле Падагене, а также Плунгеской публичной библиотеке (г.Плунге, Литва) и Литературному институту им. А.М.Горького (г.Москва) за помощь и поддержку при подготовке этого материала.

*Донатас Пятрошюс (р. 1978)**Жертвоприношение вола*

решив продать вола, мы наняли лошадь с телегой
400 килограммов живого веса по 2.70 лита
бычок перестал жевать — обычно пустые кишки
заранее предупреждают их о близкой смерти

мы вели его вверх по асфальтированному холму,
пока он не скатился в канаву — вся процессия остановилась,
и я вдруг подумал, что жертва наша не будет принята
и само жертвоприношение не одобрено богами

бык бодает телегу; мы врезаемся в уличный знак,
колёса беспомощно вертятся, солнце обрушивается на землю,
и я впервые понимаю значение слов «деньги жгут руки»
и внезапно задумываюсь — кто я этому зверю?
имею ли право продлить свою жизнь его смертью?
и всё же ору на него, испуганного, и хлещу по лопаткам кнутом

из белого облака пыли вырываются искры,
и к нам спускается титан в оливковой тоге
цепь на его велосипеде сверкает никелированной чешуей
он торопится на обед, но всё же выводит нас на прямую дорогу
и советует перестать раздумывать,
по асфальту мы едем или по верхушкам деревьев
с нами чувство вины и заветная милость богов

о боги, примите нашу рогатую жертву
и позвольте переродиться в мехе
в ваших вечных охотничьих угодах

Как носит меня земля

если бы я был благородного происхождения
или, по крайней мере, мои дед и бабушка
были богаче и не голодали всю жизнь
если бы мои родители получили талон на жигули
или хотя бы на мягкий уголок
я бы крепче стоял на ногах
пользовался другим статусом в обществе
продвинулся бы дальше
возможно, люди больше бы меня уважали

если бы я унаследовал серебряный сервиз
руины полуразрушенного поместья
картины в тяжёлых сусальных рамах
призраков в замызганных зеркалах
или хотя бы бумаги, подтверждающие
что мы когда-то владели половиной северо-запада
я бы теперь писал в свете тонких свечей
роняя в крахмальный рукав жемчужные слёзы
на худой конец, заделался бы акмеистом

пересекая наискосок ухоженный заповедник
я думаю о том, что мне принадлежит в этом мире
кроме четырёх стен книг и четырех пар кроссовок
одни для грязи, другие [футбольные]
для искусственного дёрна
третьи, серые, для чётных дней
четвёртые, белые, для нечётных
пока одни мокнут, ещё трое сушатся
опьяневший от влажного запаха сосен
прикованный поводком к чужой собаке
я вдруг бросаюсь к перилам посмотреть
раскачивает ли ещё ветер подвесной мост
носит ли меня ещё земля
по четырём углам своего шара

Рамуне Брундзаите (р. 1988)

Глициния

сперва мы долго вспоминали имя
выясняли, как называются
эти висячие сады
фиолетового цвета

потом сидели в маленьком кафе
опалённые зноем средиземноморского солнца
под их душистой сенью

чашка на странице
пятно от кофе
моя ручка
старый велик за пятьдесят евро
прислоненный к ограде

на моей любимой
пiazza Сан-Джакомо
мощёной ещё римлянами
я слизывала
почти растаявшее мороженое

по воскресеньям взбирались на замковый холм
полюбоваться горами
и улицами внизу, укутанными туманом
так похожими на мой город
в сотнях миль отсюда

сотни недель спустя,
сидя в мёрзлой
восточноевропейской аудитории
и перечитывая д'Аннунцио
я вспоминаю те цветы

У бернардинцев

Ольге

сквозь ладони и плечи мои
прорастает трава

мы сидим здесь вдвоём
в окружении крестов,
словно строгих монахов
под небесной сутаной

далеко ещё до Петушков?

из ужюписа к анне
не глядя на кости костёла
проводят нас взглядом
святые

а где-то костёр
и за скобками
наши истории,

словно улитки,
за которыми тянется след по листу,
и река

как же медленны
кисти-улитки
и ручки-улитки —
мягко

слово за словом, мазок за мазком
по листу

тихо падают фрукты,
оплавляются свечи каштанов

это хроники Вильнюса,
расцветов его и упадков,
и сквозь них след улитки-истории —
вязкий пунктир

Кладбище бабочек

друг мой бабочка

наш век
ненамного длиннее, чем ваш

мы конец обретаем в червях,
что дают вам начало,
распускаясь
от скорби цветами

в букете земли
жёлтый коконопряд
толстобрюхий паук
пламенеющий шмель

как трепещут в моём животе
драгоценные звуки, соцветия, формы —
но, конечно, увянут в итоге

ладони мои — данаиды,
что из царства Аида
по прихоти возвращены

к той,
чьё имя узнает любой,
но прозвания разнятся

Proserpinus proserpina
олеандровый бражник
вечно пьющий гранатовый сок
под нездешней луной

*Ильзе Буткуте (р. 1984)**Колыбельная для Рахель. Записка отца (1943)*

Собери усталых кукол,
Уложи рядком в коляску
И закрой им всем глаза.

Город спит; нас не увидят.
За ночь к самому порогу
Подступили небеса.

Бледная кайма рассвета
В синем вымокла тумане,
Пёс с одышкой заворчал.

Словно съёжившийся голубь,
Человек вдали согнулся,
Вскрикнул — и в траву упал.

Собери меня, как кукол,
Из рассветных мягких ключев,
Отголосков пустоты.

В этот раз будить не стану —
Спи, дитя, пока возможно.
Ты осталась.
Только ты.

Дрессура

Не смотри слишком долго в глаза поездам — убегут,
И не гладь по перилам мосты — ведь у них есть хозяин.
Я читаю в ладонях от центра до самых окраин.
Как прохожий, всё в мире проходит, и вечен лишь путь.

В полумраке аллеи отвернись от капризных теней,
И они, удивлённые, станут тереться об ноги.
Свора поздних метелей ярится, заносит дороги,
И я медленно их заклинаю средь зимних огней.

На аркане стихающей флейты плетётся февраль.
Реки улиц вливаются в устье пустой автострады.
Караваны уходят; назад не смотрите, не надо.
Лабиринты разбиты, и тают осколки зеркал.

Тихо плачет за пазухой голубь — уставший, немой.
Ниже шляпу надвинь, отвернись от того, что незримо.
Пусть тебе повезет, и пройдут Дрессировщики мимо;
Я уже не успею рассыпать песок за спиной.

Сад ножей

Я женщина в раме оконной.
В саду погребён мой бастард.
Я каждую ночь обнажённой
Срезаю в молчании прядь.

С чужою рукой не знакома,
Но запах упорно хранит,
Коса всё короче. У дома
На привязи лошадь храпит.

Храпит, роет землю копытом,
Почуя, как сон без лица
В доспехе, из ночи отлитом,
Со свитой стоит у крыльца.

Не бойся, он нас не обидит —
Добычи охотнику нет.
Чтоб сада из окон не видеть,
Сильней затяни мне корсет.

Но чудится: между цветами
Ножи прорастают во тьму,
Заточенными остриями
Кромсают больную луну.

Собаки, поверив затишью,
Не чувят, что дом осаждён.
Дай нить и иглу мне — я вышью
На коже узорчатый сон.

Галина Климова

Майка, Марфа, Жорж

Маленькая повесть о любви

Утренний мейл был адресован не Майке, а ее маме Марфе Захаровне, которая в девяносто два года черепашным шагом доползала до кухни и не всегда до туалета.

— *Дорогая Марфинька*, — с пафосом декламировала Майя, нависая над Марфой Захаровной, громко втягивающей горячий чай из блюдечка, — *я много лет искал тебя, звонил, но телефон молчал, как убитый. И у меня возникали самые мрачные предположения, хотя сердце подсказывало: искать... и вот в Интернете наткнулся на адрес твоей дочери, поэтому «я к вам пишу, чего же боле».*

Благодарю Бога, Марфинька, что мы не разминулись в жизни. Все эти годы я помнил: спасла меня — ТЫ. Если бы ты не подобрала меня на шоссе и не отвезла в больницу, я бы тихо умер от кровопотери. А потом ты помогла поступить в институт. Помню твои потрясающие лекции, хотя история театра не была моим любимым предметом. Сколько лет прошло, а я слышу твой голос. Ты не раз приходила во сне, но почему-то в чине полковника медицины. Как ты поддерживала меня! Не скрою, хотел бы иметь такую маму, а для моего отца такую жену — тогда он и сегодня, возможно, был бы жив. Спасибо, моя незабвенная Марфинька! Ты подарила мне шанс, и я выжил. Надеюсь не разочаровать тебя: я все-таки стал художником, говорят, неплохим. Живу в Мюнхене с женой Наташей и дочуркой Сонечкой. Я бы с огромной радостью побывал на твоём столетии, давай постараемся дожить — и ты, и я. Но памятуя про "долги наши", которые хорошо бы успеть вернуть вовремя, хочу подарить тебе свою картину. Обнимаю крепко. Всегда твой Слава Бирюков.

Капля, не больше горошины, закипела во внутреннем уголке левого глаза. В этой горячей точке, которой не хватало сил пролиться, скопилась, казалось, вся соль большой жизни Марфы Захаровны, известного профессора, заслуженного работника культуры.

Резь в глазу включила внутреннее зрение, как праздничную иллюминацию. Сияющий летний полдень, полянка в сквере или в городском саду, в центре полянки — клумба разомлевших роз, а на заднем плане — колтун кустарников в сени деревьев, широко распростерших ветви.

Откуда эта пейзажная цитата? Какого времени и места? Или декорация спектакля? Сколько их было...

Соснував глаза, она углядела в кустах укромную скамейку, на ней — парочка... ба, да это же она, Марфа, так бесстыдно целуется, почти опрокинувшись на спину. Но

Климова Галина Даниелевна — поэт, переводчик, прозаик, редактор. Окончила географо-биологический факультет МГПИ им. Ленина и Литинститут им. А.М.Горького. Автор 5 сборников стихов, среди них — «В своём роде» (М., 2013), и книги прозы «Юрская глина» (М., 2013). Составитель поэтической антологии «Московская муза. XVII—XXI» (М., 2005) и др. Лауреат премии Союза писателей Москвы «Венец» (2005), премии «Летающее серебряное перо» (Варна, 2008) и др. Живет в Москве.

с кем? Лицо в самой гуще веток. И все же по какому-то едва уловимому промельку догадалась, *кто* ее целовал. Но ведь он же давно пропал... Говорили, умер или уехал. Нет, все-таки пропал. В очередном морском плавании. Она зашевелила сухими губами, вызывая звук его имени. Захотелось увидеть лицо — близко, крупно — такое красивое лицо. Откуда-то издалека, как запах мяты, донеслось слабое дыхание нежности, именно нежности, на которую сама едва ли была способна.

— За что мне это, Господи? — и сердце подпрыгнуло то ли от ужаса, то ли от восторга. — За что?

Растрепанный альбом отца — любимая Майкина книжка, которой она дорожила. Георгий Фёдорович, по-домашнему — Жорж, хранил в альбоме старые, когда-то черно-белые разноформатные фотокарточки подруг своей молодости: блондинок с перманентом, брюнеток с короткими стрижками, красавиц и прелестниц, капризных пампушек, простодушных милашек, а среди них — и девушка в военной форме, и улыбчивая медсестра, и бальзаковская дама в чернобурке с когтистыми лапками, свисающими на пышную плюшку груди, и еще какие-то женщины в летних платьях, в шляпках-менингитках, одна — в цветастой шали, одна — в раздельном купальнике. Судя по надписям химическим карандашом типа: «От сочной Ягодки», «Ласковому Котику от Мурки» — дамочки были без ума от Жоржа. Да и сам он, похожий на иностранца (у нас всегда обожали иностранцев, особенно мужского пола), выглядел ловеласом, донжуаном и бонвиваном — всеми сразу. Майка недоумевала, чем его взяла своенравная Марфа, отшив рафинированных столичных кралей.

Альбом отца — как захватывающий любовный роман — Майка глотала залпом, особенно когда болела. Своих любовных романов у нее еще не случилось, но в воображении уже выстраивались нехитрые амурные сюжеты: героини первого плана — все из альбома, и в каждой что-то от Майи — мелькали со скоростью кадров немого кино — и обязательно хеппи-энд: *стали они жить-поживать...*

Когда Майка выросла — а выросла она неожиданно быстро и также неожиданно обрела пышные формы, сохранив детское выражение глаз и толстые веснушчатые щеки, — Марфа Захаровна стала стесняться дочери и реже брала с собой в театр. В Доме актера под Рузой, куда они приехали на каникулы, и вовсе представилась старшей сестрой:

— Постарайся не мамкать!

Недолго страдала Марфа от бессонных ночей, недолго боролась с детскими болезнями и тяготилась заботами о новорожденной дочке. Роль матери — не ее амплуа. Она скоро осознала себя бездарью и выбросила белый флаг. Материнство раздражало, мешало и очень отвлекало от того, что она любила. А любила Марфа Захаровна — как трудящаяся женщина — только работу: свои лекции, своих студентов, тишину и запах книжной пыли в библиотеке ВТО, читки пьес и, конечно, наэлектризованную атмосферу премьер. Только в институтской аудитории, в театре или за письменным столом Марфа чувствовала себя личностью, востребованной обществом. Это прибавляло уверенности в себе, в правильности своей жизни, когда она день за днем лепила, делала себя, обретая уважение и статус в глазах окружающих.

— Майка — очень требовательный ребенок, — оценила малышку Марфа.

Признаться, что дочь грубо нарушает ее тщательно выстроенную жизнь, что не полюбила эту обжору с диатезными щеками, эту соплюшку и писклю в мокрых пеленках, — стоило усилий и смелости. Марфа перестала принадлежать себе. Такого с ней еще не случалось. Планировать жизнь даже на неделю вперед стало проблематично. И после очередной затяжной пневмонии дочери Марфа, будто сама тяжело переболела, отвезла Майку в Можайск. Там в старом бревенчатом доме, окруженном яблоневым садом и овощными грядками, жила ее мама.

Евдокия Матвевна не сидела сложа руки. С весны до осени — огородница, зимой — рукодельница, кружевница — всяких фасонов и узоров плела воротники, манжеты, накидушки, салфетки и даже скатерти. Много шло на продажу и было подспорьем к ее нищенской пенсии.

Евдокия Матвевна полюбила внучку с того дня, когда ее принесли из роддома. Подняла кружевной уголок, прикрывавший желтушное личико, сердце так и торкнулось: *мое! моя кровиночка!* Откуда столько тепла и жалости? Словно клад открылся. И она старалась порадовать и побаловать внучку: то пирог с вареньем, то мороженое, то первая ягодка, то последнее яблочко... Все для Майки.

Частенько мимо их дома в телеге, которую едва тащила сивая кляча с бельмом на глазу, проезжал старьевщик-татарин. Под дугой — бубенчик. Издалека тянулся высокий крик, похожий на припев: «Старье берем! Старье берем! Кости, тряпки, бумага, посуда! Несите, пустым не уеду отсюда!» Старьевщиком пугали детей: заберет, если не будешь слушаться

В телеге кроме рыхлых куч из тряпья и рванины возвышался расписной деревянный сундук. Когда татарин сидел на сундуке, сундук превращался в трон, а татарин — в царя. Но обычно татарин шел рядом с телегой, держа поводья. В сундуке — Майка точно знала — настоящие драгоценности: китайские мячики из фольги на резинке, резные бумажные фонарики, пищалки «уйди-уйди», глиняные свистульки, расчески, заколки-невидимки и, конечно, колечки — с синим, зеленым и красным стеклянными камешками. Колечко, колечко! У Майки аппетит разгорался. На одно колечко — три кило тряпок! Татарин ехал с остановками, со значением, ждал, когда вынесут связанное в узел барахлишко. Тряпки, чулки, кальсоны, халаты — такие легкие, на колечко не хватит. И однажды, когда бабушки не было дома, Майка схватила новенький пестротканый половик, ловко скатала его и выбежала к старьевщику. Татарин прицокнул языком, взвесил половик и надел Майке на безымянный палец — она не дышала — драгоценное колечко с зеленым глазком. Девчоночье счастье!

Обнаружив пропажу, Евдокия Матвевна вместо ужина задала внучке такую взбучку, что запомнилась надолго. После «настоящей березовой каши» Майка несколько дней сидеть не могла. Плакали обе — так срослись, так полюбили друг друга, что жизни врозь быть не могло.

В Можайске Майка пошла в первый класс, там же и окончила школу.

Родители наезжали по воскресеньям — то раз в месяц, то раз в неделю. В разряд семейных праздников родительские дни почему-то не вошли. Евдокия Матвевна, подробно отчитываясь за истекший период, расставляла по степени важности все, что произошло, что происходит и что нужно для здоровья и счастья подрастающей Майки. Всегда с одним и тем же зачином: *ваш довесок, уважаемые...*

Глядя на вечно занятую Марфу и на Жоржа, пропадавшего неделями в командировках, Майка определила, что жить врозь — легче и проще. Меньше забот о других, больше простора для себя. Еще она заметила, как потускнел и сжурился Жорж: маленький грустный Чарли Чаплин со сросшимися в прямую ветку черными бровями.

— Одна бровь и два глаза, — поддразнивала Майка, пощипывая над его переносицей почти проволочные волосы, — мне ужасно нравятся усато-бородатые мужчины как Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Отрастил бы усы!

— Невозможно, Маечка!

— Ну, пожалуйста!

— Не хочу быть похожим ни на Маркса, ни на Энгельса. И не могу. У меня усы рыжие, как у таракана. Без усов я — черный таракан, а с усами — страшный рыжий тараканище, — он почему-то растопырил пальцы, сделал козу и пошел рогами на Майку.

— А ты их черным гуталином!

— Фу... ну... а запах? Меня точно никто не захочет поцеловать. Меня и так давно никто не целует, бедный я, беднюсенький, — забыв про козу, подыгрывал отец, собирая бровь в гармошку и покачивая головой, как китайский болванчик, — ни Марфа, ни моя любимая дочура. Я и не помню, когда ты меня целовала, — и Георгий Федорович ткнул в щеку скрюченным указательным пальцем, не разгибавшимся после ранения на войне.

— Мама говорит, нельзя. Целоваться опасно. И даже вредно, — ловко вывернулась Майка, — триллионы заразных микробов! Рот — ворота для инфекции! Нисколько не чище попы... Но если очень-очень-очень, то вместо поцелуя хорошо прижаться щекой к щеке или крепко обняться, вот так, — Майка потянулась к отцу и, схватившись за плечи, вдруг вспрыгнула на него и повисла, обхватив его туловище ногами и руками. Все тот же запах «Кёльнише вассер». Она затихла, уткнувшись носом в воротник его горохового твидового пиджака.

— Маме, конечно, видней, — Жорж бережно вернул дочь на землю, удивляясь легкости ее детского тельца и цепкости рук и ног, — ты же не бросишься, доча, целоваться с кем попало? С каждым встречным-поперечным? И надо сказать, не всегда есть желание целоваться даже с тем, с кем положено... Бывает неприятно. И даже отвратительно. И мерзко. Например, изо рта плохо пахнет, особенно у курак и пьянчуг, так и сшибает перегаром... А вот с любимыми, — он ласково похлопывал с цыплячьими ключицами спинку, — например, с детьми или с родителями, — одно удовольствие. Тем более, нечасто видимся. Вот я тебя сейчас — раз! — и поцелую, — он звонко припечатал обе щеки, — вот так!

Майка, блестя лучистыми глазами, рассмеялась и тут же обтерла ладошками щеки.

— Солнышко, ты не забыла стишок? — И Жорж теплым голосом, который прятался где-то в глубине горла, начал:

Майка, Марфа, Жорж!

Папа — нежный ёж.

Марфа — мама. Ну, а Майка —
солнце с острова Ямайка.

— Мой любимый стих! Придумай еще!

Они оба светились, так хорошо вместе, хорошо обниматься и целоваться, и даже чмокать промозглый, колючий воздух ноября.

— Ага, опять сю-сю-ля-ля?! За вами, ребятки, глаз да глаз! Обед на столе! — застучала их Марфа и, благодушно растягивая слова, продолжила: — Да обжимайтесь, да тискайтесь себе на здоровье. И я с вами, — она театральным жестом поднесла к губам раскрытую ладонь, на которую будто села тополиная пушинка, и вытянув губы трубочкой, дунула, и пушинка полетела к тому, кого Марфа как бы поцеловала, — ведь очень романтично, правда? И — никакой инфекции.

Когда же он так скукожился и потускнел?

По словам бабушки, родители жили хуже чем кошка с собакой. Пяти минут не проходило без ссоры и крика. Они давно выпали из общей колеи жизни. Может, ее и не было? Каждый сам по себе, на своей обочине. Зачем жили вместе? Ради дочери? Едва Майка доходила до этого вопроса, как начинала стыдиться себя, в ней прорастала вина перед родителями. Часто болела, в школе перебивалась с четверки на тройку, талантов особых у нее не проявилось, характер противный, а радости от нее никакой. И Марфу, и Жоржа она любила по отдельности, но вместе... И зачем тогда целоваться?

Марфа все чаще пропадала в библиотеке или в театре. А Жорж читал, вжавшись в кресло под торшером. Он перевоплощался, уносился в другие страны и города, в другие эпохи и возвращался не раньше полуночи, когда приходила Марфа. Она пила ритуальный стакан кефира, наносила жирный крем на лицо, затыкала уши ватой и, буркнув *спокойной ночи*, укладывалась лицом к стене на самодельной узкой тахте. Жорж по-солдатски быстро раскладывал кресло-кровать — средневековое орудие пытки — и, как ни странно, мгновенно отключался.

Он стал коллекционировать почтовые марки. Накупил кляссеров, каталогов, книг по филателии. Марки брал пинцетом, измерял высоту зубчиков, отмачивал,

сушил, гладил утюгом, выкладывал серии. По воскресеньям ездил в магазин «Филателист» или на марочный рынок, где однажды его замели менты, приняв за спекулянта.

Иногда Жорж скулил, виляя хвостом перед женой:

— Может, купим телик?!

— Для кого? Мне достаточно театра.

— Будет хорошо, Марфуша: ты и я, вместе, смотрим какую-нибудь интересную передачу, чаевничаем или потягиваем винишко! Давай, к 8 Марта сделаю такой якобы сюрприз!

— Для себя стараешься, не иначе!

Тогда Жорж скулил на другой мотив:

— Возьмем к себе Майку? Будем все вместе. Мы же семья?! Пусть Евдокия Матвевна приезжает к нам, не наоборот.

— Конечно, в коммуналку, только их здесь не хватало.

И Марфа продолжила, загибая пальцы: свежий воздух, свежие яйца, парное молоко, уход и присмотр, и еще что-то обличительное про родительский эгоизм.

Однажды, возвращаясь в Можайск, Майка и бабушка торопились на электричку. Марфа засиделась в библиотеке. Их провожал Жорж.

— Бидон тяжеловат, но зато надолго хватит, — оправдывалась бабушка, подхватывая сумку, набитую московскими белыми батонами и докторской колбасой, — ты только до метро, а там уж сами как-нибудь.

Жорж всю дорогу бухтел, что он все-таки — инженер, а теперь — заместитель главного инженера, и не к лицу ему нести алюминиевый трехлитровый бидон подсолнечного масла. Вдруг подчиненные или коллеги увидят? Прощай, авторитет! Он, конечно, не против помочь по-мужски, ну, например, чемодан или книги. А тут бидон. Мешок бы еще дали... Это — не для интеллигентного человека.

Пересекая сквер, Жорж замедлил шаг, замолк и встал как вкопанный.

— Ты? Почему здесь? А как же библиотека?

На скамейке перед клумбой с разомлевшими розами сидела прекрасная Марфа. И не просто с книгой об особенностях эпического театра Брехта, нет, она сидела в обнимку с симпатичным улыбчивым мужчиной в светлом костюме.

— Кто этот человек? — агрессивно наступал Жорж, прицеливаясь и раскачивая алюминиевый бидон, как гирию силач. — Я вас не знаю. Представьтесь, гражданин!

Мужчина поднялся, сохраняя приветливую улыбку. Он коротко кивнул Марфе, одернул пиджак и неожиданно отпрыгнул в сторону, поджав длинные ноги, как настоящий кенгуру. Но Жорж не промах, он грудью преградил путь.

— Куда же вы, товарищ? Может, познакомимся? Я — Георгий Фёдорович, муж Марфы Захаровны. А вы, позвольте узнать, кто такой?

— Давай без театра, — тяжело сверкнув глазами и раздувая ноздри, пресекла Марфа. Ее лицо было бледней, чем у загримированного мима, низкий голос совсем просел, и она прохрипела:

— Это Фатов. Коля Фатов, завлит театра «Современник». Мы любим друг друга. И сегодня же, слышишь, сегодня же... мы с Колей решили жить вместе. Скажи, Коля!

— Что? Ты спятила! Ты совсем ку-ку. Ты, наверное, заучилась. При матери, при дочери — слышали, Евдокия Матвевна? — родному мужу такое лепишь. Люди, люди!

Как провинциальный трагик, дорвавшийся до столичной сцены, Жорж, широко разводя руки и закатывая к небу карие глаза, взывал к немногочисленной публике: к прохожим, к парочкам на соседних скамейках, к пенсионерам, чья жизнь не выходила за формат газетной полосы, к малышам в песочнице.

— Люди, полюбуйте! Люди, вот она — женская верность и материнская любовь! О, боги, боги! Я так и знал...

— Прекрати, Георгий! — рявкнула уже бордовая Марфа, — не смей!

— Не позорьтесь, черти полосатые! Девку поберегите! — перекричала всех Евдокия Матвевна. — Вы, гражданин, ступайте от греха подальше. А мы, мы все домой. Марфа, бери Майку! Дома поговорим! — угроза в ее сильном голосе звучала многообещающе.

Марфа протянула руки, чтобы обнять дочь, но Жорж налетел бойцовым петухом:
— Не тронь, мерзкая лгунья! Изменщица! Ты никогда не хотела жить с дочерью!
Так живи с кем хочешь, но без нас!
— Псих, неудачник, посредственность! Отдай ребенка, я — мать!
— Да, ты — мать. Но Майка — не кукла!
При этих словах Майка вдруг взвыла и разрыдалась во всю силу:
— Кукла... не хочу, не надо...

Еще маленькой, она мечтала о кукле, о настоящей импортной моргалке — кудрявой, синеглазой, с длинными ресницами. Она просила: куклу! Ей покупали юлу или шарманку. Умоляла: купите, пожалуйста, куклу! А ей — голого пупса, пышущего целлюлоидным здоровьем. Пупс почти кукла, но все-таки пупс.

Когда Евдокия Матвевна попала в больницу с переломом ноги, а Марфа собралась на премьеру в Таллин, Майку решили отправить к бездетным родственникам. Она уже знала, что их единственный сын Юрочка умер от дифтерии — ему и пяти не было, — и по воскресеньям они теперь ходят на его могилку.

Присев на стул, Марфа неумело заплетала Майкины каштановые волосы и, заглядывая в ее прозрачные серо-голубые глаза, готовила почву:

— Не бойся, дочура! Отвезу тебя к Тереховым. Они хорошие. Михал Иванович, для тебя — дядя Миша, на гармошке играет, тетя Нюра печет пироги с изюмом и клюквой — язык проглотишь. И главное, там ждет тебя, угадай кто? Кукла!

Майка, как обогретый солнцем воробышек, встрепенулась, заскакала, закружилась, приподняв юбочку:

— Когда, Марфинька?

— Да прямо сейчас. Мне надо успеть вернуться и собрать чемодан, вечером поезд.

Ехали до деревни Улитино. Название забавляло Майку. Она представила местное население — сплошь улитки, большие и маленькие, мужчины и женщины. Как их зовут? Когда придет, соберет всех и устроит соревнования по бегу. Улитки от усердия высунут крошечные рожки. Она будет судьей со свистком или журналисткой с микрофоном.

Потом Майка задумалась о дяде Мише и тете Нюре — они, наверное, хорошие: Юрочку любят, хотя он и умер. Потом — какое платье у куклы? С косами она или с кудряшками? Они будут спать вместе с куклой на одной подушке. Утром поиграют в дочки-матери. Как назвать куклу? У всех Кати или Маши... Может, Иоланта? Аида? Или Кармен?

Тереховы сидели у телевизора. Дядя Миша не играл на гармошке, тетя Нюра не испекла пирогов. Майка не огорчилась. Электрический самовар кипел вовсю, напуская теплого тумана, оседавшего на оконном стекле слезными дорожками. Марфа достала московское печенье, зефир и «соломку». Все уселись чаевничать, когда Майка громко спросила:

— А кукла? Где кукла?

Марфа опустила глаза. Дядя Миша весело вскинул голову, пригладил вздыбленные вихры и встал со скрипучей табуретки:

— Кукла? Ну пойдем, познакомимся!

Вышли на крыльцо. И тут Майка поняла, почему дядя Миша — Михал Иванович. Ну, правда, вылитый Топтыгин из сказки. Она хихикнула.

Сумерки натягивали над двором крышу из черных туч. Ни фонаря, ни луны.

— Кукла, ко мне!

С радостным визгом из ниоткуда вылетела быstroногая тень. В три прыжка оказавшись у крыльца, она повилила хвостом и весело скалилась.

— Знакомся, Кукла! Это — Маечка, хорошая девочка, погостить к нам приехала. Не бойся, Маечка! Погладь Куклу, она запомнит твой запах и лаять не будет.

Майка стояла каменным истуканом с открытым ртом. Кажется, она и не дышала. Внутри все сжалось, в глазах темно. Она ухнула в какую-то ужасную бездну.

— Посмелей, девонька. Кукла не кусается. Она любит своих.

Чуть живая, Майка шагнула в дом.

— Ну, как? Хороша Кукла? — перехватила ее тетя Нюра и ласково прижала к тугому горячему животу.

Майка вырвалась и нырнула за занавеси, в соседнюю комнату. Увидела кровать с белой горой подушек, комод, диван со слониками. Давясь слезами и слюнями, упала на твердый валик дивана, ударилась носом. Слоники повалились друг на дружку.

— С чувством юмора у тебя не ахти. Значит, и с интеллектом аналогично. Зря обижаешься, это просто шутка, и ничего более! — выкрикнула из соседней комнаты Марфа. Не дождавшись ответа, она заторопилась в Москву.

Майка больше не просила куклу. И когда ей все-таки подарили настоящую синеглазую моргалку, Майка ее не полюбила. Наверно, быстро выросла, так и не наигравшись в дочки-матери. И это аукнулось... но когда?

Когда родители скандалили в сквере и отнимали ее друг у друга, Майке сделалось страшно. Вдруг оторвут руку, голову? Или вообще разорвут напополам? Она бросилась к бабушке:

— Не бросай меня! Никогда!

Евдокия Матвевна прижала к себе внучку и накинулась на дочку с зятем:

— Да чтоб вам повылазыло! Люди вы или нелюди? Девчонку пожалейте! Сирота растет при живых родителях.

Коля Фатов, не участвуя в семейной драме, пригнул голову, ссутулил плечи и, ни на кого не глядя, прикидывал, как бы поскорей улизнуть. Но Жорж не дремал. Выбрав прием нападения сзади, Жорж мстительно зарычал и опрокинул на соперника трехлитровый бидон подсолнечного масла.

— За что-о-о? — завопил Коля Фатов.

— О-о-х, батюшки, сколько добра пропало, — закусив губу, от души пожалела Евдокия Матвевна.

Масло из жареных семечек, такое душистое и жирное, пропитало волосы и лицо Коли Фатова и уже растекалось тягучими струйками по воротнику, скатывалось по бортам пиджака, по брюкам — по единственному выходному костюму, который Коля надевал на премьеры и на свидания с Марфой.

— Ну, да бог с ним, с маслом!

И на этот раз семья не распалась.

Бабушка с Майкой еще долго жили вместе, и выросла она не мамо-папиной дочкой, а бабушкиной внучкой. И когда родители получили двухкомнатную хрущобу в Кузьминках — Майке четырнадцать — она прямо с плеча рубанула: ни за какие коврижки, ни в какую вашу дорогую столицу, золотую Москву.

— Я так и знал. Почему у нас всё не как у людей? — морщил переживаниями лоб Жорж, гордый тем, что именно он, кадровый инженер-строитель, он, построивший в Москве столько жилых многоэтажек, поликлиник, детсадов, школ и кафе, получил-таки, заслужил достойное жилье. Дали в приличном районе с видом на старинный парк с прудами, рядом — усадьба, похожая на Версаль. Живи не хочу! И Георгий Фёдорович понадеялся на новую жизнь в новой квартире — с венгерским гарнитуром «жилая комната», с балконом и телефоном, с Майкой, которая, наконец, переедет в Москву и будет учиться в спецшколе. Георгий Фёдорович неожиданно осознал, что он достиг зенита жизни и, можно сказать, даже благополучия, даже реального успеха. Достиг. Утвердился. Состоялся. Он даже сутулиться стал меньше, а голову держать — выше.

Его объединительный семейный порыв не был подхвачен ни женой, ни дочерью. Марфа не настаивала. Майка не переехала.

— Чертова семейка! — раздраженно ворчал уязвленный Жорж, бросая в чемодан пижаму, войлочную шляпу с широкими полями, светлые брюки, тенниски, сандалеты, — стараешься-стараешься, из кожи лезешь, и — никому ничего... всё как с горки катится. О боги, боги! Пора лечить нервы, пора ходить по терренкурам, пока еще не сдох! А вы здесь... гуд бай! Бывайте, девочки! Дай чмокну, доча!

— Быстрей, чтоб мама не видела.

— Да не трись! Это только с нами она не целуется, а вообще-то кое-что себе очень даже позволяет.

И точно, позволяла.

В то лето они снимали дачу в деревне Степановское. Неподалеку — каскад старинных прудов. Прячась за зеленой броней ряски, пруды отсвечивали благородной патиной и тянули на природный антиквариат. На одном из прудов молодым месяцем белела песчаная коса, там особенно любили купаться дачники. По воскресеньям на косе было не протолкнуться. Тени на всех не хватало, солнце жарило немилосердно. Пока Марфа искала тенистое местечко, ее окликнул загорелый высокий парень и показал рукой на циновку, раскинутую под мощным дубом. Он подошел. Они с Марфой вдруг порывисто обнялись, и уж после Марфа спохватилась:

— Познакомься, Маечка, мой аспирант Олег Павлович. Видишь, беженец! Спасается от московской жары. Какая нечаянная встреча!

— Привет. Наслышан о тебе.

Майка тупо кивнула и, как дохлую рыбу, протянула руку, которую он перевернул и неожиданно поцеловал в ладошку.

— Для тебя просто Олег, ладно?

Она подняла глаза и сразу догадалась, почему его можно называть по имени: Олег — почти мальчишка. Она еще не понимала, что такое возраст: двадцать, тридцать и далее. Ей было — пятнадцать.

Плавали сначала втроем. Олег учил выдыхать в воду, сам при этом отфыркивался, как тюлень, и нырял, подолгу не всплывая. Майка в страхе сбивалась с дыхания — вдруг не всплывет? Олег всплыл далеко от нее, махнул *до свидания* и рванул энергичным шумным баттерфляем. За ним Марфа — то кролем, то брассом. Они выплыли на середину пруда, где уцелел искусственный островок, когда-то место для романтического уединения и тихих прогулок.

Островок безнадежно одичал и выглядел ужасающе. По стихийному разгулу разнотравья, по буйству кустарников он тянул на статус природного резервата, в глубине которого неуместно, но вполне художественно проглядывали красноватые руины ротонды. Олег и Марфа доплыли до острова и скрылись в его дремучих зарослях.

— Там столько малины, — позавидовала Майка, — меня не взяли, а одна не доплыву, — она погрызла стебелек овсяницы, переоделась в сухое, легла на живот и открыла томик Диккенса.

Когда обгоревшие Олег и Марфа наконец вернулись, Олег сразу заторопился в Москву. Марфа его не удерживала.

— Почему ты не пригласила Олега обедать?

— Он очень занят. Через месяц защита диссертации, а он, видишь ли, утром пляжится, вечером театр... завалит защиту, позору не оберешься, — Марфа говорила глухо и куда-то в сторону. — Ты, вот что, про Олега особо не распространяйся, забудь. Папе это неинтересно. Ведь они друг друга не знают.

Майка наверняка и забыла бы об этой нечаянной встрече, если бы Марфа — жарища стояла неумная — на следующей же неделе не попросила встретить Олега у автобусной остановки.

— Пойдите искупайтесь, потом чайком напоишь, потом и я примотаю...

Они шли к пруду прохладной аллеей, где сомкнутые кроны вековых лип выстроились в тенистый коридор. Олег рассказывал о сестре, Майкиной ровеснице, которая замечательно играет на флейте. Потом о своем отце танкисте, прошедшем всю войну, до Берлина. Через три дня после объявления капитуляции Германии, когда в Москве уже праздновали Победу, он подорвался на mine совсем неподалеку от Рейхстага. Пришлось ампутировать ногу. Но сейчас он водит машину, хотя у него протез.

— Такого отца нельзя не любить, — с тихой торжественностью в голосе сделала вывод Майка, заглядывая Олегу в лицо, — каждому бы такого. А вот мне с моим папой

не так повезло. Нет в нем героического начала, хотя и воевал. Был сапером на Северном фронте, даже за Северным полярным кругом. Но ранен совсем чуть-чуть: палец на руке прострелен. Смешно! Да и характер у него не героический, не боец. Рохля, как говорит бабушка. И вообще — не пара он Марфе, не ровня. Хотя я его люблю, но гордиться не получается, нечем гордиться. Вот если бы он был космонавт, артист, писатель или ученый, как вы, например. Мама сказала, вы кандидатскую скоро защитите?

— Что ты такое лепишь, девочка? Ты соображаешь, что несешь? — Олег приостановился и вытаращился на нее серыми в красных прожилках глазами, рассматривая будто через увеличительное стекло. — Причем тут моя кандидатская? Так о родном отце? Сама бы ты до этого не додумалась, нет... Тебя кто-то подучил. Признаться, мама тебя так настраивает?

Он вроде бы и направился к ней, но проскочил мимо, словно ее здесь не было. Майка не двигалась.

— Кто тебя подучил, а? Кто твой суфлер? — Олег подошел к Майке близко-близко и стал будто бы еще выше, еще смуглей и оттого строже, — нельзя плохо говорить о родителях. Это предательство. Они тебя *ро-ди-ли*, потому и называются *ро-ди-те-ли*. Они дали тебе жизнь. Это был твой единственный шанс! И ты — родилась, живешь, а теперь их же судишь. Ты им — не судья. Ты — ребенок, всего лишь ребенок. Что ты можешь без них? Не любить родителей, даже одного из них — смертный грех, запомни!

Майке показалось, Олег еще и пальцем погрозил. Она обиделась на него, а на себя — разозлилась: дура стоеросовая, захотела порисоваться, вот и ляпнула, кретинка, хотя что такого она сказала? Жорж, конечно, не герой, но она любит его. Правда, и Олег ей нравится. Она бы, наверное, не расстроилась, если бы молодой ученый Олег — чем не ровня, не пара? — стал мужем Марфы и ее, как это, отчимом, что ли? Тогда она — падчерица, бедная Золушка... А папа? С кем будет жить Жорж? Майка опустила голову, чтобы скрыть пылающие от стыда щеки и уши.

Вечером примчалась Марфа, ошеломившая невиданной красотой: новая стрижка, небесно-голубое платье с широкой юбкой, как из Голливуда, ажурная сумка из голубой пластмассы. Ее зеленые глаза сверкали, как листья после дождя. Она то интригующе улыбалась, то заливалась звонкой россыпью смеха, то хихикала или прыскала в ладошку.

После ужина вышли в сад. Майка размотала змеистый шланг, чтобы полить деревья и разомлевшие розы. Нашла в траве семейку мелких, еще сопливых маслят. Аккуратно сорвала, побежала показать Марфе, и глазам не поверила: прячась за густыми и плотными яблоневыми ветвями Марфа целовалась с Олегом.

Марфа целовалась! С закрытыми глазами! Как в кино.

Так вот о чем говорил Жорж. Бедный, беднюсенький мой Жорж, бедная я!

Олег крепко держал Марфу за талию и пил, долго пил из Марфиных губ, хотел, наверное, выпить до дна всю ее красоту и силу.

— Целуетесь? Рот в рот? А как же зараза? И микробов не боитесь?!

Майку никто не услышал.

Олег и Марфа были не здесь, а далеко-далеко, в пространстве, известном только сердцу.

Выкинув грибы, Майка поднялась в мансарду, больше похожую на раскаленную духовку. Она не расплакалась ни от обиды на Марфу, ни от ревности к Олегу, ни от жалости к Жоржу, ни от стыда за себя. Все заслонила незнакомая, вдруг открывшаяся ей взрослая правда, о которой она не подозревала.

Марфа не позволяла себя целовать. Ни мужу, ни дочери. И Майку отучила. А сама, оказывается, тайно целуется. Любит, наверное. А Жоржа и Майку, значит, не любит. Конечно, Жорж — не будущий кандидат наук. И Майка — самая обыкновенная. Но другие матери — и Майка знала их по именам — почему-то любили своих детей — отъявленных лентяев, хулиганов, балбесов и врунов — не за оценки, не за

таланты, а просто потому что — родные дети. Правда, Майка чувствовала, что Жорж, именно он, любит ее просто так, ни за что.

Олег больше не приезжал. Марфа перестала выходить в сад. А Майка запомнила ту яблоню — коричневая! — разделившую ее изменившийся мир на *можно* и *нельзя*.

И на этот раз семья не распалась.

Много позже, когда Майка была замужем и дохаживала последние месяцы перед родами, позвонила Марфа:

— Давай встретимся. Посоветоваться надо.

Они встретились в кафе «Счастье» на Покровке. Кроме них там никого не было.

— Дочура, — взяв доверительную ноту, вступила Марфа, — слава богу, у тебя все благополучно. Ты скоро родишь, станешь матерью и уже способна понять, что такое женское счастье и семья. Ты ведь жила с нами, — то ли спрашивая, то ли утверждая, неуверенно произнесла Марфа, не сводя с Майки измывавших, но еще зеленых глаз.

— Целый год жила, на первом курсе.

— Речь не об этом. Зачем ты делаешь мне больно? В кого ты такая жестокая? — сорвалась на визг Марфа и тут же, будто выключился звук, умолкла. На лице проявились бисеринки пота, от чего темный пушок над губой потемнел еще больше. Дрожащие руки она спрятала под большой коричневый клатч.

— «В кого, в кого, в ко-о...» — дрожало эхо внутри Майки. Ответа не нашлось.

— Мне до сих пор тяжело вспоминать, как ты сбежала, фактически бросила родителей, не предупредив, не поговорив. Было больно. Ты нас травмировала, да. Мы с отцом переживали. Думаешь, я забыла, как ты по пятницам уходила в институт с чемоданчиком, чтобы после лекций бежать к бабушке, и возвращалась только в понедельник вечером. В общем, жила у нас как квартирантка.

— Жила да не прижилась. Прости.

— Да, конечно, прошу. Простила. Дело прошлое, — Марфа достала пудреницу, прошлась спонжиком по лицу, освежила помадой губы и, уверившись в своей красоте, помягчала, — ты же не посторонняя, ты — моя дочь. И ты меня прости. Давай о настоящем. Знаешь, мы с отцом....

— Разводитесь, что ли?

— Ну, похоже что так.

— Наконец-то прекратятся ваши садо-мазо тренинги.

— Вот ты как?! И не осуждаешь меня?

— Тебе нужен другой человек. А может, и никто не нужен. Ты самодостаточна.

— Это правда, — гордо согласилась Марфа, и ее лицо обрело выражение особой значительности от радости взаимопонимания, — мне многие об этом говорят.

— Да, ты самодостаточна. Но я не считаю это достоинством или каким-то личностным достижением. Скорей — гордыня и самость. Не более.

— Ничего себе, — уголки цикламеновых губ поползли вниз, выписывая длинную круглую скобку. Марфа растерялась и не сумела свести к шутке столь неожиданный выпад, лишь подсадовала, что разговор не клеится и взаимопонимания как не было, так и нет — очень разные, далекие, чужие. — Пофилософствуем в другой раз. Я не за этим. Ты очень точно сформулировала: прекратить наши садо-мазо. Знаешь, мне конкретно, — она вдруг очень молодо трянула прозрачной челочкой, — мне сделали предложение руки и сердца. Генерал! Хочу стать генеральшей. За спиной полтинник, но сердце еще не остыло.

— Замуж? Или так?

— Замуж, конечно.

— Отец-то знает?

— Да, рассказала все как на духу.

— И что?

— Что-то, ныл, плакал вот такими слезищами, — и Марфа согнула фалангу наманикюренного указательного пальца, — даже жалко стало, веришь?

— Вы же ненавидите друг друга. Как еще не переубивали. Надеешься зажить новой жизнью?

— Хочется, очень хочется пожить *за-му-жем*. Успеть бы. Надоело быть одинокой женщиной, имеющей мужа.

— Не представляю тебя генеральской женой. Он же как гаркнет, как скомандует: молчать! стоять! кругом! Это тебе не интеллигентный Жоржик.

— Жорж очень приличный человек. Это верно. Зато Виталик — так зовут моего генерала — герой, летчик, Афган прошел. Сейчас на Дальнем Востоке.

— Женат?

— Женат, двое взрослых сыновей, примерно твои ровесники, тоже летчики.

— На Дальнем Востоке о его матримониальных планах известно?

— А то! Жена плачет, жалуется, по начальству ходит.

— Ого, фронт сопротивления в действии!

— Виталик обещал все разрулить. С бытом справлюсь. Очень хочется настоящей семейной жизни: кормить и хвалить, хвалить и кормить.

Это неожиданное и простодушное признание обезоруживало — такой Марфа еще никогда не была. Майка дрогнула и пересела поближе — захотелось прижаться и... поцеловать. Но Марфу будто прорвало:

— Понимаешь, Виталика не только люблю как мужика, но и очень у-ва-жа-ю. Сильная личность, рост 182, богатырские плечи — воин, генерал! Мой человек, пара, печенкой чую. Такому готова подчиниться и стать ручной. Он — антипод Жоржа, которого, согласись, за что особо уважать? Чего добился в жизни? Двухкомнатной хрущобы за двадцать пять лет брака?

Майке стало жаль отца, все-таки он очень хороший. И Марфу жалко. А себя еще жалче. Но она тут же исправилась — неправильно жалеть себя больше, они — *ро-ди-те-ли*.

— Какими же словами ты рассказала отцу?

— Да само собой получилось. Виталик меня провожал. И мы, как Ромео с Джульеттой, только не на балконе, а на лестничной площадке, на нашем этаже целовались. Не могли оторваться друг от друга. Хотя и поздно, а мы всё обнимались-целовались. У него был тяжеленный портфель. Уж не знаю, что там, но портфель грохнулся с подоконника, да с таким жутким стуком, что Жорж — ты же знаешь его слух и бдительность — вышел на лестничную площадку и стоит на тонюсеньких ножках, в майке и трусах, в своих зеленых трусах. Видит меня, видит Виталика с генеральскими лампасами. Ни звука. Почесал брови, пригладил волосы, прищурился и давай сверлить глазами, насквозь просверливает, а потом таким лирическим речитативом: «Марфа, Марфинька, иди, я пожарил куриные котлетки. Иди, детка, а то остынут...»

Вот после котлет я и раскололась, и вывалила ему про наши с генералом серьезные намерения. Он заплакал: «А как же я? Не бросай меня, Марфинечка, умру без тебя». Сидим на кухне и ревом оба.

Майка вдруг разозлилась на Марфу и, глядя ей прямо в глаза, врезала:

— Вот на этих куриных котлетках и кончается твоя драгоценная самодостаточность. Ни фарш крутить, ни котлетками тебя в полночь кормить твой генерал-герой не станет, учти! Пока ты диссертацию писала и по премьерам скакала, к отцу прирос кухонный фартук с нагрудником.

— Понимаю-понимаю, успокойся, я не хочу обижать Жоржа. Он — твой родной отец, — виновато лепетала Марфа, — я очень ценила и до сих пор ценю его, поверь. Если уж быть до конца откровенной, по человеческим качествам он лучше меня, благородней. Но не мой он человек! И я — не его! За двадцать пять лет совместной пахоты я многое поняла и про себя, и про него. Но наступает предел, и — финита! Да, я плохая жена. Но и он не ангел. Ты ж не знаешь той сногшибательной сцены из первого акта нашей домашней драмы, когда он скакал прорабом по стройкам социализма Москвы и Московской области, а я писала кандидатскую. Денег нет. Тебя

и бабушку надо хоть как-то, но обеспечивать. Думаешь, почему я так люблю свеколку? Пришлось полюбить. Через месяц после защиты — кошмар! — легочное кровотечение, каверны. Полгода в тубдиспансере, потом три месяца в санатории, в Крыму. Ты у бабушки. А Жоржик? Где, думаешь, наш папчик? На нулевом цикле — рыл котлован для новой семейной жизни. Моя мама неделями не заставляла его дома. Борщ, покрытый плесенью. Постель не тронута. Она меточку сделала, подогнула уголок дверного коврика. Приезжает через неделю, через две, а уголок все подогнут. Когда я вернулась, он — уж такой ласковый, такой заботливый. У меня нигде не екнуло, и мама, умница, мне ни гу-гу. Но однажды звонок:

— Нам необходимо увидеться. Это срочно. Разговор не телефонный...

Через час встретились на «Площади Революции», у пограничника с собакой. Миленькая такая, пухленькая инженеру с гнусавым голоском:

— Как ваше драгоценное здоровычико?

— Спасибо, в порядке.

— А вот ваш муж Егор ...

— Какой-токой Егор? Это вы о Георгии Фёдоровиче? Он — Георгий, а для меня — Жорж.

— Хорошо-хорошо, учту. Тогда, значит, Георгий Фёдорович рассказывал, что вы — запущенная безнадежная туберкулезница. Не сегодня-завтра, извините, откинетесь. Мы с Георгием Фёдоровичем вместе почти год. Очень порядочный и надежный у вас муж. Опора, одним словом. Не бабник. Хочет официально зарегистрировать наш брак и усыновить моего сына Петюшу. У нас с Егором — ой, простите — с Георгием Фёдоровичем стопроцентное совпадение во всем: и в жизненных принципах, и что касается порядка в доме, ну и в главном — полная интимная гармония. Мне, чтобы поднять Петюшу, обязательно нужна опора. Вот и ищу ему отца, а себе мужа. Но из моего характера завсегда честность выпирала. Зачастую во вред себе. Все мужики поют на один мотив: кто про больную жену, кто про старую. Дай, думаю, проверю. Нюх у меня звериный. Вот и вызвала вас на свидание. Туберкулезница из вас, как из меня балерина. Здоровая вы женщина, вижу, в цвету. Значит, врал. Значит, не такой уж порядочный ваш законный. Мотайте на ус! Неспроста мне рыжая лошадь снилась, ласковая такая... Лошадь — это ложь. К обману. И не в первый раз. Вы, Марфа Захаровна, сильно не переживайте. Все будет честно. Мужа вашего на пушечный выстрел не подпущу. Ведь сама — брошенка.

— Знаешь, дочура, как больно было слушать эту бабенку — кассиршу, парикмахершу, кастеляншу? Пока я болела, чуть не загнулась от туберкулеза, он тут шурымуры развел. Захотелось выкинуть его в форточку. Баба-то — самая что ни есть порядочная. Я потребовала развод. Он всё отрицал, говорил — дешевая провокация, шантаж. Ей врал одно, мне другое. Смотреть было противно, не то что жить. Тогда он бросился в ноги к моей маме — каков! — и давай рыдать: «Мама, дорогая, умоляю, спасите семью!»

И на этот раз семья не распалась.

Майка слушала, обхватив руками семимесячный живот, созревающий тыковкой. Изнутри кто-то постукал: не рыбка, не ящерка, не обезьянка. Она боялась за каждый день этой прорастающей жизни. Что там, в волнах материнского моря, полного питательной горечи и тепла? Родившись и прожив десятки лет, почему мы не помним внутриутробную жизнь? Что с нами происходило за таинственные девять месяцев? Что радовало, ужасало, утешало? Может, слышали и различали голоса родителей, звуки музыки или улавливали запахи пищи, ароматы цветов? Чем болели и как выздоравливали? Какой ужас испытывали перед тем, как родиться? Что там — за стенками живота? Будет ли продолжение? Может, в другой вселенной? Целая жизнь проходит в животе, в воде — и никаких даже намеков на воспоминания. Теперь здесь, на суше, мы проживаем как бы вторую жизнь. Может, впереди нас ждет третья и четвертая. И что? Снова не будет воспоминаний? Тогда мы не сможем узнать своих любимых, своих родителей и друзей...

Майка пообещала себе, что будет сама нянчить своего малыша, тетешкаться с ним, гладить, обнимать и часто целовать щечки, носик, попку, пяточки, лоб, темечко. Не отдаст его ни самой лучшей бабушке, ни самой золотой няне вроде Арины Родионовны.

Она включилась, когда Марфа замолчала, ожидая от нее реакции.

— Всем подавай любовь или, на худой конец, роман, приключение, интрижку, чтобы хоть отдаленно, хоть в чем-то было похоже на любовь. Это как усилитель вкуса жизни, близкий к натуральному. Сколько живем, все никак не налюбимся.

Майка не представляла, как это — в пятьдесят, в шестьдесят или даже старше — влюбиться, целоваться, заниматься сексом, когда тело свое лучше никому не показывать. Как это в таком возрасте выйти замуж, а потом отправиться в свадебное путешествие? Какой смысл в таком браке? Детей не родишь. Будущего почти нет. Ради стакана воды перед смертью?

— Уж если всё так складывается, вернее, не складывается, разводиться, — обреченно благословила Майка, потому что поясница у нее уже отламывалась, и хорошо было бы пройтись, погулять на свежем воздухе. — Вдруг с генералом срастется? За отца не волнуйся. В нашей стране еще ни один мужик не пропал, тем более Жорж — красавец и дамский угодник. Найдет себе заботливую клушку-толстушку, и будет ему счастье.

— Смотрю я на тебя, такая молодая, а сердце уже черствое. Как ребеночка-то будешь растить с таким сердцем?

Майке давно хотелось задать Марфе — уж не подслушала ли она? — встречный вопрос такого же содержания, слово в слово, но она сдержалась. Молчать и терпеть, терпеть и молчать.

Не судьба была развестись Марфе с Жоржем.

Боевой генерал Виталик, улетевший на Дальний Восток разруливать семейные дела, не вернулся. Заболел тяжелой ангиной, которая все не проходила и не проходила. Он потерял голос. Когда начали серьезно обследовать, оказалось — терминальная стадия рака горла. Через полгода адских мучений генерал умер.

И на этот раз семья не распалась.

Марфа засела за докторскую по сравнительной истории послевоенного советского и немецкого театра. Майка родила здоровую девочку. Жорж продолжал бегать к филателистам, по выходным пылесосил квартиру, насвистывая «Болеро» Равеля или оперные арии, обязательно что-то тушил или жарил — непременно в фартуке с нагрудником — или варил фирменные «резиновые» холодцы.

Его давно нет в живых.

В последний момент Майка с Марфой успели прорваться в палату реанимации. Георгий Фёдорович был уже в непостижимых пределах, и врач сказал:

— Вряд ли вы до него достучитесь. Вторые сутки без сознания.

Но как только Майка поцеловала отца в лоб, он мгновенно открыл глаза, будто ждал, что вот-вот разбудят. Узнав и жену, и дочь, шумно выдохнул, такой кроткий, такой маленький.

— Папа, слышишь меня? Я буду спрашивать, а ты дай знак глазами. Если да — моргни, если нет — не моргай.

Жорж моргнул, растерянно водя глазами. Потом стал еле слышно причмокивать.

— Хочешь пить?

Жорж моргнул. Поить из ложки не получалось, вода разливалась по щекам, по шее и подбородку. Тогда Майка скрутила жгут из марлевой салфетки, окунула в стакан с водой:

— Открой рот, я буду по каплям отжимать воду. Это боржоми. Ты ведь любишь боржоми?

Жорж моргнул. Свет в его лице прибывал, и намек на улыбку оживил окаменевшее серое лицо. Он приоткрыл рот.

— Вот так, мой хороший! Еще хочешь?

Жорж моргнул. Она погладила отца по волосам, расчесала пальцами знаменитые брови и поцеловала в щеку.

— Открывай рот!

Он проглотил воду и напряг губы, будто хотел что-то произнести.

— Хочешь что-то сказать?

Жорж моргнул. Но из горла, кроме хрипа, ничего не вырвалось.

Тогда Майка достала ручку и маленький блокнот. Жорж моргнул еще раз, как бы одобряя ее.

— Напиши! — Держа блокнот поудобней, она пыталась вложить ручку в пальцы отца. Не получилось. Тогда она взяла руку отца в свою руку, чтобы удерживая ручку, он смог писать. Его мышцы не откликнулись на движение, и ручка выпала из пальцев на простыню. Жорж закрыл глаза.

— *Последнее прости*, он хочет сказать *последнее прости*, — с ужасом догадалась Майка, но не показала вида. Побоялась. Вдруг ошиблась? Надеялась, он еще подержится, еще поживет.

Георгий Фёдорович с трудом разлеплял губы. Обложенный белой коркой, распухший язык не двигался. Майка опять начала капать боржомом. Отец улыбнулся. Ему было хорошо, насколько может быть хорошо в такой момент. Вся семья, наконец, вместе. Все рядом, прощаются и прощают, провожают и держат за руку, согревая своим теплом.

— Майка, Марфа, Жорж! — прошептала отцу в самое ухо Майка.

Его губы дрогнули, но на улыбку сил уже не хватило. По Майкиным щекам, по носу бежали слезы, сердце трепыхалось почти в горле. Она поняла, как сильно любит отца, и он никогда не узнает об этом — жизни не хватило сказать заветные слова. Мелькнула мысль о дочке, о муже Илье и о себе: будут ли они любить друг друга?

Георгий Фёдорович провалился в забытие. Марфа наклонилась над ним, подробно разглядывая резкие морщины на лбу, вытянувшийся нос, бескровные поджатые губы, впалые щеки под густой седой щетиной. Она провела рукой по одной щеке, по другой, прорисовывая на память лицо мужа. Потом поцеловала висок, будто клюнула. Быстро и просто, как если бы Жорж уходил на работу и вечером вернется. Майка обмерла. Ее худшие опасения подтвердились. Если уж Марфа поцеловала Жоржа, то это — конец. И она тоже поцеловала отца в лоб. Показалось, он их услышал.

Ночью Георгий Фёдорович умер.

Утренний мейл был адресован Марфе Захаровне.

После того как Майка прочитала письмо, лицо Марфы Захаровны — как живой водой побрызгали — разгладилось, щеки порозовели, в глазах прибавилось свежей зелени. Ей давно никто не звонил и не писал. Она и сама разучилась звонить и тем более писать. Ровесники поумирали, поразъехались. Бывшие студенты забыли и ее, и день ее рождения, и Марфа Захаровна тоже не помнила, когда родилась.

— Очень трогательно, — по-детски беззубо улыбнулась она. — Полковник медицины... ну и учудил. Что же за роль такая?

— Что-то поспешил ваш Слава, — вмешался Илья, который с большим пиететом относился к тещеньке, не теряя однако чувства юмора, — мне кажется, вы вполне на генерала тянете.

— Ты Славу-то помнишь?

— Славу? — она сморщила лоб, и без того похожий на винтажную стиральную доску. — Слава, Слава... Какой же это Слава? Назови-ка фамилию.

— Бирюков, Слава Бирюков.

— Би-рю-ков, — она завела глаза к потолку в надежде, что там найдет подсказку. — Кто же он?

— Наверное, знакомый. Обращается очень фривольно: *Марфинька*. Может, дружок сердечный?

— Может, — машинально повторила она, не отрывая взгляда от потолка, — может он... как, говоришь, фамилия?

— Бирюков.

Марфа пошевелила губами, и в этом троекратном причмокивании угадывалась фамилия Славы.

С ответом на мейл Майя решила не тянуть: Марфа Захаровна рада письму и обещанной картине, хотя и неловко, так как это потребует столько забот, затрат и т.п.

Вскоре влетело новое письмо, но подписанное уже Наташей, женой Славы:

Дорогие Марфа и Майя! Картину пришем, не сомневайтесь. Конечно, это не Моне, не Ван Гог и не Дега, это — Бирюков. Невозможно создать что-то новое в искусстве, но поддерживать классические традиции — crête de la crête — его принцип.

Далее Наташа перешла к делу без абзаца и сантиментов:

Хорошо бы организовать выставку картин Славы в Москве. Но прежде надо найти надежного спонсора, например, директора какого-то крупного банка. Ведь у вас есть связи, Марфа — известный человек, о ней написано в Википедии. Мы, конечно, отблагодарим. Мы подарим спонсору картину, которая ему приглянется. У Славы — почти 3000 картин разных размеров и жанров.

— Графоман! — разочарованно подумала Майка, ее начинала тяготить эта регулярная эпистолярная связь.

На следующий день Наташа прорезалась снова:

Еще одна идея: можно ли издать календари или постеры (30 на 30 см) — в Германии это очень популярно, и раскупается быстро. Мотив каждого месяца — одна из картин Славы. Доход Слава хотел бы перечислить детскому дому. Ну и вас, конечно, не забудет.

Обескураженная кавалерийским наскоком Майка разыскала телефоны и мейлы знакомых галеристов, искусствоведов, чиновников из Союза художников и переслала контакты в Германию. Ответ пришел незамедлительно:

О-о-о, спасибоще огромное! О-о-о, вы добрейшие люди! Живы вековые русские традиции дружбы и всемирной отзывчивости!

К сожалению, общаться на расстоянии с вашими галеристами, искусствоведами и чиновниками нереально. Нельзя ли конкретно Вам, Майя, встретиться и переговорить со всеми. Насчет постеров/календарей Слава предлагает обоюдовыгодные условия: его 25-летний вклад в картины+копирайт, а печать и продажа — это издательству (здесь Ваша возможная заинтересованность!).

Конечно, важно найти солидного мецената (например, господ Авен, Алишеров, Усманов и т.п.), который сможет убедить директора Сотбис в Москве, чтобы выставить Славины картины на пробную продажу. Тогда все будет выглядеть в другом свете, в другом масштабе, и отношение к картинам будет совершенно иным.

— Кто эти люди? — всё больше недоумевала Майка. — Сначала картина, потом письма с сомнительными инициативами... хотя, наверное, такие вот предприимчивые креативщики.

После смерти Георгия Фёдоровича дома у Марфы не стало. Только адрес и крыша — перекусить, переночевать и переодеться. Утром — очень горячий крепкий чай, вечером — квашеная капуста или вареная свекла, днем — где придется. Первым не выдержал Илья:

— Пора! Берем Марфу к себе, а то забомжует.

Но Марфа не спешила. Ломать себя и весь уклад жизни, зависеть, подстраиваться, общаться, участвовать — не хотелось. Слишком истощилась, чтобы адаптироваться к новому. Кто она без родных стен? Без письменного стола — испытанного старого друга, без привычной обстановки и книг, сваленных в беспорядке на всех стульях и креслах, и даже в ванной? Между стопками книг сохранялись узкие, почти муравьиные, тропы. Марфа прекрасно ориентировалась в домашнем своем бедламе. Каким никчемным казался ей почти немецкий Ordnung, которым гордилась Майка как

высшим проявлением не только своей домовитости, но и женственности. Предстоящая совместная жизнь радости не вселяла в обеих.

Майка оценила великодушие и инициативу мужа, но все же оттягивала переезд как могла. Она вела с собой разъяснительную работу как с двоечницей по главному предмету — жизни: с любовью к ближнему, с терпением и смирением, с уважением к старости. Стариков любить нелегко. Не терпеть, не выносить — именно любить. Как научиться не слышать запахов болезни и старости, пропитавших не только мебель и шторы, но весь воздух квартиры? Как не видеть челюсти, упавшей в тарелку с борщом, сломанной любимой брошки, сожженного чайника? Как не замечать шитые белыми нитками старческие хитрости и оправдания, маскирующие деменцию? Как пополнять закрома любви и добра?

Майке страшно было признаться, что так и не смогла полюбить Марфу, даже молодой и красивой. Сколько лет не называла ее мамой?! Правда, Марфа и не просила. Наверное, она тоже не полюбила Майку. Да и за что ее было любить? Еле-еле закончила худграф пединститута. Пробовала себя в графике, в ювелирке, в результате — художник-дизайнер в каком-то захудалом издательстве. Марфа с тоской смотрела на ее вечно красные близорукие глаза, в которые дочь педантично капала одни, другие, третьи капли... Майка катастрофически теряла зрение. Ради чего? Какие-то обложки к никчемным книжкам, баннеры, пошлые афишки или мусорные рекламки, которые она сочиняла в своем компьютере.

Время накрыло их — мать и дочь. Последний шанс сродниться. Вдруг проклянется проросток любви?

— Как же я слаба, — неприятно сокрушалась Майка, — бездомным собакам, помоечным кошкам сочувствую, а родную мать не жалею. Как ошиблась в себе? Сначала думала, я лучше всех. Потом — я хуже всех. На самом деле — обыкновенная, с толстой кожей и окамененным бесчувствием в сердце. Когда я в последний раз обнимала Марфу? Да и Марфа ли это?

Колючий взгляд маленьких глаз, огромный с залысинами лоб и лишь на темечке — сизый пушок. Где бьющие ключи эмоций, выплески смеха, ссор, ревности, обид и других страстей? Всё стерлось временем и беспамятством. Огромные пласты жизни, важнейшие события, дорогие люди — всё под мощным осадочным чехлом старости. Марфа разучилась зажигать плиту, включать электрочайник, но не разучилась читать, и это было счастьем. Пять лет подряд она читала и перечитывала «Автобиографию» Марка Шагала, восхищаясь — в одних и тех же выражениях, будто записанных на магнитофон! — его языком и стилем, параллельно читала «Историю государства Российского», рассказы Шукшина, стихи Есенина и Владимира Салимона. Эти книжки вместе с карманной Библией лежали стопочкой около подушки, рядом с дорожной косметичкой, где хранились нужные лекарства и ненужные рецепты, зеркальце, расческа, паспорт, пара соевых «батончиков» и, конечно, самое дорогое — отечественный крем для лица «Геронтол», — не просто созвучный ее возрасту, но единственный, не вызывавший аллергии. Если крем кончался, жизнь теряла равновесие, а уровень тревоги приближался к «оранжевому». Когда в очередной раз вызвали «скорую», врач спросила: «Что вы принимаете для снижения давления?» Марфа без запинки ответила: «Геронтол».

Если бы не книги, могло показаться, что у Марфы Захаровны уцелел только инстинкт самосохранения. Она предстала другой личностью с другим внутренним миром, и Майка не могла смириться с такой метаморфозой. Грызла себя за черствость и жестокость.

Помнила, как в детстве недоставало материнской ласки. Теперь вот и Марфе недостает ее дочернего тепла и ласки. Как все связано! Дочки-матери. Кто есть кто? У обеих — полный авитаминоз. И Майка взяла за правило приходить к Марфе в комнату перед сном: посидеть, поговорить о магнитных бурях, волновавших Марфу чрезвычайно, о чем-то повспоминать или помолчать. Марфа почти всегда молчала. Почти не выползала из своего внутреннего кокона. Как будто все внешнее существовало и происходило уже без нее. Майка думала, это — от обиды, от гордости, от

одиночества. Но однажды на фоне такой же безучастности Марфа вдруг включила глаза и очень прочувствованно произнесла:

— Прости меня!

У Майки дыхание перехватило. Чтоб Марфа у нее, у Майки, просила прощения?!

— И ты меня прости! — почти всхлипнула она, стараясь подхватить эту искру взаимности, удержать вдруг оживший контакт. И поцеловала ее почти куриную жесткую лапку, прижалась к ней щекой. Но Марфу опять замкнуло.

В другой раз Марфа встретила ее с большим ажиотажем:

— Ну, наконец-то, хоть одна живая душа! Я хочу вам пожаловаться, доктор! Ночью ко мне ни разу никто не подошел — ни медсестра, ни нянечка. Я так кричала, так звала! И ни одна собака... Помогите мне, вы ведь врач?

— Врач, — осторожно подтвердила Майка, вступая в незнакомую игру.

— Я и вижу, — Марфа высунулась из-под одеяла, спустила ноги в шерстяных носках и уставилась недобрым взглядом на Майку. — Якобы врач... а какая у вас, позвольте узнать, специализация?

— Я врач общей практики, — стараясь быть официальной, без запинки выдала Майка. Марфа понимающе кивнула и беспомощно развела руками, какая, мол, от вас помощь и польза. Но вдруг мобилизовалась: — А как вас зовут?

— Зовут меня Майя Георгиевна.

И тут Марфа так светло заулыбалась, так радостно замотала головой:

— Маечка, доченька, это ты?

Когда Марфа совсем слегла, наняли сиделку, крепкую узбечку из Андижана, и та, протягивая Марфе Захаровне телефонную трубку, почти пропела:

— Это вас, бабулечка!

— Никакая не бабулечка, не смей, — погрозила она артрозным пальцем. — Меня зовут Марфа Захаровна, я — профессор, запомни!

В Майкиных размышлениях о жизни после смерти трудоголик Марфа, как большинство учителей и врачей, непременно попадала в рай — по профессиональному признаку. Сколько людей выучила, вывела на дорогу жизни, скольким помогла? Вот и Слава Бирюков из них. Иначе зачем бы искал Марфу?

— Ты вспомнила, кто такой Бирюков?

— Би-рю-ков, — как робот, артикулировала Марфа, — кто он? Из какого театра? Марфу замучили перепады давления. И Майка решила — пора соборовать.

Отец Пётр обрадовался по-детски. Майка рассказала:

— Не воцерковленная. Иногда открывает Библию. В сознательном возрасте причащалась однажды — после смерти мужа. Тогда она категорически отказалась причащаться из общей ложки, — панически боится инфекций и паразитов. Всех в семье отучила целоваться, категорически отучила. В тот раз наш священник, отец Валентин, допустил ее к причастию первой. И она, представьте себе, пошла — перед младенцами, перед детьми. А теперь я слышу каждый день: «Прости, Господи!» Душа-то христианка. Хотя умереть, видимо, не готова. Просит у Бога только здоровья и сил.

Отец Пётр не комментировал. Он был так молод и полон жизни, что священника в нем можно было распознать только по рясе. Смуглый, кареглазый, явно южанин, он поинтересовался:

— А она выстоит? Соборование длится часа полтора.

— Внимания совсем не держит. Можно, она будет сидеть?

— Хорошо, — согласился батюшка, — знаю, как ее включить в смысле внимания. Я петь буду. Не читать семь Евангелий, а петь.

Отец Пётр широко шагнул в комнату, где в мягком кресле с цветастой шалью на плечах ждала прибранная, как перед премьерой, Марфа.

— Ну и пожила же ты, матушка, — с радостью приобнял ее священник.

— Пожила, пожила, батюшка! Десятый десяток разменяла.

— Высокий возраст! Сама-то вон как уменьшилась, к земельке поближе, а дух наоборот — к небесам возвысился. Точка обзора выше, жизнь — как на ладони. Невелика наша жизнь...

Марфа, сморщив лоб, напряженно вникала в звуки его голоса, но слов вылетало так много, что смысл ускользал.

— Видно, Бог тебя любит, матушка!

— Любит, любит. За что ж меня не любить? Разве не заслужила?

Отец Пётр зажег свечу, разложил Евангелие, крест, елей и запел.

Соборование проходило на даче. Окна нараспашку. Соседи видели, как Майка привезла священника. Все попритихли, повключали газонокосилки, электропилы, и даже птицы замолчали. Священник предъявил сильный лирический тенор, приятно взбодривший Марфу. Ее глаза обрели прозрачность и цвет. Губы любезно сложились в улыбку. Она поощряла батюшку, как когда-то своих студентов, благосклонными кивками головы и даже пыталась дирижировать. Соборование состоялось.

К вечеру Марфа ожила, словно освободилась от всех грехов и недугов. За ужином поинтересовалась:

— Это ты все организовала, доча?

— Ну я.

— Спасибо, родная! Никогда в жизни — а это ого-го! — никогда я еще не слышала такой интересной лекции.

— Да, милый батюшка. И голос такой чистый! Помнишь его имя?

— Конечно. Николай. Я его сразу узнала.

— Какой Николай?

— Да наш! Николай Чудотворец!

Майка с Ильёй так и прыснули.

— Непредсказуемая ты наша. В отце Петре узнала Николая Чудотворца, а художника Славу Бирюкова вспомнить не можешь!

— Славу Калачёва, — строго поправила Марфа Захаровна, — Калачёв... не припоминаю. В голове ничего нет, только черная вата.

— Бирюков, Слава Бирюков!

— Бирюков, Калачёв... Ты сама не знаешь, кто. Отстань! Не помню ни того, ни другого, хоть убей! Как он выглядит?

— Кто? — теряя терпение, переспросила Майка, и тут же осадила себя. — Попрошу, чтобы прислали фото. Может, опознаешь?

— Разумно, — согласилась Марфа, — по фото, конечно. Что уж я совсем, что ли? — И она весело покрутила пальцем у облысевшего виска.

Через день прилетела маленькая невнятная фотография Славы, сосканированная из старой немецкой газеты. Оказалось, художник Бирюков — спортсмен и герой. Несколько лет назад он успешно совершил одиночное плавание на яхте вокруг Африки. На фото эффектно смотрелся парус с мальтийским крестом, фрагмент светлой палубы, на которой вполоборота сидел крепкий мужчина в красной бейсболке, белой майке и темных очках на пол-лица. Наташа в письме лаконично пояснила: *наш Слава*.

Майка с Ильёй поохотали над новым сюжетным ходом из биографии художника Бирюкова, загадочным образом причастного к жизни Марфы Захаровны.

— Слушай, надо бы их вызвать в скайп! — возбудился сияющий щелочками хитрых глаз Илья. — Что-то как-то неубедительно. И более того, подозрительно: все письма от Наташи. Обрати внимание, все — от третьего лица и в мужском роде: Слава просит, Слава вспоминает... а на фотке Славу не рассмотреть. Сам-то он жив или как? И сколько ему годков, если он тещенку Марфинькой величает?

— Твоя любовь к конспирологии, дорогой, переходит в манию.

Тем не менее Майка отослала в Мюнхен адрес своего скайпа. Оказалось, у Бирюковых — а письма почему-то приходили от фамилии Штраухов, которых Илья мгновенно переименовал в Страусов — в данный момент скайпа нет, но «через

несколько дней непременно зарегистрируем адрес и вот тогда». Илья на пальцах объяснил теще про скайп:

— Скоро увидите своего Славу, настоящего живого Славу, может, узнаете его.

— А он-то меня узнает? — с неожиданно проснувшимся интересом спросила Марфа.

— Ай, молодца! Ай-да теща! Женщина в Вас — живее всех живых.

Марфа Захаровна признательно заулыбалась, засмушалась, но нити разговора не пустила:

— К чему мне перед ним красоваться? Седая, неухоженная, в халате. Как старуха. Какая ему радость? Пусть на него Майка взглянет. Потом расскажет.

— Может, причипуритесь? Бровки, губки, клипсики!

Со скайпом не получалось. Страусы молчали. Зато через неделю в Москву прилетела обещанная картина — дар художника Бирюкова.

На холсте, натянутом на подрамник размером 50 на 70, царило лето. Вернее, сорванное на бегу впечатление лета в городском парке или сквере, где все перепутано, растрепано порывами вздорных сквозняков. Сам воздух, настроенный на счастье, крылат и прозрачен. Хочется заслониться ладонью от неправдоподобного буйства красок, от переполненности жизни. Так бывает в детстве или когда влюблен. В письме, сопровождавшем картину, Слава посоветовал выбрать золотой, по возможности, состаренный багет в стиле барокко или антик.

Картину — такую яркую, избыточно солнечную — повесили над Марфиной кроватью. И комнатка, пропахшая старостью, преобразилась. А через несколько дней Майка обнаружила на лице Марфы, будто припудренном, на ее подушке и даже на складках простыни налет золотистой пылицы.

— Что это? — недоумевала Майка. — Откуда? Что ты тут без нас делаешь?

Пыльца появлялась каждый день. И Майка каждый день аккуратно ее стирала и стряхивала — с радостью и со страхом, — не понимая этого явления.

— Золотая пыльца времени, — думала она, растирая в пальцах пылинки. — Не пролетит мимо.

— За что мне это, Господи?

Никому и в голову не могло прийти, что в дорогой наборной раме поселился неутомимый древоточец, буднично обращая все преходящее в золотую труху.

Марфа с любопытством разглядывала картину и зачем-то водила по полотну пальцами. Нашла полянку с клумбой разомлевших роз, притаившуюся в кустах скамейку, а на ней... ба, да это же она, Марфа... Но кто этот человек? С кем она целуется у всех на виду так бесстыдно и жарко?

Уже несколько дней Марфа Захаровна отказывалась от еды, только пила. Она тихо и безболезненно угасала, хотя пульс и давление были в норме.

Приходя с работы, Майка присаживалась на низенькую табуретку у ее постели и всматривалась в застывшее лицо, пытаясь отыскать сходство с прежней Марфой. Она силилась понять, чего ей хочется больше: чтобы Марфа вот так тихо-тихо лежала и все-таки жила или чтобы отошла в мир иной, где ее ждут интеллигентный Жорж, героический генерал Виталик, а может и Коля Фатов, и Олег, и тот человек, которого она так и не вспомнила. Может, они встретятся и узнают друг друга? И в этом будет «продолжение следует»? Или там совсем другая жизнь, непостижимая для нас? Не имеющая ничего общего с той, которую мы проживаем?

— За что, Господи? — очень тихо, но внятно произнесла Марфа.

И Майка увидела, как вдруг подобралась в сморщенный синий бутон ее сухие губы. Худая рука медленно-медленно поползла по груди, дотянулась до подбородка, нащупала бутон и накрыла его ладонью. И тут же донесся еле слышный чмок. Майка вздрогнула. Похоже на воздушный поцелуй. Как будто был поцелован воздух, воздух настоящей жизни, а заодно и все — и Майка тоже, — кто этим воздухом дышит.

Дарья Верясова

Внутри, где музыка плыла

Крапива

Родители выпили пиво,
Тягучие песни допели.
Наш двор зарастал крапивой,
Был цепок и густ репейник.

За гаражом горелым
Мы, затаясь, неловко
Пробовали сигареты,
Кукол зажав под локти.

А на пустырь за рынком
Доволочили еле
И с почестями зарыли
Сбитого спаниеля.

Был долгий наш путь разоткан
Стеклом, бетоном и сталью.
Сестра вырастала красоткой,
Я — дурочкой вырастала.

Да было ли, было ли это:
Что посланный вверх с размаха
Волан прицепился к ветке
И обернулся птахой?

Как жирно пахнет сметаной
Сожжённая в полдень кожа,
И шмель над травами тянет:
«Я тоже живу, я тоже...»

* * *

Чтоб я не вспоминала о тебе,
скользит река в прохладе и тепле,
возносятся грачи над колокольной.
В глуши весна приходит не теперь,
не напрямки, а позже и окольней.

Узревшие добро в её красе:
как воздух сер, как в поле снег просел, —
живут насквозь, не засекая вёсен.
Чтоб о тебе не вспоминать совсем,
я ничего не вспоминаю вовсе.

Но верю в дом, растущий на золе,
и в хлеб, который заключён в зерне,
и в рыбу, прорывающую сети, —
как всякий умиравший на земле,
что до конца не замечает смерти.

Она возьмёт своё от сонных тел,
пока над куполами в темноте
ползёт луна нештопанной прорехой,
и навсегда благословенны те,
кто нас забыл, кто мимо нас проехал.

* * *

Мне каждый день даётся тем трудней,
Что в жизни — от макушки до корней —
Я проросла бессмысленно и криво.
Но видит бог: не злы мои дела,
Что там, внутри, где музыка плыла,
Всё тишина — как плесенью — покрыла.

И оттого ли, что она — во мне,
Я знаю: мне придётся онеметь,
Когда себя, как книгу, пролистаю,
Но всякой рыбе Бог раскроет рот,
Но над землёю музыка взойдёт —
Серебряная, жгучая, простая!

* * *

Сквозь года, сквозь эпохи я чувую вину.
Я прошу, отпустите меня на войну!
В этот дым, в этот грохот, в разливы огня,
В раскалённые дни отпустите меня.

Где кулак, точно губы молчащие, сжат.
Где крестами совсем молодые лежат,
И от крови трава — будто ржавая медь.
Дайте мне за кого-то из них умереть.

Небо давит на плечи, и страшен зенит.
Вверх рвануться и телом своим заслонить
Всех погибших в бою, всех умерших в плену...
Я прошу, отпустите меня на войну!

Май горячим рассветом стоит впереди.
Дайте выдохнуть! Вырвать тоску из груди!
Как безоблачно небо, как книги немые...
Я прошу, отпустите меня из войны.

Владимир Шпаков

Два рассказа

Война майора Чумака

1

Новых постояльцев приводят ближе к вечеру. Стелла предупреждает по телефону, мол, приберись в квартире, и тут же заявляется с очередной парочкой: показывает «циммер», ванную, кухню, причем на хозяина — ноль внимания. Будто Чумака нет, будто он мебель!

— Устраивает? — лстиво улыбается Стелла. — Старая немецкая квартира, в Берлине такой уже не найдешь...

— Неплохо... — отзывается белобрысая толстуха в красной курточке. Курточка расстегивается, затем ее вовсе снимают.

— Это что? — тычет гостя в жестяную полочку с надписью *Topflappen*.

— Здесь прихватки должны лежать. *Topflappen* по-немецки — прихватки для посуды.

— Видишь? — оборачиваются к спутнику, рослому и рыжему. — Настоящий немецкий порядок!

— Орднунг, а то ж... — лениво отзывается рыжий. Вернувшись в комнату, он приближается к столу на гнутых ножках, на нем висится старый приемник в деревянном корпусе.

— Во, такой у Штирлица был! Как там? «Юстас Алексу...»

Он ржет, а Чумака с души воротит. Что интересного в старье?! Когда получал социальную халупу, хотел выбросить барахло покойной немецкой бабули, так Стелла отговорила: ты с ума сошел! Это ж раритеты, туристы кипятком писать будут! Она, собственно, и идею «апарт-отеля» подкинула, в смысле — сдавать вторую комнату для туристов из «рашки». Чумака, скрепя сердце, согласился. «Апарт-отель», «рашка» — выражения были чужды, но лишние евро, увы, нужны позарез.

— Ну, согласны? — грубовато произносит Чумака. — Тогда давайте задаток и располагайтесь, что ли...

Извинившись, Стелла выводит его в прихожую.

— Куда спешишь?! — шипит. — Людям нравится, только торопить не надо! И про задаток помалкивай, не твой вопрос! Соблюдай, майор, эту самую... субординацию!

Чумака понимает: Стелла — хозяйка положения, вообще «баба с яйцами», с такой

Шпаков Владимир Михайлович (род. 10 января 1960 года, Брянск) — прозаик, драматург, критик. Автор восьми книг прозы, ряда пьес и множества литературно-критических статей. Член Союза писателей Санкт-Петербурга, Союза российских писателей, член Гильдии драматургов Санкт-Петербурга. Главный редактор литературного журнала «Зинзивер». Член оргкомитета Международного фестиваля «Петербургские мосты».

Последняя прозаическая публикация в «ДН» — роман «Песни китов», № 9–11, 2014.

лучше не связываться. Но святое трогать даже ей не позволено. Майор он, генерал, рядовой — не ее бабье дело!

— Ну, чего гримасничаешь? Денежки не нужны? Тогда в другое место их определяю!

Левая щека Чумака дергается, делая лицо уродливым. Следствие давнего ранения; еще и глаз багровеет, будто вся кровь к нему прилила...

— Я же знаю: вы с Шульманом гешефтом занимаетесь! — не унимается Стелла. — На гуманитарке, верно? И оба в деньгах купаетесь, так?

— Ни в чем я не купаюсь, — глухо отвечает Чумак. — Короче, вот ключи. Белье в шкафу. Сама с ними разбирайся!

Прихрамывая, он направляется к себе в комнату.

— Порядок поддерживай! — бросают в спину. — В прошлый раз жаловались, что горшок не моешь! И форму свою сними, людей пугаешь!

Чумак закрывает за собой дверь и, опершись на нее спиной, переводит дух. Спокойно, не надо нервов. Представь: она — твой командир, который всегда прав. В конце концов, ты имеешь свой плацдарм, свою территорию, на которую никто не посягает, и радуйся! Даже Стелла сюда не сует нос, не говоря о «пришельцах» (так Чумак называет туристов). «Пришельцам» дозволено наслаждаться атмосферой бургерского жилья — комнатой, кухней, ванной, но логово хозяина — Сталинград. Сюда не суйтесь, господа хорошие, тем более комната наполовину забита картонными коробками, которые действительно завез Шульман. Лекарства, предназначенные для отправки на Украину, если верить организатору «гешефта». Завтра должны вывезти товар, а через месяц схема повторится: завоз коробок, разгрузка и спустя неделю — отправка по месту назначения. Ну, и самая приятная операция: вручение его доли — пусть скромной, но тоже не лишней.

— Плачу за складское помещение, — ухмылялся Шульман, — и за молчание. Мы людям помогаем, натюрлих, но кричать об этом на каждом перекрестке не стоит...

Только их мирок не столь велик, до Стеллы вот дошла информация, хотя на берлинских перекрестках про лекарства не кричали. Причем тут, спросите, бизнес? Насколько знал Чумак, часть гуманитарной помощи оформлялась в качестве коммерческого товара и продавалась украинским фирмам-посредникам (этот «левак» и хранили у него дома). В итоге образовывалась прибыль, ею делились с хозяином «склада», и все участники цепочки были довольны.

Успокоившись, Чумак перекладывает коробки к одной из стен. Он и без Стеллы понимает, что такое армейский порядок. В нижний ряд ставятся самые крупные коробки, на них — тара поменьше, а на самый верх помещаются маленькие коробочки, почему-то без маркировки. Оценив работу, Чумак находит клетчатое покрывало и набрасывает на складень. Вот — настоящий «орднунг» (хотя великий и могучий «дойч» Чумак не любит, считает чем-то вроде мата).

Его комната разительно отличается от остального наполнения «апарт-отеля». По стенам развешаны фото однополчан, служивших с ним в Афгане, вырезанные из журналов картинки с вертушками и БМП, а возле окна красуется фотография Свято-Никольской церкви в украинском селе Кулевче. Вроде контраст (Чумак с религией не очень), но это сестра прислала, да и родина, опять же. Зато его армейский камуфляж ничуть не контрастирует с БМП, напротив, служит прекрасным дополнением. Да, форма устарела, и шевроны с нарукавными знаками еще советские, но кому надо, опознает «Войска Дяди Васи», иначе говоря, ВДВ. Так что Стелла пусть молчит в тряпочку, форма — тоже Сталинград, Чумак ее не снимет, даже если его поведут под конвоем по Unter den Linden. Бойтесь, фрицы, майора-десантника и не смейте его трогать!

В этой комнате майор приходил в соответствие с тем человеком, который смотрел с одной из фотографий. Здесь он еще капитан, черноволосый, улыбчивый, обнимающий боевых товарищей. Кто-то из них давно в ином, лучшем (наверное) мире, кто-то просто исчез с горизонта, затерявшись в жизненной круговерти. Но тут,

на фото, все еще живы и вопреки тогдашней обстановке счастливы. Афган был страшной мясорубкой: и подергивание щеки, и его хромота — оттуда, из страны раскаленных стреляющих гор. Но там была настоящая, а главное — абсолютно понятная жизнь. Вот свои, вот духи; а если приходится накрывать огнем кишлак, так не без причины. Из этих кишлаков такая нелюдь по ночам выползала — мама не горюй! А значит, заряжай! По душманскому гнезду... Пли!

Теперь не тот расклад, жизнь сделалась дурной и непонятной. Такого, как Шульман, Чумак под трибунал бы отдал, но вот — сотрудничает с прохиндеем! Или взять Стеллу: аферистка же, три шкуры дерет за проживание в своих «апарт-отелях», однако и здесь нужно подвигивать. Тьфу! Он служил великой державе, а что сейчас?! Кто он сейчас?! Последний интендант на той войне больше уважения имел, любая тыловая крыса могла бы его презирать — такого...

Чтобы отвлечься, Чумак выглядывает в открытое окно, за которым — внутренний сквер. Стелла называет его «патио», набивая цену жилью, но главное, зелень под окном, дышит хорошо, да и первый этаж для хромого — очевидный плюс...

— Борман! Кис-кис-кис... — негромко зовет Чумак. — Кис-кис-кис...

На подоконнике у него блюдечко с сухим кошачьим кормом, он выставляет его на оцинкованный отлив и ждет. Этот черный жирдяй должен прийти, никуда не денется. А если задержится, пусть пеняет на себя, потому что примчится худосочный серый Геббельс и весь корм сожрет. Борман одной левой может отогнать этого дистрофика, но тут главное — быстрота маневра!

— Геббельс! — повышает голос Чумак. — Кис-кис-кис...

Серый возникает будто из-под земли, вспрыгивает на отлив и какое-то время балансирует на скользкой жестянке. Пристроившись, начинает хрустеть кормом. Зеленые глазища косят в сторону (вдруг заклятый конкурент появится?), а челюсти молотят будьте-нате!

— Борман сегодня в полете... — усмехается Чумак. Он хочет погладить победителя, когда дверь в комнату распаивается.

— Здесь живут Борманы с Геббельсами?

На пороге рыжий постоялец, в руках у него — бутылка водки.

— Слышу знакомые имена, — ухмыляется, — и ни фига не понимаю! Котов, значит, так зовут?!

— Я так зову... — сдержанно отвечает Чумак. — Фрицы наверняка зовут по-другому.

Он старается не замечать блеск водочного стекла, однако бутылка притягивает взгляд, будто магнит.

— Тяпнем русского национального? — поднимают бутылку над головой. — Моя в супермаркет помчалась, значит, часок у нас есть!

Чумак не в силах сопротивляться, выпивка — его слабое место. Он расставляет рюмки, насыпает в вазочку крекер, и вот уже первая, «за знакомство», приятно разливается теплом в груди. Гостя зовут Эдик, он из Брянска, а там закон: между первой и второй — никакого перерыва!

— Вообще никакого?! — удивляется Чумак.

— Никакого! А между второй и третьей — не больше минуты!

Эдик опять ржет, видно, мужик с юмором. Вообще-то, откровенничает он, сюда ехать не хотелось. Хрена ловить зимой в Берлине?! Зима тут мягче, конечно, даже зелень кое-где проглядывает, но ведь не Египет! Так жена потащила в Германию! У нее девичья фамилия, понимаешь ли, Шторк, и вот ей в голову взбренило на родину предков отправиться! И чтоб непременно жить в обстановке настоящего немецкого дома!

— Но у тебя, вижу, другая обстановка...

Эдик тычет в одно из настенных фото.

— Это где? В Грозном?

— В Кандагаре.

— Ты афганец?! Тогда — за афганцев!

После третьей «пришелец» уже нравится Чумаку. Тут разные бывали, некоторые нос воротили от изувеченного мрачноватого человека в форме, а этот брянский — вроде свой. Жаль, не служил в горячих точках, не поделишься сокровенным. А хочется! Хочется улететь туда, где пахло нагретыми солнцем скалами, соляркой от боевых машин, гарью; где была взаимовыручка, мужество, и каждый готов был положить жизнь «за други своя». Вот откуда его хромота? Тогда их заперли в ущелье, начали долбить пулеметами с окрестных гор, и ему на бегу — в ногу! Лежал на открытом пространстве, как мишень, так Сашка Клюев, командир роты, его на себе под БТР втащил, под броню, иначе в мясо бы раскрошили духи! И сам Чумак не раз бросался на выручку под шквальным огнем, прикрывал собой бойцов, и что остался живым — считал чудом. А главное, тогда за ним стояло что-то огромное, большое и непобедимое. Да, война была страшная, много хороших мужиков положили зазря. Но была держава, был некий смысл в бессмысленных, если рассудить здраво, подвигах, и утрата этого всего была больнее, чем сквозное ранение в ногу или боль от осколка, задевшего лицевой нерв...

— Сам откуда? — интересуется Эдик.

— Оттуда... — Чумак указывает на Свято-Никольскую церковь на стене. — С Украины. Но я там не был... Сколько же я там не был? Больше сорока лет!

Гость выдерживает паузу, с интересом глядя на хозяина.

— Съездить не хочешь? Там сейчас события!

Майор отмахивается.

— Опять бузят?! Ничего, побузят и разойдутся!

— Не знаю, не знаю... Может, и не разойдутся.

Еще опрокинуть, затем похрустеть крекером, как давеча хрустел кормом Геббельс.

— И хрен с ними. Какое мне до них дело?! Моя родина — Советский Союз! Помнишь песню? Мой адрес не дом, и не улица, мой адрес...

Эдик начинает подпевать, когда в дверях возникает толстуха, что в девичестве Шторк.

— Хорошо сидим? — произносит ледяным тоном.

— В общем, неплохо... — теряется рыжий.

— А теперь — домой!

Эдика подбрасывает, будто в задницу вмонтировали пружину. На пороге супруга оборачивается.

— Стелла Георгиевна предупреждала, что вы алкоголик, и зря я ей не поверила! Не смейте спаивать моего мужа!

У Чумака сводит скулы. Хмель слетает, лишь бессильная злость ворочается внутри, как некий червяк. Ты никто, майор, если даже эта незваная гостья может тебя унижить. Ты разжалован и уволен из рядов без права восстановления! Не хочешь быть разжалованным? Тогда вытащи заначку — и в магазин, чтобы надраться к ночи до бесчувствия и провалиться в мертвецкий сон...

2

Утро начинается со стеклянного звона: кто-то бросает в окно мелкие камушки, и тут, хочешь — не хочешь, а приходится разлеплять глаза. Какая зараза спать мешает?! Чумак поднимается; укутавшись в одеяло, подходит к окну. Ба, Краб явился! Полгода, почитай, не было видно, говорили, его вообще из «фатерлянда» депортировали. Но вот он, лыбится во всю ширь, сверкая фиксами...

Щелкнув шпингалетом, Чумак распахивает створку.

— Просыпайся, Мыкола! — слышится с улицы. — Буде подушку давить!

— Принесли черти... — бормочет Чумак. Башка трещит, накануне бутылку в одно жало всосал; а еще ведь с рыжим пил! С другой стороны, Краба можно послать в магазин, молодой — мухой слетает...

У гостя, по счастью, с собой пиво. Туристы слиняли с утра пораньше, и можно спокойно похмеляться, слушая рассказ о злключениях Сереги Бойченко по прозвищу Краб. У него не ладони, а натуральные клешни — огромные, разлапистые, да еще красноватого цвета, и во время разговора он этими «клешнями» все время размахивает. Как выясняется, придурок влетел в уголовную историю: вместе с друзьями угнали грузовик Мап, набитый стройматериалами. Грузовик оставили на пустыре, понятно (как его продашь?), а материалы решили толкнуть одному немцу. Так он же, сука, их и заложил! Позвонил в полицию и высказал свои подозрения, мол, откуда у этих русских мешки с ротбандом и черепица Вгаас? Вот не все равно ему, откуда! А главное, москалями их назвал, немчура херова! Все время бубнил «руссиш», «руссиш»!

— И что? — морщится Чумак (башка еще трещит!). — Мы для них все — русские...

— Ни, Мыкола! Я не москаль!

— Да ладно тебе! И это... хватит меня Мыколой звать! Я для тебя, пацана, Николай Петрович! Майор советской армии в отставке! Если хочешь, называй товарищем майором...

Краб опять демонстрирует фиксу, затем упирает правую клешню в висок.

— Слушаюсь, товарищ майор!

— К пустой голове ладонь не прикладывают... — бурчит Чумак. — Значит, в тюрьме сидел?

— Ага, пять мисяцив! Я ж на подхвате был — тильки разгружал. А хлопцы, шо машину вкралы, сели надолго...

В магазин все-таки приходится бежать — пивом душу не обманешь. За шнапсом и всплывает (опять!) тема волнений на родине. Краб завелся, мол, в тюрьме делать не фиг, все время ящик смотрел. Его ж у Краба нет (у Чумака тоже), но тут немецкая тюрьма! Цивилизация, бя, да еще волнения показывают! Ой, как в Киеве нынче неспокойно...

— Да что вы раскаркались?! Непокойно! Волнения! Ерунда это!

Краб долго на него смотрит.

— Ни, товарищ майор, не ерунда. Буде шо-то, нюхом чую.

— Ничего не будет!

— Ты ящик купи, Николай Петрович. Тоже ведь не бачишь, шо в мире творится. Жидка твоего, Шульмана, потряси. Мол, ишачу на тебя, так отблагодари!

— Понадобится — сам куплю. Ну? Что с руками?

— Шо с руками?! — Краб обеспокоенно разглядывает «клешни».

— Не больные? Тогда разливай, что ли...

Краб с облегчением хохочет, тут же выполняя просьбу. А чтоб доказать, мол, руки у него ого-го, под занавес предлагает привычную забаву: армрестлинг.

— Победить рассчитываешь? — прищуривается Чумак.

— Тебя, Николай Петрович, победишь... Так, дурака поваляем!

На самом деле молодость хочет победы, а то ж! Когда ставят руки на стол, ладонь Чумака тонет в красноватой «клешне». Краб с ходу начинает давить (хотя по правилам положено на «раз, два, три»), только шалишь, родной, с майором Чумаком не такие орлы состязались! Еще в Афгане! С самим Грозовым тягался «на руках», и генерал оказался повержен!

Щеки соперника пунцовеют, он поддавливает кистью, и все же медленно, но верно сдает позиции. Выровнять, теперь наклонить, и вот «клешня» на столешнице!

— Ну, товарищ майор... Железяка у тебя, не рука!

А за окном уже маячит Борман. Тычется в пустую кормушку, затем начинает царапать стекло.

— О, Гитлер явился!

Поднявшись, Краб находит повод задержаться.

— Не Гитлер, а Борман... — бурчит Чумак. — Ладно, двигай отсюда!

— Может, еще пузырь? У меня гроши есть!

— Хватит на сегодня.

— Как знаешь, Николай Петрович...

На пороге гость оборачивается.

— А телевизор купи. Много интересного побачишь!

Спустя час является Стелла. Ей уже донесли про вчерашнее, и она ездит по ушам нерадивому хозяину, каковой, если разобраться — чмо. В коридоре натоптано? Горшок не вымыт? Ах, вымыт?! А почему лужа в туалете?! Они идут в сортир, где подтверждается правота Стеллы, потому что Краб, когда ходил по малому, пустил струю мимо унитаза, значит, товарищ майор, бери в руки тряпку. И вечером претензии — от туристки, что расхаживает по квартире с видом хозяйки. Она так и заявляет: если б тут жила, все бы переделала по-своему! Чумак ищет поддержки Эдика, но, поймав его взгляд, рыжий только руками разводит. А тогда удалиться к себе, закрыться на ключ и сделать вид, что его нет.

Его и впрямь тут нет. Не должно быть, во всяком случае, он вроде как попал в плен, причем сдался добровольно. После возвращения из Афгана страна начала рушиться, а Чумак зачастил в госпитали: то нога, зараза, мучает, то ранение в голову даст о себе знать. Хреновый стал вояка, такого на «дембель» отправить — святое дело. И отправили, повесив медальку на грудь, даже приказ на подполковника оформили, чтоб пилюля стала не просто сладкой — приторной. Но от бумажных погон майор ВДВ отказался. А тут дочка выросла, начала романы крутить направо-налево, глядь, уже замуж выскочила! Причем за гражданина Германии! Уехала, понятное дело, и началось: хрена, мол, сидеть в этой стране?! Что здесь ловить?! Супруга обрабатывала «дембеля» ежедневно; а держава между тем катилась в пропасть, и экс-майор после очередной госпитализации дал слабину: едем, черт с тобой! Только переехали в Берлин, а доченька любимая уже развод оформляет! Супруга на этой почве слегла, да так и не оправилась — скончалась через год. Жили по съемным квартирам за счет дочки, хотя та не столько работала, сколько искала новую партию. И таки нашла своего американца долбаного, который тут же увез ее в Миннесоту. Хорошо, папаше-ветерану оформила вид на жительство, и тот поимел право на социальное жилье, копейки кой-какие, ну, чтоб не загнуться. Дальше связями оброс в среде украинских мигрантов, халтуры появились, да так и застрял «в плену». Куда возвращаться? Жилье-то продали перед отъездом, а ехать на родину вроде как смешно. Двоюродная сестра недавно разыскала его, звонила несколько раз, мол, если хочешь — приезжай в Кулевчу, живи у меня. Но где Чумак и где эта Кулевча?!

Детские впечатления почти стерлись из памяти, лишь изредка вспоминались крашенные синие штaketники и свисающие ветви, усыпанные вишнями. Юный Коля Чумак всегда ходил вдоль штaketников, обирая сочные соседские ягоды, хотя в собственном саду вишни было завались. Соседская — всегда слаще, говорила бабушка; зато ее вишневый компот не имел равных в селе: к ним даже болгары приходили за компотом, просили продать. Выглядели «болгары» так же, как бабушка, и говорили вроде на понятном языке, но их почему-то отмечали особо. Что еще сохранила память? Гусей, что однажды защищали до синяков на лодыжках; классы начальной школы, где невысокому худощавому парнишке все время приходилось доказывать что-то кулаками; а еще визит военного, что однажды забрал его прямо с уроков. Когда папаша, герой войны, скончался в госпитале, а мамаша, стерва, не вернулась с очередного курорта, бабушка отписала в Московское суворовское училище (чуяла, что скоро помрет), и волшебник с погонами вскоре прибыл в село, затерянное на границе Украины и Молдавии. Прибыл, оформил документы, и с той поры жизнь пошла от приказа до приказа.

Странно, что Чумак совсем не помнил Свято-Никольскую церковь, фотографию которой сестра прислала в письме. Писала, что храм этот особенный, там замечательный батюшка Павел, а главное, чудодейственная икона Спасителя имеется. Ее преподнесли в дар, считай, черную совсем, и вдруг она в одну ночь просветлела! Лик проявился, и кто к этой иконе, значит, приложится, сразу излечивается! И хотя сестринский пафос был неподделен (набожной сделалась!), все это воспринималось, как народные сказки.

Отсутствовала, короче, родина у советского майора, утонула она, ушла на дно, даже пузырей не осталось...

Одно время поддерживали звонки Ваньки Потапова, дружка афганского. Было дело: заперли в одном из ущелий батальон Потапова и косили бойцов, как траву. Наверняка всех покосили бы, да Чумак со своими орлами на поддержку выдвинулся, и все огневые точки из минометов накрыл. Ванька всякий раз тот случай вспоминал, даже неудобно было.

— Цену ты себе не знаешь, Петрович! Ты ж герой!

— Да ладно тебе...

— Ничего не ладно! Вот хрена ты там сидишь?! Тебе молодежь воспитывать нужно! Если им про тебя рассказать...

— Зачем? Я не генерал Громов какой-нибудь... Как он, кстати?

— Поднялся на время, до губернатора даже дорос. Но сейчас загнали за Можай, где-то в Приморье бизнес крутит...

— Что ж так?

— Не по чину брал, думаю. А генерал Шпак — тот в авторитете до сих пор. Виделся с ним как-то, так он тоже тебя вспоминал. Хрена, говорит, делает у немцев майор ВДВ?!

— Бывший майор, — вставлял Чумак, но его перебивали:

— Бывших десантников не бывает! Так вот Шпак говорит: почему Петрович там, а не здесь?!

Эти разговоры (хоть Чумак и спорил) грели, напоминали о чем-то большом, огромном, что соединяло майора, Ваньку Потапова, Сашку Клюева, Громова, Шпака и еще миллионы людей в целое, что сияет над головами, как слепящее солнце Афгана. Потому-то и суетился майор, зарабатывал правдами и неправдами, чтоб вырваться из «плена». Он соберет нужную сумму и в один прекрасный день помашет ручкой благоустроенной бундес-тюряге: ауфвидерзеен, дамен унд херрен! Натерпелись, будет!

Но в последние месяцы Ванька звонить перестал. И на звонки Чумака не отвечал, может, тоже в госпиталь угодил (в нем железа сидело — будьте-нате!). И Чумак окончательно потерялся. Вокруг крутились какие-то полу-люди, с которыми на одном поле не сядешь — в других обстоятельствах. Да где возьмешь «другие»? Опора утрачена, под ногами — вязкое месиво, болото, того и гляди, засосет...

Погрузившись в беспокойный сон, Чумак оказывается на горячей броне бэтээра. Там же сидят одетые в форму десантников Потапов, Клюев, даже генерал Громов (правда, с погонами капитана мотострелковых войск) покачивается, усевшись с краю. Чумак хочет подколоть начальника, мол, разжаловали, да? Но раздумывает: это же мелочь, главное, они опять вместе! И катят (ну и ну!) по Unter den Linden!

— Вань, я что-то не понял... — озирает майор тянущиеся вдоль улицы бутики и рестораны. — Куда мы направляемся?!

— Как куда?! К Рейхстагу!

А ведь верно, движутся в сторону Бранденбургских ворот! Гуляющая публика, завидев боевую машину, сгибается в поклоне или в страхе жметя к стенам домов. Правильно боитесь, фрицы, сейчас мы будем брать вашу главную цитадель еще раз. Есть ли у нас флаг?

— Есть! — Клюев вытаскивает из-за пазухи красное полотнище с серпом и молотом. Чумак хлопает его по плечу.

— Молодец! Ставлю боевую задачу: водрузить знамя на самой вершине купола! С тобой пойдет подполковник Потапов!

Клюев смотрит на прозрачный купол цитадели, что сияет на солнце.

— А не соскользнем? — спрашивает с сомнением.

— Саня, ты чего?! Ты ж дворец Амина штурмовал! А тут какой-то Рейхстаг! В общем, выполняй задачу!

Они уже проскочили ворота, пересекли линию разрушенной берлинской стены,

так что цель совсем рядом. Но бэтээр вдруг резко сворачивает и несется в Тиргартен. Чумак ползет к кабине.

— Эй, боец! — стучит по броне. — Почему отклонился от маршрута?!

Да только водила не слышит, топит газ, и вот уже рядом мелькают деревья — они углубляются в парк, чтобы остановиться возле металлического ангара. Из кабины выскакивает Краб (вот сюрприз!) и машет клешнями, мол, слезайте, приехали! Какого хера?! Мы собирались цитадель штурмовать!

— Почекае цитадель. Зараз трэба працаваты!

Он открывает боковую дверцу, Чумак сует голову внутрь и обалдевает: весь объем занят ротбандом и черепицей Braas!

— Ни, не весь! — читает мысли коварный Краб. — Твой товар тоже тут.

Он тычет куда-то вглубь, где виднеются коробки, что обычно оставляет Шульман. После чего обнаглевший штатский деловито разъясняет офицерскому составу: нужно разгрузить товар, а потом можете хоть Рейхстаг брать, хоть Центральный вокзал. Офицеры переглядываются, а Чумак чувствует, как изнутри поднимается горячая волна: да что ж ты, сука, себе позволяешь?! Да я ж тебя, выползка уголовного...

— Руки за голову!! Лицом к стене!! А теперь по законам военного времени... Расстрелять эту сволочь! Ну?! Стреляйте же! Стреляйте!!

Выпадение из сна происходит внезапно: его кто-то тормозит, приговаривая:

— Эй, афганец! Возвращайся с войны!

Очнулся, а над ним рыжий турист в пижаме.

— Порядок? Извини, мне-то по фиг, но мою крики пугают. Иди, говорит, успокой этого... Ну, я пошел!

3

Пока квартирует приезжая парочка, Шульман не показывает носа. Хотя показать хочется, видно по его нервным звонкам. Когда будешь один? Послезавтра? О'кей, навещу!

Наконец «пришельцы» отваливают. Улучив момент, Эдик забегает на минуту, они успевают махнуть по сто, и тот на прощанье выдает:

— Моя, конечно, от тебя не в восторге....

— Я тоже, — парирует Чумак, — не в восторге!

Рыжий всхohатывает.

— Ну да, ну да... Но здесь ей страшно понравилось! Хочет такую же квартирку прикупить, ну, иногда самой приезжать, в остальное время — внаем сдавать.

Днем заезжает Стелла, чтобы отдать долю Чумака, а вечером на пороге возникает Шульман вместе с мрачноватым грузчиком, вроде как турком. Турок ни бельмеса порусски, зато работает, как зверь: пять минут — и комната очищена. Будет ли следующая партия? Неизвестно, озабоченно отвечает Шульман. Проблемы сейчас, как бы вообще бизнес не накрылся.

— Это из-за событий? Ну, там... — машет Чумак рукой куда-то на восток.

— Из-за них. Не нравится мне это. Деньги любят тишину, а на исторической родине нынче шумно.

Чумак безропотно выполняет очередную просьбу, мол, надо оставить небольшую сумочку.

— Только на виду не ставь... — говорит Шульман.

— Да я прикрою! Вот, накидка есть...

— Лучше в шкаф. Или под кровать. У тебя ж тут посторонние, а препараты очень ценные, не дай бог...

Он, как всегда, платит за услугу вперед. Поставив сумку в шкаф, Чумак прячет под белье полученные от «партнеров» евро, считая это еще одной ступенькой к заветной мечте, дескать, мало-помалу, зернышко к зернышку, глядишь, и наберется сумма. Но на телевизор (подержанный — на всякий случай) он все-таки тратится.

Для настройки Краб засылает дружбана по имени Остап, и тот за пять минут, потыкав в пульт, настраивает нужные программы.

— Тут на нашей мове, тут — на москальской... — поясняет. — Немчуру хочешь дывытыся?

— Обойдусь, — говорит Чумак, усаживаясь перед экраном.

Волшебное окно показывает мир, покинутый много лет назад. Мир гудит, орет, выступает с трибун, дымит подожженными покрывками и метает коктейли Молотова. Что повергает майора в шок. В бундес-столице тоже бузили то левые, то правые, но тихий квартал неподалеку от Зоо волнения обходили стороной. А здесь?! Но вскоре Чумак обвыкается, и пульт в руках перестает отдыхать. Он предпочитает «москальску мову», поскольку «ридну» знает через пень-колоду. Хотя *таки* еновости даже на фарси-кабули (тоже напрочь забытом) будут понятны. В программы включаются сериалы, передачи о здоровье, о кулинарии, то и дело мелькает реклама, но Чумак моментально жмет кнопку, чтобы переключить на самое горячее, самое тревожное.

Было тут что-то знакомое. Трудно входить в бой, Чумак это знал, зато потом хрен выйдешь! Ну и толпы, опять же, магнетизировали. Майор отвык от толп, сторонился их, жил, как одинокий волк. А на самом деле — страдал, мечтал о чем-то общем, сплывающем, сияющем над головой и т.п. Волк-одиночка тоже приближается порой к стае, чтобы прибиться, а человеку к своим хочется тем более. Вопрос, правда, кто *свои*? В эти дни несколько раз забегал Краб с Остапом и еще какими-то людьми, они пили шнапс, именуя его «горилкой», и тыкали пальцами в экран, мол, бачишь?! О це суки, поубивав бы! Кажется, «суками» были люди в камуфляже, что пытались сдерживать толпу, но Чумак это не комментировал — не составил пока мнения. Ему тоже наливали, было видно: считали за *своего*. Он же плыл по течению, нутром чуя: за этими хлопцами стоит что-то сильное, а главное — общее, о чем давно тосковал...

В один из погожих теплых дней, когда погода почти весенняя, он усилием воли отрывает себя от экрана, чтобы прогуляться. Редко выбирался за границы квартала, благо, маркет в двух шагах, где и еда, и выпивка по приемлемой цене (владелец-турок держит низкие цены); и банкомат недалеко, чтоб евро снять; и больница в пешей доступности. Берлин же майор не любил, он был вроде как символ вселенского зла, город-враг, который никогда не отмоется, пусть даже десять каменных солдат поставит в Трептов-парке. Однажды социальная работница, что пасла российский контингент, сказала:

— Здесь русским жить легче.

— Чем где? — усмехнулся Чумак правой половиной лица (левая в тот момент дергалась).

— Чем в Бонне, например. Или в Ганновере. Берлин — мегаполис, тут легче затеряться. Много соотечественников опять же. А главное, он грязный, как... — она рассмеялась, — в общем, как ваши города!

Со временем Чумак убедился в ее правоте: мусора хватало, особенно в выходные, когда парки и скверы вдоль Шпрее заполнял гуляющий народ. Урны на аллеях быстро переполнялись, но мусор не убирали; и алкашей, что валялись в отрубе на траве, не забирали, так что близкий сердцу бардак, по идее, должен был примирить с реальностью. Увы, не примирял. Чумак даже язык демонстративно не учил, имея словарный запас на уровне «хенде хох» и «гитлер капут». Не заслужил этот язык изучения, навсегда остался речью врага...

Не вызывал отторжения разве что Зоо, куда Чумак и направляет стопы. Билет недешевый, но удовольствие того стоит, и вскоре он проходит через индийскую арку со слонами, чтобы оказаться среди братьев меньших (многие из которых — в разы больше человека). Это целый звериный город, да что там — страна животных, устроенная вопреки уставам ООН внутри германской столицы. Если бы не специальные таблички, тут запросто можно затеряться, во всяком случае, не найти, чего хочешь. Чего хочет Чумак? Есть одно желание (странное, если честно), и он шарит глазами по табличкам, на которых не только немецкий текст, но и силуэты представителей

фауны. Слоны — замечательно, хищники — тоже любопытно, но ему требуется другое. Насколько он помнит, следует двигаться против часовой стрелки, так быстрее достигнешь места, где поселили самых больших обезьян. Он идет, почти не задерживаясь у просторных вольеров, в большинстве из которых гуляют животные. На удивление теплый денек, и есть надежда на то, что его любимцев тоже выгонят из «зимних квартир» на свежий воздух.

Добравшись до цели, он понимает: не ошибся. Огромных черных горилл поселили на острове, отделив от праздной публики заполненным водой рвом. Гигантские обезьяны не суетливы, как мартышки или павианы, они сидят, лежат либо лениво движутся к тому месту, куда упадет брошенная служителем пища. Этот деятель в униформе тоже не спешит, под стать подопечным: бросит свеклу — и ждет, пока обезьяна доберется до вкусного клубня и медленно его разжует. Теперь парочку стрелок лука-порея, чтобы другой гоминид подкормился; и все это под рукоплескания публики.

Чумак же выискивает глазами гориллу-одиночку, чья грудь вроде как тронута сединами (еще с прошлого раза отметил). Вот он, голубчик! Сидит на отшибе, на еду не смотрит, отрешенный взгляд направлен куда-то в сторону. Публика машет руками, что-то кричит, но «обезьян» — ноль эмоций. А главное, не жрет ничего! То есть вечером (или ночью) наверняка подьедает остатки дневного рациона, но сейчас застыл в горделивой позе, прямо статуя!

Почему экс-майор чувствует родство с косматой животной? Непонятно. Но родство есть; и он — одиночка, из последних сил старающийся себя сохранить. Только как?! Тоже ведь втихаря крысятничает; а гонор — для виду, чтоб самолюбию потрафить...

Взбодриться помогает пара пива в ближайшем к зоопарку кафе. Из-за соседних столиков на него с любопытством поглядывают; и в Зоо поглядывали, и на улице косились: не каждый день в центре Берлина увидишь форму ВДВ. Только Чумак не обращает на это внимания (прямо как седая горилла). Встает, одергивает куртку и направляется к Шарлоттенбургу. Дом в другой стороне, он же хромот в западном направлении, чтобы спустя час оказаться на тихой улице, где за густой зеленью виднеются ухоженные фасады.

Эта улица? Или следующая? Кажется, эта — вон, на углу магазин экологически чистых продуктов, где отоваривается Стелла. Вот итальянский ресторан, где Стелла любит ужинать; вот и ее дом с белым треугольным фасадом, выглядит ну прямо как дворец. Весь его Стелла не занимает, конечно, у нее в этом доме квартира, зато какая! Там лоджия едва ли не больше, чем вся халупа Чумака. А главное, два сортира! Вот на фига Стелле — два?! Она ж с мужем развелась, а сын отдельно живет, причем в Дюссельдорфе! Именно тогда, после отъезда сына, Чумак единственный раз оказался в этой шикарной квартирке: требовалось вывезти вещи и его попросили помочь.

Он стоит перед кованой калиткой (фиг через нее пройдешь!) и чувствует, как в душе оживает тот самый червяк. «Конечно, — думает майор, — это не социальное жилье, в котором мы прозябаем! Нажила себе хоромы за наш счет!» Червяк набухает, делается толще и, превратившись в маленького удава, начинает душить. Еще минута — и он подберет с земли что-нибудь тяжелое, запульнет в окно, и не факт, что попадет в нужное. Зато наверняка примчится полиция (такие дома всегда под сигнализацией), глазом не успеешь моргнуть, как окажешься там, где сидел на нарах Краб.

Обратный путь пешком не одолеть, надо сесть на U-Bahn. В вагоне сидячие места заняты, но спустя минуту уступают кресло. Знакомая реакция: иногда и два, и три места сразу освобождают, инстинктивно пугаясь звезд и эмблем десантуры. Он вылезает на своей станции метро и, сокращая путь к дому, движется через сквер. В центре сквера пруд, рядом толпятся родители с детьми. Он часто наблюдал это столпотворение, только не мог понять, ради чего? Внезапно от толпы отделяется

девчонка в синей куртке и вязаной шапочке, маленькая совсем, и бегом в его сторону! Остановилась и вдруг по-русски:

— Дядя, ты военный?

Чумак едва не спотыкается — не ожидал!

— Был военным... — отвечает после паузы, — но очень давно.

— Ты раненый, да? У тебя ножка хромая...

Майор с трудом (колени буквально скрипят) присаживается на корточки.

— Что обо мне говорить? О себе расскажи. Как тебя зовут?

— Машей зовут.

— Мария, значит... А здесь что делаешь?

— Мы с братом пришли. Он ходит в школу, поэтому мама нас сюда приводит.

Только мне неинтересно, играть не с кем!

Юное создание, оглядываясь на толпу, приплясывает в возбуждении и тут же предлагает прогуляться.

— Не боишься? — усмехается Чумак.

— Не-а, не боюсь! Ты же военный!

В этот момент раздаётся:

— Маша! Komm her!

Девочка отмахивается, мол, отстань, и к ним направляется молодая женщина в черном пальто.

— Entschuldigen Sie... — извиняется, — Ein Kind...

— Да ладно, все ж понятно... — говорит Чумак, поднимаясь.

— Вы русский?! — удивляется женщина, оглядывая его с ног до головы, — Ну да, можно догадаться...

Словоохотливая мамаша открывает секрет: оказывается, здесь встречаются родители школьников из ближайшей Schule. Школа смешанная: немцы, турки, русские, поляки (кого только нет!), так что надо налаживать общий язык, вырабатывать толерантность.

— Что вырабатывать? — уточняет майор.

— Толерантность. Хочется быстрее семью адаптировать, мы ведь недавно переехали. Потому и старшего привожу. А это младшая...

— Я тоже хочу общаться! — влезает младшая.

— Лучше язык учи! Представляете: не хочет заниматься языком! А так нельзя.

Вот дядя подтвердит: язык — надо учить!

— Не хочу учить! Хочу гулять — с дядей военным!

Чумак проводит рукой по шапочке.

— В следующий раз погуляем. Я тебя в зоопарк свожу!

— Хочу в зоопарк! Хочу в зоопарк!

Детские возгласы слышны вплоть до выхода из сквера, затем они затихают, а еще через минуту он на пороге дома.

Следующие несколько дней он почти не отходил от экрана. События вдруг покатались, будто камень, который столкнули с горы: экран буквально полыхал, одни падали на землю, смертельно раненые, другие горели заживо. Мир явно сходил с ума, однако безумие обладало притягательной силой, эта стихия засасывала, и сопротивляться ей было не вмоготу...

Вскоре на пороге появляется Краб.

— Перемога! — восклицает возбужденно. — Ну, теперь покажем!

Чумак не понимает, кому и что покажут, да и чувства победы не испытывает. Но от выпивки не отказывается (в честь «перемоги» выставляют две бутылки). Выпивают раз, другой, и Краб вдруг спрашивает: умеешь машину водить? Чумак пожимает плечами: права есть, только просрочены.

— Я пытаю: умеешь чи ни?

— Да умею, умею! Грузовик, бэтээр, боевая машина десанта — все водил!

— А легковуху?

— Два пальца об асфальт. А тебе зачем?

— Хлопцы хочуть москалей на трассе прэсуваты! Второго водилу трэба. Допоможеш, Мыкола?

Чумак задумывается. Он почему-то не поправляет, мол, зовите его «товарищем майором». Но и соглашаться не спешит, плохо представляя, как можно на немецком автобане кого-то «прессовать»?!

— Посмотрим, — говорит. — Дел много, Стелла туристов обещала привести.

Краб смотрит на майора, как на малое дитя.

— Шо ты вяжешся с этой москалюгой?! Давно б ее послал!

И опять он не спорит. Стеллу давно хочется послать, да вот беда — женщин Чумак не материт, запрещает кодекс военного. И деньги тоже лишними не бывают. Вот эта морда уголовная разве даст заработать? Не похоже; а тогда мечта вряд ли осуществится, Чумак до гроба будет жить в клятой германщине. А его гроб должен лежать в другой земле, в этом майор себе поклялся.

— Тут лежать не буду! — говорил он, поддав. — В этой земле майора Чумака не похоронят!

4

В один из дней к нему заваливает компания: Краб, телемастер Остап и некий Кирилл, чернявый коротышка с пронзительными глазами. Кирилл ниже спутников на голову, но те явно перед ним робеют.

— Сядешь за руль?

Коротышка буквально сверлит Чумака глазами.

— Может, и сяду. — отзывается майор. — Но предупреждаю: мои права просрочены.

— Если что, скажешь полициям: собираюсь менять. Документ на управление получишь, страховка тоже есть. Только форму сними, мы этого не одобряем!

Кирилл тычет в звезды на куртке, а Краб ухмыляется:

— Да и одяг приметный...

В другое время майор нашел бы пару крепких выражений, а тут вдруг подчиняется, шарит в шкафу и идет в туалет натягивать дурацкий спортивный костюм (дочь купила перед отъездом). Он сам не заметил, как попал под воздействие: лидера сразу видно, он даже может себе позволить говорить по-русски, все равно — главный.

Усевшись в потрепанный BMW телемастера, едут на север, в район метро Osloer, где Чумаку демонстрируют старенький вишневый «Гольф-II» выпуска 80-х годов.

— Не смотри, что авто старое. Двигок 1,8 литра, летает, как пташка! Поэтому твоя задача будет — обогнать нужную машину и притормозить, чтоб не дать уйти вперед. Остальное — наша забота.

Чумак усаживается за руль.

— А как я узнаю, что машина — нужная?

— По москальским номерам! — влезает Остап. — Их тут понаехало — шо саранчи, зовсім страх втратили!

— А мы им страх вернем, — жестко говорит Кирилл, — Пусть знают, суки, кто тут хозяин!

Что-то в этом проглядывает абсурдное, дикое (какие вы, на хрен, хозяева?!), но Чумак не анализирует, он хочет присоединиться к стихии, которую олицетворяет Кирилл. Остальные — шпана, но вот за этим мужиком что-то стоит, а может, кто-то стоит, в общем, с таким можно и в огонь, и в воду...

— Хромота не мешает? — интересуется Кирилл.

— Так не по скалам же бегать, всего-то газ топить... Справлюсь.

— Добре! — говорит Краб. Он усаживается с Чумаком, двое других залезают в BMW, и «колонна» начинает движение в восточном направлении.

Спустя час они на трассе, ведущей к польской границе. В этом месте машины

меняются местами, «Гольф» вырывается вперед и движется на максимально разрешенной скорости.

— Цэ воны! — указывает Краб на едущую впереди серебристую «Ауди». Чумак прибавляет газу, обгоняет и, пристроившись спереди, бьет по тормозам. «Ауди» пытается уйти влево, но ей не дают — можно только вправо. Когда машина смещается в крайний правый ряд, в дело вступают Кирилл с Остапом: прижимаются слева, и «Ауди», по сути, взята в клещи.

В зеркало заднего обзора видно, как из окна BMW показывается желто-голубое полотнище, оно лихо трепещет на ветру. Оттуда же высовывается голова Кирилла, он что-то орет и грозит кулаком. А потом яйцом — раз! Еще! По лобовому стеклу «Ауди» — слизистые потеки, но машина мчит на прежней скорости — женщина (а за рулем женщина) явно напугана. Включает дворники, те размазывают по стеклу вязкую массу, так что вообще никакого обзора. Мелькнувшую мысль: «Омывателя прысни, дура!» Чумак тут же гасит. Не жалко, потому что прическа-каре этой дуры напоминает Стеллу, и вообще: пусть знает, сучка, почем фунт лиха! Наконец «Ауди» включает аварийку, съезжает на обочину, а они на скорости, под развевающимся знаменем, уносятся вперед.

— Молодец, Мыкола!

По плечу хлопает клешня, и тут же звенит мобильник Краба. Приложив трубку к уху, тот сосредоточенно внимает приказаниям «командира» из идущей сзади машины.

— Зрозумив, а то ж!

Он прячет телефон,

— Еще шукаем москалей!

И опять Чумак топит газ, чтобы через полчаса обнаружить «Тойоту» с триколором на заднем бампере. В машине — компания молодых ребят, они не очень-то боятся криков, флагов, один даже высунул руку, чтобы показать Кириллу средний палец. Но яйца по лобовому стеклу и тут работают. Наверное, «командир» набрал самых тухлых — даже омыватель не выручил, все равно «Тойоте» пришлось тормозить.

На указателе между тем мелькает название Furstenthal.

— Далековато отъехали... — говорит Чумак. После звонка главному Краб командует:

— Розвернися зараз!

— А дальше?

— Отдыхай — пока. Полицаяв вроде нема, но край бачить треба.

В этот день машин с российскими номерами больше не попадалось. Зато на завтра «запрессовали» полдесятка тачек, правда, с разными результатами. Одну семейку на «Форде», со стариками на заднем сиденье, перепугали до смерти, те сразу затормозили и дружно принялись очищать стекло. Молодая пара на синем «Пежо», напротив, умело увиливала от тухлых снарядов и, проскочив между машин преследователей, умчалась по автобану. А к джипу с тонированными стеклами вообще зря привязались. Во-первых, даже легкий скоростной «Гольф» не соперник многосильному мотору. Во-вторых, не всегда поймешь, кто там, за тонировкой. Но Кирилл вошел в раж (да и остальные вошли) и вот уже командует по телефону: обгоняй! А Чумак привык исполнять приказ: с трудом (джип мчал с превышением) обошел машину и начал сбавлять скорость. Сзади последовала серия вспышек фар, послышалось раздраженное пипиканье, и тут Кирилл со своим «жовто-блакитным»! Высунулся едва не по пояс, но не успел первое яйцо достать, как перед носом мелькнула бейсбольная бита. После чего из окна джипа вылез бритоголовый мордоворот, и началось фехтование. Кирилл орудовал флагштоком, мордоворот — битой, и выглядело это по меньшей мере нелепо.

— Во дають! — заржал Краб, обернувшись. Видевший сцену в зеркале Чумак тоже засмеялся, только вскоре стало не до смеха. Водила джипа, видно, рассвирепел и начал сам «прессовать» обидчиков. Усиленный передний бампер долбанул «Гольфа» в зад,

потом еще, и Чумак понял: надо перестраиваться. А не тут-то было, джип нагоняет без усилий, не оторвешься! BMW попытался помочь, да куда там — его так шарахнули, что на другую полосу отлетел!

Короче, пришлось линять с автобана на ближайшей развязке. На обратном пути заруливают к Чумаку, на столе тут же возникает шнапс, и начинается «разбор полетов». У Кирилла прямо желваки на скулах, кажется, ткни его иголкой — злоба брызнет из-под кожи фонтаном!

— Ладно, суки... — говорит. — Будет вам кое-что другое!

— Шо другое? — интересуется Краб.

— Вот что!

Покопавшись в сумке, Кирилл выставляет на стол металлического «ежа», скрученного из гвоздей и заточенного с четырех сторон. Штучка самая простая, зато любой протектор прокалывает на раз.

— Це добре! — поднимает большой палец Остап. — Тут шо джип, шо бэтээр — кинул под колесо, и хана!

Чумак хочет поправить товарища (а Остап — боевой товарищ, натюрлих!), мол, бэтэеру не страшны ни «ежи», ни сквозные пулевые пробоины, там колеса подкачиваются прямо на ходу. Но он молчит, просто плескает в рюмки. Не надо портить то, что с трудом обрел. Он стал участником общего дела, здесь — свои, а те, кого «прессуют», — чужие. И азарт был неподдельный, риском запахло, как в былые времена, и жизнь настоящей сделалась, так что, хлопцы, за нас! А то ж! Когда Краб в очередной раз бежит за шнапсом, Чумак вдруг вспоминает, что утром звонила Стелла и опять просила убраться. Но не может отнестись к этому всерьез. Какая уборка?! Какая Стелла?! У них прошла успешная (или почти успешная) боевая операция, и они, как положено, ее отмечают!

Туристов приводят в самый неподходящий момент, когда Чумак в туалете. Выходит, заправляя майку в штаны, а в прихожей Стелла и двое девиц с чемоданами на колесиках. Те прыскают, глядя на расхристанного хозяина «апарт-отеля», а Стелла прямо зеленеет.

— Ключи нужны? — спрашивает Чумак, пошатываясь. Извинившись перед туристками, Стелла отводит его в сторону.

— Я же сказала: подготовься, — шипит, — и будь человеком!

— А я, по-твоему, кто? — усмехается Чумак. — Я и есть человек!

— Люди же откажутся, ты понимаешь?! Что у тебя за дверью? Опять пьянка?! И что за урод нам открывал? Собутыльник очередной?

Он вдруг представляет, как обходит черный «Опель Zafira» (на таком ездит Стелла), тормозит и кто-то из боевых товарищей кидает под колеса «ежа». Хлоп! «Опель» кренится влево, его заносит на скорости, и он врзается со всего маху в металлический отбойник. Так тебе и надо! Эта крашенная блондинка — чуждое и одновременно неполноценное существо, над которым можно издеваться и даже отправить в мир иной. Поду-умаешь, хоромы нажила! Бизнес раскрутила! Все равно ты...

— Сука москальская... — тихо говорит Чумак. У него опять начинается тик, щека дрожит, и от прилива крови темнеет в глазу.

— Что ты там бормочешь?! — продолжает Стелла. — Еще один такой случай — и больше клиентов не будет!

Он толкает дверь, за ней сидят друзья, его поддержка и опора. Заходит в комнату, оборачивается и произносит то же самое, но в полный голос. Можно сказать, швыряет слова в лицо, как боевую гранату.

Выщипанные брови взлетают вверх.

— Ты что, майор?! Совсем допился?! Что ты несешь?!

А Чумак не останавливается, он ощущает локоть товарища, а тогда — вторую гранату!

— Добре! — звучно хлопает клешнями Краб. — Дай ий ще!

Третью гранату! Он и дальше бы швырял смертоносные заряды в окоп противника, однако Стелла быстро приходит в себя.

— Смотри, отставничок... — говорит со злостью. — Зубы на полку положишь со своим социалом! Шульмана-то за одно место прихватили, накрылся ваш гешефт! А с этими алкашами далеко не уедешь, нищим сдохнешь, как и они!

Видя, как из-за стола поднимается пунцовый от ярости Кирилл, она вскидывает руку.

— Сидеть, уроды! Это вам не рашка! И не хохляндия ваша долбаная! Через пять минут тут полиция будет!

После чего все-таки спешит ретироваться. А они продолжают веселье с удвоенной силой. Нах бабу поганую! Всех нах, кто не с нами! Они включают телевизор, где такие же, как они, тоже кричат что-то вроде «нах»; а может, другое кричат — неважно. Важно совместное, плечом к плечу, сидение за столом, сдвигание стаканов, пение песен, слов которых Чумак не знает (да и не знал никогда), но все равно подтягивает козлетоном. Вокруг все, будто в тумане. Он видит, как на отлив вспрыгивает Геббельс, направляется к кормушке, а там — пусто. Подсыпать, что ли, корму? Только нет сил у Чумака, он пьян. Зато силы есть у Краба: тот отрывает окно, берет кота за шею своей клешней и с силой ее сжимает. Геббельс дергается, скользит когтями по жестянке, но вскоре обмякает.

— Так будем всех... — бормочет Краб (тоже пьяный в стельку). Труп серого дистрофика улетает в «патио», сердце на миг сжимается, но когда товарищи затягивают песню, опять начинает биться в общем ритме. Что ему приبلудный котяра?! Его тоже нах!

На следующий день голова трещит, в ней судорожно бьются осколки мыслей, воспоминаний и вдруг всплывает: Шульман... Вроде вчера о нем говорили, только что именно? Чумак набирает номер, однако трубку не берут. Тогда — снять военные фото со стен. Внутри нарастает протест, он вроде как предатель получается, да как ослушаешься новых товарищей? Кирилл сказал: сними этот «совок», глаза мозолит, значит, надо выполнять...

Разглядывая фото храма, Чумак задумывается. А затем, похмелившись для храбрости, торопливо тычет в кнопки мобильного. Классная идея! И если сестра поможет, он обязательно претворит ее в жизнь!

Обрадованная поначалу, сестра внезапно плачет.

— Да куды ж ты собираешься?! Беда у нас!

— Какая беда?! — не въезжает Чумак. — У вас там жизнь! Настоящая!

А с той стороны опять слезные потоки.

— Да перестань ты рыдать! Скажи лучше: сколько у вас дом стоит? Наверняка ж недорого!

Выплакавшись, сестра говорит, мол, да, недорого, потому что многие болгары задумались: не уехать ли?

— Причем тут болгары?!

— А ты не понимаешь?

— Не понимаю! Я дом хочу купить!!

Следует длинная пауза.

— Лик опять почернел... — говорит сестра.

— Какой еще лик?! Я про дом спрашиваю!

— Лик той самой иконы. И сила в ней пропала, отец Павел даже не выносит ее на службы...

В общем, дурацкий разговор, как всегда бывает с женщинами. Он сам узнает про цены — через Интернет! Понятно, что никакого Интернета у Чумака не имеется, но у Шульмана он есть. Только как достать жидка? И зачем его вчера поминали?!

5

Вечером Шульман звонит по телефону. Тревожный такой, заикается, из-за чего Чумак плохо его понимает. Какая сумка?! В шкафу?! Майор еще дважды похмелялся, в мозгу туман, и он с трудом вспоминает про гуманитарные лекарства. Каковые (если верить Шульману) являются запрещенными к ввозу препаратами, и лучше бы их выбросить.

— Ладно, выброшу. — говорит Чумак после паузы. — А у тебя этот... Интернет имеется?

— Зачем тебе? — нервно спрашивает Шульман.

— Надо. Цены хочу смотреть.

— Потом посмотришь цены! А сейчас задницу надо прикрыть, понятно?! Немедленно выброси коробки или вообще уничтожь. Сожги, растопчи, ну не знаю... Что-нибудь, короче, сделай!

— А чего ты своего турка не пришлешь?

— Какого турка?!

— Который тебе товар грузил.

— Никакой он не турок, он... Хотя это к делу не относится. Ты что, не въехал?! Проблемы у нас! А в первую очередь у тебя!

Чумак задумывается. Он представляет, как завтра они опять отправятся на задание, как будут «прессовать» чужих, бросая непокорным «ежи» под протекторы, и исполняется гордостью. Они настоящие мужчины, а эту трусливую мразь — тоже нах!

— Слушай сюда, жидяра, — говорит Чумак. — Это у тебя проблемы. А у меня проблем нет. У меня есть друзья. Товарищи, понимаешь? Хотя тебе этого не понять. Поэтому забудь мой номер телефона. И майора Чумака забудь. И вообще пошел ты...

Следует длинная пауза.

— У тебя крыша поехала, натюрлих. Хотя... Я тебя предупредил.

«Выкину вечером!» — решает Чумак. Но только собрался на помойку — Краб на пороге, светит фингалом под глазом.

— Это где тебя угораздило?! — удивляется Чумак. Следует взмах клешни, мол, не спрашивай! А затем рассказ о том, как ночью громили москальский магазин. Вроде все продумали, включая пути отхода, и машина — за углом, так охранник, оказывается, в магазине ночевал! А у того дубинка; и вот он, сука, выскочил через разбитую витрину, и давай этой дубинкой их охаживать!

— Чего ж с собой не позвали? — спрашивает Чумак с обидой.

— Так хромаешь ты, не втик бы! А нам втикати довелось!

Затем и другие появляются, тоже злые, опять начинают пить, и про сумку, что стоит в шкафу, благополучно забывается.

Следующая вылазка на трассу напоминает боевую операцию. Они высматривают противника, соответствующего возможностям подразделения, к примеру, три авто, идущих караваном, пропускают — этих не одолеть. Могучий Rang Rover (чуть ли не с бронированными стеклами) тоже не трогают, памятуя о давешней схватке. А вот одинокая белая «Лада-Гранта» пригодна для нападения, это вражеское транспортное средство будет уничтожено с гарантией.

— Обгоняй! — передают команду Кирилла. Чумак проскакивает впритирку, успевая заметить детское лицо, что прилипло к стеклу. Это девочка, она машет рукой проезжающей машине, и ощущение от того — странное. Обгон, взгляд в зеркало, и тут ясно: полна коробушка, то есть салон — под завязку. За рулем папаша, рядом мамаша, сзади вроде как бабуля с внуком и внучкой.

— Может, посерьезней тачку поищем? — вопрошает Чумак, впервые усомнившись в правоте «командира». Краб отмахивается.

— Кирилл каже: самое то!

Что ж, тогда ногу на тормоз, после чего задняя машина тоже сбавляет. Водитель

не понимает, что за хрен с горы пристроился спереди, включает левый поворотник (уйду, мол, в другой ряд), а тут BMW! Флаг из окна, и первое яйцо, что разбивается на капоте. Второй снаряд вообще пролетает мимо, но страх уже обуял пассажиров, это видно по испуганной жестикуляции мамыши. Высунувшись по пояс, Кирилл что-то орет, машет кулаком, и в этот момент (вдруг отмечает Чумак) совсем не кажется коротышкой. Гигантом кажется, безраздельным господином автобанов, который может легко заставить папашу нервно крутить руль, а мальчика с девочкой — прижаться к обмершей от ужаса бабуле. Внезапно вспоминается девочка Маша из сквера и кажется: в «Ладе» везут именно ее. Почему ее?! Она осталась в Берлине, у нее все замечательно, наверняка сейчас где-нибудь в зоопарке жирафов смотрит! А поди ж ты, привязалась дурацкая мысль и не отпускает!

По-любому Чумак считает: этим достаточно, попугали — и хватит. Да только у «командира» (на то и «командир»!) свои тактические планы. BMW обгоняет белую машину, в окне мелькает рука, и под колеса летит «еж»! Зачем?! Только поздно, «Ладу» закручивает и с силой ударяет об отбойник. Последний кадр в зеркале: крутящиеся в воздухе колеса, и в уши бьет:

— Гони, Мыкола!! Вперед!!

До развязки летят пулей, да и потом, отвернув на север, топят с превышением. Возвращаются по второстепенным дорогам, закоулками, и мысли об одном: лишь бы на камерах наблюдения не засветиться. Насчет них Кирилл обычно предупреждал заранее, на таких участках они вели себя смирно, да только у них война, она втягивает безвозвратно, до камер ли тут?

«Гольф» оставляется на стоянке в квартале Чумака. На душе у него кошки скребут, и остальные участники *боевых действий*, видно, встревожены.

— Ладно, — говорит Кирилл, — затихли на время. Уляжется шум, тогда опять займемся делом.

Душевный раздраз Чумак заливает шнапсом. Перевернутая тачка стоит перед глазами, хоть убей, значит, нужно выпить. Не помогает? Тогда прикинь к экрану, чтоб подпитаться бьющей оттуда энергией. В телевизоре мелькали незнакомые лица, произносились страстные речи, в воздух взметывались кулаки, и это, как ни странно, успокаивало. Ну не может эта сила тратиться попусту! Не могут такие люди болтать зазря, правые они!

Но покой Чумаку только снится. Он редко проверял заначенные евро, на жизнь худо-бедно хватало, да как-то подрастратился на угощения. И вот сует руку под белье — а там пусто! Шарит на другой полке — то же самое! Перерывает снизу доверху весь шкаф, только пачка евро (довольно толстая!) будто испарилась!

Увы, деньги не могут испаряться. А поскольку в последние дни здесь бывали исключительно друзья-товарищи, все понятно. Точнее, ничего не понятно. Чумак не хочет думать на товарищей, он мысли такой допустить не может. Это сделал кто-то другой! Однако «еж» уже брошен, причем под ноги Чумаку. Он напоминает себе ту самую перевернутую тачку, чьи колеса беспомощно крутятся в воздухе...

В очередном алкогольном сне Чумак оказывается на арене, окруженной зрительными рядами. Зрители сплошь десантура, кажется, весь ограниченный контингент сюда приперся, включая Громова, Шпака, Сашку Ключева... А вон и Потапов рукой машет, мол, не дрейфь, победа будет за нами!

— В чем побеждать-то? — недоумевает майор.

— Как в чем?! — восклицает Ваня. — В армрестлинге!

И тут на арене появляется Краб. Он огромный, и вместо рук у него действительно клешни с острыми зубцами.

— Да как же я с таким бороться буду?!

Когда Чумак пятится назад, в зрительных рядах возникает гул.

— Стыдись, майор! Ты ж его на раз побеждал!

— Так я человека побеждал! А это монстр!

— Ничего страшного, ты тоже не совсем человек! Посмотри на себя!

Чумак озирает собственное тело, с ужасом замечая: он горилла! Косматая, с сединой на груди, и лапы такие, что клешням хрен уступят. Они сходятся посреди арены, усаживаются за стол и сцепляют конечности. Ну, конечно, мошенник опять не ждет «раз, два, три», сразу старается завалить. Врешь, не возьмешь! Черная, покрытая шерстью лапа напрягается, сдерживая натиск жесткой красноватой клешни, а из зала между тем доносится:

— Хороший мужик был Петрович!

— Ну да, настоящий солдат!

— Последнее от себя отрывал ради товарищей!

— А сколько наших из-под огня вытащил?!

— Мне лично вторую жизнь подарил! Ну, светлая память!

Борьба идет с переменным успехом, но если его будут заживо отпевать...

— Эй, прекратите! — хрипит горилла. — Иначе я проиграю!

Из заднего ряда поднимается коротышка Кирилл.

— Ты уже проиграл, майор! Краб, дави его! Дожимай!

И таки ж напрягается, морда, давит клешней, как прессом, и вот уже мохнатая лапа лежит на столе. В зрительных рядах слышен вздох разочарования.

— Что ж так? — укоризненно качает головой Потапов. Горилла машет лапой.

— Пропадаю я, Ваня. Совсем пропадаю...

С этой мыслью и выплывает в хмурое утро. Во рту сушь, в кармане — вошь на аркане. Значит, подъем и к банкомату, снимать денежки. Можно было бы картой за шнапс расплатиться, да не любил этого майор — игра вслепую, никогда не сообразишь, сколько потратил.

Его спасает сломанный банкомат. Захотел получить евро, а тот не выдает! Пришлось топтать к станции метро, то есть полчаса туда и обратно. Возвращается, а у подъезда полицейская машина! Почему он уверен, что явились за ним? А вот уверен и все!

Он изображает из себя случайного прохожего, мирно бредущего по своим делам. Проходит мимо подъезда и машины, за рулем которой скучает полицейский, сворачивает за угол, затем еще раз. А в «патио» — еще один в форме! Прямо перед его окном!

Во рту пересыхает еще сильнее, сердце часто колотится, а в мозгу пульсирует лихорадочное: препараты! Не выкинул, придурок! Чумак воображает, как полиция обшаривает его халупу, сует нос во все углы и, наконец, заглядывает в шкаф. «О-ля-ля!» — восклицает главный, доставая на свет божий злосчастную сумочку. Из нее вытряхивают контрабанду, зовут понятых из соседних квартир, и это означает: Чумаку — капут.

Полицейский между тем встает на цыпочки и прикладывает ладонь ко лбу, стараясь что-то разглядеть за стеклом. Неожиданно возникает Борман, он вспрыгивает на отлив, без страха приближается к полицейскому, и тот гладит котяру. «Меня бы гладили против шерсти... — судорожно усмехается Чумак, — а если еще про подвиги на автобане вызнают? Тогда вообще кранты!»

Пятясь, он исчезает за углом. Отвинчивает пробку, делает крупный глоток, но алкоголь не успокаивает. Куда идти — непонятно. Ответ появляется, когда нащупывает в кармане спортивного костюма ключи от машины. Уехать! Неважно, куда, главное — подальше! Скрыться, пересидеть, исчезнуть, и как можно быстрее!

Путь на стоянку идет через сквер, где опять сборище родителей. Вначале ускоривший шаг, Чумак внезапно тормозит. Женщины в модных пальто, дети в ярких курточках и комбинезонах, улыбки на лицах, оживленная жестикуляция... Перед глазами явлено благополучие. Обеспеченные люди, нормальная жизнь, которой Чумак никогда (или почти никогда) не имел. И здесь не смог ее обрести, и кого винить в таком вселенском раздолбайстве?!

Внезапно от толпы отделяется знакомая кроха.

— Дядя военный, я тебя узнала!

Подбегавшая Маша улыбается, хотя не может скрыть недоумения.

— Только ты сегодня какой-то... Не военный!

Чумак оглядывает свой спортивный костюм и разводит руками.

— Это ты точно подметила.

Родительница Маши тоже узнает Чумака, машет ему издали рукой, и тот чувствует, как щека опять предательски дергается.

— А что у тебя с лицом? — спрашивает кроха. Чумак прикрывает щеку.

— Это война... Война, Машенька.

— А ножка хромая — тоже война?

— Тоже. И никак она не кончится, эта война...

— А мы пойдем в зоопарк?

Чумак гладит девочку по голове.

— Обязательно! Будем смотреть гориллу. Большую такую обезьяну!

— И слона будем смотреть?

— И слона будем. Только чуть позже. Потерпи немножко, мы обязательно пойдем в зоопарк!

Он сглатывает комок. Нет жизни, не получилась. Может, где-то получится? Неважно, где — там, за горизонтом, куда он отправится на вишневом «Гольфе», что ждет его на стоянке... Чумак усаживается в машину, заводит мотор и, помахав рукой служащему, выезжает с парковки.

На городских улицах Чумак ведет машину осторожно, соблюдая все правила. И на трассе не превышает скоростной режим, потому что даже просроченных прав не имеет — они остались в квартире. Он не знает, почему держит путь на восток, с таким же успехом можно было отправиться на север или на юг, куда-нибудь в Баварские Альпы. Автоматически выбрал направление, кажется — так он ближе к дому. Вот он проезжает Storkow, далее последует Furstenwalde, и тут, как назло, привязывается патрульная машина!

Какого хера?! Он же ничего не нарушил! Но из окна полицейской тачки появляется рука с полосатым жезлом, на конце которого — красный фонарь. Затем и вовсе врубают мигалку, и из динамика раздаются непонятные слова на немецком. То есть смысл понятен и ежу: требуют остановки, потому что «Гольфа» наверняка засекла камера наблюдения, когда дурили на автобане. А может, добросовестные бюргеры настучали в полицию, увидев безобразие, в любом случае придется отвечать по всей строгости бундес-законодательства.

А отвечать не хочется, натюрлих, поэтому «Гольф» набирает скорость. Полиция не отстает, Чумак еще превышает, и вот уже обе машины несутся на пределе. Что-то в этом проглядывает абсурдное, но всякое ведь в жизни бывало! Однажды вот так, на дурачка, десантная группа Чумака под шквальным огнем прорвалась к своим, хотя шансов было ноль! А значит, еще притопим! Майору должно повезти, как тогда, в далеких стреляющих горах. Черт, как слепит глаза! Почему низко висящее зимнее солнце так напоминает знойное, стоящее в зените солнце Афгана?! Чумак прикрывает глаза ладонью и уже не видит, как машину сносит к отбойнику и с нечеловеческой силой ударяет об него...

Перевернутый кверху колесами «Гольф» вспыхивает, как сухая солома. Он успевает полностью выгореть до приезда пожарного расчета, так что обещание майора оказывается выполненным — хоронить в немецкой земле уже нечего.

Любовь к отеческим гробам

— Пить хочется... — хрипло говорит Борис. Ставит на колени сумку, роется — и вдруг:

— Бли-ин...

Петрович сбрасывает газ.

— Случилось чего?! — оборачивается Нина Фёдоровна. И без того асимметричную с похмелья физиономию Бориса кривит усмешка.

— Случилось! Водку взяли, огурцы, а стаканы?! Как поминать будем? Из горла?!

Нина Фёдоровна всплескивает руками.

— Точно — забыли!

Петрович давит акселератор.

— Там есть стакан. Я под скамейку спрятал, когда на Пасху ездили.

Но Борис не унимается:

— Какая Пасха?! Когда она была?! Твой стакан мухи десять раз обсидели или его бомжи увели! Сам же говорил: бомжи повадились на кладбище, так?

— Ну, повадились...

— Тогда едем в магазин! Я не могу из грязных стаканов пить, ясно вам? А из горла тем более!

— Надо же, барин... — бурчит Петрович.

Нина Фёдоровна кладет ему руку на плечо:

— Ладно, едем в «Линию», заодно цветы купим.

Разыскав воду, Борис пьет как раз таки «из горла». Пьет жадно, с прихлопом, запрокинув голову, из-за чего воротник рубашки врезается в красную шею.

— Да, хорошо погуляли... — говорит, ослабив галстук. А Вера, отодвинувшись, устремляет взгляд за окно. Удивительно, как меняются люди! Двоюродный брат всегда был худощавым, ходил в джинсах и свитерах, а тут раздобрел, шея сделалась бычьей, и одежда — исключительно пиджаки (хорошо — не малиновые). Вот зачем пиджак надел? Придется траву рвать, землю копать, так ведь не может без выпендрежа! И вчера в застолье похвалялся, мол, глянь на мои часы! «Ролекс», вникаешь?! Шеф подарил — за выслугу лет! А какая выслуга, всего пятый год в конторе, пристроенной к нефтяной трубе (тут за *выслугу* можно и «мерседес» подарить, не убудет!).

На кладбище тоже всех сорвал Борька, порушив выстроенные планы. Вера приехала вчера; застав брата, поначалу обрадовалась, но тот уже через час был на кочерге. И вдруг ни с того, ни с сего засобирился на родовой погост.

— Надо бабулю навестить! Деда помянуть! — тарасил красные от выпитого глаза.

— Может, подождем? — урезонивала Нина Фёдоровна. — У деда годовщина через три дня, тогда и поедем...

Но Борька был непреклонен:

— Мам, ты как неродная! К тому же может шеф позвонить, придется в Москву возвращаться!

Они едва не сцепились с Петровичем, не терпевшим, когда сын надирался. Успокоила всех Вера, мол, чего спорите? Машина на ходу, можем и два раза съездить.

В тот момент вспомнилась Катя, на чьи похороны Вера не сумела выбраться. Сын тогда инфекцию подхватил, Вера не могла его оставить, а Нина Фёдоровна, как назло, в диспансере обследовалась (легкие давно не в порядке). В итоге даже местонахождение могилы толком никто не знал. И спросить не у кого: Катя еще в молодости родителей потеряла, а с мужем развелась незадолго до безвременной кончины. Оттого и испытывала Вера чувство вины, вроде как предала ту, с кем не расставались с детства. Вначале сидели за одной партой, потом на каток вместе бежали, а чуть позже — на дискотеку в центральном парке. Кажется, они ни разу не поссорились, в первую очередь — благодаря Катьке. Легкая она была, смешливая, за всю жизнь, как говорят, мухи не обидела. И не попасть на ее могилу было бы

непростительно, поэтому Вера готова была ехать на кладбище даже в компании с дышащим перегаром Борькой...

Когда «Лада» Петровича тормозит у торгового ангара с надписью «ЛИНИЯ» на фасаде, Борис вылезает первым.

— Цветы с вас, остальное с меня!

— А мы внутрь не пойдём, — говорит Нина Фёдоровна, — у бабушек купим.

Они направляются за угол, где раскинули лотки частники.

— Почему пионы? — интересуется Вера.

Тетушка одергивает:

— Зачем они тебе? Гладиолусы купи, дольше стоят!

— И гладиолусы куплю... Пионы для Катьки, она их любила.

— Надеешься могилу найти?

— Хотелось бы.

— Я пыталась — без толку. Помнишь ведь наше кладбище, там черт ногу сломит!

Вера осознаёт: поиски могут не увенчаться успехом, но цветы покупает. Вина возникла ещё из-за того, что жизнь у них сложилась по-разному. Уехав в другой город, Вера закончила педагогический, устроилась в хорошую школу, где возникли отношения с коллегой — преподавателем литературы. Поженились через несколько лет, и пусть жили не богато, зато дружно. Квартира есть, дачу заканчивают строить, сын спортом занимается, да ещё в художественную школу ходит. Катя же выскочила замуж рано и, как выяснилось, неудачно. Супруга Василия, водившего в дальние рейсы «Камаз», в семье видели редко. Многодневное отсутствие, выпивка с приятелями в моменты кратких наездов — все это, понятно, не укрепляло «ячейку общества». И терпеть такое могла разве что Катька с ее легким характером.

— Где мой? Гуляет с друзьями. Стресс снимает после рейса в Осетию.

— Сильные стрессы получает в дороге?

— Ага! — хохотала Катька. — Причем хоть в Тулу едет, хоть в Геленджик — всегда стресс!

Самым большим «стрессом» стало рождение дочери Машки, с малых лет не стоявшей на ногах — в буквальном смысле. И пусть диагноз ДЦП не подтвердился, от того было не легче. Больницы, массажи, поездки к *бабкам*, что лечили заговорами, результата не давали. А главное, занималась этим одна Катька — муж по-прежнему не вылезал из-за баранки своего «Камаза».

— Ничего, — бодрилась Катя, — мне тут одну мазь посоветовали алтайскую — говорят, чудеса делает! А ещё я врача хорошего нашла, мануальщика!

— Тоже чудеса делает?

— Ну да, на ноги ставит — на раз!

В те годы Вера изредка наезжала на родину, они встречались, но позже жизнь развела, доходили лишь скудные слухи о жизни подруги. Та билась, как рыба об лёд, по-прежнему в одиночку, в то время как муж загулял едва не в открытую. Вера даже хотела разыскать Василия — если не воззвать к совести, то хотя бы отчитать прилюдно. Но где разыщешь дальнбойщика? Со временем Василий сделался олицетворением зла, виновником всех бед, свалившихся на Катину голову. А как ещё оценивать сукиного сына, если тот после смерти жены сдал девочку (уже далеко не малышку!) в интернат для инвалидов?! Встреть его Вера, точно морду бы расцарапала, как какая-нибудь базарная баба...

Вернувшись к машине, ждут Бориса. Тот появляется через полчаса с пакетом: кроме стаканчиков, там банка анчоусов, корнишоны, ветчинная нарезка и бутылка виски.

— На пикник собрался?! — язвит Петрович.

— Завидно, да? — ржет Борька, — ты ж за рулем, тебе ни водочки, ни вискаря не светит!

— Зато тебе светит — цирроз!

— А ты за мое здоровье не переживай, свое береги!

— Сбережешь с таким сынком...

Борька застывает с открытым ртом. А затем:

— С каким это — таким?! А?!

Петрович молча вырывает со стоянки.

— Я просто к нормальной еде привык, ясно тебе?! И к выпивке нормальной, чего зря не употребляю!

Нина Фёдоровна не встречает — бессмысленно. Машина мчит по шоссе, сворачивает в квартал частных домов и вскоре уже тащится по грунтовке через травянистое поле. Когда взбираются на взгорок, впереди мелькает золоченая луковка церкви, затем и кладбище появляется в поле зрения. Сверху оно выглядит как роша, растянувшаяся в низине вдоль спрятанного в траве ручья. Деревья разрослись, полностью скрыв захоронения, — как тут отыщешь Катю? Вера даже родовые могилы не сразу находила, хорошо, родственники сопровождали...

Машину оставляют у ручья. Далее шаткие мостки, заросшая травой тропка, а вдоль нее — мусор: почерневшие от времени кресты, ржавые остовы венков, пластиковые бутылки...

— Сворачивать надо, — говорит Петрович, озираясь, — мы всегда у этой кучи сворачиваем.

— Дальше свернем, — не останавливается Нина Фёдоровна, — перед Гречишками.

— Перед чем? — не вникает Вера.

— Могилка там семейная: Гречишко Иван, Лидия и Аркадий. Не помнишь разве?

Через минуту слева возникает приметное захоронение. Семейство Гречишек смотрит с черного мрамора, вроде как сигнали: здесь втискивайтесь между оградками. Они втискиваются, попадая под сень раскидистых крон, и тут же:

— Бли-ин...

— Опять блины печешь?! — не выдерживает Вера.

— С другой стороны надо было зайти! От церкви!

— Оттуда не пройдешь, — отзывается Нина Фёдоровна, — вчера дождь был, там теперь болото...

— Зато зарослей нет!

Прижимая к груди пакет, Борька отодвигает свободной рукой буйствующую на могилах и пролезающую через решетчатые ограды растительность, что льнет к модному пиджаку, оставляя влажные пятна. «Так тебе и надо! — думает Вера. — Вырядился, пижон!» Затем мысли приобретают тревожный оттенок: в таких джунглях Катина могила и впрямь потеряется, вряд ли ее разыщешь...

— Я тут не пролезу! — истерит двоюродный, когда останавливаются перед узким проходом между оградками, — Как хотите, а я вокруг!

Махнув рукой, Нина Фёдоровна пролезает первой, то же самое проделывают Петрович с Верой. Вдалеке трещит кустарник, слышится ругань, и опять:

— Здесь вообще тупик!

— Правее иди, там тропка есть! — кричит Нина Фёдоровна.

— А потом куда?!

— Потом на елку ориентируйся! На нашей могилке елка стоит, ты же должен помнить!

— Да тут елок, как грязи! Это тайга какая-то, а не кладбище!

Когда Вера замечает розовую гранитную стелу с выбитой надписью: «Спи спокойно, мама дорогая!», на душу сходит покой. Посмертное пожелание запомнилось еще с прошлого посещения, а вон и елка маячит. Надо бы крикнуть Борису, мол, иди сюда! — но Вера молчит: пусть ползает по чащобе, гусь московский, может, ума прибавится...

Зайдя внутрь ограды, они по очереди касаются ладонями влажного чернозема могильных клумб. На них падает тень от ели, чьи нижние ветви обрезаны до уровня человеческого роста. Обычно дерево защищало от солнца, но только не сегодня — небо затянуто тучами, того и гляди, закапает с небес...

Последним вваливается Борис, ошипывая с пиджака репы.

— Чуть не оторвал, представляете?! — указывает на карман. — Гуччи, между прочим!

— Гуччи... — бормочет Нина Фёдоровна. — С могилками-то вначале поздоровайся!

Борька наклоняется, чтобы мазнуть пальцами по земле, после чего плюхает на столик пакет с продуктами.

— Маловата поляна... — шурился скептически. — Слышь, бать? Пора нормальный стол поставить, чтоб поминать по-человечески!

Он достает выпивку с закуской.

— Еще оркестр пригласи... — бормочет Петрович, залезая в самопальный рундук, оборудованный под деревянным сиденьем. Копается там, затем с досадой произносит:

— Увели тятку, заразы!

Нина Фёдоровна, будто не веря, заглядывает под крышку.

— А ты ее в гараж не увез?!

— Какой гараж?! Здесь она лежала! Как с травой-то теперь справляться?!

— Как-как... — вздыхает супруга, — ручками! Я перчатки взяла, две пары, справимся...

А Вера разглядывает фото на памятниках, по привычке отмечая схожесть деда и Бориса. «Вылитый дед!» — говорили про него в детстве, что было обидно: про нее-то никто не говорил: «Вылитая бабушка!», хотя Вера считалась любимой внучкой. Бабуля ее баловала — то конфетку в карман сунет, то пирожок домашний, однако сходства между ними не наблюдалось ни малейшего: как и остальная родня, бабушка была беловолосой и голубоглазой, Вера же уродилась темненькая, с карими глазами, из-за чего Петрович, поддав, иногда шутил:

— Наша Верка ни в мать, ни в отца, — в проезжего молодца!

На что бабушка сердито отвечала:

— Хватит языком молотить! Вы второго деда видели? Что на войне погиб? Я видела, он из казаков был — с вот таким черным чубом!

Где то счастливое время? Как выяснится позже, эпоха была нелегкой, проблемной, только юным созданиям пресловутая «перестройка» была по фиг, они жили взахлеб, на всю катушку. И лучшим другом, а также соучастником всех приключений оказался именно Борька. Они вместе лазили по соседским садам, когда гостили у бабули; вместе отбивались от местной шпаны; и в школу зачастую ходили вместе, причем ее портфель всегда нес брат. Он был на удивление заботливый: котят уличных выхаживал, щенков подбирал, из-за чего постоянно получал нагоняй от родителей. Но не сдавался — даже если потенциальных носителей стригущего лишая вышвыривали на лестницу, он прятал их в подвале многоквартирного дома, и они с Верой по очереди носили туда еду. А однажды брат километра три тащил ее на руках, когда она пропорола гвоздем ступню. Они исследовали развалины какого-то сарая, Вера неосторожно ступила на сгнившую доску, и вдруг — дикая боль в ноге! Так вот худенький Борька (он был глиста натуральная!) нес ее, пытая и отдуваясь, до самого медпункта не позволив ступить кровоточащей ступней на землю.

Странно, что спустя годы произошла столь радикальная перемена. Или она происходила постепенно, а Вера этого не замечала? Поступив в педагогический, она уехала в другой город, Борьку же забрали в армию, где ему «дико повезло» (так он выражался): его сделали личным водителем генерала, который вскоре стал замминистра обороны, прихватив с собой в Москву и полюбившегося ему сержанта. Жизнь стремительно менялась, замминистра впоследствии плохо кончил, но брат успел приобщиться к *жизни в верхах* и после демобилизации мечтал об одном: «В Москву, в Москву!». Он был готов водить чей-то лимузин, торговать оптом сигаретами, лишь бы пребывать там, где «крутятся бабки» (еще одно новое Борькино выражение). И мечта, наконец, сделалась явью, брат оказался внутри нефтяного концерна, а тогда ты — белая кость, считай, бога за бороду схватил...

— Такой процесс называется метаморфозой, — объясняла Вера ученикам (она

преподавала биологию). — Первая стадия — гусеница. Затем она окукливается и какое-то время пребывает на стадии куколки. А после этого из куколки выпархивает бабочка!

В случае с братом, думает Вера, налицо обратный процесс: от *бабочки* к *гусенице*. Кажется, будто дорогостоящие выпивка и закуска выставлены напоказ мертвым, коль скоро живые не ценят. Мол, вот какой я крутой! И Гуччи с «Ролексом» тоже демонстрируют деду с бабулей: глядите, предки, чего достиг ваш внук! Но если бы бабушка вдруг ожила...

— Остолоп ты, Борька... — покачала бы головой, — не туда лыжи востришь!

А немногословный дед только кивнул бы, дескать, не туда!

Выпасть из воспоминаний заставляет тетушка, сующая перчатки мужу.

— У него и так одышка! — отбирает перчатки Вера.

— Да уж не молод... — вздыхает Нина Федоровна, косясь на сына. — Этого бугая припрячь бы, так не станет ведь ручки марать!

А «бугай» между тем уже разлил и приплясывает у стола.

— Ну? Помянем?

Нина Федоровна с Верой рвут траву, Петрович поправляет цепочку на калитке.

— Забастовка, значит? А я так помяну предков.

Приблизившись к мраморным надгробиям, Борис картинно вытягивает руку с пластиковым стаканчиком.

— За тебя, дед! За тебя, бабуля! Я вас помню и, так сказать, люблю...

Проглотив порцию «вискаря», он на секунду замирает.

— Хорошо... — выдыхает, — просто класс!

Идет к столу, сует в рот корнишон, подцепляет пару кусков ветчины. И тут же, не прожевав, возвращается к могилкам.

— У деда памятник покосился! — указывает вилкой. — Вперед наклонен, разве не видите?!

— Может, поправишь? — отзывается Нина Федоровна.

— Два пальца об асфальт! Сам не стану, конечно...

— Ну да, нам не по чину! — встревает Петрович.

— Ясен пень! — кивает Борис. — Я одноклассника могу попросить, Сашку Баранова. Помните его? У него в вашем городе — строительная фирма...

— Так он ведь тоже не станет! — не унимается Петрович. — Владелец фирмы, как никак!

— Правильно, не станет. Он просто пришлет сюда пару таджиков с мешком цемента, и те в два счета поставят стелу на место! Каждый должен заниматься своим делом!

Повисает пауза. В тишине слышится, как шиплют траву, затем звучит смачный плевок Петровича.

— Ты, сынок, дурак? Или прикидываешься? Какие, на хрен, таджики?! Я сам все сделаю, ясно тебе?! Вот провожу тебя, дармоеда, и сделаю!

Борис пожимает плечами.

— Наше дело — предложить... Так, поминать будем? Или что?

Он опять берет в руки бутылку, и тут уж приходится поддержать.

— Не надо нам этого самогона! — Нина Федоровна достает из сумки наливку. — У нас с Верочкой свое, женское винцо...

Стаканы наполняются рубиновой жидкостью, пахнувшей малиной и смородиной. «Бабушкин рецепт...» — вспоминает Вера, внезапно чувствуя пощипывание в носу. Рецепт наливки есть, а любимой бабули нет. И некому тебя прикрыть, некому побаловать, некому дать ответы на все вопросы... Она делает большой глоток, в груди разливается тепло, только жалость к себе не утихает, выдавливая слезы...

— Глянь-ка, объява!

Борис снимает с соседней ограды листок бумаги.

— Спиливаем деревья, обрезаем сучья... — читает. — А? Может, воспользуетесь?

Чего эта елка тут торчит? Только хвоя от нее — вон, вся могилка усыпана! — он озирается. — Тут вообще нужно все попилить. Позвать бригаду лесорубов...

— Тоже таджиков? — осведомляется Нина Фёдоровна.

— Можно местных. И весь этот лес — под топор! И ограды снести к чертовой матери, меньше мусора будет... Ну, что это?! — он тычет пальцем туда, где свален хлам с могил, — свалка натуральная! И там мусор, а почему? Потому что свиньи! Я вот был в прошлом году в Германии — там на кладбища приятно посмотреть! Дорожки, могилки — все чистенькое, ухоженное... А это что?!

— Так возьми и убери, — советует Петрович. — Чего проще?

— Здесь уборка не поможет, бульдозер надо присылать!

— Наши могилки — бульдозером?! — всплескивает руками Нина Фёдоровна. — Ты говори-говори, да...

Борька опять ржет.

— Наши оставим! Но остальные — под бульдозер!

На эту тему спорить почему-то не хочется. В прошлом году вместе с лучшими учениками школы Вера проехала по Европе от Польши до Амстердама и тоже посещала тамошние кладбища, что отличались от этого пригородного, как небо от земли. Да что там: даже их центральное кладбище, где находились могилы родителей Веры, — и то выглядело иначе. Лейки с лопатами для общего пользования, например, появились, и их, как ни странно, не разворовали. Но бабушка с дедом сами были из этих мест, тут вся их родня деревенская. Кате же на центральном попросту места не предоставили (так объяснила Нина Фёдоровна), оттого и упокоилась на диком погосте...

Разделив букет гладиолусов на две части, Вера пристраивает цветы в металлические вазы, вмонтированные в мрамор. А затем с тревогой смотрит на небо. Опять натягивает тучи, того и гляди хлынет дождь и последний долг подруге не будет отдан...

— ... Не-ет, батя, я тут лежать не буду! В таком месте — ни за что!

— Где же будешь лежать?! На Новодевичьем? Так рылом не вышел!

— На Новодевичьем не получится, но на Троекуровском — очень может быть! У нас замдиректора там похоронили, а мне это место обещали!

— Место на кладбище?!

— Место замдиректора!

Распаленный Борис наливает и опрокидывает, уже забыв о ритуале. Внезапно в перепалку врезается песенка Киркорова «Зайка моя». Борис тут же меняется в лице и лезет в карман.

— Привет, лапуля... Где? На кладбище. За могилками ухаживаю, ага. Надо, надо, а как же! Передам, передам... Да нет, трезвый. Вообще ни в одном глазу! Что значит — по голосу?! Лапуля, я простыл. Как там, не ищут меня? Ах, искали уже... Так пусть сюда звонят, в доступе. Хотя я не задержусь: потехе час, как говорится, делу — время...

Брат самодовольно поглядывает на фото усопших, опять рисуется. «Какая мерзость...» — Вера отворачивается. Судя по желвакам на скулах Петровича, у того мысли схожие, и он, махнув рукой, наполняет стакан.

— Ты чего, старый?! — не успевает пресечь Нина Фёдоровна. — Тебе ж машину вести!

— Доведу, не беда... — занюхав хлебом, Петрович указывает на Бориса, — Вот беда! Откуда он такой урод, а?! Объясни! Вроде человека воспитывали, а вырос...

— Лапуля, позже позвоню, о'кей?

Борис прячет айфон в карман.

— Значит, не нравлюсь? Не устраиваю, да? И жена моя вам не нравится, верно? Знаю, знаю, на словах — сюси-муси, а в душе считаете: на дура женился! Что ж, тогда с племянницей целуйтесь! — указывает на Веру. — Она ж вам роднее, чем сын, правильно?!

Вера хватается пионы, едва сдерживаясь, чтобы не хлестнуть его букетом по морде.

— Не могу это слушать! Пошла к Кате!

— Да как же ее найдешь?! — восклицает Нина Фёдоровна.

— Как-нибудь! — Вера выскакивает за калитку. — Вы говорили, у линии электропередач ее схоронили?

— Родственница сказала, ага! Там еще столб должен быть, покосившийся!

Последняя фраза звучит уже в спину. Вера направляется в ту сторону, где вроде виднелись провода (отметила, когда сворачивали у Гречишек). Сзади с новой силой вспыхивает ругань, потом голоса стихают, слышен лишь хруст сухих веток под ногами.

Поначалу захлестывает обида, она даже жалеет, что приехала. Хорошо, сына с мужем не взяла, еще им не хватало слушать этот словесный понос! Почему не отправилась в санаторий? Ей же предлагали льготную путевку! Так нет, победила *любовь к отеческим гробам*. Эту фразу произнес перед отъездом муж, и Вера вспылила: мол, нечего иронизировать, я должна посетить могилы близких! А лучше бы не выступала, а подумала о здоровье. Мертвым не поможешь, а у нее почка застужена, бессонница, опять же пара недель санаторного режима не помешали бы!

Идти в одном направлении трудно, приходится огибать хаотично расположенные могилы то слева, то справа. И постепенно ориентация утрачивается. Где провода? Где покосившийся столб? Ничего не разглядеть! Над головой колышется под ветром густая листва, внизу торчат кресты и монументы. Царство мертвых, в котором мечется одна живая душа, прущая неизвестно куда с букетом пионов...

Она останавливается, чувствуя, как бухает сердце. Внезапно накатывает ощущение собственной бренности, ничтожности. Суетись, не суетись, спорь с дураками, отстаивай свое мнение, а конец один: памятник в оградке. И какая разница — раньше уйдешь, как бедная Катка, или позже, окруженная взрослыми детьми и внуками? Везение относительно, а жизнь «сапиенса» в сущности мало отлична от жизни порхающей однодневки. «Из жизни ты ушла мгновенно, а боль осталась навсегда», — читает Вера эпитафию, вьющуюся по белому камню, что установлен над захоронением некой Муромцевой Татьяны, 1943–1993. Казалось бы, человеку повезло, родилась в военное лихолетье и выжила вопреки всему. А в эпоху перемен — сломалась, безвременно ушла, и где тут справедливость? А главное, ничего не бывает *навсегда*, в том числе и боль проходит, растворяется в вечном круговороте жизни-смерти, родственники просто успокоили себя подвернувшимся под руку штампом.

За спиной слышен хруст, Вера в испуге оборачивается и видит обломившийся сук. После чего опять рывок вперед, через заросли бурьяна. Одна могила, другая, проводов по-прежнему не видно, зато в прогале между деревьями мелькает золоченый купол. И Вера, воодушевившись, решает держать курс на церковь — так она хотя бы выберется из жутковатого лабиринта и подождет родственников у машины.

Начинает накрапывать дождь, даже листва не защищает от падающих с неба капель. Вера смотрит вверх — и вдруг видит провода! Они висят точно над головой, временами скрываясь в листве, и Вера (хотя дождь усиливается), как сомнамбула, движется вдоль них. Не факт, что могила обнаружится, но шанс надо использовать... Дождь припускает еще сильнее, уже первая струйка потекла за воротник. А Вера упорно продвигается вперед. Первый столб, второй и вот третий, наклоненный, из-за чего провода в этом месте немного провисают.

И тут — стоп! В царстве мертвых возникает некто полуголый, с блестящим торсом, он волочит на себе какую-то железку. Установив ее, он долбит по железке кувалдой, а Вера в испуге за ним наблюдает. Кто это?! Троль, что выполз из земных недр? Дух кладбища, пытающийся привнести порядок в бесхозное пространство?

Неожиданно рядом с полуголым возникает еще одна фигура, женская. Женщина прикрывается зонтом, под него же хотят упрятать полуголого, но тот отмахивается, мол, не надо! Лишь тогда Вера решается приблизиться к незнакомцам, уяснив: те ставят оградку, а поскольку сверху льет, принято решение работать без одежды.

— Здравствуйте... — произносит неуверенно.

— Привет, — не поднимая головы, отзывается «троль». А женщина предлагает:

— Идите под зонт, вымокнете ведь...

— Спасибо...

Встав рядом, Вера чувствует тепло чужого тела. Мужчина продолжает молотить кувалдой, загоняя фрагмент ограды в землю и оглашая окрестности металлическим звоном. Затем распрямляется, идет куда-то в кусты и возвращается со следующим фрагментом. «Хорошие люди... — сквозит мысль, — Погода отвратительная, а они обустроивают чье-то захоронение... Интересно — чье?»

Шок длится несколько секунд. С мраморной плиты на нее смотрит... Катя! Вера не верит глазам, однако выбитые имя и фамилия вкупе с датами однозначно убеждают: это могила подруги.

Вера резко отстраняется, опять оказываясь под дождем.

— Чего вы?! Стойте, пока не утихнет...

Ее же переполняет возмущение, дескать, что вы тут делаете?! Это моя подруга, остальные не имеют права здесь присутствовать! Когда же опознает в полуголом бывшего Катиного мужа, возмущение перерастает в гнев. Да как он смеет устраивать эту возню на могиле?! Как вообще посмел сюда явиться?!

Пока не понимая, как себя вести (не скандалить же с ходу!), Вера кладет к памятнику пионы. И долго смотрит на портрет, стараясь утишить часто стучащее сердце. Изображение, похоже, делали с давней фотографии, где Катя еще в сравнительно молодом возрасте. Тут она веселая, смешливая, горестные складки у рта проявятся позже, незадолго до печального события...

— Верка?! Ты, что ли?!

Василий (а это точно Василий!), отставив молот в сторону, с удивлением на нее пялится.

— Ты откуда взялась?!

Он натягивают куртку, которую достают из прикрытой полиэтиленом сумки. Оттуда же возникает бутылка, какая-то немудрящая закуска, и все это под сумбурные объяснения, мол, Катина подруга, приехала из другого города, а это — моя супруга Галя, знакомьтесь! Нет, ну как разыскала?! Мы ж сами не сразу находим могилку, бардак на этом кладбище — с ума сойти! А Вере кажется: Василий просто забалтывает свою вину. Несмываемую, ее нельзя простить, надо только найти повод, чтобы о ней напомнить. Не отвертись, родной, не откупишься водочкой с бутербродом...

Жена Галя держит зонт, прикрывая выпивку и закуску, уместившуюся на разлапистой ладони дальнбойщика.

— Ну, помянем?

Вера молчит, обдумывает обличительную речь.

— Слышь, Вер? Давай, пусть земля будет пухом...

Он поднимает стакан, Вера свой не трогает.

— Дочку в интернате навещаешь, — спрашивает резко, — или планируете новых родить, поздравее?

Василий с Галей переглядываются.

— В каком интернате?! — недоумевает супруга. — Дома девочка, с теткой моей сидит...

— Мы ее сюда тоже берем, — дополняет Василий. — Ей своими ногами через бурелом не пройти, на закорках ношу. Но не по такой же погоде...

Далее пауза. Кажется, прокурора из нее не вышло. Она вообще выглядит дурой. А тогда лучше махнуть налитый до краев стаканчик и, закусывая колбасой, слушать о том, как замысловато порой поворачивается жизнь, точно река течет: то вперед, то в обратную сторону, то тихо, то бурно. Оказывается, девочку в интернат сдала родственница — та самая, что похороны организовала. А Василий в этот момент в больнице лежал — улетел со своей фурой в кювет, еле выжил после той аварии. Теперь машину не водит, слесарем в автосервисе работает, там и удалось склепать оградку...

— Я закуски подрежу, — говорит Галя. — Держите зонт!

— А вы как? — спрашивает Вера.

— Не сахарная, не растаю...

В стаканчики еще раз набулькивают.

— Такие вот дела... Нет, ну как нашла?!

Вера молчит.

— Вспоминаешь ее? — звучит вопрос.

— Вспоминаю, конечно... Думаю: как, почему... Наконец-то думать стал, а раньше... Эх!

Еще один крупный глоток водки, и Вера передает зонт Василию.

— Все, пошла!

Галя с удивлением поднимает на нее глаза.

— Да вот же сыр еще...

— Не надо, спасибо! Я все поняла!

И опять она движется по лабиринту, только теперь в голове шумит, а перед глазами — будто искорки. Она не смогла бы объяснить, *что* поняла, но жизнь странным образом перевернулась. Ее совсем не пугают кое-как обустроенные захоронения, что совсем недавно внушали мистическую тревогу. За любой оградкой — своя история, вполне человеческая, своя загадка, которую мертвый задает живому...

Когда искорки внезапно ускоряют движение, она теряет равновесие. Неподалеку раздаются голоса, и вот, уже готовую упасть на мокрые кусты, ее подхватывают чьи-то руки.

— Ну, даешь! — восклицают над ухом. — Умчалась куда-то — и с концами!!

Кажется, это Петрович. А вот и Борька встречает:

— Нашлась?!

— Ага! Только мокрая вся, и на ногах не стоит...

— Ничего, доведем... Вер, пошли! — трясут за плечо. А затем:

— Да она пьяная! Эй, сеструха! Где успела?!

Потом ее несут на руках. Несет Борис, и она, убаюканная, бормочет:

— Как тогда...

— Чего?! — вопрошает Нина Фёдоровна (она семенит рядом).

— Как в детстве... Когда ногу пропорол...

— Не понимаю я... Ладно, главное, выбраться! Аккуратней ее неси, слышишь?!

Вдруг кажется: дед с бабулей где-то рядом начинают переговариваться, Катька заливисто хохочет, и все-все, кого знала и потеряла, вливаются в этот хор. Слов не разобрать, но печали нет, и страха, что обычно навевал потусторонний мир, нет. Любовь к гробам — вроде нонсенс, абсурд! А поди ж ты — обернулось правдой...

Веру укладывают в машину. «Лада» буксует, застряв в размокшей колее, Борьке приходится ее толкать, и надсадно ревуший движок заглушает хор. Наконец, брат плюхается на сиденье, весь измазанный грязью.

— Блин, часы потерял... — оглядывает запястье.

— Ролекс? — не открывая глаз, спрашивает Вера.

— Ага. А-а, и хрен с ними!

Машина подпрыгивает на грунтовке, потом выбирается на асфальт. Родня озабоченно о чем-то бубнит, а Вера медленно погружается в сон...

Фестивали и конкурсы

ЛАУРЕАТЫ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА БАЛТИИ ПО РУССКОЙ ПОЭЗИИ—2016

Дмитрий Артис

Три сонета

* * *

Берёг себя, любил себя, жалел.
Хотел бы жить, да не желал вертеться,
вытравливать фруктовое желе
из головы, из памяти, из детства.

При пионерском галстуке, потом
при галстуке в полосочку — запчастью
существовал, прикрученный винтом
к простому обывательскому счастью.

И в этом было то, что будет впредь...
Проносится, как шторм десятибалльный,
моя нагая женщина по спальней

и заставляет божеская плеть
беречь себя, любить себя, жалеть
и радоваться премии
квартирной.

* * *

В каком-нибудь избыточном раю,
где днём и ночью зреет чечевица,
зима наперекор календарю
к началу майских праздников
случится,

появится отчаянно, легко,
внезапно, как желание проснуться,
сгущённое польётся молоко
из облака, похожего
на блюдо,

изогнутого облака, — и тут, —
пяти-, шести-, семиконечный атом
блеснёт своим божественным
распадом,

и сызнава прокладывать маршрут
заснеженные мальчики пойдут
по самой главной площади
парадом.

Дмитрий Артис (литературный псевдоним Дмитрия Краснова-Немарского) — поэт, драматург. Родился в 1973 году в г. Королев Московской обл. Окончил Российскую академию театрального искусства и Литинститут им.А.М.Горького. По его пьесам поставлены спектакли более чем в 20 театрах России и ближнего зарубежья. Автор 4 книг стихов, в т.ч. «Закрывающая книга» (2013) и «Детский возраст» (2014). Лауреат 5-го открытого Чемпионата Балтии по русской поэзии—2016. В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Москве.

* * *

Останься в одиночестве моём —
в моей высотке с выходом во дворик,
тот самый, где зацветший водоём
богат форелью на Великий вторник.

Влюблённому влюблённую в него.
Сжимается кольцо меридиана
и над Москва-рекой, и над Невой
уже взошли туманы Иордана.

Неприхотливой женщиной, одной
единственной касавшейся престола,
останься, как религия, основа,

и в День благоволения — седьмой,
когда асфальт покроется землёй,
настанет Воскресение Христово.

Ирина Ремизова

Бормоталки

Триединое

баили — нигде,
а случилось — тут:
по лихой воде
три челна плывут —
выйдя по шуге
из болотины,
выются по реке
по Смородине.

первый — бел белым,
струнный и прямой
лебединый дым
над прогорклой тьмой.
всходит по холму
облачная рожь —
на его корму
ступишь да уснёшь.

Ремизова Ирина Викторовна родилась в г. Кишенёв (Молдавия). Окончила в 1994 году Молдавский университет. Работает на кафедре русской филологии. Автор трех книг стихов, в том числе «Неловкий ангел» (2010). Многократный лауреат Чемпионатов Балтии и Кубков мира по русской поэзии. Живет в Кишенёве.

следом другой чёлн,
чёрен да рогат —
по ухабам волн
расстилат плат,
а на плате том
растопыренном
шиты золотом
птицы сирины.

а в третьем челне
дикий царь сидит,
сам-один, зане
волкотой смердит —
из страны чумной
едет с краденой
молодой женой
семибатенной.

от темницы ключ —
у грача в зобу.
камень бел-горюч
на высоком лбу.
разрыдается —
по-над башнями
загораются
звёзды страшные.

первый чёлн летит — улыбается.
другой чёлн свистит — насмехается.
третий чёлн когтит — сердце мается,
стылой кровию обливается.

к первому челну
побегу бегом,
на другой взгляну —
повяжусь платком,
а третей придёт —
к заряному дну
припаду ничком.

Огонь!

не отводите взгляд
куда-то в высоту —
я маленький солдат,
забытый на посту
у бывшего жилья,
заросшего травой...
не оловянный я,
не сказочный — живой.
гляжу, чеканя шаг
единственной ноги,
как в кукольных домах
пылают очаги —
и корчится в огне
картонная стена,
и снова бьёт во мне
крылом моя война,
и раздрает вой
раскрашенные сны...

... я пёс сторожевой
уехавшей страны,
уже который год
живущий в пустоте —
забытый у ворот
в отъездной суете.
оставили закут —
кто хочет, забирай —
и люди хлеб пекут,
и вырубают рай,
и насаждают бут
взамен усталых лоз —
как могут, так живут,
и им не нужен пёс,
что стережёт во сне
дорожные узлы...

... я — слово в тишине
развеянной золы...

Я здесь

мартовские потёмки —
не перейдёшь.
где-то у неба тонкий
синичий нож
режет наполовину
краюху дня...

если Ты ищешь глину —
возьми меня,

и в грозовой каплице
среди степи
всё, что устало биться,
перелепи,
выноси в подсердечье
детей иных —
птичьих и человеческих
и зверяных.

вырастут понемножку —
не чуя лет,
будешь в узорных плосках
баюкать свет,
на белоснежной ткани
растить шитьё...

не береги дыханье —
возьми моё.

не доходя до края
едва-едва,
по тишине петляют
следы-слова,
ветреные, синичьи —
наперебой...

дай мне в любом обличье
побывать Тобой.

Улья Нова

Сказка о слабости

1

Он крепко держал Вету за запястье. До боли вцепился в тоненькую, почти прозрачную руку. Иногда сжимал так сильно, что ее ладонь немела и пальцы казались почти стеклянными.

Наручных часов Вета никогда не носила. Однажды он этим воспользовался — крепко схватил ее запястье в давке утреннего вагона, набитого до ржавого скрипа сонными и начесанными, а еще напудренными, наглаженными, надушенными людьми. Все это разнообразие сливалось в одно настороженное утреннее лицо, несущееся с окраины в центр. Он держал ее за запястье в сумеречном вестибюле грязного здания из тусклого алюминия и пыльного стекла. Не выпускал руку, а намеренно сильнее сжимал в комнатке-подсобке, где пили чай и строго запрещалось курить.

Иногда его хватка чуть слабела, ощущалась костяным браслетом, который норовил съехать, перетянув и до боли прижав друг другу лучики пястных косточек, ломких и шуршащих, как весенние камыши. Иногда его хватка мерещилась широким золотым наручником, который чуть мал и душит руку, будто тоненькую и беззащитную шею котенка. Порой она чувствовала его пальцы. Это было не угадывание, нет. Она подробно чувствовала узловатые, ледяные пальцы. Каждый в отдельности упрямо врастал ей в запястье, будто привитая веточка или еще хуже — хищная омела, которая медленно становилась частью слабеющего дерева. Иногда его рука, сжимающая запястье, становилась такой жгучей и настойчивой, что Вета начинала задыхаться.

Стоило ей заболтаться по телефону с троюродной сестрой, силло расхохотаться со встреченными в коридоре курьерами, засмотреться на крыши сквозь сизую вуаль сигаретного дыма, он сразу же чувствовал: отвлеклась. Живет себе дальше, будто ничего особенного не случилось. Именно в такие моменты он неожиданно дергал ее за руку. А иногда резко и грубо тащил куда-то вбок. Как всегда — чуточку издевался, вышибал дух, по крупинке выколачивал силы. Ему и раньше разными ухищрениями и уловками нравилось неожиданно сбивать Вету с настроения, надламывать ее воодушевление, гасить восторг. Будто выставляя умело просчитанную подножку. Слегка припугивать. Расстраивать. Тормозить. Теперь от его неожиданных подергиваний Вете становилось неважно. После каждого такого рывка она несколько минут ничего не соображала. Чувствовала себя сломанной куклой. Вмиг теряла все защитные шуточки, невинные оборонительные хитрости. И признавала, что очутилась в маленьком незаслуженном истязании. В тихом аду, из которого никак не могла выбраться.

Улья Нова (Ульянова Мария) родилась в Москве. С отличием окончила Литературный институт им.А.М.Горького. Автор шести книг прозы, в том числе романа «Собачий царь». Роман «Лазалки» переведен на болгарский язык. Рассказы, повести, стихи в разные годы публиковались в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Юность» и т.д. В настоящее время живет в Риге.

В первые дни, когда его рука обосновалась на ее запястье, Вета старалась не замечать. Тактично. Сдержанно. С вежливостью воспитанного человека, получившего хорошее образование: английская спецшкола, музыкальная школа по классу фортепиано и флейты, филологический факультет университета, курсы французского и испанского, аспирантура, впрочем, не увенчавшаяся диссертацией по романам викторианской Англии. Она старалась быть выше этой необъяснимой главы, ненужного послесловия. Ждала, что он образумится и прекратит. Не сердилась. Жила как обычно. Книга возле дивана. Кисловатый утренний кофе вперемежку с низкими облаками, светящимися окнами дома напротив и ржавчиной крыш. Чуть ускоренные, суетливо-озадаченные шажки к метро. Серый сумрак закоулков и подземных тупиков, контрастирующий с сахарно-розовой сверкающей пудрой на лицах подземных девушек. Теплая, уютная шерсть пальто и шарфа, в которых приятно тонуть. Мягкое трикотажное платье, приглушенно-интеллигентной расцветки. Неброская помада. Войлочная роза заколки. Долгий безостановочный бег по коридорам и этажам утомляюще-пыльного, окуренного дымами здания, напоминавшего неживой макет или забытый конструктор. Быть сосредоточенной и бодрой. Отвечать на письма, просматривать электронную почту. Курить с начальницей на лестничной клетке, воодушевленно кивая на рассказ о поездке на озеро. Сипло хохотать с девушками из фирмы этажом ниже. Но потом, ближе к вечеру, Вета снова чувствовала стягивающий бинт на запястье. Еле-еле разминала пальцы. И ничего не помогало: ни сдержанность, ни попытки казаться веселой, ни затаенная надежда, что он сам все прекратит.

Однажды вечером, пытаясь перебить лихорадку подступающей ангины, через силу заглатывая ромашковый чай, Вета сломалась. Пробиваемая ознобом, с испариной на лбу, признала: это серьезно. И кажется, надолго. Так оно и было: он безжалостно держал ее за запястье во время трехнедельной ангины. Чуть заметно дергал за руку, когда к Вете приходила врачиха с мокрыми волосами — из районной поликлиники, а три дня спустя — старательный пожилой доктор, по страховке. Лучше не стало. Слабость с каждым днем усиливалась. Пришлось выйти на работу, не долечившись. Теперь по утрам сил едва хватало, чтобы добрести от дома до метро. А там, если повезет, упасть на свободное место, на коричневый дермати́н сидения. Или повиснуть, ухватившись за поручень, и пятнадцать минут дремать среди шума и шелеста утреннего вагона. Но он все равно держал ее за запястье. И дергал — неожиданно, без причины. От этого становилось обидно и хотелось расплакаться, как в детстве, когда подружки из подъезда ни с того ни с сего объявляли бойкот.

Шиповниковый чай. Кроваво-кислый гранатовый сок. Грейпфрутовые велосипедные кольца. В эти дни Вета плакала во сне. А еще, кажется, она завывала под утро. Как брошенная собака — от своего нарастающего бессилия. Несколько раз снилось, что умирает. Точнее, в приступе серой обволакивающей слабости во сне проваливалась куда-то глубже, в топкое болотистое забвение. Щемящее, вытягивающее дух без остатка.

Потом наступила суббота. Проснувшись в полдень, Вета возмутилась. Ее колотило от гневного озноба и слез. Сил не было. Она признала себя привидением, показалась себе опустошительно-белой изнутри и снаружи. Без щербинок, без смешинок, без обычных ямочек на щеках. От горького прозрения она пришла в ярость. Взорвалась. И следующие несколько дней пыталась освободиться. Замирала возле окна. Смотрела вдаль. Почти не двигалась. Улучала момент, потом изо всех сил выдергивала руку. Выворачивалась. Извивалась. Но он держал крепко и сосредоточенно, не отвлекаясь, не позволяя себя одурачить. После безуспешных и жалких попыток сопротивления он стал дергать еще чаще. Изо всех сил тянул куда-то по вечерней улице. Так упрямо и жестоко, что приходилось почти бежать, чтобы не упасть, чтобы не оступиться. Подтягивал к витрине магазина музыкальных инструментов. Чтобы она стояла минут пятнадцать, прижав лицо к ледяному стеклу, сквозь слезы рассматривала скрипки и гитары, напоминавшие ей полые ссохшиеся тыквы. Иногда он заставлял остановиться посередине платформы метро. Не давал идти дальше. Чтобы она как будто

кого-то ждала. Пять минут. Десять минут. Наблюдая снующих мимо людей. Ждала, сама не зная кого, посреди пыльной, пропитанной усталостью платформы. С онемевшей от боли рукой и сдавленным криком отчаянья, слезно распухавшем в горле.

2

В детстве, чтобы как-нибудь пережить развод родителей, Вета придумала себе, что бывают особые печальные люди. Внутри у них таится пропасть отчаянья, бездонный и необратимый обрыв. Где появляется такой человек, там всегда впоследствии происходит разобщение, случается развод. Как будто невидимая разъединяющая сила, неизбежная роковая трещина теплятся внутри человека, а потом прорываются, пробиваются наружу в самых неожиданных ситуациях. Случайно разлучая, разводя, разъединяя ни в чем не повинных людей, которые оказались рядом. Такой человек-трещина однажды встретился родителям, считала Вета в детстве. И через некоторое время они развелись. Кто это был, Вета точно не знала. Вспоминая детство, она строила самые неожиданные догадки. Она была уверена: люди-трещины чаще всего не подозревают, что несут в себе необратимое разъединение. В каждодневном существовании они могут быть неприметными соседями, тихими друзьями, участливыми знакомыми. Чаще всего они никак не воздействуют, не вмешиваются, не вторгаются в жизнь своих случайных жертв: ни поступками, ни словами. Это совсем не то, что коварные разлучницы или двуликие разрушители сердец. Человеку-трещине достаточно возникнуть в комнате, появиться в вестибюле, медленно зайти в столовую. Он возникает где-нибудь рядом, бежит-суетится по своим будничным делам, даже не подозревая, что одним своим нечаянным присутствием обозначает чей-то неизбежный разрыв.

Как-то раз, подытожив многолетние наблюдения, Вета заподозрила, что ее подруга Тамара — одна из таких. Тоненькая и почти прозрачная, затаившая внутри разлом вселенской меланхолии, Тамара всегда с каким-то сверхъестественным упорством грустила. Старательно опасалась. Отчаянно подозревала. Гибла и скорбела. От искренней взволнованности у Тамары чуть кисло, резковато пахло изо рта. И были ледяные, влажные руки, что вполне допустимо для первокурсницы, но несколько странно для девушки под тридцать. Поэтому в любовных делах Тамары царили хаос и запустение. Ее печаль расцветала с годами. Везде, где Тамара возникала, впоследствии случались маленькие незаметные расставания, неожиданные разлучения, необъяснимые разводы. Иногда Тамаре стоило лишь появиться в комнате, и вот уже через несколько дней две старые приятельницы окончательно и бесповоротно рассорились, разругались и с чисто женским упрямством принялись настраивать друг против друга общих знакомых. Тамара никоим образом не участвовала в этой истории. Ничего не произнесла. Не хмыкнула. И даже не пожалала плечами. Она только была там некоторое время. Стояла и встревоженно смотрела в окно, привалившись к дверному косяку. Она никогда не была разлучницей. Для этого в ней было слишком много внутренней неустойчивости, прозрачности и пустоты. Задумчивая девушка, которой никогда не суждено было превратиться в зрелую женщину, в старушку. Девушка-трещина, со стороны похожая на мутного ангела, который сам до конца не осознает своего предназначения. Заподозрив Тамару, Вета несколько лет с интересом отслеживала необъяснимую способность подруги знаменовать собой расставания и разрывы. Вета с азартом естествоиспытателя наблюдала короткие стремительные пьески разлук. Как если бы она была ученым, изучающим тайные силы, непостижимым образом проявляющиеся через нас. Как если бы она исследовала размытых окраинных ангелов. Кто знает, может быть, во «Всемирной энциклопедии ангелов», изданной в Бристоле в 1886 году и не переизданной с тех пор ни разу, такой ангел значится под номером 38, имеет развернутое название «Ангел Разлучения и Развода» и отнесен классификатором Джонсоном к отряду ангелов-карателей, а более поздним классификатором О'Нилом — к отряду избавляющих и проясняющих ангелов.

Так или иначе, Вета была уверена: благодаря чувству юмора и слегка отстраненной любознательности ее саму конечно же обойдет неосознанно воплощаемый Тамарой в жизнь закон всеобщего разобщения. Ведь они дружат с первого курса. Ездили вдвоем в турпоходы, во всякие санатории. Мотались на курорты Турции и Мальты. Только вот однажды Тамара неожиданно позвонила рано утром. Предупредила, что уезжает на лето к сестре под Выборг. Спросила, не сможет ли Вета раз в неделю поливать орхидеи и приглядывать за ее квартирой. Обычный, малопримечательный разговор давних подруг. Но в то утро Вета утратила бдительность. На несколько мгновений перестала быть исследователем и наблюдателем. Обмельчала, истощилась до кивающей в трубку подруги в домашнем спортивном костюме. Через несколько дней трещина проявилась. А с Тамарой они потом как-то незаметно, беззлобно потерялись.

В день трещины Вета и Алек гуляли по набережной. Не держались за руки, потому что Алек на каждом шагу останавливался, прицеливался и вылавливал из пространства идеальный кадр. Охотился на красоту, вырезая кусочки города. Стрелка Васильевского острова в тоненькой сигаретной вуальке. Дрожащий на воде штопальный шпиль Петропавловки. Завораживающе-тяжелое течение смолистой, ледяной воды. Цокающая мимо сюрреалистично-игрушечная карета с ряженным в синтетику кучером Екатерининских времен. Потом он засмотрелся в даль набережной, где с моста разноцветными горошинами высыпались машинки. А потом ловил что-то сквозь сине-розовый капрон облаков. Он машинально протянул Вете фотоаппарат, держа его за нашейный ремень с надписью Nikon. Так происходило тысячу раз. Тысячу раз он, рассматривая что-то вдаль, протягивал Вете фотоаппарат, висящий на ремне покладистым домашним любимцем. Вета почти перехватила, почти почувствовала чуть заледенелой ладошкой шершавый «поводок» фотоаппарата. В этот момент Алек разжал пальцы. Был где-то далеко, наблюдал за кардиограммой крыш, царапающих горизонт. Фотоаппарат со всей силы шлепнулся на усталый запыленный асфальт. Издал стеклом объектива скорбный звук разбиваемого о краешек сковороды яйца. Алек чертыхнулся. Сморщился, будто от сильной боли. На стекле объектива теперь во всю залегала широкая ветвистая трещина. Она разделяла все последующие кадры наискось, серой туманной линией. Возможно, трещина давно таилась между ними. Возможно, на самом деле в тот день они уже стояли по разные стороны разлома, не подозревая, что это только «как будто вдвоем», но на деле уже слегка по отдельности. Вета покачала головой. Без фотоаппарата стало одиноко и как-то бесцельно целый день бродить по городу. Алек постарался не упрекать ее за неторопливую оплошность руки. В эту минуту он как никогда ощутил себя неудачником в испорченном дне, в ветреном городе. Тут еще резко похолодало, словно в лето вломилась старуха-осень с перепутанными седыми волосами, в мокрой вязаной безрукавке, со стекающими с рукавов струями ледяного ливня. Они до вечера бродили по набережным, площадям, мостам и проулкам, будто потеряв что-то в городе, но не в силах вспомнить, что именно следует искать. Весь день Вета пыталась сбить его с незнакомой, неприветливой ноты. С дождливого настроения. С горьких усмешек. Ее напускная веселость была натужной и неуместной. Вечером по пути домой она сломала каблук коричневых полуботинок. До самого отъезда пришлось бродить по городу и ездить в Петергоф в жестких, жмущих кроссовках младшей сестры Алека. Которая никогда не относилась к Вете серьезно, считая ее промежуточной и неважной.

В тот последний день в Петербурге они стояли перед светофором на пешеходном переходе. Горел красный. Машин не было. В тот день они спешили — нужно было успеть в железнодорожную кассу. Вета дернулась, ей хотелось поскорее перебежать пустую дорогу. К этому моменту трещина уже отчетливо существовала между ними. Алек ощущал присутствие разлома, кисловатый дух разобщения. За долгие бесцельные дни гуляний по городу в нем зрел протестный порыв, скрытое дрожжевое неприятие всего, что делала Вета. В тот день ему уже основательно не нравилось, как она сипло смеется в сиреневый марлевый платок. Он не понимал, зачем она так надменно откидывает с лица волосы. А эти ее старые мотоциклетные перчатки без пальцев всегда

приводили его в тихое бешенство. Вета рванулась через дорогу, и Алек схватил ее за запястье. Настойчиво, резко отдернул с пустого шоссе назад, на тротуар. Не заботливо. Не предупредительным или участливым родительским жестом. На самом деле в это мгновение, в этот день ему хотелось как-нибудь безжалостно вытряхнуть, вырвать Вету из самой себя. Будто ветку сирени. Чтобы все ее цветочки осыпались на землю. Он отдернул ее с блеклой полоски пешеходного перехода. И потом еще долго говорил, говорил, выговаривал. Такое колкое, что Вета не поняла ни слова, от неожиданности совсем оглохла. И он крепко держал ее за запястье. С силой разобщения, разъединения, разлома, которая вырвалась из своего потаенного логова и теперь во всю действовала между ними.

3

В день первого снега Вета прозрачным бескровным призраком еле доплелась от метро домой. Зима не принесла белого хрустального облегчения, лишь усилила слабость и нагнала тоску. Как будто тяжесть неба, тяжесть последних дней года проникли внутрь громоздкой тишины и усталостью.

Приближаясь к дому, пересекая сквер по тропинке мимо черных заиндевелых стволов, Вета теперь особенно внимательно высматривала, не сидит ли у подъезда грозная бабка с костылями. Вета теперь опасалась, что эта бабка окончательно выпотрошит ее. Отнимет последнее, до крупинки. И тогда все будет растрачено окончательно. Некому будет вернуться домой. Некому будет, не сняв пальто и забрызганные грязью полусапожки, упасть в кресло. И неподвижно смотреть в окно в маленьком тесном аду нарастающей слабости.

Опасения Веты были неслучайны. Обычно, ближе к полудню, при помощи соседей и оказавшихся поблизости людей, тяжело переваливаясь, охая и громко сетуя на жизнь, грузная бабка с костылями спускалась на лифте с шестого этажа. Кое-как выбравшись из подъезда, старуха преодолевала четыре ступеньки крыльца. Остановившись, она сварливо командовала помощникам: «Погодите, сердце выскакивает. Дайте отдышусь!» Переводя дух, бабка за секунду-другую успевала совиным взором оглядеть двор, выяснить, кто это там на лавочке возле песочницы, кто играет в пинг-понг, а кто — возится с машиной. Попутно левым, более острым ухом, она выхватывала звуки, доносящиеся из приоткрытых форточек. На лету угадывала, что варят на обед и по какому поводу Лена, «это его вторая или третья», повышает голос. Опираясь на плечи и руки случайных помощников и на свои стертые серые костыли, старушечья кое-как продвигалась по бугристой асфальтированной дорожке. Вконец обессиленная от героического перехода, грузно обваливалась на лавку. Ставила костыли сбоку. Гнусаво пела провожатым «спасибо» и вторила ворчливым эхом им вослед «идите-идите», протыкая убегающих настороженными серыми глазенками.

Летом и зимой бабка целыми днями сидела на своем посту у подъезда. Изредка чинно кивала, здороваясь со знакомыми. Обозревала происшествия двора. В пушистом берете крупной вязки со свалевшимися серыми ягодками. В сером плаще, который скрипел, угрожая треснуть по шву из-за двух поддетых вязаных кофт. Она сидела, вытянув на всеобщее обозрение хворые ноги в детских ортопедических ботиночках. Раздражительная и недоверчивая, с крючковатым клювом. В левой руке всегда сжимала старенький мобильный. В правой руке держала наготове трубку радиотелефона. Иногда отключалась от происходящего, разговаривая с дочерью. Или медленно, с уточнениями, зачитывала внуку список продуктов, которые надо привезти. Случалось, бабка названивала в коммунальные службы, в организации помощи инвалидам, в пенсионные фонды, с кем-то там ругалась, что-то выпрашивала, на кого-то жаловалась. Все остальное время бабка с костылями без доверия приглядывалась ко всему вокруг.

Никто в подъезде толком не знал и знать не хотел, как на самом деле ее зовут. Старухи, изредка составлявшие ей компанию, шептались, будто эта хитрая карга раньше работала директором промтоварного магазина. Что она обладает удивительным

чутьем на людей и умеет с помощью незначительных примет узнать подробности жизни и скрываемые факты биографии проживающих в подъезде. К примеру, объектами ее пристального изучения были целлофановые пакеты. Обладая хорошей памятью, бабка с костылями знала наизусть, из какого магазина таскают покупки жильцы той или иной квартиры. Когда какая-нибудь семья меняла пакеты «Пятерочки» на пакеты из супермаркета «Вкус», это давало бабке основания заключить, что дела у них пошли в гору. Или, напротив, иногда наблюдение за пакетами давало повод предположить, что кто-то из соседей потерял работу и вместо «Семи шагов» ходит в дальнюю «Копейку» или носит еду неизвестно откуда, в мятых, не раз использованных сумках. Знала бабка о приобретениях мебели. О том, кто и когда поменял старые окна на стеклопакеты. В общих чертах догадывалась, сколько пар обуви имеет та или иная семья, например, как часто позволяет себе новые сапоги Галя с четвертого. Имела хромая бабка представление и насчет того, кто с кем живет, кто от кого ушел, кто снова запил.

Часам к трем-четырем, притомившись от наблюдений и телефонных разговоров, проголодавшись и слегка озябнув, бабка начинала сидеть на лавочке не как наблюдатель, а как охотник или рыболов-спортсмен. Немного сжавшись и притихнув, она подстерегала беспечных жителей подъезда, возвращающихся домой мечтателей и разинь, вроде Веты. Приторно поздоровавшись, бабка требовала проводить ее домой. В это время жители дома были слишком усталыми, раздраженными, выжатыми до последней капли после рабочего дня. Большинству из них такое тягостное испытание было не под силу. Некоторые соседи сквозь зубы бурчали приветствия, вали, что спешат, что ждут срочный звонок, и таким образом миновали необходимость провожать бабку. Другие вообще не здоровались, делали вид, что ничего не замечают, и скорей пробегали мимо. И только отдельные безотказные растяпы с готовностью закидывали сумку на плечо, хватали каргу под руку и медленно, поистине медитативно, вели ее к подъезду. Из последних сил выслушивая жалобы на жизнь и рассказы о внуке, о лекарствах и обидчиках, впитывая чужую безрадостную старость, жалостливые неудачники помогали бабке по шажочку, медленно и натужно взобраться на семь ступенек до лифта. Потом везли ее на шестой этаж, помогали выбраться из тесного скворечника наружу и там оставляли, наконец распроставшись. В числе таких сердобольных растяп часто оказывалась Вета.

4

Все ближе подкатывались совсем не ожидаемый на этот раз Новый год и мерцающее за ним Рождество. Алек по-прежнему держал за запястье, от этого Вета теряла силы. С каждым днем по чуть-чуть истощаясь, еле-еле брела домой в дрожащих заснеженных сумерках. Чувствовала свое сердце сизым холодным камнем, брошенным среди поля глубокого топкого снега. Наступающий вечер покачивался из стороны в сторону, город чуть плыл перед глазами. Она знала: на днях Алек снова дернет ее за руку, безжалостно, незаслуженно. Она была уверена: он снова не пришлет ни письма по электронной почте, ни маленького безнадёжного сообщения из командировки в Питер. Он не пришлет ни одного письма, которые она снова не сможет удалить, так и не прочитав. Она не сомневалась, что зачем-то будет перечитывать по несколько раз все его никогда не присланные письма. Как всегда, отыщет вторые и третьи скрытые смыслы, затаенные шипы, болезненные полунамеки в двух-трех горстках его случайных, никогда не написанных слов. Потом, окончательно измотав себя, она снова будет бродить по комнате среди ночи с чашкой кисло-кровавого каркаде. Обжигаясь, постарается хоть что-нибудь понять. Снова поймет все с жалостливой пресностью доброты. И сорвавшись, примется набирать его номер. Чтобы попросить: «Пожалуйста, выпусти запястье. Разожми руку. Отпусти меня. И больше не отправляй мне эти ненаписанные письма». Снова и снова, не добрав последнюю цифру, она будет стирать унизительный звонок отчаяния и слабости. И не сможет заснуть до самого утра.

В последний день года жертвой бабки с костылями снова оказалась Вета. Вполне

возможно, под вечер, засидевшись и прилично озябнув под медленным слюдяным снегопадом, старуха дожидалась именно ее. Конечно же Вету, белую изнутри и снаружи, как ветхая простыня. Опустошенную. Бескровную. Безотказную. Ее бы саму кто-нибудь довел до дома из круглосуточного магазина, а еще лучше донес на руках до квартиры. Вету и ее сумку с шампанским, сыром и развесным оливье к Новому году.

Бабка подстергала, чтобы как всегда назойливо проскрипеть «здравствуй, Веточка». Тут же ухватиться за рукав ее пуховика и навалиться на тоненькую Вету всем грузом своей одинокой болезненной старости.

И вот они уже слились в огромную четвероногую слабость, вобравшую в себя много разнородных печалей, разочарований и утрат. Медленно, пошатываясь, побрели вдвоем к двери подъезда. Время, как всегда в подобных случаях, тягостно приостановилось, почти замерло. Минуты оборачивались столетиями, предательские секунды колебались, отдаваясь внутри жгучим нетерпеливым ядом. За долгий героический переход от лавочки до крыльца Вета узнала кое-какие подробности об окраине панельных домов и кирпичных пятиэтажек. Совершая доблестное восхождение на пять ступенек крыльца, бабка, свистя и закашливаясь, посчитала нужным сообщить ей разные слухи, передаваемые из уст в уста возле подъездов. Например, о загрязнении воздуха автомобильным комбинатом. О зловещих выбросах кислот, которые часто ощущаются по вечерам. О спившемся электрике, у него в подмосковном интернате, представляете Веточка, оказывается имеется трехлетняя дочь-инвалид от первого брака. И еще в последний месяц слишком часто стали прокалывать шины припаркованных возле дома машин.

Терпеливо переживая черепаший шаг старухи, Вета помогла ей кое-как протиснуться в железную дверь. Под нудный аккомпанемент домофона чувствовала онемевшей рукой и худеньким птичьим плечом безжалостную тяжесть одревеневшей бабки. Разыскивала в стылом сумраке с грохотом упавший костыль. В сырой тесноте подъезда угадывалось присутствие дворовых кошек и крыс. На огромном щите объявлений угрожающе алело: «Истребление». Ниже черным меленьким шепотком уточнялось: «Муравьев. Клопов. Тараканов». Почему-то Вета всегда поначалу прочитывала их как фамилии военных. Чувствовала необъяснимую угрозу, вся чуть-чуть сжималась. Но сейчас ей было не до муравьев и тараканов, не до войны и мира. С самозабвенной старательностью гувернантки она поправляла съехавший на глаза бабки берет. Ждала, когда старуха откашляется и утрет бесцветные целлофановые губы мятой тряпицей в бледно-розовый цветочек.

На первой и второй ступени невысокой лестницы, ведущей к лифту, Вета терпеливо переживала множество свистящих остановок. Третью ступень они кое-как миновали, снова слившись в тягостное четвероногое существо, в неповоротливого мифического гиганта вселенской слабости. Который действовал вполне слаженно и придвигался все ближе к створкам лифта. Бабка доверчиво налегла на плечо Веты центнером древних окаменевших костей, остекленевшего жира и свалившейся муки внутренностей. На четвертой ступени зыбкое равновесие неожиданно было утрачено. Беспомощная четвероногая слабость пошатнулась. В сумраке старых котов и половых тряпок, сросшаяся двумя спинами четвероногая слабость качнулась назад, к двери подъезда. И начала свой стремительный, неукротимый обвал, свой последний полет в серую бездну. Испуг падения вышиб Вете память и остатки сил. Она стала неземной, бестелесной, бездумной. И в последний момент перед окончательным крушением все же успела, точнее, совершенно спокойно и даже задумчиво ухватила пальчиками, тоненькими, будто корешки проросшей фасоли, за деревянный, пропитанный испариной и жиром поручень. Выбросила руку, будто крыло, вцепилась в последнюю надежду. Уже совсем бездыханная, бессловесная, окончательно растерявшая себя и все свое прошлое.

Бабка перепугалась почти до обморока. Чудом миновав обвал, она потом минут десять стояла на четвертой ступеньке, привалившись носорожьей спиной к темно-зеленой стене. Смотрела в потолок, охала в голос, обмахивала обветренное лицо

мятым платочком. Будто старательно отгоняла крошечную близость катастрофы, обрушения, обвала. И дышала часто-часто, со свистом, как закипающий чайник.

Пока бабка разыскивала в своих бездонных карманах затерявшийся тубус с валидолом, Вета неожиданно обнаружила. В первый миг она даже не поверила. Не может быть. Неужели отпустил? Чтобы убедиться, что это действительно так, недоверчиво сжала кулак. Неужели он наконец отцепился. Пробежалась легкими белесыми пальчиками по невидимым клавишам. Взяла воображаемый аккорд вступления к песне «Let it be». Покрутила кулачком по часовой стрелке. Отпустил. Видимо, замешкался. Растерялся. Все же разжал настырные и безжалостные пальцы-омелы. И теперь ее запястье свободно.

Кое-как собрав последние силы, ухватив друг друга под руки и под локти, будто раненые партизаны, Вета и бабка с костылями все же сумели взобраться на пятую, шестую и седьмую ступеньки. Возле лифта бабка, пошатываясь, ругала уборщицу и футболила маленькой ножкой, утянутой в ортопедический ботиночек, рассыпанный на бежевом кафеле листопад реклам. Лифт дернулся где-то в вышине и неторопливо запыхтел, опускаясь. Неужели отпустил, недоумевала Вета, продолжая недоверчиво сжимать кулак освобожденной руки. Убеждалась снова и снова: он больше не держит. Даже непривычно: рука такая свободная, будто сняли наручник или спилили тяжеленное кольцо с птичьей лапки.

В лифт влезли обстоятельно и последовательно. Бабка на своих костылях вплыла внутрь огромным тугим куском теста, заполнив узкую клеть во все стороны, от пола до потолка. Вета протиснулась рядом, наблюдала оставшиеся от объявления лохмотья и бесцветно, иступленно молчала. Неожиданно на середине пути бабка принялась разминать и массировать запястье своей правой руки. «Чуть не разбились мы с Вами, Веточка, перед самым Новым годом! — гнусаво пела бабка, будто репетируя свой будущий рассказ соседкам, дочери и кому уж посчастливится. — Чуть не расшиблись мы с Вами в пух и прах. Я так руку растянула. Теперь ноет, аж до самого локтя свело. Надо мне теперь какую-то мазь. Вишневого, но она же от гематомы...»

Пока бабка перечисляла все известные ей мази, Вета чуть не задохнулась от догадки. Неужели Алек ошибся, выпустил ее запястье, а потом со всей силы снова вцепился в прорезиненную руку бабки с костылями, в древнюю руку, усыпанную мелкими родинками и островами расплывчатых пигментных пятен. Растерялся. Ошибся. И теперь сжимает, как всегда безжалостно, как всегда жестоко, каменное запястье старушеницы. Наверное, это теперь надолго, — виновато встревожилась Вета. А вдруг его хватка как-нибудь повредит, нанесет ущерб старому человеку. Нет, — поспешно отогнала она глупые опасения. Вовсе нет, — торжествуя, подумала она. Сам того не подозревая, Алек теперь как миленький будет поддерживать бабку в лифте. Будет тащить ее вверх по лестнице после ежедневных посиделок на лавочке. Уверенный, что истязает и изматывает Вету, хоть кому-нибудь нечаянно поможет.

Несколько световых лет пришлось придерживать двери, пока бабка выгружалась. Медленно вытекала, расшатывая лифт, будто бумажный фонарик, бесшумно парила на костылях, неумело перемещая заплывшие гиппопотамовые ноги в маленьких детских ботиночках.

На этом не распрощались: старуха еще долго не отпускала Вету, напоказ трагически массировала запястье, оправдывалась, что внук очень устает в институте и поэтому не придет к ней в гости на Новый год. Со вздохом призналась, что справлять снова не будет, не досидит до полуночи одна. Позвонит своим часиков в десять, поздравит, пожелает главного здоровья, потом сразу же ляжет спать.

«Ну теперь идите, Веточка. Идите-идите с наступающим домой», — как всегда настырно и задумчиво бормотала старуха, вылавливая из связки ключи. Через секунду Вета уже летела на лифте вверх, ликуя от своего долгожданного освобождения. Радовалась, что, несмотря на слабость, все же сумела проводить бабку, преодолела обстоятельства, справилась с последним в этом году испытанием. Вета летела домой с наступающим. Наперегонки с праздником. С новым счастьем. С расцветающим сердцем. С легкой рукой.

Рахимжон Рахмат

Адашбой

Рассказ

С узбекского. Перевод Саодат Камиловой

Вспыльчивый, картавый, с тоненькой шеей и худыми ногами Адашбой¹ из кишлака Кирк заблудился. Он отправился в кишлак Кум за пять верст на рисорушку. У него был целый мешок неочищенного риса. Мельник сказал, что отключили электричество, если подключат вечером, до утра все будет готово.

Адашбой решил возвратиться. Дорога была извилистой. Ветер непрерывно дул в спину, подгоняя велосипед. Чем сильнее был ветер, тем чаще стучало сердце, рубашка развевалась, как парус, и Адашбой чувствовал себя летящей птицей.

В таком настроении он и сам не заметил, как добрался до какого-то кишлака. Что это за кишлак? Он решил, что приехал в Кумтепу.

Неприглядные глинобитные стены, глиняная штукатурка, дымоходы, одна сторона которых смыта дождем, улицы узкие, кривые, пыльные... Унылая изгородь, кое-где прогнившая. Вокруг темным-темно. Темнота, исходя будто из самых недр земли, поднималась к небу и там светлела. Оказывается, темнота начинается от земли, подумал он. Невозможно понять, с какой стороны солнце. Какое время суток? Хотя и темно вокруг, но Адашбою все четко видно. Или, точнее, виден кишлак, куда он, заблудившись, попал.

Мгновенно появившиеся откуда-то жители кишлака обступили Адашбоя и стали с любопытством разглядывать, как неведомое существо. Женщины и дети, сначала робко высываясь из-за низеньких посеревших дверей, разрушенных временем, с облупленной от дождей, ветра, горячих солнечных лучей и времени краской, затем

Рахимжон Рахмат — поэт, писатель, литературный критик и журналист. Родился в 1961 г. в кишлаке Дангара Ферганской области. В 1995 году окончил факультет узбекской филологии Ташкентского государственного университета. Активно публикуется в литературных журналах Узбекистана — «Звезда Востока», «Ёшлик», «Ёш куч», «Тафаккур». Опубликовано поэтические сборники «Полевые цветы», «Тетрадь жизни» и книга литературных эссе «Адабиётдан чикиш» («Оторваться от литературности»)

Камилова Саодат Эргашевна — литературовед, переводчик, к.ф.н, доцент кафедры мировой литературы Национального университета Узбекистана. Участник 13-го Форума молодых писателей России и зарубежья (Липки). Переводит современную узбекскую литературу на русский язык. В 2013 году стала лауреатом премии Союза писателей Узбекистана за лучшую переводную книгу «Река души моей». Художественные переводы были опубликованы в журналах «Дружба народов», «Звезда», «Звезда Востока» и др.

¹ Адашбой — имя собственное, означает «Заблудший».

потихоньку сливаясь с толпой, обступившей Адашбоя. Почему-то их лица были такого же землистого цвета, как и двери.

Адашбой спросил у них, как называется кишлак. Они сказали, что их кишлак называется Кумбости¹. Он не слышал о таком кишлаке. А в какой стороне кишлак Кирк, вы не знаете? О таком кишлаке они не знали, даже не слышали. Адашбой подумал, что, скорее всего, он попал в соседний район. Спросил о своем кишлаке у таксистов, стоящих неподалеку. Они тоже не слышали о таком. Из какого вы района, — спросили они. С Дангары, — ответил Адашбой. О Дангаре слышали, большой район. Но где конкретно ваш кишлак? Если я доберусь до Коканда, оттуда я найду дорогу в свой кишлак, — ответил он и с надеждой уставился на таксистов... Хорошо, но обойдется очень дорого, — и назвали сумму, напугавшую Адашбоя. У меня нет таких денег, — сказал он. Чем давать столько денег таксистам, лучше буду слоняться по кишлаку, пока не найду наконец дорогу, подумал он. Жители кишлака по-прежнему с изумлением смотрели на Адашбоя. Словно Адашбой не человек, а какое-то диковинное животное, которое они увидели впервые.

Особенно интересен был Адашбой маленьким детям. Они разглядывали его, шумя и галдя, то соблюдая дистанцию, то боязливо приближаясь, словно опасаясь чего-то неожиданного. Все жители кишлака высыпали на улицу поглазеть на Адашбоя. Адашбой подошел к собравшимся и заговорил. Все изумленно, широко-широко открывая рты, загалдели, засмеялись, обрадовались. Словно Адашбой, как солнце, озарил кишлак. Почему-то эти люди, говорящие широко раскрывая рот, так и не закрывали его, перестав говорить.

Взяв за руку Адашбоя, они повели его на кладбище. Кладбище было огромным, заросшим колючей травой, засыпанным песками. Дальняя сторона его смыкалась с небосводом, и где-то там, далеко-далеко, тоже хоронили мертвых.

Люди, указывая на бесконечные ряды могил, что-то говорят, радуются. Но Адашбой не слышит их. Словно говорящие находятся за толстым стеклом. По их лицам Адашбой догадывается, что речь идет о чем-то интересном.

Один из человечков стал кетменем крушить старую могилу. Вырыв яму побольше, он жестами показал Адашбою: «спускайся туда». Тот заглянул в яму и увидел маленького старичка, который хмуро сидел, ссутулившись, опустив свой саван до плеч. Его голова с редюсенькими волосами была покрыта язвами, что делало ее похожей на кочан цветной капусты, по плечу и предплечью ползало несколько скорпионов. Старик, подняв голову и увидев Адашбоя, приветливо улыбнулся толпе и рукой подал знак: «давай, спускайся». Затем, взяв в руки одного из скорпионов, — не бойся, дескать, не кусаются, — пристроил его себе на лицо.

Увидев старика, толпа возликовала и, взяв Адашбоя под мышки, — «это твой отец, поздоровайся с ним», — люди хотели опустить его в могилу. Адашбой чуть было не крикнул, что отец его еще не умер, но промолчал, поняв, что в таком гвалте голоса его никто не услышит.

Кладбище было очень старым, разрушенным. Однако, несмотря на заросли верблюжьей колючки, кустов с маленькими листьями, но очень длинными иголками, на большинстве могил были установлены мраморные надгробные плиты с именами усопших, а на некоторых были даже фотографии.

При входе на кладбище, с левой стороны уныло произрастало несколько фруктовых деревьев. Поодаль от деревьев была терраса с безглазыми чернеющими окнами. В центре террасы стоял гроб, похожий на плетеные носилки. Несколько маленьких ребятишек, взобравшись на него, как на лошадь, скачут и молча улыбаются, глядя друг на друга. Увидев Адашбоя, они стали стегать гроб неизвестно откуда взявшейся хворостиной.

¹ Кумбости буквально — запыленный, засыпанный песком.

Толпа, ухватив Адашбоя под мышки, притащила его к могиле, на которой был установлен огромный черный мраморный памятник. Человек, изображенный на камне, показался ему знакомым. Ба, это же Султанбой, съедавший за один присест миску мантов, вчера он видел, как тот покупал у мясника четыре килограмма мяса. Вспомнив это, он обернулся к толпе. Та, словно прочитав мысли Адашбоя, начала согласно кивать: «да, это так».

Адашбой недолюбливал Султанбоя. Когда-то, сломав забор, разделявший его с соседями, и построив новый, тот захватил приличный кусок чужой земли.

Фотография на могильном камне стала как будто оживать. Сначала порозовели щеки, затем заблестел лоб. Адашбой посмотрел на глаза: они оживали, раскосые, совсем не подходящие к этому огромному, как медное блюдо, лицу, глаза умоляюще смотрели на толпу. Когда они обратились на Адашбоя, губы раздвинулись в широкой улыбке. Затем лицо покойника, как полная луна, стало розовым, а потом почернело и, словно воск, начало таять, стекая длинными каплями на мраморную плиту. Адашбой с удивлением взглянул на толпу: она, наблюдая за происходящим, делала руками знаки «класс», ликовала, хлопала в ладоши и кричала. Какой-то низенький человек сказал, что могила горит изнутри, поэтому лицо на мраморном камне тает и оплывает. Адашбой в очередной раз удивился, что можно говорить, не раскрывая рта. Старые разрушенные могилы провалились и напоминали... Ну да, очаги, подгоовленные к тому, чтобы их разжигали. Не успела эта мысль мелькнуть в его голове, как к нему приблизился человек с вязанкой дров и сделал движение глазами и подбородком: мол, разжигай.

Неожиданно Адашбою показалось, что кладбище похоже на его кишлак. Люди, облокотившиеся о могилы, дружно сидящие на земле — все они были знакомы Адашбою. Точно, это мой кишлак, подумал он. Кто-то из толпы сверкнул рыбьими глазами, как бы желая сказать: «Правильно. Это твой кишлак. Если пойдешь чуть дальше, то увидишь свой глиняный дом».

Адашбой повернул в сторону кишлака, толпа двинулась за ним. Вдруг он очутился на кишлачном базаре. Маленький базарчик. Магазины, будто из картона. Две старые бабки продают курт, семечки, воздушные шарики, конфеты в обертке и другие яркие мелочи. Приблизившись к ним, он с удивлением понял, что это его мать и бабушка. Ему показалось, что мама даже старше бабушки. Обе выглядят так же, как те ветхие двери, которые он недавно видел.

Что они здесь делают? Или, отправившись на городской базар, они заблудились? Почему-то и мама, и бабушка, глядя на Адашбоя, молча улыбаются. Они что, не поняли, что и я, заблудившись, попал в чужой кишлак?.. Одна из старушек, его мама, указала на камень, похожий на кулак: на, дескать, возьми сухарик. Он хотел возразить, что камень нельзя кушать, но голос пропал. А толпа набросилась на камень, будто это действительно был аппетитный круглый сухарь. Промолвив: «Нельзя есть камень», Адашбой пошел прочь.

Наступил вечер, он попросил найти ему место для ночлега. Толпа, не отступавшая от него весь день, похоже, обрадовалась. Его пригласили в дом, отвели в дальнюю комнату. Сказали: вот ваше место. Кто-то из людей пообещал привести вечером красивую женщину. Эти слова он услышал не ушами, а сердцем.

В полночь в дверь Адашбоя сильно постучали. Женщина пришла, подумал он и открыл. Да, это была женщина — одетая в атласное платье и шаровары, с полной шеей и бедрами, с накаченными, как у тяжелоесов, плечами, большим животом. Над левой бровью у нее был красноватый выпуклый нарост с горошину. Улыбка женщины напугала его. Женщина быстро вошла и, повиснув на шее Адашбоя, повалила его. У Адашбоя перехватило дыхание. Хотелось оттолкнуть женщину. Сил не хватило. В это время на пороге появилось несколько человек.

Женщина, встав и не спеша оправив платье, собравшееся складками на спине, отошла в сторону. Она была чем-то довольна и улыбалась. Утро уже, мы приготовили чай, — пригласили пришедшие Адашбой.

На сухой земле под старой, с влажным стволом и капающей сладкой клейковиной урючиной была постелена ветхая, с торчащими нитками, шалча¹, на которую положили изодранную курпачу². А посередине красовалась скатерть, которую в нескольких местах прогрызли мыши. На скатерти лежал заплесневелый кусок лепешки. Женщина, с черными бараньими, слегка увлажненными глазами, худенькая, хрупкая, одетая в широкое платье, принесла чай в чайнике с отбитым носиком. «Пейте, я заварила чай из своих слез», — словно хотела сказать она. Присмотревшись к женщине, он узнал в ней собственную жену. Неожиданно толпа втянула ее в себя, в самую середину. Каждый старался подойти совсем близко и, наклонив голову, сфотографироваться с ней, словно со знаменитостью. Затем женщина, замахав подолом платья, как крыльями, взлетела в небо. А толпа, показывая руками на улетающую женщину, словно хотела сказать Адашбою: «Видишь, жена твоя — ангел».

Подняв глаза, Адашбой увидел огромное озеро. Оно было сплошь покрыто зеленой ряской, водорослями и густой листвой, только кое-где проблескивала голубая вода. Толпа, преследующая Адашбоя, как тень, достигнув берегов озера, стала скидывать одежды, собираясь купаться. Толпа общалась, не издавая ни одного звука, но Адашбой каким-то образом умудрялся расслышать каждого.

Раздеваясь, молча заголосили они, лезь в воду. Адашбой снял всю одежду, остались одни кальсоны. Только хотел войти в воду, как толпа закричала, что в озере живет русалка, там надо плавать голым. Адашбой невольно подчинился распоряжению толпы. Он чувствовал, что каждым его поступком руководит толпа, что он исполняет все ее безмолвные команды. Однако понимал, что сопротивляться у него нет ни сил, ни желания.

Пытаясь хоть как-то прикрыться, Адашбой присел на колени, но толпа только хохотала и тыкала в него пальцами. От стыда Адашбой готов был провалиться сквозь землю. Иди, иди, тебя русалка ждет! Вода вдруг сильно заколыхалась. Резко обернувшись, Адашбой увидел голую женщину, расчесывающую редкие и короткие волосы. Русалка была похожа на городскую любовницу Султанбоя. Позавчера эта женщина, одетая в узкий костюм, из которого выпирали ее формы, придя в дом Султанбоя, устроила скандал. Она таскала за волосы тихую, редко выходящую из дома и постоянно улыбающуюся жену Султанбоя, раскровянила ей лицо, укусив за левую щеку. Если бы женщины махали вовремя их не разняли, плохо бы дело кончилось. Еще не остыв после драки, городская с криками: «Я сейчас пойду в чайхану и опозорю твоего мужа, всем расскажу, что он вытворяет, когда спит со мной», двинулась прочь.

Русалка, не замечая собравшихся на берегу людей, спокойно расчесывала мокрые волосы, сосульками спускающиеся к плечам, и массировала шею. Адашбой боялся опустить взгляд ниже шеи.

Теперь он окончательно понял, что воля совсем ушла из него. Толпа играла с ним, будто с куклой, все, что приходило на ум, тотчас делалось ее командой. И Адашбой подчинялся. Вот они приказали ему быть собакой, и он тотчас же стал бегать на четвереньках. Устал, остановился и, высунув длинный язык, задышал тяжело. Слюни висели до самой земли.

Наблюдавшая это толпа заулыбалась и начала аплодировать. Затем стала показывать руками: «класс!» А потом приказала стать ишаком. И он, как ишак, побежал вприпрыжку, затем, словно увидев ослицу, поднял повыше хвост и закричал.

¹ Шалча — коврик.

² Курпача — узкое одеяльце из ваты.

Нет, он никогда не сможет уйти из этого кишлака. А может, это он по ошибке попал в психушку, что на окраине города? Адашбой слышал, что где-то за городом неподалеку от его кишлака есть дурдом. Толпа, проникшись мыслями Адашбоя, одобрительно улыбаясь, вместе с ним направилась в сторону психушки.

«Вот место, которое ты ищешь, вот, смотри», — говорили они, указывая на сколоченные из грубых одинаковых досок громадные бараки, расположенные на площади. Толпа повлекла Адашбоя внутрь одного из них. Барак был очень просторным, как поле для мини-футбола. Рядами стояли двухъярусные кровати, на которых, улыбаясь, в одинаковых одеждах лежали неопределенного возраста люди, вытянув руки по швам и безучастно глядя в потолок, словно хором выполняли один приказ. Все они показались Адашбою знакомыми. Они были похожи на тех, что заставили его войти сюда. Значит, они сумели как-то просочиться вперед него и разлечься по кроватям. Придя к такому выводу, он быстро вышел наружу. Но там его вновь ожидала улыбающаяся толпа.

Взяв Адашбоя за руки, его завели уже в другой, теперь уже огромный барак. Но картина была той же самой: двухъярусные кровати, люди в одинаковой одежде и с одинаковыми бледными бескровными лицами. Лежат, вытянув руки по швам, и молча глядят в потолок. Только по их улыбкам можно было догадаться, что они живы. Адашбой подумал, что эти улыбки возникают от воздействия каких-то волн, исходящих от проводков, вживленных в их мозг, которые напрочь лишали этих бедняг сознания и воли. Разве может быть одинаковое настроение у всех? Ведь еще недавно, вчера, на кладбище, кое-кто из тех, что шли за гробом, тихонько рассказывал анекдоты и улыбался. Почему они все лежат в одинаковых позах? Его вдруг затошнило, резко развернувшись, он вышел. Мелькнуло: нужно бежать отсюда. Но куда, в какую сторону?

Перед Адашбоем оказалось высоченное дерево, росшее, казалось, из самых глубин земли. Густые ветви стояли непроходимой стеной. Он поднял глаза к небу. Неба не было. Тучи опускались до самой земли. Вот здесь, между ветвей, где-то есть просвет... есть... должен быть! Если удастся его отыскать, то он сумеет добраться до кишлака, над которым высоко в небе сияет солнце.

Просвета не было. Он вдруг понял, что и ствол дерева, и ветви, и вся эта непроходимая живая изгородь — все это неживое, его недавно сюда вкопали. Кто, зачем? — но какая разница? Он брел и брел вдоль глухой стены из ветвей, наконец устал и сел на землю. Становилось все темней, все черней от туч. «Я так и останусь в этих черных тучах», — подумал он, и снова принялся искать выход. Долго искал. Пока не понял, что, обойдя стену, вернулся к изначальному месту.

Тучи опустились до самых плеч Адашбоя. «Неужели я так и не найду свой кишлак и останусь здесь на всю жизнь», — подумал он и посмотрел вдаль. Но кроме тучи ничего не было видно. Скоро не стало видно и ее — Адашбой оказался поглощенным этой мрачной тучей. Растворился, исчез.

Сохранилось только одно — способность мечтать.

Нина Дашевская

Канатоходец

Рассказ

— Трус, — говорит мне Петер.
— И ничего не трус, — говорю я. — Просто не хочу.
— Да ты не бойся, — ласково говорит мне Шмулик, — я раньше тоже боялся, а теперь вообще не страшно!

Вот же, а. Так бы и двинул Шмулика этого.

— Не хочу, и все! Не боюсь я!

Петер подошел ко мне близко-близко. Я даже увидел маленькие крапинки в его выцветших глазах.

— Докажи, что не боишься.

— Не буду вам ничего доказывать! Хотите — летайте сами, чего привязались!

Петер презрительно плюнул.

— Ладно, моя очередь, — миролюбиво сказал Шмулик и полетел.

У-у-у-уххх! — всего-то секунда. И за это время мое сердце успевает сгонять в желудок и обратно, как шарик на резинке.

Изо всех сил вдыхаю запах сосновых иголок. Вот за этот запах люблю это место, надо же было так испортить его тарзанкой. Канат привязан к толстой сосновой ветке на самом краю обрыва. Толкаешься и летишь над карьером; и назад.

— У-у-уххх, — полетел Марио, его очередь. Бритая макушка отсвечивает на солнце. Марио недавно болел; а его мать думает, что все болезни — в волосах. Вот и побрила наголо. У него оказалась неожиданно красивая форма головы, ему идет.

После него летит светловолосый Петер.

А я не буду. Больно надо.

Нет, я не трус. Просто не люблю это, не понимаю. Зачем бессмысленно рисковать. Если бы войти в горящий дом спасти человека — это да. А так...

И потом, как я могу быть уверен, что канат не порвется или что ветка не обломится? Вон как трещит!

А за свои руки, пожалуй, я отвечаю. У меня сильные.

Вдруг Марио оглушительно свистит, но уже поздно — полицейский хватается первого, кто подвернулся: меня.

— Что это вы тут, а?! Свихнулись совсем! Это все ты, все ты их учишь своим штукам!

Дашевская Нина Сергеевна — прозаик. Родилась в г. Тверь, закончила Московскую Консерваторию, работает в оркестре Детского Музыкального Театра им.Н.И.Сац. Публикуется с 2009 года (журналы «Кукумбер», «Чиж и Ёж», альманах «Как хорошо»). Автор книг для детей и подростков: «Около музыки» (2015), «Скрипка неизвестного мастера» (2015), «Вилли» (2015), «Я не тормоз» (2016). Лауреат конкурсов «Книгуру», «Новая детская книга», международной литературной премии им.В.П.Крапивина.

...Конечно, я, больше некому. Терпеть он меня не может, вот что.

— Доминик, беги! — кричит Шмулик. Они-то уже далеко, особенно Петер.

Но я не бегу. Я смотрю мимо полицейского с самым идиотским видом, на какой способен, и мычу:

— Да тут все... Все летают. И мы... А чего такого... А Петер не летал вовсе, просто смотрел.

Мне ничего не будет. А вот Петеру мало не покажется: полицейский — его отец.

— Спилю этот сук к чертовой пр-р-рабабушке! — грохочет он.

Ну да, ну да, киваю я, стараюсь казаться меньше и безобиднее. Дожидаюсь, пока они убегут подальше. И как только отец Петера теряет бдительность, я резко бодаю его затылком в подбородок, он на миг ослабляет хватку — и привет, никогда, никогда этому коротышке-полицейскому не догнать Доминика!

* * *

...Я нахожу их в городе, болтаются на рынке. У Марио сегодня есть деньги, он заработал утром и теперь угощает всех горячими вафлями. Деньги отдают Петеру, и пока он солидно платит за вафли, Марио успевает стянуть еще и пирог с мясом.

С ними ошивается незнакомый парень в тельняшке. Новенький. Откуда взялся?

— Доминик! — первым замечает меня Шмулик. — Как ты? Сбежал?

— Чего сразу-то не свалил, — ухмыляется Марио, — все утекли, а ты остался? Я же свистел!

Похоже, они не понимают, что я просто дал им возможность убежать!

— Что он сказал-то? — хмуро спрашивает Петер.

— Сказал, что пустит тебя на котлеты, — метительно говорю я. — И еще сказал, что спилит этот сук к чертовой прабабушке.

— А ты что?

— А я сказал — если спилят тарзанку, так мы на колокольню будем лазать все равно!

— На колокольню! — вдруг загораются глаза у лысого Марио. — Вот это мысль!

Черт дернул меня за язык. Мы дожевываем пирог (мне все же достается кусочек) и дружно тащимся на колокольню. Она стоит на главной площади, прямо напротив ратуши. Нарядная, будто кремовый торт.

Но если нырнуть в арку — колокольня открывается с другой стороны. Там, где слезающая штукатурка открывает выбитые кирпичи. По этой стене можно залезть довольно высоко...

Я легко добираюсь до первого карниза, касаюсь его рукой — все, достал! — и прыгаю вниз. Невысоко, метра два тут.

— А чего дальше-то не стал? — спрашивает новенький. Нацепил тельняшку и воображает себя матросом. — Мог бы подтянуться за карниз и спокойно дальше лезть. Боишься, что ли?

Сговорились прямо.

— Не боюсь я. Не хочу просто.

Скучно мне с ними, надоели. А Матрос насаждает, прямо нарываясь — боишься, да?

— Да не хочет он! Он не трус! — выкрикивает маленький Шмулик.

Вот тут он и схлопочет у меня по черному кудрявому затылку, мне не требуются адвокаты!

Матрос откровенно насаждает, а я отхожу. Назад. Вот придурок, драться ему хочется, видите ли! А мне вот не хочется! Он сплевывает:

— Вот не думал, что на вашем берегу все такие. Кисейные барышни.

Ого, книжный мальчик: кисейные барышни. Наши так не говорят! Наши... Наши — это вот Марио. Глаза наливаются горячим, и он бросается на Матроса, они катаются по земле...

А я стою, как дурак. Я просто не хотел драться. А эти двое хотели. Чего вот я теперь должен!

Встали, отряхиваются. Марио смотрит на меня презрительно. Он почти всегда так смотрит на меня: думает, что я и правда трус. А жалко: мне кажется, мы с ним похожи. Только мы двое работаем по утрам.

Этот, в тельняшке, уцепился за выбоины в стене и лезет на колокольню. Ну-ну, посмотрим. Это только кажется просто, тут надо знать... Я подсаживаю маленького Шмулика, подпикиваю его босую ногу — давай же, лезь! И он оказывается даже выше Матроса. Еще чуть-чуть, и он достанет до карниза!

— Самуэль!! — вдруг раздаётся истошный визг аптекаря, отца Шмулика. — Слезай немедленно!

И чего он не в аптеке своей, почему мы сегодня натыкаемся на отцов? Станный какой-то день, мы скатываемся со стены, летим со Шмуликом прочь дворами и подворотнями и, только вылетев к реке, переводим дух.

— Чего тебе будет? — спрашиваю его.

— Ничего, — улыбается Шмулик. Надо же, Самуэль — какое у него имя оказалось серьезное. — Ничего, он так только кричит.

Нас догоняют остальные. Матрос еще пытается задирать меня, но его не поддерживают. Меня никогда не будут особо дразнить. Вообще-то я знаю, что они терпят меня только по одной причине. Ну и пусть.

— Оставь его в покое, — говорит Петер. Матрос пожимает плечами.

И тут я лениво спрашиваю:

— Ну что? Кто сегодня? Двое. Могу только двоих, мне и так попало в прошлый раз.

Марио отходит. Он занят сегодня вечером — работает; мать просила помочь. Я вообще думал — Петер и Шмулик; но теперь еще этот Матрос...

Я могу провести их в цирк. Без билета. Я один. Интересно, Шмулик подлизывается ко мне из-за этого? Или просто так? Ведь может же быть такое, чтобы просто так!

У всех троих несчастные глаза. Кто из них будет — двое? Матрос, в общем, непонятно откуда взялся, а Петер и Шмулик — наши...

— Камень-ножницы-бумага, — решаю я. Я всегда решаю именно это. Не кто пойдёт, а какой жребий выбрать. Потому что никогда я не смогу сказать живому человеку: ты с нами не пойдешь в цирк.

Матрос проигрывает.

— И пожалуйста, — говорит он, — и больно надо!..

Отходит к Марио.

— Ты когда-нибудь был в цирке? — спрашивает его Шмулик. Матрос качает головой. Неужели не был?! Ни разу!

— Тогда ладно, — тихо говорит Шмулик. — Иди вместо меня.

* * *

Мне ужасно жалко маленького Шмулика; но что я могу сделать! Раньше я водил всю толпу, но сейчас Аристотель сказал мне: или двоих, или вообще лавочка прикроется.

Публика уже собирается на представление. Я ныряю в здание цирка со служебного входа. Здесь нельзя провести других — заметут! У нас есть запасные варианты. В несколько минут я перебираю их все, ношусь по цирку, как бешеный. И понимаю — сегодня можно только через слоновник. И даже радуюсь: вот им, Петеру и Матросу! Пусть нюхают!

Петер идет мимо слонихи Джеральдины, зажав нос, явно боится. Джеральдине только хоботом двинуть, и готово! Зато Матрос смотрит на нее во все глаза и улыбается: надо же, какая! Слонов он тоже никогда не видел раньше. Я тащу его за рукав — скорее!

Мы продираемся по самым темным коридорам и лестницам и, наконец, выныриваем в осветительскую.

— Аристотель! — шепчу я громко. — Ты один?..

— Да и уже отвернулся, — отвечает мне Аристотель, наш осветитель, король всех

фонарей и прожекторов. Директор терпеть не может посторонних в театре, безбилетников. Но Аристотель старше директора в два с половиной раза и не больно-то боится. Он только просит, чтобы я не приводил больше двух человек.

Вокруг самого ярко прожектора — самая черная темень. И никто не увидит три притихшие тени: Петера, Матроса и мою.

Отсюда я смотрю все представления. А еще смотрю на Матроса. Он и правда первый раз в цирке — сидит, открыв рот. Как маленький.

Акробаты и дрессированные собаки. Фокусник (его не люблю). Клоун Бартоломео (обожаю). Но это все не главное. У меня страшно колотится сердце, и я знаю — сейчас на арену выйдет он.

* * *

— Лучший в мире канатоходец Теодор Юлиус Штрохольм!

И он выходит. Идет по канату, легкий, как горсточка нута. Тонкий и гибкий, как мальчишка. Он совсем не выглядит взрослым.

Я перестаю моргать. Мне кажется, закрой я глаза хоть на миг — и он... В общем, я держу его взглядом, помогаю. Так трудно идти по этой тонкой ниточке, она отблескивает в свете прожекторов, как паутинка в утренней траве.

Я смотрю на него, и мне кажется, что это я. Что это я иду, раскинув руки, и не вижу всей этой толпы — только свой путь, тонкий трос, натянутый высоко над ареной. И мне не страшно. Совсем.

Толпа ахает, замирает. У меня останавливается сердце. Нет, опять стучит, нормально. Идет, просто пошатнулся.

Чертов канатоходец. Не смотреть бы. Говорят, когда переживаешь — теряешь часы жизни. С ним я теряю целые дни и годы. Скоро от моей жизни совсем ничего не останется.

Он, качаясь, доходит, наконец, до твердой площадки. Публика взрывается аплодисментами. Но я-то знаю. Я-то знаю, что это только начало номера.

Там, на площадке, он открывает ящик и достает старый халат. Надевает его, зевает...

Теодор Юлиус приходит домой. Снимает ботинки. Гладит кошку, ставит чайник...

Он восхитительный мим. Это называется пантомима: когда показывают что-то без слов и даже без предметов. Но все будто видят и кошку, и чайник... Кошка мяукает, чайник кипит — я знаю, что звуки идут в записи, через динамик. Но кажется, что это у него в руках возникает чудо... Смотрел бы и смотрел. Если бы только Теодор Юлиус не проделывал все эти штуки на своей проволоке.

Я знаю, какого труда, какой точности стоят все эти будто бы ленивые, неловкие движения. А он ложится себе спать. И даже храпит, будто нет более удобной кровати...

Это очень страшно. Потому что это самое трудное — вот так сохранять равновесие на узкой проволоке, лежа.

Оглушительно звонит будильник, и Теодор Юлиус Штрохольм вскакивает с постели. Лихорадочно умывается, бреется — опаздывает! Перекусывает на ходу, выпивает кофе, ловит такси... И вот он на работе. Он возвращается на твердую площадку, скидывает там свой халат и вновь превращается в настоящего канатоходца — тонкого, гибкого и сильного, его тело натянуто, как струна, он бесстрашен! Снова он идет по проволоке, раскинув руки... И хотя зал уже знает — это самое простое, это ничего ему не стоит — но все равно встает. Весь цирк встает и аплодирует ему! И он делает для восторженной публики сальто на проволоке.

...И вместе с ним сальто делает мое сердце.

Теодор Юлиус Штрохольм, когда же кончится твое бесконечное выступление!

Наконец он спускается на твердую землю. И я вспоминаю, как дышать. И закрываю глаза. Они мокрые — подробуйте-ка сами не моргать столько!..

Я знаю, знаю, что у него есть страховка. Если он сорвется — это не так уж и страшно. Он показывал мне миллион раз, чтобы я перестал бояться за него. И однажды на представлении по-настоящему сорвался. Повис на страховке, как паучок...

Публика ахнула. Он сделал вид, что это специально, симпровизировал, продолжил номер дальше. Но я-то знаю... И потом. Кто может обещать, что страховка всегда сработает так, как надо.

* * *

Мы выходим из цирка.

— Ну что, понравилось? — спрашивает Петер, будто именно он привел Матроса на представление.

— Вообще. Вообще! — твердит Матрос, все другие слова забыл. Я радуюсь, что ему так понравилось и что он этого не скрывает. — А этот... канатоходец! Вообще. Вообще!

— Да, канатоходец крутой, — кивает Петер. Я молчу.

Вдруг Матрос поворачивается ко мне.

— А я видел, как ты смотрел на него. Видел. Боялся. Белый весь сидел. Ты же представлял, как будто это ты? Да?

Я вздрогнул. Откуда он знает?..

— Ты, наверное, хочешь тоже. Да? Тоже хочешь ходить по канату?

— Нет, — отвечаю я. Я не говорю ему, что умею ходить по канату. Не так-то это и сложно, если просто ходить.

— Лучший номер! — повторяет Матрос.

— Ненавижу этот номер, — бормочу я. — Лучше бы его не было.

— Оставь его в покое, — бросает Матросу Петер. — Он переживает. Каждый раз переживает, как черт.

— За канатоходца?

— Да. Это его отец, — сдаётся наконец Петер.

...Мы выходим на площадь. Часы на здании ратуши бьют десять раз. От колокольни до соседнего дома натянут трос; в праздничные дни на нем развешивают флажки и фонарики. Я киваю на него:

— Раньше он ходил здесь.

— Кто? — не понимает Матрос. — Где ходил?..

— Теодор Штрохольм. В День города он шел по этому тросу. От того дома с башенкой до колокольни. Шел над толпой, раскинув руки. Безо всякой страховки. И когда он проходил трос до конца, звонарь ударял в колокол. И толпа выдыхала. Это было очень страшно.

— Прямо здесь?.. — Матрос с Петером стоят, задрав головы.

— Да.

— Ты видел?

— Нет, это было давно. Еще до моего рождения. (Да, кивает Петер, отец мне рассказывал. Весь город приходил смотреть на нашего канатоходца.)

— А сейчас?.. Почему он не ходит сейчас?

— Из-за меня, — отвечаю я. — У него же есть я. А у меня, кроме него, никого нет. И он не может теперь так просто пройти над площадью без страховки. Не может.

* * *

— Значит, ты целыми днями в цирке?

— Ну да.

Мы идем с Матросом вдоль реки. Петер давно ушел, запрыгнул к себе через окно, чтобы притвориться спящим. Лучше остаться без ужина, чем попасться на глаза отцу! А спящего ребенка, глядишь, не тронут.

Я пошел провожать Матроса на другую сторону реки. Он живет там, у самых доков. Оказалось, он и правда матрос — работает на маленьком пароходике. «Речная электричка», — скептически обзывает свое судно Матрос: ходит до близких деревень и назад, в тот же день. А ему, конечно, хочется в море...

Я никогда не был здесь, в доках. Видел их только со своего берега реки. Здесь чинят небольшие суда, катера. Здесь же латают и Матросову «электричку», поэтому он оказался сегодня свободен.

Матрос в благодарность за цирк тоже показывает мне свой мир. Совсем стемнело, бродят скучающие собаки; кошачьими голосами орут чайки. Всюду скрученные в бухты канаты, пахнет дегтем. Или, может, не дегтем — но мне кажется, этот запах зовется так. Матрос показывает мне длинную палку в воде. Такой высокий столб: на нем отмечают уровень воды.

— Видишь, в прошлом году было наводнение. Вода вышла из берегов, захлестнула набережную. Помнишь?

— Конечно, помню.

— Да, это было неопасно. А теперь смотри.

На самом верху столбика тоже есть отметка. Металлическая скобка, на ней выбит год.

— Что это?

— Тридцать лет назад было. Ужас что. Пришла сильная волна с океана, и ветер гнал воду, гнал и гнал... Знаешь, у меня есть сосед, он ученый. Так он бредит наводнениями этими. Очень боится. Изобретает способы защиты... А в этом году прибор изобрел, который предсказывает наводнения. Этот прибор все время на нуле. Ну и значит, наводнения пока не будет. Над этим ученым все смеются. А я смотрю на эту отметку на столбе и думаю — нечего смеяться. Может, он прав.

...Мы говорим еще про наводнения. Потом Матрос рассказывает мне про море. Как там нужно будет лазать по вантам, на самом верху.

— Но я не боюсь высоты, — говорит Матрос. — Я смогу.

— Может... Знаешь, никогда не думал. Но, может, и я... И я хочу быть матросом.

— Ну... Там высоко, — говорит Матрос.

— Ты думаешь, я боюсь высоты? — спрашиваю я. Он молчит. — Я ненавижу бессмысленный риск, — объясняю я. — Просто чтобы показать — вот какой я, и не боюсь! Если бы спасать кого. А так...

— Слушай, — говорит Матрос, — а если бы нужно было спасать? Ты бы не испугался?

— Думаю, нет, — осторожно говорю я.

Потом он рассказывает мне о своей работе. Она нетрудная. Конечно, совсем легкая — я вижу, какие у него мозоли. Почти как у меня.

— А ты тренируешься каждый день? — спрашивает он.

— Ну да. Сейчас, правда, меньше. Тео (я зову отца Тео, его все так зовут) видит, что я не буду таким, как он. Но все равно... Все равно он говорит, что должен дать мне профессию. Что дальше я — как захочу. Но он должен быть уверен, что я хоть что-то умею.

Мы пришли; вот Матрос и дома. Но мне почему-то совсем не хочется расставаться с ним. Первый раз мне так нравится слушать человека. И ему, похоже, тоже интересно со мной.

— Слушай, — говорит он. — А пойдем к моему соседу? Тебя вообще ждут дома или как?

— Нет; я могу в любое время прийти. Сегодня день рождения нашего фокусника, я его терпеть не могу. А Тео там, с ними. Так что я свободен.

— Тогда пойдем к Абрахаму! Он такой, знаешь... Он удивительный.

* * *

Сосед Матроса Абрахам Суббота — великий ученый. Это сразу ясно, как только заходишь к нему в комнату. Вернее, это и комнатой назвать трудно — такое нагромождение склянок, металлических штук, сундуков, старинных книг и непонятных приборов. Мы продираемся мимо этого хлама и не сразу находим в углу самого Абрахама Субботу. У него длинные седые волосы и борода, как у волшебника. И очки. Колоритный тип, ничего не скажешь.

— Здравствуй, Абрахам, — говорит Матрос громко (ученый глуховат). — Это Доминик, познакомься.

Мне странно, что они на «ты». Но я ведь тоже на «ты» с клоуном Бартоломео и даже с Аристотелем, а он еще старше.

— Доминик? — спрашивает Абрахам. — Откуда ты?

— Из цирка, — пожимаю я плечами. Это не совсем честно: все-таки я не цирковой, если по-настоящему. Но как еще ответить на такой вопрос?

— Из цирка? — удивляется Абрахам. — А кто твои родители?

Даже обидно. Как будто в школе. Или в полиции: отец Петера забирал меня пару раз и задавал мне такие же идиотские вопросы. Хотя прекрасно знал ответы.

— Мой отец — Теодор Штрохольм, — говорю я. Надеюсь, на этом допрос закончится.

— Теодор Юлиус? — Абрахам даже вскочил. — Тот самый, который ходил по проволоке над городом, до самой колокольни?! Теодор Юлиус Штрохольм. Но ведь он совсем мальчишка! Не знал, что у него есть сын.

...Да, когда отец ходил по проволоке без страховки, он был совсем юным. Наверное, Абрахам запомнил его таким, а в цирке и не был с тех пор.

— Настоящий канатоходец, — качает головой Абрахам Суббота. — Сейчас таких нет...

Я открываю рот, чтобы сказать: как же нет! Он есть, работает, ходит по канату лучше всех, приходите посмотреть!

...Но тут я понимаю. Человек, который работает в цирке, показывает сложный, сумасшедший номер, которого не делает никто в мире, — и канатоходец, который идет над городом без страховки, сосредоточено, серьезно идет по тонкому тросу, и тело его натянуто, как струна, а толпа внизу смотрит, задрав головы, замерев, не дыша... Такой канатоходец — это совсем другое дело.

— У тебя не цирковое имя, — вдруг говорит Абрахам.

— Это точно, — киваю я. — Он хотел назвать меня Лоэнгрином. Или, в крайнем случае, Христофором. Но мама сказала — Доминик. Поэтому так.

Хорошо, что Матрос не спрашивает про мою маму. Я и сам ничего о ней не знаю. Только то, что она назвала меня этим именем, самым обыкновенным. Иногда я думаю, что из-за этого имени я нецирковой внутри. Тоже самый обыкновенный.

...Абрахам Суббота показывает нам с Матросом всякие штуки. Прибор, который может сосчитать зерна внутри нераскрытого граната. Флейту, которая может повторять голоса птиц. Часы, которые идут с точностью до одной секунды в миллион лет.

— Покажи Доминику волнометр, — говорит Матрос и добавляет шепотом, для меня: — это его гордость.

— О, конечно! Волнометр... Куда же он запропастился... А, вот!

И он торжественно показывает мне прибор вроде половинки часов, с антенной. Только стрелки у него нет.

— А... Как он показывает? — спрашиваю я.

— Очень просто! Эти отметки — возможный уровень воды. Над уровнем моря.

— А... Сколько он показывает сейчас? — я все еще не понимаю.

— Сломался, наверное, — пожимает плечами Матрос. — Стрелка всегда на нуле была. Но сейчас ее нет...

Абрахам растерянно смотрит на свой волнометр. И вдруг бледнеет. Руки начинают дрожать.

— Что это... Вы видите?! Что это! Стрелка... Она лежит!

Наконец, вижу и я. Стрелка лежит, но не на нуле. А с другой стороны.

— Сломалось? — спрашиваю я.

— Нет. Он не мог сломаться, — ученый еле удерживает в руках прибор. — Шкалы не хватило. Вы видите?! Зашкалило! Город затопит! Огромная, огромная волна идет с океана! Скорее, скорее, предупредить всех!

— Как... предупредить? — лепечу я. Правда, как? Стучать в окна?!

- Сколько у нас времени? — очень спокойным голосом спрашивает Матрос.
— Не больше двух часов... Подвалы, первые этажи. Надо... Скорее, скорее!
— Колокол, — вдруг говорит Матрос.

Точно. Как я сам не догадался?.. Это единственный способ. Разбудить, поднять весь город!

* * *

Мы летим с Матросом как сумасшедшие. Он ведет меня коротким путем — мы перемахиваем через заборы, пригодилась наконец моя физическая подготовка!

Мы бежим рядом, и я все думаю: надо же, как мне повезло с другом! Он сразу понял, что делать! И главное — он не боится ударить в колокол. Разбудить весь город!

- А вдруг, — спрашиваю на бегу, — вдруг его волнометр врет?..

— Тогда хорошо, — отвечает Матрос. И точно, тогда хорошо ведь! Правда, чего тогда мы ударим в колокол, как дураки?.. — Но приборы Абрахама не врут, — добавляет Матрос. — Число зерен граната он показывает точно. Я проверял.

Перебегаем мост; уже близко. Ну, вот и площадь. Хоть бы солдат стоял у ратуши — так нет никого! Только мы с Матросом. Значит... Значит, в колокол бить нам.

...На двери колокольни — огромный замок. Да нет, никакой не огромный. Самый обычный. Однако... Я как-то не подумал, что вход на колокольню ночью будет закрыт.

— Будить звонаря? — спрашиваю я. Даже с некоторым облегчением — все ж таки мне не нравится идея лупить в колокол самим.

- Ты знаешь, где он живет? — спрашивает Матрос.

— Нет, конечно... Надо узнать...

Как узнать? У кого?!

— Нет времени, — говорит Матрос. Он ухватывается рукой за стену, там, где выбиты кирпичи. И другой рукой. И...

Я с ужасом понимаю, что он хочет долезть до проема второго этажа по стене. Пролезть, как воры! Но разве у нас есть выбор?..

Лезу за ним. Хватаюсь за карниз, подтягиваюсь. Быстрее, чем он. Я ведь знаю, как тут лезть. Только выше... Никогда не забирался так высоко. О, вот и все! И... И решетка. Черт, откуда здесь решетка?!

Мы висим с Матросом, как две обезьяны в зверинце. Вот она, колокольня внутри. Но нам не попасть туда! Кому пришло в голову поставить решетки?! Неужели из-за нас, дураков? Увидели и теперь боятся, что мы влезем?

— Как же, — повторяет Матрос, — как же так! Не было же никаких решеток, еще утром не было!

Выше лезть бессмысленно. Там, дальше — гладкая оштукатуренная стенка. Не за что зацепиться.

Матрос прыгает вниз, на землю. Ух, высоко. Но за ним прыгаю и я. Нет времени так просто висеть.

- Что же делать, Доминик? — с отчаянием спрашивает он.

И тут я понимаю, что надо делать. Отчетливо и ясно. И еще я понимаю, что сделать это может один человек на всем белом свете.

— Беги, Матрос! Беги в цирк, скажи всем, чтобы выводили зверей из подвалов. Цирк затопит сто пудов, он возле реки. И стучи во все окна.

- А ты?

— А я... Уж я знаю. Я найду звонаря, не переживай.

* * *

Матрос поверил мне и умчался. Теперь вся надежда на одного-единственного человека. Он справится, я-то знаю. Тем более, у него и выбора особенно нет. Кстати, его зовут Доминик Штрохольм.

Я смотрел как бы со стороны, как человек этот колотит кулаком в дверь аптекаря.

— Шмулик! Открой!

Наконец, дверь открылась, выглянул испуганный аптекарь:

— Доминик, это ты! Что случилось!

— Наводнение! — заорал я. Отодвинул опешившего аптекаря и прошел, не разуваясь (а ведь аптекаря трясется над своими чистыми полами!), в маленькую комнату Шмулика.

Семья аптекаря живет на чердаке под самой крышей. В доме на площади.

— Доминик! Что ты, что! — успел пискнуть Шмулик.

Какая у него смешная пижама. В зайцах. Никогда бы не подумал, что Шмулик в таком спит. В следующие несколько минут я только и думал, что об этих зайцах, совершенно косых.

А сейчас я отщелкнул шпингалет и распахнул окно. Скорее, пока не опомнились аптекарь и его семейство.

Я встал на подоконник. Как раз над Шмуликовым окном к крепкому чугунному кольцу привинчен трос. Тот, что соединяет этот дом с колокольней.

Если бы здесь был Тео. Он, конечно, прошел бы, пробежал по этому тросу за несколько секунд. Но я не он. Я умею ходить по канату только в метре от пола. И то не очень. Нет, я не герой, я не пойду по тросу, раскинув руки, вытянувшись в струну.

Зато у меня сильные руки. Я хватаюсь за трос. И поднимаю ноги, скрещиваю их. И делаю первый шаг — перехватываю руками вперед. Я боюсь только одного — что аптекарь успеет остановить меня.

Но он не успел. Испугался. А я теперь думаю только о шмуликовых зайцах. Надо же, у меня в жизни не было никакой пижамы.

И гораздо проще, чем я думал. Хорошо, что сейчас нет никаких флажков и, там, лампочек. Долбануло бы током, и привет. А так — что? В общем, иду себе и иду, перебираю руками. Ну и ветер здесь. Трос начинает раскачиваться. Чуть-чуть потряхивает. Как вот он ходил здесь?! Мой Тео. Ветер же! Я об этом никогда не думал. Тьфу, лохматый трос, проволока торчит. Порезался. Вот черт. Капнуло на плечо. Испачкал, не отстирается. И... Долго там еще? Нет, нет. Зайцы. Шмуликовы зайцы. Надо же, интересно, мама ему сшила пижаму эту?левой, правой. Дошел до середины, нет?.. Наверное, нет.

И тут надо мной нависает тень. Я от испуга еще крепче вцепляюсь в трос — и упираюсь ногой в стену. Колокольня. Вот и все. И делов-то.

Спрыгиваю внутрь. Звонница. Никогда не был здесь. Колокола-колокольчики, надо же, сколько! А наверху самый большой. Вот и веревка, тянется от его языка. Мне становится страшно. По-настоящему страшно. А вдруг никакого наводнения нет? И я, как идиот...

Неужели все зря? Неужели я не смогу...

Я вспоминаю: Марио. Он живет в подвале. Вся его семья: мать с шести утра торгует на рынке, Марио помогает ей, и три сестры. Марио — старший. Они живут в подвальном этаже; из его окна видны чужие ботинки. Чужие ботинки, шагающие по набережной. Их дом у самой воды. Его захлестнет первым. А они спят! Все спят!

Я берусь за веревку. Оказывается тяжелее, чем я ожидал, колокол вообще не шевелится. Только чуть. И еще, и еще! Я раскачиваю колокол изо всех сил, повисаю на веревке.

— Боммм! — летит над площадью первый удар. — Боммм! Боммм!

Громко, размеренно. Этот звук врывается в ночь, прорывает ее темноту, ее тонкое одеяло, накрывшее тишиной весь город. Надо бы, конечно, сигнал SOS — меня научил Матрос. Это сигнал бедствия: три коротких удара — три длинных — три коротких. Но я не могу управлять колоколом. Он раскачивается и бьет сам: ровно, тревожно.

— Боммм! Боммм!

И город встает. Встает! А я просто болтаюсь на этой веревке, как котенок.

— Боммм! — ревет колокол.

Я отпускаю веревку и падаю. Больше не могу; забиваюсь в угол. Меня трясет. Горят уши, будто я стянул пирожок на рынке и меня застукали. Черт. Черт, черт!

— Эй! Что случилось? — кричит снизу чей-то голос.

— Наводнение! — кричу я в ответ. И сам поражаюсь, какой громкий у меня голос. Я думал, уже вообще никакого нет.

— Нение... — несется эхом, разносится по городу. Стучат в ставни, в окна: — Вставайте! Вставайте все!!! Наводнение!

...Вдруг я понимаю, что это все — дурацкая ошибка. Какое может быть наводнение! И главное — что это за прибор, это же невозможно! Кто такой этот Абрахам? И Матрос — я же познакомился с ним только сегодня днем!.. Неужели — сегодня?..

— Шенок! Сумасшедший! — трясет меня кто-то. А, звонарь. Ну и ладно. Теперь ладно. Мне совершенно все равно. — Как ты сюда попал!!! Как ты... Какое наводнение, к черту! Какое! Перебудил весь город! Псих!!!

Я не знаю, сколько прошло времени. И что говорил звонарь. У меня отнялись ноги, я вишу тряпкой, и он просто не может стащить меня вниз. Но я слышу, как город шумит. Как поднялись люди. Все поднялись. Неужели зря? Неужели мы ошиблись? Вот идиоты.

* * *

А потом звонарь вдруг рывком поднимает меня:

— Где твое наводнение? Ну, смотри! Где?

Тихая ночь. Тише не придумаешь. Безлунная, беззвездная. Но и ветра нет. Тихо-тихо. И наша река спокойно течет себе через город. Спокойно.

И тут мы видим это. Оно идет со стороны океана. Ничего особенного — просто лента реки стала чуть толще. Набухла.

Кажется, будто где-то открыли кран. Открыли — и никак не выключат. Забыли.

Волна сверху кажется небольшой. Только катера шепками заколыхались на воде. Какую-то лодку выкинуло на берег. Так, носком ботинка отшвырнуло. Вода стала выше. И еще. И еще. Просто шла и все. И перелилась через край.

Мост накрыло.

А вода пошла в город.

Мы смотрим, не можем оторваться.

Это даже не похоже на воду. Какая-то куча мусора, щепок... Словно грязный ручей течет вдоль дороги. Заполняет и мнет игрушечный город. Плывет будка газетчика, на боку, как неживая.

Вода идет и идет. Я вижу дом, в котором живет Марио. Стоит, как остров. Успели, нет... Нет, не может быть, чтобы не успели. А вокруг бушует вода.

Не знаю, сколько прошло времени. Может, часов пять. А может, пятнадцать минут. Но вода начала уходить. Уходить, будто всасываться в гигантский шланг. Так же стремительно, как и пришла.

Небо посветлело. А мы со звонарем так и стоим на колокольне, как замороженные. И смотрим на грязный, оплеванный город. Весь в песке и иле, весь в мусоре. На другом берегу начался пожар.

* * *

...Сегодня День города. Праздник. Думали — отмечать или нет, после такой беды. Но решили все же отпраздновать. Именно сейчас.

Прошел всего месяц. Город потихоньку приходит в себя, отмывается, отстраивается. Чинят выбитые мостовые, откачивают из подвалов ил и грязь. Мост полностью восстановлен, и стало легче: сообщение между берегами налажено. В ход пошли специальные машины — их изобрел Абрахам Суббота. Он теперь второй человек в городе после Бургомистра. Именно Абрахам руководит всеми работами.

Марио и его семья вчера вернулись домой. Их подвал, наконец, вычищен, там

опять можно жить. Хотя работы еще много. Все это время они жили у Петера, в семье полицейского, который раньше гонял их на рынке, как провинившихся щенков. У Шмулика на чердаке тоже поместилась еще одна семья. И у нас в цирке открыто временное общежитие. Но сейчас люди потихоньку расходятся, возвращаются в свои дома. Поэтому решено — отметить День города. Потому что надо жить дальше.

Мы сидим дома у Шмулика. Я и мой отец Тео. На нем трико: с одной стороны синее, с другой — сияет оранжевыми ромбами. Он и раньше, четырнадцать лет назад, выходил отсюда, из квартиры аптекаря. Только ни Шмулика, ни меня тогда еще не было, да и аптекарь был студентом.

Мы сидим на кухне и много смеемся. Оказывается, наши отцы очень дружили в детстве, а мы со Шмуликом и не знали.

Потом Тео идет в комнату Шмулика. И я с ним. Семья аптекаря деликатно оставляет нас одних. И тут я спрашиваю его:

— Зачем?.. Зачем тебе это надо? Неужели ты просто хочешь, чтобы люди считали тебя самым смелым?.. Я знаю это и так.

— Очень просто, Доминик. Я даю им надежду. Они смотрят на меня и думают: если он не боится — там, наверху — не боится!.. А у него только и есть, что узкая проволока под ногами. Значит, и нам не нужно. Не нужно ничего бояться. Понимаешь?..

— А чего же раньше?..

— Ну, ты был маленьким... А сейчас вырос.

— Где уж я вырос, — пожимаю я плечами. Уши становятся горячими. Вот же черт, никогда не могу справиться со своими ушами.

— Ты вырос, Доминик. Стал взрослым. Спас от наводнения целый город.

— Ну что ты. Разве я спас...

— Спас. Разбудил всех, и никто не погиб. Не то что тогда, тридцать лет назад... А ведь эта волна была еще выше. Ты спас их, Доминик. Разбудил и спас.

— Что я! Разве я... Это все Абрахам со своим волнометром. И Матрос. Ведь это Матрос! Он добежал до цирка, сказал, чтобы спасали животных. И потом поймал чужую лодку и бросился в рыбацкий поселок. Тот, что на самом берегу, где маленькие домики. Он один вывез оттуда четырнадцать человек! А ты говоришь — я... Я просто сидел на колокольне и смотрел.

— Поверили бы там, в цирке, твоему Матросу. Если бы не ударил колокол... Ну и звери выли, чувствовали. Знаешь, это было удивительное зрелище. Животных вывели из клеток на арену, и они стояли все вместе, и никто не тронул другого. И когда вода пошла на манеж, обезьяны забрались на верхние ряды. А Слониха Джеральдина так и стояла по колено в воде. И она взяла хоботом меня и посадила к себе на голову. И Бартоломео тоже. И Аристотеля. Она нас спасала, как могла. А потом вода ушла.

...Я представляю эту картину и улыбаюсь.

— Ладно, — встряхивает головой Тео. Тонкий и маленький, как мальчишка. Легкий, как горсточка нута. Канат почти не прогибается под ним, не чувствует его веса. — Ладно, мне нужно идти.

— Ну и иди, — говорю я. — Иди-иди! Я даже смотреть не буду.

Еще чего — смотреть, как он идет над площадью без страховки. У меня сердце остановится. Я-то знаю, какой там ветер.

Он встает на подоконник, открывает окно. В комнату врывается шум толпы.

— Тео! Теодор Юлиус, давай! — кричат снизу.

— Знаешь, Доминик, — говорит он вдруг. — Иногда там, на проволоке, самое безопасное место в мире.

Он хватается за трос и через секунду уже стоит на нем. Раскидывает руки, вытягивается в струну. И идет. И ему не страшно. Я знаю, что нет.

Конечно, я смотрю. Не замечаю, что прокусил губу до крови. Хотя я точно знаю, что он пройдет. У Теодора Юлиуса Штрохольма нет выбора. Только идти вперед. Он же должен дать людям надежду.

Главное — не моргать. Это теперь самое главное.

Нико Геловани (13 лет)

ПРОБА ПЕРА

Два рассказа

С грузинского. Перевод Александра Эбаноидзе

Белое озеро

Мой старший брат не раз говорил, что у нас, на краю Глдани, оградили участок земли вместе с озером, привели в порядок и назвали территорию «Белое озеро». Новость я усвоил, но добраться до Белого озера никак не удавалось.

И вот в то утро я решил больше не тянуть, обул удобные кеды, натянул просторную, прохладную майку и направился в сторону озера. До него было не слишком далеко, но пешком, по жаре дорога показалась утомительной. Прошел большую часть пути, впереди засверкало на солнце огражденное озеро. И тут неизвестно откуда появляется огромный псина — пятнистый, жесткошерстный, черно-белый и решительно, пожалуй даже агрессивно, направляется в мою сторону. Поначалу я попытался успокоить себя, внушить, что не вижу ничего страшного, но пес, не отвлекаясь, целенаправленно двигался на меня. Тут сердце у меня екнуло, я огляделся и, увидев неподалеку рослое деревце, в мгновение ока вскарабкался на него. Как я это сделал, убей бог, не помню. Собаку едва опередил, она даже успела тяпнуть краешек моего кеда, встала на задние лапы, передними оперлась о ствол и в упор уставилась на меня.

— Чего тебе, псина? — почувствовав себя в безопасности, прикрикнул я. — Пошел вон!

Молчит. Не лает и даже не рычит. Пойми его!

— Какой тебе от меня прок? Уйди ради бога! — взмолился я, — ты же хорошая собака! Отстань!

Куда там! Ни с места. Смотрит в глаза и виляет хвостом.

— Доиграешься... Вот обломаешь себе хвост!..

Ни с места. Все так же уперся в дерево передними лапами и смотрит.

— Видно, жрать хочешь, потому и пялишься. — Я замахнулся на него ногой. — Убирайся, или двину по морде!

Грозиться-то грожусь, но ударить не смею, сердце от страха в пятки ушло. Все-таки очень уж у него вид грозный.

— Ладно, мой дорогой, так здесь и проторчим весь день! — обозлился я и демонстративно отвернулся.

Лучше бы мне этого не делать, потому как запаниковал от увиденного пуще, чем при виде собаки: моя соседка Ани шла по дороге в мою сторону, да не одна, а с тремя подружками.

Девчонки приближались. Я на дереве, как безмозглый дятел: ни по стволу не стучу, ни гнезда не выю. Было бы хоть дерево фруктовое, стал бы для понта плоды собирать. Моя соседка и мой позор приближались ко мне вместе, нога в ногу. Словом,

влип, хоть помирай! Девчонки, небось, сообразили, что я с перепугу на дерево вскарабкался.

— Нико, ты что там делаешь? — Ани издали узнала меня.

Что я мог ответить? Надо было срочно придумать что-нибудь.

— Исследую угол падения солнечных лучей, — не знаю, откуда это взбрело мне в голову.

— Что еще за угол?

— Угол, под которым солнце опускается в озеро.

— На что тебе солнечный угол? — удивилась одна из подружек.

— Когдаходишь в озеро, надо знать, под каким углом на него падают солнечные лучи, — я сказал это так убедительно, что чуть сам себе не поверил.

Девочки переглянулись. Ани наклонилась к ним, и я с удовольствием расслышал:

— Очень умный мальчик! По физике сплошные пятерки.

Но одна из ее подружек, в коротких шортах, насмешливо спросила: — А эта собака что тут делает?

Черт бы тебя побрал! Я и забыл про собаку.

— Небось думаете, что это обычная собака? — важно начал я. На дереве я все-таки чувствовал себя достаточно уверенно. — Она вот уже час ждет моей команды.

Девочки перевели взгляд на собаку, которая по-прежнему, упершись лапами в ствол, смотрела на меня.

— Как ее звать? — спросила все та же, в шортах.

— Альфред, — ответил я.

— Почему Альфред? — удивилась она и смешно заморгала глазками.

— Потому что умная, как Нобель! — откуда мне приходили в башку эти дурацкие хохмы, и сейчас не пойму.

— Аль-фре-с-ед! — протянула девчонка в шортах, подошла к собаке и погладила ее по спине от головы до хвоста. Меня так и передернуло: где она вела рукой по собачьей спине, там у меня высыпали мурашки, от темени до самого копчика. Хотел, чтобы собака тяпнула ее за руку, но она даже не зарычала. Опустилась на все четыре лапы и, подойдя к девчонкам, уставилась на них.

— Ну что ж, Нико, не будем больше тебе мешать! — Ани помахала мне рукой. — Мы пошли на озеро.

И, представьте, этот дурак здоровый, кобель пятнистый, чуть не до смерти перепугавший меня, как на привязи, пошел за ними.

— Это я его за вами отправил, — не сдавался я, — Альфред, не задерживайся, ты же знаешь, я жду! — деловым тоном крикнул я.

Пес даже не оглянулся. Он послушно трусил рядом с девчонками. Когда они отошли достаточно далеко, я спрыгнул с дерева. Ну их к чертям — и Белое озеро, и эту собаку, и девчонок в шортах! Дались они мне!..

И я со всех ног припустил домой.

Вот таким черным днем обернулся для меня поход на Белое озеро.

Фиалка

Наступило ясное весеннее утро — день Матери. Я встал пораньше и пошел купить цветов маме и бабушке. Возле входа в метро увидел сухощавого старичка; он стоял, опершись на палку, и держал в руке букетики фиалок. Я подошел к нему и купил фиалки. Старик от души поблагодарил меня.

Пошел я назад, на ходу разглядываю букетики. Присмотрел одну фиалку, бойко задрывшую лилово-желтенькую головку, и невольно улыбнулся. Только отвел взгляд, как услышал тихий шепоток:

— Здравствуй...

Я огляделся. Поблизости никого. Решил, что послышалось, и пошел дальше.

— Тебя не научили здороваться? — на этот раз голосок раздался достаточно внятно. Глянул на букетики: одна фиалка, задорно задрал головку, улыбалась мне.

— Как тебя зовут? — спрашивает.

— Меня? — растерялся я. — А ты кто?

— Я фиалка, — говорит.

— Вижу, что фиалка, но говорящая...

— Чему ты удивляешься? Сам ведь умеешь говорить.

— Я-то человек, потому и умею.

— Ну а я фиалка, — отвечает.

— Я так думаю, что ты девочка, — высказался я.

— Что значит девочка?

— Девочка — кто без умолку болтает, тараторит и не умеет держать язык за зубами.

— А ты тоже *девочка*? — спросила она.

— Нет, я мальчик.

— А это еще что такое? — расспрашивает, не умолкает.

— Мальчик — тот, кто не болтает попусту, а если что, может и подраться.

— Ты такой?! — встрепенулась испуганно.

— Нет. Если меня не злить, я не драчлив.

— А куда мы идем?

— Домой.

— Что такое дом?

— Дом — место, где все живут вместе.

— Ой, значит, мы идем в лес, — обрадовалась фиалка.

Ну как ей объяснить, чтобы дошло?

— В лесу вместе живут деревья, звери и птицы, а люди живут дома, — попытался растолковать я. — Мы живем с братом, мамой и бабушкой.

— Кто такая бабушка?

— Бабушка — самая ласковая и любимая из всех. Даже когда она сердится, ее глаза улыбаются и ласкают.

— Хочу бабушку! — обрадовалась фиалка. — Давай поскорей домой!..

Я прибавил шагу, вошел в наш подъезд, взбежал по лестнице и нажал кнопку звонка.

— Там что-то звякнуло, — фиалка испуганно покосилась на дверь.

— Помолчи! — цыкнул я.

Тут и дверь открылась. Бабушка, увидев фиалки, расплылась в улыбке, поцеловала меня и, забрав цветы, прошла на кухню. Я стоял и ждал ее возгласа: «Господи, что это?! Говорящая фиалка!». Но спустя пару минут бабушка вернулась с фиалками в хрустальных вазочках, и я понял, что она не слышит мою фиалку. Ее не слышали ни брат, ни мама и никто из друзей, заглянувших к нам в тот день. Зато со мной она болтала без умолку.

Вазочку с болтливой фиалкой я поставил на письменный стол. Стоило мне присесть к столу, она спрашивала:

— А что ты делаешь?

— Учю уроки.

— Что значит — учю уроки?

— Чтобы не изводить всех вопросами, как это делаешь ты, я должен хорошо учиться и много знать.

Такой ответ обижал фиалку. Она ненадолго сникала, но, помня о том, что я мальчик и в любую минуту могу вздуть ее, не вступала в пререкания, только тихо вздыхала.

— Вот уж точно девчонка! — говорил я. — Болтливая и обидчивая.

— С чего все-таки ты взял, что я девочка?

— Будь ты мальчик, хоть раз спросила бы, как закончился матч «Барсы» с «Реалом».

— Чего-чего?!..

В то утро я собирался в школу. Глянул на фиалку в вазочке, она еще спала.

— Доброе утро, фиалка! — сказал я. Но она не ответила.

— Эй, соня! — я щелкнул ногтем по хрустальной вазочке; фиалка не шелохнулась.

Я наклонился к ней, почти коснулся носом, и сердце у меня сжалось — лепестки фиалки заметно побледнели, их края увяли, бледно-розовый стебелек побелел, а головка жалобно повисла.

— Фиалка! — вырвалось у меня.

Фиалка чуть заметно вздрогнула и, не поднимая головки, прошептала:

— Хочу спать...

Я понял, что за сон одолевал ее.

— Что ж, фиалка, спи... — схватив рюкзак, я выбежал из дома. Не хотелось видеть, как умрет моя фиалка, мой болтливый цветочек.

Когда вернулся из школы, вазочки с фиалками не было на столе. Бабушка убрала комнату и вместе с мусором выбросила увядшие цветы.

Но хоть бабушка и выбросила фиалку, она не покинула меня. Она улыбается мне то с книжной полки, то с оконной рамы, то вспрыгивает на подлокотник кресла, то забирается в мой рюкзак.

Вот и сейчас, когда я пишу эти строчки, она сидит на клавиатуре компьютера, с любопытством разглядывает знаки на мониторе и смеется над чем-то, заливаясь.

Диана Немыкина (14 лет)

Как Пушкин-лицеист с совёнком подружился

Рассказ

...Тук-тук-тук... — раздалось в келье №14. Пушкин удивленно приподнял голову от листка бумаги и прислушался. Тишина. Он обмакнул перо в чернильницу и продолжил писать. Однако через несколько минут опять раздался отчетливый стук в окно: тук-тук-тук... Александр пристально взгляделся в темноту окна и на этот раз увидел беленького, как чистое облачко, совенка. Он был размером чуть больше цветочного горшка, из которого появилась когда-то Дюймовочка, с его перышек стекали капли дождя, подслеповатые глаза тарачились и словно искали защиты. Юному поэту стало жалко милое птичье создание, и он открыл окно, впустив совенка.

— Зачем же ты улетел от мамы? Холодно ведь! Замерзнешь, — с улыбкой произнес Пушкин, несколько не ожидая услышать ответ.

Неожиданно Совенок дрожащим, но довольно уверенным баском произнес:

— Я не боюсь холода! Я к тебе пришел, чтобы кое-что разузнать, можно?

Александр так удивился говорящему птенцу, что не мог вымолвить и слова. Подумав, что ему все это мерещится, он сильно зажмурил глаза. Но когда открыл их, на фоне чернильных пятен его вымазанных ладошек отчетливо белел взъерошенный комочек перьев. И этот мокрый дрожащий комочек продолжал задавать свои вопросы:

Диана Немыкина — ученица 9-а класса гимназии №3 г.Белгорода. Рассказ был удостоен Диплома I степени на XVI Всероссийском детском литературном фестивале «Мой Пушкин» (2015 г.).

— Ну так что, можно?

— М-можно... — настороженно согласился Пушкин.

— Я был сегодня днем в актовом зале и слышал, как преподаватели сообщили о том, что вы больше не будете ездить к своим родителям на каникулы. Я видел, как все расстроились, особенно Кюхля... Он так заливался слезами, что я сам чуть не заплакал! А вот ты почему-то не расстроился...

— Ну, я... Как бы это сказать...

— Что?

— Если честно, я не очень скучаю по родителям. Дома я их нечасто видел: мама (она у меня красавица!) любила танцевать и веселиться на балах, отец с удовольствием ее сопровождал. И понимаешь, мне все время казалось, что они меня стесняются.

— Не может быть! Разве родители могут стесняться собственного ребенка?

— Не очень приятно рассказывать об этом, но, представь себе, стеснялись. Еще как! Им не нравилось, что я такой толстенький, неповоротливый, что медленно соображаю. Папа не позволял мне есть мои любимые пирожные. Он боялся, что я еще больше растолстею.

— Но ты ведь совсем не толстый!

— Так я похудел здесь, в Лицее. Мой любимый предмет — фехтование. Разве смог бы я наносить неожиданные удары сопернику, оставаясь таким же толстяком?

— Неужели ты совсем не скучаешь? Вот я уже скучаю по маме, по ее теплым и мягким перышкам.

— Я скучаю только по своей няне. Аринушка была очень ласкова со мной. Я всегда вспоминаю, как вечером, перед сном, она брала спицы и начинала вязать какие-нибудь теплые носочки или варежки. Она вязала и рассказывала удивительные сказки. Порой, ложась спать в холодную келейную кровать, я пытаюсь вообразить, что лежу сейчас в теплой мягкой постели, а на месте перегородки стоит дуб зеленый, на котором живут сказочные герои: кот ученый, зеленая русалка со своей длинной косой, а рядом, возле дуба, море плещет на сушу, а из него выходят тридцать три богатыря со своим предводителем Черномором! Эх, даже не знаю, как отблагодарить свою няню за эти теплые мгновения... Но ничего! Когда-нибудь я превращу эти сказки в настоящий поэтический шедевр, который будет знать весь мир, и Аринушка будет гордиться мной!

— А-ри-нуш-ка, — нараспев произнес птенец имя пушкинской няни. Помолчал и пропел еще одно дорогое имя: — Со-ви-нуш-ка.

С мечтательным видом Совенок упал на невидимый поток воздуха и облетел всю комнату поэта.

— Может быть, тогда пойдем других успокаивать? — развеселился птенчик: — Например, Кюхлю?

— Я бы с удовольствием, но не могу — нам не разрешается выходить из келий. А Кюхля, наверное, там уже всю подушку слезами вымыл...

— Хм... Без проблем! Жду тебя возле двери в твою келью! Пойдем успокаивать этого нытика! — радостно заявил Совенок и полетел к выходу, продумывая план нейтрализации надзирателя.

За дверью он аккуратно спустился на пол и стал подкрадываться к Пилецкому, припрыгивая возле стенки. Тот как раз почти дошел до конца дортуара и уже собирался повернуться, чтобы пойти в другую сторону, как вдруг поскользнулся, закричал, подскочил и напрямик бросился вниз по лестнице.

Совенок торжествующе подлетел к Пушкину и объявил:

— Дорога свободна!

Пушкин удивился:

— Но как? А надзиратель?

— Я его напугал! Теперь минут через десять придет! — праздная маленькую победу, возликовал Совенок.

— Тогда скорей побежали успокаивать нашего Кюхельбекера! — радостный

Пушкин пробежал немного по дортуару и остановился возле кельи № 38: там жил Кюхля.

Птенец быстро подлетел к нему, и они вместе открыли дверь. Войдя в комнату, они увидели несчастного друга Вильгельма, лежавшего на узкой кровати и рыдавшего в подушку. Совенок быстро спрятался за стол, чтобы его никто не увидел, а Пушкин тихонько присел на кровать. Кюхля поднял голову, беспомощно посмотрел на лицейского соклассника и снова принялся плакать. Александр сначала хотел его погладить по спине, но потом твердо решил не проявлять мягкотелость, поэтому встал с кровати и негромко крикнул:

— Хватит печалиться! Уроков много еще учить, а ты тут раскис!

В это время неожиданно открылась дверь в келью, и влетело... привидение!!! Правда, оно было каким-то странным: из-под простыни выглядывали босые ноги, затянутые в тугие белые лосины. Привидение носилось по комнате, гремело, подвывало, а развеселившийся Совенок летал и ухал ему в такт. Это, без сомнения, был Мишка Яковлев. Он подслушал разговор Пушкина с другом и решил развеять Кюхлину грусть.

Лицеисты испугались больше не белого одеяния, а внезапности самого происшествия. Пушкин был недоволен:

— Мишка, как тебе не стыдно?! У Кюхли тут горе, а ты!

— Но я же хотел просто развеселить вас! — оправдывался Мишка-паяц. — Ведь ничего страшного не случилось. Надо же как-то дальше жить, а тем более учиться!

И лицеисты вместе с Совенком дружно рассмеялись.

Никита Егоров (19 лет)

Рассказы

Есть только миг

Есть только миг между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь.

Песня из к/ф «Земля Санникова»

— Мальчик? И как назвали? Ах, Лёша!

— Какой хорошенький... не говорит еще?

— Забирать приходите в шесть. Если что-то случится, я, конечно, вам сообщу.

— Валентина Петровна, а Лёша у меня лопатку отобрал!

— Ну что Алёша, вот ты и взрослый, теперь ты будешь учиться. Школа — это тебе не детский сад.

— Лёша в Светку влюбился. Тили-тили-тесто, жених и невеста!

— Как подрос-то, и не узнать уже. А лицо какое умное, отличник небось?.. ну ничего страшного, потом наверстает.

Егоров Никита родился 13 мая 1997 г. в Белгороде. В 2015 г. окончил гимназию № 12. Студент Белгородского государственного института искусств и культуры (БГИИК); направление — «Искусства и гуманитарные науки» (2 курс). Студент первого курса заочного отделения Литературного института им. А.М. Горького по специальности «Литературное творчество» — семинар прозы Павла Басинского. Публиковался в журнале «Русский язык», 2015, № 11 — Рассказ «Хроника одного пасмурного дня».

— Прошу вас, проведите с ним воспитательную беседу. На уроке сидит, ворон считает. А ведь может работать, может, когда захочет.

— Опять за компьютером! У него экзамены через неделю, а он сидит в игрушки играет.

— Ну что, Алексей, вот ты и взрослый, теперь ты будешь учиться. Институт — это тебе не школа.

— Лёша, давай купим замочек и тоже повесим на этом мосту? Нет, не замочек, а замок, самый большой и самый красивый, чтобы все знали, как сильно, как крепко, как бесконечно и вечно мы друг друга любим. До чего же это романтично!

— Перед началом регистрации прошу вас еще раз подтвердить, является ли ваше решение стать супругами, создать семью искренним, взаимным и свободным.

— Поздравляю. Вы стали лучшим сотрудником месяца. Будете работать так же, возможно, в следующем году вас ждет повышение.

— Вот и живи со своими друзьями. С меня хватит! Завтра же подаю на развод.

— Алексей, в нашей компании ожидается сокращение штата...

— Бездельник. Когда работу найдешь? Мы скоро тараканов есть будем!

— Милый, ты помнишь, какой сегодня день? Десять лет. Розовая свадьба.

— Да забей, Лёха, ну выпили маленько и что, из-за двух капель... да какое такси... я поведу, все под контролем.

— Нет, он не пойдет с тобой в футбол играть. Ты же знаешь, у папы после той аварии нога болит.

— Алексей, зайдите ко мне на минутку.

— Здравствуйте, вас из школы беспокоят. Ваш сын вам ничего не рассказывал?

— Привет, Даш, Лёха у меня. Он тут переночует... Нет, он не может приехать.

— К сожалению, должен сообщить вам печальную новость...

— Алексей Анатольевич? Приятно познакомиться, мне сказали, я буду работать под вашим руководством.

— Спасибо, пап, отличный тост.

— Алексей, учитывая ваш многолетний опыт плодотворной деятельности в нашей фирме, мы хотели бы предложить вам должность начальника отдела.

— Тридцать лет прошло, тридцать лет. А я как сейчас помню, становишься ты на колено, руку в карман суешь, а рука дрожит, кольцо найти не можешь...

— Смотри, это твой дедушка! Пойдешь к нему на руки?

— Тебе звонили, я трубку взяла. Твой одноклассник вчера умер. Еще один...

— Уходи ты с этой работы проклятой. У тебя здоровье уже не позволяет с утра до ночи вкалывать.

— А почему дедушка таблетки пьет? Он заболел?

— Иди Алексею Анатольевичу помощи, он, бедняга, уже не справляется.

— Угадай, кто теперь начальник отдела? Да я серьезно говорю. Наш старикан на пенсию уходит. Теперь я начальник. Ты рада?

— Лёш, в субботу надо опять на дачу поехать, а то там сорняками все зарастет.

— Чем могу помочь? Так, минус три, сейчас поищу.

— Привет, пап, что там по телевизору показывают?

— Ключ где? Ищи быстрее, болван. Только не говори, что ты опять его забыл.

— Грудь сильно болит. Ничего не помогает. Прошу, приезжайте скорее, ему очень плохо.

— Алексей Анатольевич? Ах, как жалко... хороший человек был.

— Михалыч! Таша сюда молоток. Ты глянь, какой здоровый прицепили, этот прям особенный... эх, повлюбляется молодежь, а нам потом неделю мост чистить. Что там хоть написано? Але... Александр что ли? Нет, Алексей. Алексей плюс... нет, это уж никак не разобрать...

Ретроспективная рефлексия, или Маленький мальчик

О добре и зле

Добро — это белая прохладная простыня, мягко укрывающая уставшее тело, добро — это советские мультики, добро — это бабушка.

Зло — это боль. Уколы — это чистое зло, как бы хорошо они ни лечили. Не может боль быть благом.

Зло, плохо и нельзя — принципиально разные понятия. Зло — абсолютно, плохо — относительно, а нельзя — это то, что решили запретить взрослые, исходя из своих моральных убеждений, которые я часто не разделял.

О любви и дружбе

Я любил девочек, с которыми интересно играть. Эта любовь (филия), не имела ничего общего с тем чувством (эросом), которое взрослые называют любовью. Но родители почему-то этого не понимали (скорее всего делали вид, что не понимают) и «женили» меня на каждой, кого я любил. Регулярные разговоры о свадьбе придавали мне уверенности, что как раз на этой-то «избраннице» я и женюсь через двадцать лет.

Чувство дружбы отличалось от любви только объектом. Любовь по отношению к девочке — то же, что и дружба по отношению к мальчику.

О преступлении и наказании

Самый преступный поступок я совершил, когда выстрелил в лающую собачку на рынке. Пластмассовая пуля ранила маленькую толстопузую собаку (как мне потом сказали, беременную), и у нее пошла кровь. Пистолет у меня отобрали, и это был, пожалуй, единственный случай, когда я считал наказание оправданным и соразмерным вине. Я несколько раз плакал из-за этого несчастья и очень долго считал себя виноватым перед всеми собаками на земле.

О сне

Я долго не мог научиться выговаривать букву «р». Помню, как однажды дедушка, пытаясь меня научить, показывал рычание льва, а я весь вечер пробовал повторить, но у меня не выходило. Затем я лег спать, и мне, конечно, приснился лев. Проснувшись, я зарычал: rrrr...

Когда я был постарше, никак не мог выучить последовательность от одного до десяти. Мама сказала — пока не выучу, мультики смотреть не буду. В отчаянии я лег спать, а проснувшись, точно знал порядок цифр.

Надеюсь, однажды я проснусь с еще каким-нибудь полезным навыком. Например, неплохо было бы научиться играть на скрипке.

О бессоннице

Свет мешал спать. Я нашел на кровати попрыгунчик и кинул его в выключатель. Свет выключился, но заснуть я все равно не смог, слишком радовался своему попаданию.

О мальчиках, девочках и игрушках

Всегда, с самого раннего детства, гордился своей гендерной принадлежностью. Сейчас я могу сформулировать то, в чем был уверен с начала моей сознательной жизни: «Первое, что нужно для счастья, — родиться мальчиком».

Деление на мальчиков и девочек у меня было чрезвычайно строгим: есть мальчики, они по природе мужественные, сильные и умные, девочки — добрые, чуть позже я выделил в них еще одно качество — глупость.

Из этой простой дифференциации также следовало, что есть игрушки,

соответствующие мужскому (мальчишескому) характеру, а есть другие — не заслуживающие никакого уважения. И для меня, мальчика, будущего защитника Родины, не было игрушек лучше тех, что имитировали оружие.

О страхе

Страх — то, что нужно преодолеть. Для мальчика это недостойное чувство. Но спать лучше со светом или с родителями.

О мечте

Мечта — игра, воплощенная в реальность. Детская игра всегда мечтательна. Бегаешь с пистолетом по дому и воображаешь себя солдатом, совершающим героический поступок каждые двадцать секунд.

Покупаешь во дворе лопатку за десять листов подорожника — и чувствуешь себя обеспеченным человеком, рационально расходующим финансовые ресурсы.

Строишь незамысловатое здание из кубиков или лего — и мечтаешь жить в этой постройке, увеличенной до размеров настоящего дома. Конструируешь домик из деревянных брусев... Одну деревяшечку кладешь в углубления (чашки) двух других деревяшечек, расположенных перпендикулярно этой, потом симметрично, с другой стороны дома еще один брусок... а потом перекрытия, затем крыша из маленьких фанерок. Сруб готов. И если заглянуть в маленькое окошко — можно увидеть себя, живущего как ни в чем не бывало в только что построенном доме.

Это и есть мечта.

О будущем

Будущее казалось прямолинейным, даже прямо пропорциональным возрасту. Через год я буду взрослее, умнее, сильнее и самостоятельнее, через два года еще взрослее, еще умнее и так далее. Логическим завершением этого процесса является переход в новую касту — взрослых. Одна из привилегий взрослых — работа. Самая престижная профессия — военный: ему легче, чем любому другому, стать героем — следовательно, быть военным и служить Родине хотят все. А если хотят все, то как же мне выделиться? Пойду-ка я нестандартным путем и стану милиционером: у милиционеров тоже есть пистолеты (к сожалению, с автоматами у них сложно), форма, погоны, звания и, в принципе, отличаются они от военных только тем, что воюют против плохих людей из своей страны, а не из Франции или «Немции».

О смерти

Некоторые люди живут по сто лет. Остается только надеяться, что я и мои родные проживут сто лет или больше.

О школе

Школа — ужасное несчастье, сильно испортившее мою беззаботную жизнь. Это было нечто большое, суровое и неизбежное. Помню, первого сентября 2004 года я смотрел на толпу школьников, окружавших меня со всех сторон, и думал, что у меня абсолютно нет выбора и что когда-то это наказание должно закончиться. Если бы меня в тот момент посадили на одиннадцать лет в тюрьму, я чувствовал бы то же самое.

О мироустройстве

В садик я не ходил, поэтому в первый год моей учебы я был чудовищно некоммуникабельным, странным и совершенно не вписывался в коллектив. В этот первый школьный год моя одноклассница, играя на перемене с колечком, уронила его с лестницы. Его не смогли найти внизу, и тогда я решил наладить контакт с окружающими, помочь девочке: предлагал кинуть с лестницы монетку, чтобы посмотреть, куда она полетит. А полететь она должна была, по моим представлениям,

ровно туда же, куда и колечко, так как она примерно такого же веса и размера. Наверное, после этого меня стали считать еще большим идиотом.

Мир оказался не так прост, как я думал.

Об оценках

Разговор со знакомым мальчиком.

Он: Ты как учишься?

Я: На тройки.

Он: А я думал, ты умный...

О книгах

Не считая сказок, первая прочитанная мною семилетним книжка — «Три толстяка».

Меня как-то мотивировали ее прочитать — что-то запретили, скорее всего, как всегда, смотреть мультики, и пришлось ее читать очень быстро. Помню, хвастался во дворе, что читаю по тридцать страниц в день (как же это было мучительно!). Книжка оказалась безумно трудной. Меня как будто затачивало в терновый куст, большой, колючий и непролазный, но в отличие от Братца Кролика из моей любимой сказки, я отнюдь не хотел, чтобы меня туда бросали. Хитросплетения сюжетных линий, куча имен, мест, смыслов, в конце концов, слов, значения которых я не понимал и только пытался понять их в контексте предложения. Девочка, представление, подземный ход, воздушный шар, торт, толстяки — все перемешивалось, и трудно было связать предметы и лица с действием. Но самое страшное начиналось, когда меня спрашивали, о чем книжка.

Вторая книга — «Приключения Тома Сойера» — была намного более интересной. Возможно, из-за того, что прочитал я ее через год после первой, когда читалось уже легче, а возможно, из-за того, что я узнавал себя в герое, и это было моим первым литературным наслаждением.

Третья — «Приключения Гекльберри Финна».

Четвертую я не помню.

О драках во дворе

Если ты побил кого-то во дворе — день удался, если тебя — позор черным занавесом закрыл всю последующую жизнь (разумеется, до следующей победы). При этом боль не чувствуется ни во время драки, ни после нее: все физические ощущения — ничто перед проблемами самореализации, славы и унижения.

Когда бьют сильно, особенно ребята постарше, происходит некоторое переосмысление жизни. Конкретные люди воспринимаются неприязненно-критически, и это помогает составить представление об обществе в целом.

Почему?

Почему я не замечаю, как расту?

Почему бы не отметить День рождения хотя бы раз пять за неделю и не стать сразу на пять лет старше?

Взрослые могут покупать себе в магазине любые игрушки, им ведь никто не запретит, они могут ложиться спать, когда захотят, а могут вообще день и ночь смотреть мультики. Так почему они все время ноют?

Почему люди плохие? Почему нельзя быть хорошими? Почему арбуз — ягода, солнце — звезда, а я — ребенок?

Бахыт Кенжеев:

«Время было такое...»

Разговор ведет Сергей Надеев

С.Н.: Бахыт, ты помнишь, когда и как ты начал писать стихи? Я, видишь ли, собираю истории написания первого стихотворения. И в русле психологии творчества, и из банального обывательского любопытства очень хочется знать — как «это было в первый раз» у сложившихся уже поэтов. Хочу и у тебя спросить.

Б.К.: Первые свои стихи я написал в четырнадцать лет. И не могу их забыть, потому что это были гениальные стихи. Гений — он всегда с молодости знаменит: посмотри на Лермонтова — в семнадцать лет были написаны стихи «Белеет парус одинокий...» Или Пушкин...

Значит, была такая история. Я учился в 20-й спецшколе — одной из самых знаменитых московских школ. Она носила имя Наташи Качуевской, которая была студенткой ГИТИСа, пошла добровольцем на фронт медсестрой и погибла. Ну что могу сказать — героиня. И нам в седьмом классе поручили написать сочинение о Наташе Качуевской. Я решил написать его в стихах. Четырнадцатилетний мальчик, никогда в жизни стихов не писал. Как сейчас помню: хожу по нашей подвальной комнате — мы жили вчетвером в коммуналке — из конца в конец, пишу свои гениальные стихи. У меня вышло, наверно, странички две с половиной, всё прекрасно, и я помню первые четыре строки:

Простая девчонка Наташа
В столице советской жила,
Сначала была пионеркой,
Потом комсомолкой была...

Вот это и есть мои первые стихи... Потом я написал еще парочку, где-то в девятом-десятом классе, я их забыл. А потом — я учился уже на химфаке МГУ, хотя покойная Нина Ивановна, моя преподавательница литературы, умоляла меня поступить куда-нибудь на филфак, ну, а я же был молодой и гордый, не послушал ее — я учился на химфаке и мечтал написать гениальное стихотворение, хотя бы одно. И тут мне дали путевку в профилакторий МГУ, я там жил в отдельной комнате, что по советским временам было такой же роскошью, как сейчас жить во дворце братьев Ротенбергов. Да-да-да-да — три недели. Я наворовал бланков требований в библиотеке химфака — они сохранились, видимо, еще со сталинских времен, были отпечатаны на мелованной бумаге — на обороте можно было писать. Сел — и за две недели этого моего срока написал двенадцать стихотворений, которые немедленно счел гениальными и пошел к своему другу Яше Малкину: «А скажи мне, Яшка, это ведь гораздо лучше, чем сейчас печатается в журналах?» В ответ получил недоверчивую усмешку: «Вообще-то, честно

говоря, — нет». Но я ему не поверил. А помню ли я эти стихи? А по-моему, я их не помню. Нет, помню какие-то отдельные строчки:

Мир проносится по спирали,
Приготовив времени мечь:
Через войны и пасторали
Возвращаться к тому, что есть.

Как пытались в столетиях новых
Стольких новых христов распять,
Как искали пути иного,
Повторится это опять.

Ну, это — не совсем графомания, как ты думаешь?

С.Н.: Нет, нет, — ну совсем не графомания. Задорно. Живенько. Знаешь, здесь есть метафора. А метафора — это уже стихи.

Б.К.: А, вот так, да? Но очень дешёвенькая — метафора-то...

С.Н.: Ну, дешёвенькая, — так это время было такое, и стихи вполне в контексте времени...

Б.К.: (*перебивая*) ...я тебе анекдот расскажу. Потрясающий. Он имеет отношение напрямую к нашему разговору. «Мамочка, а правда, что Иисус Христос был евреем? — Правда, детка. Тогда все были евреи — время было такое».

Моя единственная претензия к нашим шестидесятникам — за исключением, конечно, Фазиля Искандера и Беллы Ахатовны, и некоторых других — они были клинически глупы. Мне говорят: «И как ты можешь их любить, если они такие глупые?» А я цитирую этот анекдот: в шестидесятые годы все были глупы — время было такое, ну что поделать? И на Западе все были глупые.

С.Н.: Не глупые, скорей — наивные: время было такое, наивное, не циничное еще, в идеалы верили.

Б.К.: В данном случае это одно и то же. Ну как мог очень талантливый, блестящего ума бытового Андрей Андреевич (Вознесенский. — *С.Н.*), как он мог написать: «Уберите Ленина с денег»? Ну как, как, объясни мне?

С.Н.: Так и — «Не трожьте курицу (музыку?) руками...» Наверно, они всерьез в это верили, Ленина они, шестидесятники, идеализировали. «Если бы Ленин был жив...»

Б.К.: Да он был еще хуже Сталина, этот Ленин. В 1968 году я, озадаченный тем, что меня мои просвещенные друзья ругают за мою любовь к Ленину, пошел в Историческую библиотеку и в открытом доступе прочел за пять часов два или три последних тома из Полного собрания сочинений, где, в частности, встретил фразу: «...чем больше мы расстреляем, тем будет лучше...» Ну все, моя любовь к Ленину кончилась. А еще был такой случай лет пятнадцать назад. Стою в очереди в универсаме, и там дают сигареты «Прима». Рублей по пять. Гениальный дешёвый сувенир для друзей в Америке. И тут вижу, что рядом лежат сигареты — с портретом Иосифа Виссарионовича. Прошу: «А дайте мне, пожалуйста, еще одну пачечку с Иосифом Виссарионовичем». И тут же спохватываюсь: «Ой, вы знаете, все-таки лучше не надо — он ведь людоед-то был похуже Ленина...» А за мной в очереди стоит классическая тетка-работница: толстая, дурно одетая, лет пятидесяти, ты знаешь такой тип, и она говорит: «Вы ошибаетесь». Я смотрю на нее презрительно в качестве чела с бугра: «Ой, а почему я ошибаюсь?» — высокомерно говорю я, будучи челом с бугра реально. «Да Ленин просто не успел», — сказала она. Я испытал счастье — ты понимаешь, почему...

С.Н.: ... чел с бугра...

Б.К.: А первое мое стихотворение — серьезное — когда я решил, что я профессионал уже...

С.Н.: ...за которое тебе не стыдно.

Б.К.: Нет, не стыдно до сих пор. Ну а чего стыдно — когда семнадцать лет, и задумка интересная... Я написал такое стихотворение и даже помню, как ни удивительно. Опять же, это смешные стихи, но...

Песком уже посыпана арена,
У выхода наложены дрова.
Старик в хитоне рваном дерзновенно
Крестом священным отгоняет льва.

Хохочет чернь в желании расправы,
И старику погибнуть суждено,
Но знает он — язычники неправы,
Что видит он — тем видеть не дано.

Он видит... *по-моему*, Роттердам, он слышит Бога,
К нему грядёт архангел Михаил,
И перед ним *какая-то там* дорога
Туда, где нет смертей и нет могил.

Счастливцев, был он смерть принять готов,
Не зная про костёр на площади Цветов...

Где сожгли Джордано Бруно, ты знаешь...

Ну, это стихи маленького невежественного мальчика... По-моему, это очень патриотические стихи.

С.Н.: Опять-таки в духе времени. Когда ребенок прочел целую полку из серии «Пламенные революционеры».

Б.К.: Да-да, в духе Вознесенского, Евтушенко и так далее, и так далее... Просветленные стихи... Хотя поэзии в них — ну конечно, ноль. Но я рад за этого мальчика, что он был такой думающий. Там было много проколов дурацких — например, Джордано Бруно сожгли не за то, что он был ученый, — кощунствовал активно, издевался над Христом.

С.Н.: Кто ж об этом знал в шестидесятые? Даже ты.

Б.К.: В то время — нет. А имелось в виду, естественно, что я вот верю в социализм «с человеческим лицом» — а зачем же Мандельштама-то убили?

А еще одно стихотворение я написал, когда в Прагу мы вошли. Садится Бахыт и пишет стихи:

Окинешь фото беглым взглядом,
Увидишь сразу без труда:
Чернеет свастика, а рядом —
Пятиконечная звезда.

Кто смог так подлю и так метко...
(Заметь слово «метко».)
...В каком возвышенном бреде
Одну наклеить этикетку
На свастику и на звезду?

Две стороны, и обе правы,
Склониться можете к любой.
Вы б не пришли — и камни Праги
Топтал бы кто-нибудь другой.

То есть я пытался быть советским человеком.

С.Н.: И все же не односторонним советским человеком.

Б.К.: А, все равно бы посадили...

С.Н.: Скажи, Бахыт, когда ты пришел к пониманию, что стихи — это метафоричность, а не просто идея? Ты задумываешь стихи до сих пор, как их тогда задумывал, вкладывая подтекст?

Б.К.: Нет. Они и тогда приходили сами собой — всегда. У меня нет ни одного стихотворения — кроме «Ремонт-Приборовской» формы — написанного по схеме.

С.Н.: Ну хорошо, а помнишь, почему все же ты именно в стихах решил написать то сочинение, про Наташу Качуевскую?

Б.К.: А я не знаю. Мне захотелось, не знаю почему. Я всегда очень любил стихи. Мамочка моя, которая была коренная москвичка и была историк по образованию, работала то библиотекарем, то экскурсоводом... мамочка — она не знала всяких там мандельштамов, зато часами могла читать мне Некрасова. А Некрасов — мы не будем с тобой спорить — это великий поэт. Он мне чужд. Но при этом я абсолютно его ценю. Мама с папой работали вместе в Мосгорэкскурсбюро: папа был организатором экскурсий, продавал на них билеты, мама работала экскурсоводом. У них сложилась хорошая тесная компания интеллигентов таких «беглых», деклассированных. И был новогодний вечер — корпоратив, где придумали маленькую лотерею. Мама с папой выиграли в нее томик Надсона. Так вот Надсон и попал к нам домой. Слава тебе, Господи, он у меня до сих пор сохранился — самая для меня дорогая вещь, которая у меня есть. И я, ребенок, начал его читать:

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,
Кто б ты ни был, не падай душой.
Пусть неправда и зло полновластно царят
Над омытой слезами землей,
Пусть разбит и поруган святой идеал
И струится невинная кровь, —
Верь: настанет пора — и погибнет Ваал,
И вернется на землю любовь! —

А? Что это такое? Для девятилетнего думающего мальчика это же откровение, ты понимаешь?

Вот на ком я вырос. А потом мне случайно попал в руки томик Северянина. Причем лучшая его книга — «Громокипящий кубок». Ну, в четырнадцать лет, когда ты читаешь Северянина, — это же счастье. Вот три поэта, на которых я вырос.

С.Н.: Что ж, хорошая компания.

Б.К.: А скажи мне, Сережа, как ты относишься к Надсону?

С.Н.: К Надсону? Ты знаешь... спокойно. Никак к нему не отношусь, отдаю ему должное, но не более. А вот Ленин, кстати, Надсона знал наизусть...

Б.К.: Нет-нет, ты прав, конечно, Надсон — поэт третьего ряда, но не в этом дело. Во-первых, Надсон остается замечательным поэтом для подростков, а во-вторых, он же умер-то как рано... — в двадцать четыре года, и к концу жизни у него было экспоненциальное улучшение стиха, он начал писать замечательные стихи. Я тебе прочту — для тех времен...

Не говорите мне он умер — он живет,
Пусть жертвенник разбит, огонь еще пылает,
Хоть роза сорвана — она еще цветет,
Пусть арфа сломана — аккорд еще рыдает...

Это уже стихи, согласись, это уже не «идеал поруганный». Но вот, к сожалению, туберкулез...

С.Н.: Ты говоришь, что поэт для четырнадцатилетних... Нет, не соглашусь, у него такая арханка, что...

Б.К.: ...значит у нас четырнадцатилетние неправильные.

С.Н.: Неправильные, да.

Б.К.: А я его воспринимал как своего.

Подожди, сейчас я еще вспомню из своей карьеры. Когда я написал достаточно стишков, чтобы уже начать мечтать о печатании, я пришел в журнал «Юность». Он тогда располагался во флигеле Дома Ростовых. И кого же я там встречаю? Я встречаю там молодого, красивого литконсультанта — Олега Григорьевича Чухонцева. А я до этого умудрился прочесть несколько его стихотворений и относился к нему, как надо

относиться к Олегу Григорьевичу Чухонцеву — едва ли не лучшему поэту своего поколения. Вот сидит такой расслабленный Олег Григорьевич, зарабатывает деньги на жизнь. Я ему подсовываю свои стишки, он читает при мне — тогда были простые нравы — смотрит на меня и говорит: «Бахыт Шкуруллаевич, ну, это совсем не так плохо». Да-да, серьезно, серьезно. Упрекает меня в том, что в каком-то стишке я повторяю интонацию Пастернака, хотя я к тому времени Пастернака еще не читал — совпало. А потом задает гениальный вопрос: «А скажите мне, Бахыт, русский — ваш родной язык?» — «А почему вы спрашиваете?» — «Да потому что он у вас повернут не совсем так». И он был прав. Мой родной язык — казахский, который я забыл, забыл напрочь. Но в три года я говорил по-казахски. Чухонцев просто узрел... И я, конечно, потом его спросил: «Олег Григорьевич, а как насчет того, чтобы напечатать эти стихи?» Ну вот никогда не надо задавать неправильных вопросов. Потому что Олег Григорьевич был — и остается, конечно, — наш человек совсем, но он получал свои деньги консультанта от государства, а власти-то у него никакой не было. И этот вопрос привел его в ужасное смущение — он не знал, что мне ответить.

Лучший ответ на этот вопрос я получил пять лет спустя. Когда меня уже напечатали в «Юности». А публикация в «Юности» была — ну, как сейчас получить премию «Поэт», фактически. Так вот, меня уже напечатали в «Юности», и я прихожу — уж не помню, какой консультант тогда принимал — мои любимые консультанты были Олег Чухонцев и Юрий Ряшенцев. Это был не тот и не другой, но он сказал мне одну из самых замечательных фраз, какие я слышал в своей жизни. «Вот мои новые стихи». — «Спасибо, Бахыт», — стал читать. «Ну да, — говорит, — хорошо, спасибо...» — «Скажите, а вы можете их напечатать?» Говорит: «Нет». — «А почему? Ведь вы уже меня печатали?» — «Печатали». — Скажите, пожалуйста, это что, антисоветские стихи?» — «Нет». — «Ну, а что не то? Почему не можете их напечатать?» И консультант мне говорит сакраментальную фразу: «Бахыт, ну не будьте вы идиотом». А я правда не понимал: мирная тихая лирика, уже напечатали один раз. Ан всё. Второй раз уже не будем, причем никогда, всё, проехали, — отправляйтесь к своему другу Бродскому. Что я, собственно, и сделал в конце концов... «Не будьте вы идиотом...» А ведь и у Бродского можно было в то время настрого стихов, которые можно было напечатать.

С.Н.: Бахыт, а ты знаешь историю первого стихотворения Олега Чухонцева? Лет пятнадцать ему было, и тут в параллельном классе появился парень, высокий, патлатый, спортсмен, про которого шепчутся: «Он еще и стихи пишет, настоящие...»

Вот уж осень наступила,
Листья жёлтые летят...

Я, говорит Чухонцев, был потрясен: я и сам тогда гимнастом был, но этот — этот еще и настоящий поэт! Вот я не видел, а он заметил — что пришла осень, что летят листья. Он всё это заметил! И я решил тоже написать стихи.

Б.К.: Ой, как здорово, ой, как интересно...

С.Н.: Из зависти.

Б.К.: Все-таки из зависти...

С.Н.: Да. И он написал стихи. А потом, после школы, он целое лето лежал в саду у себя под грушей в Павловом Посаде и писал стихи. Графоманил. Несколько тетрадок исписал — и всё. Потом это от него отстало...

Б.К.: На несколько лет?

С.Н.: Да... Но вот позыв был такой — из зависти.

Б.К.: Ну, слушай...

С.Н.: Но это ведь тоже — побуждение, мотив, это интересно...

Б.К.: Слушай, ну ты же веришь в Бога, надеюсь? Так Господь Бог правильно всем распоряжается... Я Чухонцева как поэта ну так нежно люблю — причем, без оговорок. Вот там к Вознесенскому есть оговорки, и к Кушнеру есть оговорки, а к Олегу Григорьевичу у меня оговорок нет. Он божественный. Он умница, он абсолютно

порядочный человек — ну невозможно представить себе, чтоб он, там, плюнул на дорогу, например. Вот невозможно... Ты согласен, да? Невозможно. Надо быть гением, чтобы написать вот эти стихи:

Отца и мать двойным ударом
Свалила смерть. Их сон глубок.
Теперь они в подлеске старом
Лежат ногами на восток.
Лежат, а сбоку стынет лужа,
А сверху воронье кружит,
И шелестит венок: от мужа,
А муж в земле сырой лежит...

Это великое русское стихотворение. Силы Мандельштама, между прочим. «Теперь они в подлеске старом лежат ногами на восток...» — как здорово, как потрясающе... Вообще мы очень счастливые люди, потому что понимаем, какое нам богатство досталось по жизни — я имею в виду эту русскую поэзию. Я уверен, что у американцев не хуже поэзия, но я ее не знаю и не хочу знать.

С.Н.: В самом деле ты не читаешь ее?

Б.К.: И моя жена Леночка, и Цветков ужасно меня ругают за то, что я более или менее безразличен к американской культуре. Вот я недавно только, на шестьдесят седьмом году жизни начал Фолкнера читать. Гений, да, гений — абсолютный гений... Ну, типа Платонова, да... У меня сил не хватает — я цепляюсь все время за свою культуру. И я оправдываюсь: а что, Александр Исаич, который жил в Вермонте, — он выучил английский язык? А Гоголь, который жил в Риме, — он читал итальянскую литературу? Ну и отстаньте, ребята! Это ваше, а это мое. Мне моей культуры вполне... Нет, на самом деле это, конечно, ущербно — надо, надо всё читать — но сил нет... По-английски я написал двадцать семь стихотворений. Они были настолько хуже моих русских, что пришлось выбросить — просто гораздо хуже. Это имитация американских стихов, но она получилась плохо. Я могу имитировать русские стихи — пожалуйста. Как умеет казах. Ты знаешь, это ужасно обидная вещь: как только русский человек начинает писать стихи по-английски, у него, за редчайшим исключением, не получается. Приведу примеры. Стихи Бродского по-английски — плохие. Рядом не поставить с его русскими стихами. Стихи Цветкова, который знает английский абсолютно свободно, — тоже. Как и стихи Пушкина по-французски, стихи Тютчева по-французски. Вот, Господь Бог нас, видимо, русских, так решил наказать: что мы не умеем внедриться в другую культуру. Единственное исключение — Набоков. У него есть...

С.Н.: ...нет, не только Набоков. Еще Макин. Андре Макин.

Б.К.: Но это проза.

С.Н.: А Набоков, ты имеешь в виду...

Б.К.: ...Набоков написал гениальную поэму, которая тоже не чистая поэма — она являет собой кусок «Бледного огня». Ты помнишь эту поэму, про девушку, она утонула, некрасивая девушка? — по-моему, это гениальные стихи. Лёша Цветков обратил мое внимание на то, что они написаны александрийской строфой, а она на момент написания этих стихов уже настолько же безумно вышла из моды и из практики, как, например, гекзаметр в русской поэзии сейчас. Следовательно, говорит Цветков, — это пародия. Я с ним не согласен. Я думаю, что это не пародия, а хулиганство. Хулиганство — в смысле употребить этот размер. Потому что сами стихи совершенно пронзающие. И факт состоит в том, что их англоязычная публика признала. Так что вот — одно исключение есть. Я не знаю больше.

С.Н.: В поэзии, наверно, — нет.

Б.К.: В прозе — есть. Есть поляк Конрад, ставший выдающимся американским писателем. Набоков тоже, Макин твой. Но в принципе мы, к сожалению, такая убогая жалкая провинция, которая должна вариться в собственном соку — никакого выхода у нас нет. И ничего плохого в этом я не вижу. И нет у меня по этому поводу никаких комплексов.

Последнее воскресенье августа

*История одного события, начавшегося в интернете
и продолжившегося на улицах литовского города*

*В мае нынешнего года в социальных сетях появился текст известного литовского прозаика, драматурга и режиссера **Марюса ИВАШКЯВИЧЮСА**.*

Евреи. Проклятие Литвы

«Кажется, мы наконец-то можем точно определить тех, кто сегодня вслух говорит об истреблении евреев в Литве. Либо они устраивают себе рекламу, поскольку подобное модно в Европе, либо их деятельность финансируют сами евреи. Все эти шокирующие подробности, эта хроника растерзания еврейских младенцев, когда для экономии пуль им разбивают головы о деревья, — есть не что иное как растравление незажившей раны грязными, неумелыми пальцами. Таким способом травмируется еще одно поколение литовцев, наших детей, рожденных уже на свободе, ибо эти действия вызывают не раскаяние или хотя бы сострадание, а возбуждают еще большую ненависть к евреям — именно так работает естественный инстинкт национального самосохранения. Каждый народ уникален, поэтому для нас не подходит опыт Германии, когда именно через просвещение, самораскрытие, скрупулезное исследование нацистских зверств пришло облегчение и окончательное исцеление. Там все происходило сразу после войны, события были близки, а сегодня убийцы и свидетели почти вымерли, и поэтому Литва должна отыскивать собственный путь. Ведь недаром наши интеллектуалы, хронисты, комментаторы утверждают: не нужно, нельзя беречь эту рану, сначала пусть она заживет, подернется забвением. Забыть иногда не менее ценно, чем память».

Я из Молетай. Это — городок невероятной красоты с тремя внутренними озерами и еще тремя сотнями окрестных; да что тут говорить — все знают Молетай, литовский дачный рай. Во время войны, точнее, в один летний день 1941 года здесь были расстреляны две тысячи евреев. Иначе говоря, восемьдесят процентов населения. Более чем две трети жителей местечка исчезли за несколько часов и были зарыты в общей яме. Руководили убийством немецкие нацисты. Стреляли местные литовцы. Таковы сухие факты и цифры. Сейчас место казни — на окраине города. В советское время там был устроен скверик с мемориальной доской, а совсем рядом, то есть буквально тут же, а может быть прямо на краю огромной могилы расположилась районная строительная организация. Так что две тысячи наших земляков оказались у нее на задворках, среди нагромождения строительной техники, кирпичей, блоков, зажаты бараками, складами и бытовками — словом, так искусно упрятаны, что я, рожденный и выросший в Молетай, ни разу на то место не попал и даже не знал о нем. Все это существует и сегодня, только теперь это скорее свалка ржавой техники и

строительного мусора, да и сам сквер выглядит жалко, если не сказать плачевно. Это зона застывшего, мумифицированного советского времени, кладбище растрескавшихся бетонных плит, сквозь которые пробивается трава. Я видел много похожих мест в российской, украинской глубинке, но там и весь фон такой: развал, разлом и распад. А Молетай никак не назовешь останками советского гнилья, город с каждым годом хорошеет, «европеет», прокладываются велодорожки, оздоровительные тропы вокруг озер, возникают теннисные корты, новые супермаркеты, и только там, где лежат евреи, — полный штиль. Год назад была оторвана и мемориальная доска, заодно со звездой Давида. Теперь случайным прохожим никак не понять, что это за место, к чему этот брошенный сквер. Единственная сохранившаяся надпись на мятой бумаге призывает «Не сорить!». Так заживает, зарастает величайшая во всей молетской истории рана, ибо Литва избрала именно такой способ обращения с памятью о загубленных евреях. Своеобразный, не похожий ни на чей другой. В самом деле: смелая страна. Ведь наших евреев мы зарыли не затем, чтобы позже ставить им памятники, а затем, чтобы их не осталось. Не только признаков жизни, но даже смерти. Ведь нам это больно, это может травмировать наших детей, пусть раны рубцуются сами.

В один из майских выходных этого года футбольный агент из Израиля по имени Цви пришел к этому нашему скверу, где лежит более двадцати его родных. Деды, дяди, тетки, их сестры и братья — все коренные, молетские. По еврейскому обычаю на большой камень, с которого содрана памятная доска, он положил малый камушек. Еще побыл там, постоял. Собрался уже уходить, но тут ввалились местные забулдыги и стали пить. Не таясь, прямо на могиле. Когда Цви остановился и поглядел на них, от компании к нему подбежал мутноватый тип с криком: «Чего смотришь!». Конфликта удалось избежать лишь благодаря характеру Цви, он очень покладистый. Потом они даже разговорились. Цви спросил, почему они приходят пить именно сюда, ведь в Молетай столько прекрасных мест у озер. Ответ был: а что — удобно, укромно, никто не видит.

Подумаешь, невелика трагедия, это простые литовские пропойцы, им дела нет, да и вряд ли известно, что под ними — две тысячи убитых людей, что они пьют и опорожняются прямиком на их кости. Они просто-напросто хотят жить в свободной стране и не знать ее темного прошлого. «Пусть рана сперва заживет, тогда и поговорим о ней». Зато взгляд городских властей уже совершенно другой — сознательный. Когда Цви на месте разбитого вандалами памятника предложил построить (за свои деньги) новый, молетские чиновники во главе с мэром бросились ему наперекор, уверяя, что новый монумент — это дело их чести, поэтому город берет на себя всю организационную и финансовую ношу. Мало того, 29 августа, в день 75-летия еврейской резни, в Молетай будет устроено памятное шествие по главной городской улице, той самой, по которой когда-то к яме гнали несчастных. Со всего света приглашены потомки молетских евреев, в шествии примут участие президент и премьер Литвы, другие высокие лица, съедутся звезды, вечером состоится концерт, потом угощение, выставки. Такой вот пример подлинного раскаяния, значимый жест примирения.

Вы поверили?

И правда, как это было бы мудро. И просто. Нужна только воля, желание, ведь это немного стоит, примерно как двадцать метров велодорожки, а между тем символическое значение такого жеста, такого шага неоценимо, это событие прогремело бы на весь мир, во всех еврейских общинах, по сути — за один вечер мы смогли бы решительно изменить свой образ, и все это без публичного покаяния, которого так боимся, а просто всем показав, что мы уже не равнодушны, мы выросли, усвоили, что случилось, и мы теперь с той стороны, где жертвы, а не убийцы.

Цви — он действительно на свои деньги хочет поставить новый памятник, который уже делается. Но земля, где лежат погубленные евреи, — казенная. На памятник требуется разрешение. Чтобы его получить, Цви постоянно летает из Тель-Авива в Литву, обивает пороги молетской власти и бесконечно плутает по кабинетам. Иначе сказать, все делается для того, чтобы он заблудился в наших

бюрократических лабиринтах: вдруг лопнет терпение и человек откажется от своего плана.

Мне, наверное, впервые так стыдно за мой город. Бойня длится: одни крадут памятные доски с братских захоронений, другие не позволяют их восстановить, третьи безразлично наблюдают. Объясните: как, каким тоном, в какой тональности можно растрогать чуткую литовскую душу, чтобы она однажды пришла на такую могилу и сказала себе: здесь лежат мои евреи. Дети, которые передо мной носились по городским дворам, лазали по деревьям, плескались в тех же самых озерах, их родители, которые, как и мои, шли на работу по тем же улицам, ссорились, хохотали, для всех них этот город был домом, они любили его так же, как мы, только их однажды всех расстреляли и сами они не могут об этом сказать. Кто-то другой должен это сделать за них. Они умерли.

Я даже не пробую вообразить, каково им было над ямой. Пытаюсь представить себе, каким был город наутро после расстрела. Через неделю. Спустя год. Беспросветная пустота. Немота. Из почти трех тысяч жителей осталось семьсот. Магазины, конторы, «бубличные», футбольный клуб, самодеятельный драмтеатр — все обрушилось в эту яму. Старожилы рассказывают, что исполнителей казни и расхитителей еврейского скарба преследовало проклятие: страшные болезни, утраты близких, их дети тонули, гибли в авариях. На одном кладбище в Нью-Йорке стоит памятник жертвам той бойни. Он был установлен сразу после войны усилиями евреев, эмигрировавших из Молетай в межвоенную пору. На нем выбито: *«И да отмстит Господь за их кровь»*. Догадываюсь, что на свете много таких обелисков с проклятиями каждому литовскому городу и местечку. То поколение евреев нас не простило и уже, видимо, не простит, я это ощутил в Америке, где встречал литваков и говорил им, откуда я приехал. Мгновенно изменялся не просто взгляд на меня, менялся сам взгляд. Эти старые глаза смотрели на меня как на потомка убийцы их близких. И я их вполне понимаю: пока мы поименно не назвали палачей, не осудили их (а некоторым даже собираемся ставить памятники), до тех пор в их глазах головорезами будем все мы. И это уже не коллективная вина, от которой мы с таким пылом открещиваемся, а коллективное проклятие — и мы сами его на себя навлекли.

Но Цви и такие, как он, — это уже другое поколение. Они заново обретают свою утерянную землю, им просто любопытно повидать дом своих предков, их дворы, улицы и, поверьте, им совсем не нужны их-ваши старые кособокие хижины, они приезжают сюда не затем, чтобы отнять у нас жилье, они лишились гораздо большего, чем эти дедовские дома и расхищенная мебель.

29 августа, в годовщину убийства, в Молетай обещают приехать около сорока потомков молетских евреев со всего мира: из Израиля, США, ЮАР, Австралии, Уругвая. И будет их шествие по главной городской улице, по той самой дороге, где 75 лет назад гнали на смерть их близких. Это шествие организуют они сами. И город Молетай обещал им (пока) не мешать, даже на несколько часов прекратить движение по улице, где пройдет шествие. И все. Да, будто бы существуют два города с одним именем, и один, сущий в нашем времени, другому, параллельному, из прошлого, милостиво позволяет воспользоваться своей улицей. Представьте себе, сорок молетских евреев в тот день двинутся в путь к родным могилам, а шесть тысяч молетских литовцев будут глядеть на них из своих окон. Но так уже было — 29 августа 1941 года. Когда евреев гнали по этой улице, а несколько местных белоповязочников бежали впереди и кричали в окна: «Не смотреть!» Кто посмотрит, будет вытаскен из дому и отправлен вместе с евреями.

Да, они прошагают, они почтут своих павших, возможно, даже воздвигнут памятник. Но потом они все уедут, и те две тысячи наших закопанных земляков вновь останутся в немой очной ставке с нами. Опять они будут мертвы, а мы — живы, поэтому мы оскверним тот камень и будем дальше пить и испражняться на их могиле.

Это самое страшное, что может случиться, но пока именно этот сценарий наиболее вероятен. И я не знаю, как быть, чтобы этого не случилось. Мой город,

существующий в нынешнем времени, не хочет или не в силах постичь значение этого события. Ему надо помочь. Помочь снять проклятие, длящееся 75 лет. Знаю, что есть мои земляки, которые хотят присоединиться к шествию, но боятся. Вы представляете? 2016 год, Литва, — люди в провинции все еще напуганы, им кажется опасным отдание почестей жертвам геноцида. Поэтому я зову всех, кто может и хочет: президента Литвы, председателя правительства, всех правых, левых, любых, земных и звездных, прославленных и безвестных, всех, кто в этот день будет у молетских озер, — приехать, прийти... Ничего не придется делать, только идти, несколько километров по городку Молетай, вместе с нашими евреями. Сообща помолчать, посмотреть в глаза друг друга. Почти не сомневаюсь, что кто-то заплачет, ибо такие минуты ранят в самое сердце. Кто-то из них и кто-то из нас. И этого будет довольно. Только всего — показать им и себе, что больше мы не враги.

Это шествие так или иначе случится. Вопрос только один: наши евреи снова пойдут одни или на этот раз мы будем заодно с ними.

Так хочется верить, что это будет ясный, солнечный день на закате лета. 29 августа. День, когда свершилось примирение.

Этот текст, как говорится, взорвал интернет. Больше миллиона прочтений, тысячи перепостов — и комментарии, комментарии...

Споры.

Хотя именно к спорам Ивашкявичюсу не привыкать. В 2002 году в Литве вышел первый роман тогда еще молодого писателя «Зелёные», где автор, скажем так, не вполне в розовом цвете представлял героев послевоенного партизанского движения. То есть персонажи Ивашкявичюса несли в себе не только героинку, но и трагедию — как личную, так и историческую. Что тут поднялось! На автора романа ополчились и ветераны антисоветского партизанского движения, и коллеги-писатели, даже сам Витаутас Ландсбергис удостоил его своим раздраженным вниманием, назвав сочинителя «политическим недорослем».

Споры не умолкли и три с лишним года спустя, когда в «Дружбе народов» (2006, № 9—10) вышел русский перевод романа.

Сейчас Марюс Ивашкявичюс — заметная фигура и в Литве, и за ее пределами. Его книги переводятся, спектакли по его пьесам ставятся во многих странах, в том числе и в России.

Странно было бы ожидать, чтобы *такой*, идущий из глубины души текст, призывающий соплеменников писателя признать участие их предков в пособничестве нацистским преступникам, покаяться и отдать дань памяти жертвам, вызвал резкое неприятие. *Резкого* он, кажется, и не вызвал. Напротив, очень многие восприняли его с пониманием и благодарностью. И тем не менее рассчитывать сегодня на то, чтобы понимание подобных призывов сделалось всеобщим, все-таки трудно. И не только в Литве.

Казалось бы, столько лет прошло. Был Нюрнбергский трибунал. Ни в одной цивилизованной стране не разрешено высказывать сомнения в Холокосте. Выпущены тысячи книг, фильмов, тонны документов, мемуаров и т.п. Фашизм и деятельность фашистов исследованы буквально под лупой. О том, что происходило на оккупированных Германией территориях, пишут и пишут.

Но. Видимо, одно дело — знать, а другое — каяться и ощущать вину. Пусть она лежит не на тебе. На близких. Которых ты, право слово, помнишь замечательными людьми. На друзьях этих близких, которые на твоей памяти тоже были неплохими людьми и которым по жизни выпало то, с чем неизвестно, справился ли бы ты.

Вы говорите: вина перед жертвами. А мы говорим: сострадание к людям, которые, быть может, творили зло не по своей воле. Хотя признаем: некоторые — и по своей. Но если уж совсем начистоту — разве все уничтожаемые были ангелами во плоти? Разве некоторые из них не заслуживали расправы?

Такой или похожей логике следуют в Европе те, кто не хочет никаких покаяний. Поэтому призывы к ним по-прежнему вызывают бурление в обществе. Например, в Польше — когда там на экраны вышел фильм режиссера Пасиковского «Pocłósie» (в русском переводе «Стерня»), посвященный погрому евреев в польской деревушке Ебавне, то автора некоторые СМИ обвинили в предательстве национальных интересов. Ну прямо как некогда Ивашкявичюса в его родной Литве.

Или на Украине — там в этом году на вполне высоком уровне вспомнили 75-летие Бабьего Яра, но можно ли при этом говорить о подлинно национальном осознании трагедии? Вряд ли...

А у нас, в России? Здесь почти не говорят о пособничестве фашистским оккупантам, предпочитают переводить зарубежные книги, крутить зарубежные фильмы, ставить спектакли по зарубежным пьесам — только что в театре Вахтангова состоялась премьера спектакля «Наш класс» по пьесе польского драматурга Тадеуша Слободзянека в постановке Натальи Ковалевой. Переворачивает душу! Но действие, само собой, происходит в Польше.

Из книг вспоминается разве что вышедшая не так давно работа профессора права Льва Симкина «Коротким будет приговор», основанная на рассекреченных документах и малодоступных источниках (одна из глав, как раз посвященная истории Холокоста в Литве, была опубликована в «ДН» — «Соседи—2», № 5, 2013). Несмотря на небольшой тираж, она вызвала немало откликов в СМИ, в основном положительных, характерна, однако, реакция газеты «Завтра» — «Гнусный пасквиль».

Так что претензии к автору нашумевшего текста, что называется, в тренде. И их оказалось так много, что Ивашкявичюсу незадолго до шествия пришлось выступить в интернете еще раз. Публикация так и назвалась «Я — не еврей». Таким образом четко и недвусмысленно ответил он на вопрос, витавший в воздухе и в социальных сетях. За которым со всей натуральностью возникал следующий: «Ну чего он завелся тогда с этими евреями, какая муха его укусила?»

«Я не еврей, но меня трясет, когда и сейчас слышу от кого-нибудь: "Людей так просто не убивают, видно, было за что", — пишет Ивашкявичюс. — Было. Было выдуманно, почему они должны умирать, запущена мощная пропагандистская машина, вопящая, что евреи — не люди. Они — клещи, вши, сосущие нашу кровь. И они были уничтожены руками своих соседей. Но даже сами нацисты, наверное, не представляли себе, что пропаганда — эта клевета, вся эта кровавая ложь так прочно утвердится в сознании некоторых из нас, переживет три поколения и спустя семьдесят пять лет люди у нас будут ее ретранслировать дальше, повторяя на манер черной молитвы: "все евреи были сплошь коммунисты, при советах они ссылали и пытали литовцев, вот им и воздано по заслугам"».

Кто-то обвинял писателя в том, что он обеляет литовцев, кто-то — что обеляет русских, евреев и коммунистов.

Тем не менее инициатива Ивашкявичюса очень многих задела за живое. Вот что, например, писал ему театральный режиссер **Кама ГИНКАС**:

«Уважаемый Марюс и все-все-все, в том числе, я убежден, и госпожа Президент, и господин Председатель правительства, словом, все-все, кто будет участвовать в этом очистительном Шествии! Если бы я узнал о нем хоть на несколько дней раньше, я бы, конечно, был вместе с вами. Я — еврей. Я — чистокровный еврей. Я — еврей во всех поколениях. Я не из Молетай, но я из Литвы. Я из моей Литвы. Я закончил "Саломейку"¹, учился на литовского артиста вместе с Рутой Сталилюнайте².

Мой отец родился в Паневежисе, закончил литовскую гимназию и Университет Витаутаса Великого, служил в литовской армии. Мой дед родился в Мусниках, другой мой дед из Вилкавишкиса. Я уверен, что и мои прапрадеды — литваки.

¹ Виленская литовская школа № 2.

² Ruta Staliliunaite (1938—2011) — актриса театра и кино, Народная артистка Литвы.

Ни литовцы-убийцы (zydsaudziai, жидоморы), расстреливавшие евреев и убившие моего деда, мою тетю, мою бабушку, моего дядю и еще одного моего дядю, ни чиновники Советской Литвы, отказавшие мне в республиканском месте при поступлении к Товстоногову, указав на мою «некоренную национальность», ни даже сегодняшние законы уже свободной Литвы, отказавшие мне в литовском гражданстве, не отнимут у меня моей Родины. Считайте, что я иду вместе с вами по улицам Молетай до места расстрела. Причем иду вместе со своими десятью внуками, которых могло и не быть, потому что и меня могло не быть, потому что, если бы не литовцы Зося Бинкене, Владас Варчикас, монах Бронюс Готаутас, монашка Антонина Вайчюнайте, спасшие меня, я лежал бы вместе с тридцатью тысячами расстрелянных под Каунасом в Девятом Форте.

Я прошу вас также положить от моего имени Камень Памяти и Скорби».

Траурный марш состоялся 29 августа. Погода — как по заказу Марюса Ивашквичюса (вспомним его текст), а количество участников превзошло всякие ожидания. Литовцы и евреи со всего мира, немцы, поляки, русские, латыши... Деятели культуры, государственные мужи... Трансляция по литовскому телевидению и даже сюжет на русском. С трудом передвигаясь, на шествии появился Ландсбергис.

...Прошло немного времени, поутихли эмоции, и теперь уже можно подводить некоторые итоги. Впрочем, какие итоги — просто понять, что это было, отчего и зачем, и почему так откликнулись люди? Среди организаторов шествия был поэт, переводчик и друг Марюса Ивашквичюса (кстати, и друг нашего журнала) **Георгий ЕФРЕМОВ**¹. О роли в мероприятии **Григория (ЦВИ) КРИЦЕРА**² после рассказа Ивашквичюса нечего и говорить.

Вот их беседа, состоявшаяся по просьбе редакции в конце октября.

Георгий Ефремов. После траурного шествия у многих возникли вопросы: почему сейчас? Откуда столько участников? Где все они были раньше? Кто вдруг разбередил старую рану? Я-то знаю, что ничего не вдруг, что еще 40 лет назад Томас Венцлова выступил (в сам- и тамиздате) со статьей «Евреи и литовцы», где были такие слова: *«...Зло всегда остается злом, убийство убийством и вина виной. Ничто на свете не зачеркнет того факта, что в конце июня 1941 года литовцы на виду у толпы литовцев убивали безоружных людей, — даже тот факт, что в двадцатом веке многие, если не все, народы делали что-то подобное. И я, будучи литовцем, обязан говорить о вине своих, о своей вине. Садизм и разбой, презрение и постыдное равнодушие к людям не могут быть оправданы; увы, не могут быть даже объяснены, поскольку таятся в особенно темных углах личного и национального сознания, и искать рациональное объяснение всему этому — напрасный труд. Иной скажет: "Нет, евреев убивали не литовцы, а подонки (или того хлеще — "буржуазные националисты"), с литовским народом не имеющие ничего общего".*

¹ Георгий Ефремов родился в 1952 году в Москве. Учился во 2-й московской физматшколе, затем в Вильнюсском пединституте. Переводчик и распространитель Хроники Литовской католической церкви (1972—1985). Соредактор и составитель Хроники текущих событий (1973—1979). Лит. секретарь поэта Давида Самойлова (1973—1975). Один из создателей и директор издательства «Весть» (1986—96). Член совета Сейма «Саюдиса» в 1988—89 годах. Издатель и редактор газет «Возрождение» и «Согласие» (1988—1991). Преподаватель московского литературного института, ведущий семинара переводчиков с литовского (1991—1996). Автор 10 стихотворных книг. Живет в Вильнюсе.

² Григорий (Цви) Крицер родился в 1955 году в Вильнюсе. Родители: Цодик и Менуха, оба уроженцы Молетай. Закончил 6-ю русскую среднюю школу в Вильнюсе. В 1973 году, после одного семестра обучения в Вильнюсском филиале КПИ (Каунасского политехнического института), выехал с родителями в Израиль. Там почти год был в киббуце, затем в 1974—1978 годах учился в Тель-Авивском университете, параллельно работал в гостиничном бизнесе. В 1978—1981 годах — служба в ЦАХАЛе (армия обороны Израиля), с 1981 года занимается предпринимательской деятельностью, с 1989 года — футбольный менеджер. Женат, двое детей, живет в Тель-Авиве.

Я и сам говорил нечто похожее. Но это заявление, мягко говоря, неточно. Если мы согласимся считать нацию огромной личностью — а непосредственное чувство говорит, что такой подход единственно верен и ценен в моральном плане, — тогда эта личность включает в себя всех: и праведников, и преступников. Каждое прегрешение отягощает совесть всего народа и каждого его представителя. Не надо возлагать вину на другие народы. В своих провинностях они разберутся сами. Наши — надо назвать и оплакать нам. Говоря по правде, в этом и суть принадлежности к той или другой нации...» В те годы статья Томаса о евреях вызвала острую полемику (в подполье, естественно), в которой ярко и мощно проявил себя Антанас Терляцкас. Тема эта не забывалась и потом. Но в последние годы и месяцы она обрела какую-то особенную актуальность. А как вы, Григорий, пришли к идее траурного марша?

Григорий Крицер. Идея была самая простая — отдать долг погибшим и вообще пострадавшим от этого ужаса. Потом стало ясно, что нужен фильм. Это было сначала. Молетай — родина моего отца и поэтому — моя. Не могу сказать, что я всю жизнь напролет только и думал, как бы мне устроить траурный марш в Молетай... Но в каком-то возрасте просыпается осознание, что никто этого не делает, кроме тебя. Кое-чего ты уже достиг: у тебя семья, профессия, положение в обществе... Наступает пора задуматься о каких-то других ценностях. Я бы так сказал: когда стало уходить поколение родителей, я говорю о 80- и 90-летних, я испугался, что с ними уйдет память, которая жива, пока они были живы. Вот мы... Мы росли на фоне всего этого, в тени этих трагедий, под звук этих рассказов. Сейчас родители покидают нас, а многие уже за порогом этой вечной разлуки... Или вот, как моя мама, которая уже 10 лет страдает Альцгеймером и уже ничем поделиться не сможет... Она, как говорится, не в счет. А подрастает новое поколение, наши дети и внуки, и мне стало страшно, что эта связь прервется и дальше уже никто ничего никому не расскажет. Я решил: надо что-то сделать в память этих 2000 убитых и лежащих там... Пришла идея сделать фильм о еврейской общине этого местечка и о трагедии, которая там произошла, ведь были убиты почти все... Во время подготовки к съемкам я обнаружил, что памятник на месте расстрела, на их могиле, — он в таком состоянии, что должно быть стыдно всем: и нам, их потомкам, и местным жителям, и властям. Я был уверен, что ждать и надеяться на кого-то — бессмысленно, и стал готовить новый памятник... И тогда впервые мелькнула мысль сделать такой вот марш...

Г.Е. Когда эта идея впервые пришла в голову?

Г.К. Больше года назад, кажется, в мае 2015-го. Я даже думал устроить шествие еще в прошлом году, но меня отговорили. И верно: ведь я рассчитывал не на литовских граждан, а на потомков молетских евреев, рассеянных по всему миру. А конец августа — это отпуска, все уже заранее спланировано, был риск мало кого собрать. И к тому же — в 2016-м исполнялось ровно 75 лет с того... события. И мы (а к тому времени у меня уже появились соратники и помощники) решили отложить все на год, а пока продолжили снимать фильм. Дел, кстати, обнаружилось много. Я не знал, что в Литве такая сложная процедура с разрешениями на памятники, ну и было множество других организационных вопросов.

Г.Е. А я все это время обеспечивал русское информационное сопровождение проекта, так что поневоле был в курсе... Насколько понимаю, для многих важно выяснить, каково было (и стало) отношение народа... нет, народ — это слишком громко и расплывчато, скажем так — общества к этой идее? Было ли сопротивление и неприятие? В комментариях звучало подозрение, что все это устроено чуть ли не для того, чтобы обелить литовцев, снять с них вину. Я никогда ничего подобного не слышал и не чувствовал. Правдоподобна ли, по вашему мнению, подобная трактовка?

Г.К. Никакой особенной идеи вообще не было. Цель была одна — та, что я определил с самого начала: почтить память родных. Я тогда не думал о том, каково отношение ко всему этому со стороны, меня тогда не занимало ничье стороннее мнение... Я не ждал милостей от природы. Я шел, ни на кого не надеясь, только на себя. Может быть, поэтому мне было легче. И все, что я в итоге получил, — это был

бонус. Быть может, я повторяюсь, но раньше, до события, Молетай для меня был город-могила, несмотря на всю его эту живописность, на красоту окрестных пейзажей, голубизну озер... Все это было — чужое, холодное. И вот, пока мы готовили шествие, снимали фильм, — это место сделалось более родным, что ли, я там встретил очень много людей добрых, равнодушных, которые искренне и глубоко переживали эту трагедию... Одна женщина, когда пыталась нам рассказать о тех временах, не выдержала: «Я не могу говорить, мне слишком тяжело...» Она тогда была девочкой. Мне повезло, я действительно встретил много достойных людей... Знаете, как говорят: родина — это не только место на карте, это люди. И я в какой-то момент ощутил, что это родное мне место, если там столько близких людей. Они шли навстречу, предлагали и оказывали помощь, делали все возможное и невозможное. Я уж не говорю о Марюсе, который нам был послан, как ангел с неба.

Г.Е. И мне его небеса послали — почти 20 лет назад. Он тогда был совсем мальчишкой. Но объем, масштаб личности уже были вполне ощутимы! Я верно понял, что он участвует в создании фильма?

Г.К. Да. Но до завершения работы так еще далеко, что я бы остерегся что-либо говорить об этом.

Г.Е. А у фильма есть какое-то, хотя бы условное, предварительное название?

Г.К. Да. Он называется «Последнее воскресенье августа». Я могу объяснить, почему. Тут не все однозначно. Я с 6-8 лет помню эти поездки: с горсткой выживших евреев в Молетай на место казни... *Йорцайт* это называется, годовщина... Тогда ведь не то что мобильных — обычных телефонов почти ни у кого не было, но заранее было условлено, что в последнее воскресенье августа все собираются в Молетай. Некоторые ошибочно думают, что это массовое убийство произошло в последнее августовское воскресенье. Да, кстати, и во всех других литовских местечках, где случились такие трагедии (а их, увы, очень много) люди собирались кто в первое воскресенье сентября, кто во второе, но выходной день — самый удобный для поездок, так это и стало традицией. И ее надо продолжить.

Г.Е. В конце статьи «Евреи — проклятие Литвы» Марюс пишет: *«Да, они просят, они почтут своих павших, возможно, даже воздвигнут памятник. Но потом они все уедут, и те две тысячи наших закопанных земляков вновь останутся в немой очной ставке с нами. Опять они будут мертвы, а мы — живы, поэтому мы оскверним тот камень и будем дальше пить и испражняться на их могиле. Это самое страшное, что может случиться, но пока именно этот сценарий наиболее вероятен»*. И вот сейчас, когда шествие позади, эти опасения остаются? Каково, так сказать, послевкусие? И каковы могут быть результаты — если говорить не об официальной реакции, а об отклике в душах людей?

Г.К. Сразу скажу: я был глубоко тронут всем, что там произошло. Когда мы только задумывали этот марш, мы с женой говорили: «Если нас будет 10 человек, пусть так, пойдем вдсятером». Потом стало ясно, что нас будет больше. Мы мечтали: а вдруг нас наберется 100! А это вылилось в поразительное по силе событие... Очень сильное эмоциональное потрясение мы все испытали. Это тяжело пересказать. И эти люди, приехавшие со всех концов Литвы, как они отзывались на нашу боль!.. Конечно, это вселяет надежду, это порождает тепло, и можно сказать: лед взломан, он тронулся. Наверное, он тронулся еще раньше. Но сейчас он стал двигаться быстрее, это уже ледоход.

Г.Е. Да, это движение началось раньше. В середине 80-х я прочитал и перевел стихотворение Альгирдаса Вярбы «Ржаная баллада», вот его отрывок:

...В бетонном ангаре — сей хлебные зерна,
В самих небесах и в последнем аду,
Где кровь твоих ближних доходит до горла
И лес повторяет чужую беду.

Там дуб на равнине трясётся без звука,
От сумерек жёлтую пряча звезду,
И в окна стучит эмигрантская мука,
Отчизну рождая в солёном поту...

Тут ничего не прибавишь и не отменишь. У кого совесть есть — в тех она никогда не умолкает. И пусть более продвинутые знатоки решают, где подлинная Литва — там, где Венцлова и Вярба, или с теми, кто намекает: ладно, старые грехи мы признаем — но на этом все, хватит! Вообще мы вправе, мы можем надеяться на примирение?

Г.К. Я бы хотел ненадолго вернуться к ответу на предыдущий вопрос. Мне Марюс успел рассказать, что он потом (после шествия) остался в Молетай, жил у родителей еще несколько дней, колесил на велосипеде по городку и окрестностям, подъезжал к мемориалу и видел, что люди продолжают идти туда, кладут цветы и ставят свечи... Я вот что думаю. Те пьяницы, которые когда-то облюбовали это место (Марюс все описал точно), они тоже не были никакими монстрами, это не антисемитское проявление, это был признак деградации, им там было удобно пить и закусывать, там их никто не видел, там уютно и безопасно... А теперь в Молетай уже все знают, что это за место, самоуправление там установило видеокамеру, есть дорожный указатель и все такое... Подвижки есть, и положение изменится. Но мы с вами не наивные люди. Мы понимаем, что всегда найдутся мерзавцы, которых невозможно унять. Когда мы снимали фильм, в день марша, утром, наша группа встретила пьяного у магазина. Он подошел, начал спрашивать «как, что», а когда узнал, кто мы, выпалил: «Мне бы сейчас автомат, перестрелял бы вас всех!..» Но это пьяный, и у него на языке то, что на уме только у него. Не надо из этого раздувать всемирный скандал, идиоты и негодяи были, есть и всегда будут... Но сейчас, в теперешней Литве что мне понравилось... нет, понравилась — не то слово... Я стал на многое смотреть иначе. Раньше я разделял знакомый стереотип: Литва — это убийцы, так почти все считали. А я увидел очень многих, которые нашу боль испытывают как свою, кто-то прозревает, кто-то начинает узнавать то, что нам давно известно. Тут чрезвычайно значима информация. Понимаете, если даже мы не все знали и не все хотели знать, что мы тогда вправе требовать от других, от тех же современных литовцев? Нынешнее поколение — сорокалетние, тридцатилетние — они мало что знали, в советских школах или ничего не рассказывали, или о жертвах Холокоста говорили «советские граждане».

Г.Е. Вот и Томас Венцлова говорит в одном из интервью: «Учебники советского периода вообще не упоминали о евреях, это слово считалось тогда как бы неприличным, его избегали. Об убийствах писали, но умалчивали либо пытались умалчивать, что жертвами в первую очередь были евреи. Между тем литовцы понимали советскую пропаганду иначе: если власти и в особенности КГБ что-то утверждают, значит, правда находится в диаметрально противоположной стороне. Если ругают и обвиняют «буржуазных националистов», значит, все они как один являются героями и борцами за свободу. Мало кто понимал, что таким образом становился зависимым от КГБ: это именно КГБ определял твое понимание истории, пусть и окольным, извращенным способом».

Г.К. Многие вещи я сам узнал только сейчас. И вот ведь что еще... Антисемитизм таится и проявляется повсюду, он вовсе не только здесь, он коренится и в России, и на Украине, многие впитывают его буквально с молоком матери. И, повторюсь, необычайно важно, что многие здесь, впервые столкнувшись с ужасающей информацией, не кричат *«уберите, не могу и не хочу это знать!»*, — но сострадают, соболезнуют, бросаются на помощь. О себе скажу. Я свой путь начал слишком поздно. Мне постоянно не дает покоя мысль, что мне нет прощения... Когда отец был жив и мама в порядке, родня тут же, дядя и тетки, — я же мог их усадить, расспросить, узнать и зафиксировать все подробности. Но вы же знаете, мы живем с ощущением, что родители — они вроде домашней утвари, они будут вечно, а потом они уходят, и ты рвешь на себе волосы, а — все, ничему уже не поможешь. И теперь я по крупицам собираю информацию, когда уже почти некого спрашивать. И постоянно свербит одно: поздно! слишком поздно! Все надо было делать лет 20 назад. А с другой стороны — тогда многое было труднее, чем сейчас... Оправдания всегда найдутся: дети маленькие, то да се... Сегодня и поездки упростились, многое стало легче.

Г.Е. А как, кстати, в Литве относятся к Израилю? Есть какие-то наблюдения?

Г.К. По-моему, люди в Литве внутренне разделяют два понятия: евреи одно, а Израиль — это иное. К конкретным людям отношение вполне личное, тут многое определяется поведением и культурой. Очень много уже родственного — кто-то на

ком-то женился и т.д. Израильяне в массовом порядке ездят в Литву на отдых, и литовцы к ним заново присматриваются... К Израилю на всех уровнях отношение очень уважительное: это передовое, сильное, цивилизованное, демократическое государство, на которое Литва хотела бы походить. Мне кажется более важным поговорить об отношении Израиля к Литве. Мне кажется, политические и государственные интересы заставляют наших руководителей быть, что ли, выше (или вне?) темы Холокоста... Проще говоря, они склонны на многое закрывать глаза. Понятно: им важен голос Литвы в различных международных организациях, и тут имеется явный компромисс, особенно с израильской стороны. Вы наверняка заметили, что на официальном уровне у Израиля нет сегодня претензий к Литве, хотя они могли бы быть.

Г.Е. У многих ощущение, что литовцы как-то особенно неохотно признают свою вину... Я не литовец, но долгие годы жил и живу в Литве, кстати, в том самом Молетском районе. Но всех литовцев, конечно, не знаю. Но знаю я в сто раз больше, все равно, думаю: не мне судить о подобном. Мои любимые литовцы так совестливы и ответственны, как мало кто на свете.

Г.К. Тут многое и парадоксально, и вполне естественно. Я часто вспоминаю слова Венцловы, который говорил, что Литва стремится в собственных глазах выглядеть либо жертвой, либо героем, либо обоими сразу. И в этой системе координат все легко сходится: Литва — жертва свирепой коммунистической тирании, а кроме того она героически била захватчиков и никаких других ролей в истории не играла. Человеку, воспринимающему мир в таких категориях, трудно или почти невозможно принять и признать тот факт, что целые слои населения участвовали в зверских расправах. Марюс Ивашкявичюс мне рассказывал, как эта тема раскрыта в некоторых литовских учебниках: «В сентябре 1941 года еврейские дети не пришли учиться: для них это было очень печальное лето». Можно сказать так: сейчас Литва еще не готова сделать решающий шаг. Но она делала и делает малые шаги, и тут очень многое зависит от политиков. Но я верю, что довольно скоро Литва станет нормальным, взрослым государством. А сейчас — у нее такой подростковый период. Еще впереди совершеннолетие. Когда они смогут на все открыто посмотреть, признать, честно говорить о трагической истории в школах, тогда это будет прекрасная страна. Нынешняя молодежь — она умная, довольно прогрессивная, пытливая, ей надо больше доверять, снабжать полной информацией. Они уж сами разберутся, что хорошо, а что плохо. А пока Литва к своим чадам относится излишне бережно, старается не ранить их сознание правдой. Это страусиная политика. Мне вспоминается еще цитата из Томаса Венцловы, где он говорит, что в Литве происходят странные явления... Вот ведь многое делается для увековечения памяти о еврейском прошлом... В точности не помню, но...

Г.Е. Я напомним, вот эта цитата: «Виленский Гаон¹ стал почти такой же неотъемлемой частью наследия многонационального города, как Гедимин или Адам Мицкевич. Понятие «Северный Иерусалим» стало частью образа Вильнюса. Покойный Ицхак Мерас или ныне здравствующий Григорий Канович признаны создателями литовской культуры, существует немало успешных спектаклей и фильмов о прошлом и судьбе евреев. Опубликовано немало мартирологических воспоминаний, о положении евреев в годы немецкой оккупации уже не умалчивают, его по крайней мере пытаются сделать частью общественной памяти. Не умалчивают и о действиях литовцев — пособников фашистов, несмотря на то, что о них говорят очень абстрактно; любое обвинение в адрес конкретных лиц чаще всего называют клеветой и выдумками КГБ. Восстанавливают виленское гетто, в нем появились мемориальные доски, памятники. Было бы, конечно, хорошо, и у меня есть надежда на то, что рано или поздно отстроят Большую синагогу. Я как-то писал, что в советское время кварталы гетто восстанавливали так, чтобы никто и не вспомнил об их «еврействе», и это наш

¹ Элияху бен Шломо Залман (1720—1797), известен также как Ха-гаон хе-хасид — Благочестивый гаон, — раввин, каббалист и общественный деятель, один из выдающихся духовных авторитетов ортодоксального еврейства, математик. Слово «гаон» в переводе с иврита означает «гений».

национальный позор — так вот этого позора уже нет, о том, что кварталы были еврейскими, не умалчивают.

Г.К. Да, отмечены границы гетто, открываются музеи, издаются книги, воздвигаются мемориалы, и все это хорошо, пока дело не доходит до личностей: кто конкретно все это творил? Убитые есть, убийство состоялось, а убийцы отсутствуют.

Г.Е. И об этом в том же интервью («Евреи и литовцы: что изменилось и что не изменилось за 40 лет», ru.DELFI.lt, 27 апреля 2015). Томас говорит: «Мультикультурный взгляд и мультикультурная политика пришли в Литву со стороны после вступления в Европейский Союз, у них практически не было местных корней. По этой причине многие с упоением утверждают, что в Европе эта политика обанкротилась, несмотря на то что подобные разговоры — явное преувеличение. Мультикультурализм проник в академическую среду, уже только благодаря идейной и финансовой помощи Запада, но не в массы, и не в большинство правящего слоя, представляющего менталитет масс. Глобализация вообще считается злом, даже коварным заговором против народности. Эта литовская идеология, по сути, тождественна, скажем, идеологии Марин Ле Пен во Франции. Разница в том, что в Литве ее поддерживают практически все влиятельные политические силы — в этом вопросе существует молчаливое согласие, консенсус. Итак, официально высказывают согласие с тем, что Холокост — это великое зло, есть день памяти о нем, но вместе с тем официально хотят оправдать и даже канонизировать лиц, которые так или иначе участвовали в Холокосте. Этому также посвящены памятные дни и мемориальные доски. Такое явление следует называть государственной и национальной шизофренией». В связи с чем еще вопрос, видимо, последний. Преступления военного времени, участие в них коренного населения — не разделяет ли «еврейский вопрос» литовское общество на два лагеря?

Г.К. Я бы хотел, чтобы возникли два лагеря. Но, по-моему, пока двух лагерей нет. Когда вышла книга Руты Ванагайте «Наши»¹, — на нее обрушились со всех сторон. По моим ощущениям, 90% были против нее. Или я неверно осведомлен?

Г.Е. Не возьмусь судить, возможно. Но тут важен качественный состав обоих лагерей. Если ко второму лагерю в Литве принадлежат такие люди, как Ивашквичюс и Венцлова, тогда этот лагерь очень силен. А надо признать, что к нему принадлежат еще многие «властители умов». Собственно, эти 10% решают и решат все.

Г.К. А я повторю: вся моя надежда — на юное поколение, которому марши, вроде нашего, открывают глаза. Это поможет им самим жить, работать, строить свою страну и мир. Вот говорят о признании вины... Какой вины? Нынешнее поколение не виновно в преступлениях и проступках отцов и дедов. Речь о признании правды, принятии ответственности. Германия нашла в себе силы посмотреть правде в глаза, назвать преступления преступлениями, выплатить компенсации пострадавшим... Но и это случилось на сразу — понадобились годы, десятилетия. И Франция шла к этому почти 50 лет.

Г.Е. У Франции и других стран Запада — свои преступления и признания, но мне почему-то кажется, что в нашем углу, в Восточной Европе все как-то страшней и кромешней. И выбираться из этого мрака — труднее и дольше. Но жить в этом и с этим — нельзя... Тогда все же еще один вопрос: изменило ли все, недавно происшедшее, ваше представление о Литве, о литовцах?

Г.К. Безусловно. Это шествие внушило мне оптимизм и надежду. Да и любой, оказавшийся там в тот день, ощутил бы то же самое. Мы обязательно сделаем наш фильм — и по нему станет если не все, то многое понятно. Кроме того, мы сейчас создали фонд MALAT Memory Foundation — я надеюсь и хочу сделать ещё многое в Молетай и вокруг.

Материал подготовил Леонид БАХНОВ

¹ Книга Руты Ванагайте «Наши», посвященная геноциду евреев в 1941 году в Литве, вышла на литовском языке в январе 2016 года и вызвала большие споры в обществе.

Владимир Ермаков

Стремление вперед

Эссе о прогрессе

1

В истории идей есть понятия, возводимые современниками в ранг главных идеалов, и в эпоху их господства все прочие идеологемы настолько легитимны, насколько лояльны к ним. Так в Средние века во всем, что происходило, распознавалась *божья воля*. Все насущные проблемы решались с божьей помощью. Не сказать, что выходило хорошо. Но все усилия ума были направлены на то, чтобы оправдать порядок вещей. Потом бога в людях стало меньше, а проблем в мире больше. Систему мира пришлось переосмыслить. В период между Возрождением и Просвещением в общественном сознании произошла Великая эпистемологическая революция. Фактор истории поменял вектор: золотой век человечества из прошлого был перенесен в будущее. В XIX веке нарастающее *стремление вперед* отформатировалось в идею *прогресса*, овладевшую духом эпохи.

Согласно словарю, *прогресс* (лат. *progressus*) — *движение вперед, от низшего к высшему, переход на более высокую ступень развития, изменение к лучшему; развитие нового, передового*. Противоположное понятие, *регресс*, приравнивалось по смыслу к деградации. Таким образом, в менталитете элит критерий прогрессивности становился основанием морального определения качества событий и явлений, позволяющим судить, — что из происходящего хорошо, а что плохо. Только то, что могло претендовать на прогрессивность, могло располагать моральными ресурсами современности и рассчитывать на общественную поддержку. Перспектива прогресса настолько увлекла передовых людей, что прогресс из идеала стал идолом. Что поразительно, — никто из сторонников целенаправленного развития не замечал, что в стратегии прогресса цель как таковая отсутствует.

Если в теологической концепции экзистенциальной целесообразности (*что Бог ни делает, все к лучшему*) вопрос о конечной цели существования снимался доверием к божьему промыслу, то в секулярной телеологии он решительно дезавуирован: кредо авангарда в формулировке социалиста Эдуарда Бернштейна (*движение — все, цель — ничто*) стало догмой прогресса... На первый взгляд, это формула оптимизации

Ермаков Владимир Александрович — поэт, эссеист, постоянный автор «Дружбы народов». Последние публикации в «ДН» — «Тёмен жребий русского поэта...» (№ 6, 2010); «Сто лет без Толстого» (№ 2, 2011); «Друг без друга. В поисках утраченного чувства» (№ 11, 2015); «Нелюдимые русские веси». Стихи (№ 9, 2016).

социальной динамики, — поскольку активизирует действие, исходящее из действительности. Но если вдуматься в суть тезиса, в экзистенциальном плане стремление вперед есть устремление к небытию. Если цель — ничто, то стремительность = смертельность. Игра на опережение покрывается тратой времени. Работа на износ, не имеющая конечной причины, не что иное как порабощение тружеников процессом производства. Что-то не то выходит с *raison d'être* (смыслом существования) *homo sapiens* (человека разумного). Бесконечный прогресс оказывается бессрочной каторгой скорбного разума.

* * *

Согласно идеалистической диалектике Гегеля мировая история есть становление абсолютного духа, то есть возрастание реальности от хаотического состояния к логическому. Из учения о саморазвитии логоса легко извлекается идея прогресса. А далее эту отдельно взятую идею можно утверждать как когнитивную догму. Что, собственно, и сделал Карл Маркс, основоположник безбожной религии исторического материализма.

Современник и соотечественник Карла Маркса историк Леопольд фон Ранке, основоположник научной методологии исторического исследования, оппонировавший марксизму, понятие «*историческое развитие*» считал оскорблением человеческого достоинства. В его возражениях против сравнительного подхода к внутренней проблематике былых времен есть прямой резон: идея прогресса лишает каждую эпоху собственного смысла; сонмы людей, живущих в своем времени, опосредованным образом лишаются своей судьбы, превращаясь в расходный материал истории. Как сказал сто лет спустя поэт Осип Мандельштам, чья судьба оказалась в залоге у прогрессивной идеологии, — *Не сравнивай: живущий не сравним*. Воистину так.

Но если все же сравнивать различные состояния человеческого общества по прогрессивной шкале сравнительной антропологии, может оказаться, что каждое историческое обретение покрывает некую утрату. Просвещенные пессимисты полагают, что спорные радости прогресса даются человеку ценой потери шестого чувства — врожденного чувства целостности существования, иначе говоря, мистического единства жизни и судьбы. Чем больше всего имеет человечество в целом, тем больше того, чего не хватает каждому. Недостижимое воспринимается как отчужденное. Обратная сторона прогресса — ресентимент, бессильное злопамятство, выедающее в душе предустановленную гармонию желаний и возможностей. Если смотреть с точки зрения вечности, суровая жизнь охотника на мамонтов вряд ли экзистенциально беднее трудовых будней офисного менеджера. А поскольку существование предшествует сущности, то и духовный потенциал древних варваров, видимо, был богаче, чем у нынешних вандалов. Если сравнить фрески на стенах пещер и граффити на наших заборах...

* * *

Позитивные мыслители прошлых веков, с моральным удовлетворением вкушая плоды с древа познания, развивали в своих трудах тезис о неограниченном могуществе разума. Социальные утописты, вдохновленные укрощенной мощью паровой машины, разрабатывали техническое задание для утопического проекта — преобразование системы мира под нужды человечества. С помощью хитроумных механизмов человек может добиться всего, чего захочет. Разве не так?

Не так. В перспективе неизвестности отдельного мыслителя подстерегает то, о чем он не думал. Непродуманные действия порождают непредсказуемые последствия. Самоопределение современности складывается из критического пересмотра своей

предыстории. Как заметил поэт, — *Следствие редко способно взглянуть на свою причину с одобрением.*¹ Одним из стимуляторов прогресса является конфликт отцов и детей.

Коренная ошибка практического разума в том, что его стратегия строится на резонах, а жизнь подвержена безрассудному действию страстей. Человек, стремящийся к переменам, сам не знает, как он поведет себя в изменившихся обстоятельствах. Если даже живущие бок о бок люди не могут найти консенсус относительно злобы дня, — где уж надеяться на согласие миллиардов людей, разделенных по странам и стратам, разобщенных по верам и вкусам.

Стрелка компаса, указывающего на полюс блага, рыскает из стороны в сторону, и траектория истории, следуя духу времени, выписывает такие кренделя, что, вопреки догматам истмата, целые народы сбиваются с пути и поворачивают вспять. Где-то в эмпиреях, глядя на эти исторические выкрутасы, угрюмый Гегель настырно и напрасно надеется на сошествие абсолютного духа, а упрямый Маркс кормит баснями призрак коммунизма, в ужасе бежавший от преследующих его людей.

Если судить непредвзято, получается, что генеральная линия прогресса не является диалектической спиралью, как убеждают теоретики, а описывается старинной формулой: *куда кривая вывезет...* Однако двигаться наугад и действовать наобум — дело рискованное. Простец это чувствует, мудрец это понимает. *Ведь прогресс сам по себе указывает направление; в тот момент, когда мы начинаем хоть немного сомневаться, туда ли мы идем, мы в такой же степени сомневаемся в направлении прогресса.*² Сомнения старого провокатора Честертона вполне обоснованы, но не вполне осознанны. При всей своей склонности к рискованным играм ума он даже представить себе не мог, что впредь сотворит прогресс с его старой доброй Англией...

* * *

Стратегия развития, если отнестись к ней критически, это консолидированное стремление попасть из прошлого в будущее, срезав дорогу через настоящее. В идеологии прогресса современность рассматривается как переходный этап, не имеющий собственного значения. Идея, превращенная *передовыми людьми* в догму, стала парадигмой технологической цивилизации. Одержимость движением исподволь овладела общественным сознанием и вытеснила из него идеал душевного покоя, в котором нуждается каждая живая душа. В итоге образовалось общество душевнобольных. Никто не находит себе места там, где он есть. Желание перемен стало навязчивым состоянием мятежного духа — и сущим несчастьем сложной личности. Как оказалось, все наши дорогостоящие радости мало что стоят на самом деле, если наличное существование не гарантировано неким высшим принципом, не подверженным превратностям истории. Жизнь, устремленная вперед, фатально не удастся. Вроде бы все есть, что надо для радости, а в душе такая тоска... Синдром ностальгии: хочется жить *обратно*.

Одержимое навязчивой идеей прогресса, человечество принесло человека в жертву идолу цивилизации. Условия человеческого существования усложнились и усложнились. Каждому индивиду на каждый день столько всего надо, чего прежде даже в сказках столько добра не было. На всех всего не напасешься; рост потребностей опережает рост возможностей. Отсюда вытекает необходимость принуждения значительной части человечества к несчастью недостаточности, к нехватке посреди избытка. Подобно злосчастному Франсуа Вийону, неудовлетворенный потребитель *от жажды умирает над ручьем*. И никому бедолагу не жалко. Всем не до него. Успеть бы свое ухватить... Чем больше стоимость жизни, тем меньше ценность личности.

¹ Иосиф Бродский. «На стороне Кавафиса».

² Гилберт Кийт Честертон. «Еретики».

Имидж — все, душа — ничто. Разрывая узы привязанности, ближние стремятся вырваться вперед в гонке за лидером, и эта энергия заблуждения — движущая сила прогресса.

* * *

Если проанализировать прогрессивные убеждения в скептическом аспекте, можно убедиться, что целеустремленность без цели — фикция. Методология прогресса по сути своей не столько идеология, сколько мифология. Бинарная оппозиция прогресса и регресса замещает в общественном сознании сакральные образы бога и дьявола, потускневшие в свете рационального знания. Во всяком случае, прогресс приравнивается к добру, а регресс — к злу. Так ли уж это бесспорно, как думают те, кто не думает о последствиях? По мере того, как темп прогресса ускоряется в арифметической прогрессии, цена ошибки возрастает в прогрессии геометрической. Масштаб тотальной катастрофы уже приближается к параметрам библейского апокалипсиса.

Объявленный абсолютным благом, прогресс разворачивается в истории как самовозрастающий кризис существующего порядка вещей. Причем все более глубокий — и глобальный. В период индустриальной революции скорость и масса изменений если не контролировались, то хотя бы регулировались. Теперь же цивилизационная динамика — технологическая лавина, вовлекающая в движение весь мир. Динамизм как демонизм: мир несется сломя голову в чертову прорву времени...

Мир меняется быстрее, чем осознается. Характер перемен на каждом новом этапе все тотальнее, радикальнее и кардинальнее. Человечество устремляется в будущее с возрастающим ускорением, перерождаясь в движении. Нынешние люди, не вписывающиеся в завтрашние параметры, становятся вчерашними; вектор прогресса оттесняет лишних людей, аутсайдеров и маргиналов, на поля календаря, где все, в чем нет необходимости, пребывает без надобности. Прогресс продолжается все большими усилиями все меньшего числа людей. В эпистемологическом пределе интеллектуальные технологии смогут развиваться без участия интеллектуалов и технологов. Парадокс прогресса в том, что внутри биосферы человечество создает техносферу, которая в пределе автоматизации не будет иметь нужды в человечестве. Античное понятие *бог из машины* обретает обратный смысл: не помощь, а погибель.

2

Парадокс прогресса можно обнаружить, связав два известных высказывания о знании, одно из которых обращено к разуму, а другое к душе.

Знание — сила (Фрэнсис Бэкон)

Знание надмевает (апостол Павел)

Из этого силлогизма следует вывод, что знание, необходимое и достаточное условие прогресса, став силой, становится властью, — а всякая власть, как известно, развращается тем больше, чем меньше подвергается критике. А кто, кроме обскурантов и мракобесов, может выступить против знания, если критический дискурс находится под эгидой чистого разума? Таким образом, научные постулаты становятся идеологическими догматами, а наука как таковая — рациональным культом.

Всякий культ требует жертв. В жертву ненасытной истине жрецы прогресса приносят все, что могут отрезать от живой жизни остро отточенным логическим инструментом — *скальпелем Оккама*. Если некая сущность не поддается изучению, наука отказывает ей в праве на существование. Так в Век Просвещения французская

академия постановила, что известия о метеоритах суть суеверия: поскольку небосвод есть оптическая иллюзия, то падать оттуда ничего не может. Серьезные люди, эти ученые...

* * *

По какому-то подлому закону научной методологии внутри каждой решенной проблемы открываются две новые, превосходящие первоначальную по масштабу и сложности. Чем больше мы узнаем, тем яснее понимаем, что не знаем гораздо больше, чем думали раньше. Возрастающий дефицит в экономике знания составляет парадокс прогресса. Чем дальше в лес, тем больше дров... — и тем дороже обходится их заготовка и доставка. Чтобы обеспечить ход событий креативной энергией, необходимой для конкурентной государственности, политическая власть мобилизует весь интеллектуальный потенциал на условный лесоповал — под надзор поставленных над ними начальников. Академия наук становится *шарапкиной конторой*. Поэтому интеллигенция, потерявшая внутреннюю ориентацию, усомнилась в своей прогрессивной миссии. Но продолжает — по умолчанию — служить прогрессу. Как служат церкви старые попы, разуверившиеся в благодати. *Идея прогресса исчезла, но прогресс продолжается*.¹ Продолжается как самопроизвольный процесс. Не настоящее продвигается в будущее, а грядущее вгрызается в существующее.

Если поменять привычную точку зрения на течение времени, памятуя, что всякое движение относительно, вектор перемен поворачивается в уме на 180 градусов. И тогда можно сказать так: прогресс есть агрессия грядущего. Весь мир — театр военных действий. Будущее наступает, и его авангард, захватывая и расширяя плацдарм в современности, не шадит иллюзии настоящего.

* * *

Все, что человечеством ни делается, — делается к лучшему. Но делается так плохо, что ничего хорошего из этого не выходит. Благие намерения порождают дурные последствия. Почему так? Огюст Конт, основатель позитивизма, определил смысл прогресса как возрастание системности: *Прогресс есть развитие порядка*. Безупречное определение. Но ведь что из него следует? Чтобы развивать что-либо, надо для начала это иметь. В то время как назвать *порядком* существующее состояние вещей решится разве что сумасшедший. А если так, то, по логике вещей, дальше будет еще хуже.

В критериях прогресса привычная повседневность представляется заторможенной действительностью. Прогрессивная реальность суть Зазеркалье Кэрролла: *здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте! Если же хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее!*² И приходится бежать. Со всех ног. А их у *homo sapiens*'а всего две...

У аналитиков нынче в ходу модное словосочетание: «опережающее развитие». Как это понять? очень просто: нечто делается быстрее, чем думается. По мере того, как ускоряется ход перемен, современнику все труднее не отстать от жизни. Технологические темпы не соответствуют биологическим ритмам. Надо все больше знать, чтобы не остаться в дураках. Надо все больше суетиться, чтобы обеспечить покой. Надо все больше напрягаться, чтобы заработать на отдых. Надо лезть вон из кожи, чтобы сохранить лицо.

В идеологии прогресса (сумме технологий) стремление к покою отвергается как ересь и подвергается остракизму. *Там, где все движется — да к тому же еще в одном и*

¹ Жан Бодрийяр. «Прозрачность зла».

² Льюис Кэрролл. «Алиса в Зазеркалье».

том же направлении, будь то направо, налево, вверх или вниз, — человек покоящийся оказывается помехой. Его воспринимают как некий упрек — и, натываясь на него, считают вредителем.¹

Из публичного идеала героя нашего времени, воплощенного в культовых персонажах, начисто вычищены все позитивные коннотации сдержанности и задумчивости. В идеологию прогресса входит пропаганда «активного отдыха» — в индустрии спорта релаксация устроена как сублимация агрессии. То же в сфере развлечений. Вот хотя бы одна характерная деталь: в современных дискотеках весь спектр настроений, выражаемых в танцах, поглощен одной сплошной половецкой пляской, лишенной какой бы то ни было хореографической интриги...

Расшибая лбы, столкнувшись с непредвиденными последствиями нововведений, прогрессивные мыслители проблематизируют понятие прогресса, выискивая способы как-то иначе соотнести динамику техносферы и инерцию социума. Вот, к примеру, мнение философа Германа Люббе, высказанное в эссе с остроумным подзаголовком «О сокращении нашего пребывания в настоящем»: *Опасности, вызванные остановкой прогресса, менее серьезны, чем тяжелые последствия осуществившегося прогресса.*² Собственно говоря, разве не то же самое утверждал своей жизнью задолго до него, лежа на своем продавленном диване, Иван Ильич Обломов, хранитель праздного духа и носитель ментальной инерции? А прогрессивная общественность держала его за лодыря...

* * *

Чтобы не доводить историю до плачевного конца, идею прогресса надо понять заново. Испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет в книге «Размышления о технике» указывает на то, что общество уже не властно по собственной воле менять параметры своей жизни, а следует необходимости, рождающейся внутри техносферы. Модернизация социума обусловлена инновациями техносферы: система использует человека как носителя качеств, нужных для ее успешного функционирования. Если прежде люди были винтиками государственной машины, находящейся под контролем правящей элиты, то теперь сама власть становится лишь функцией самоуправления системы, принципы действия которой выходят за пределы общественного сознания. Все стратегические решения принимаются исходя из того, что будет лучше для системы, — даже если для этого приходится жертвовать интересами и правами людей, которые создали эту систему для обеспечения своих прав и интересов.

Экстремальное *стремление вперед* нарушает сложившееся равновесие традиций и новаций. В истории этносов модернизм стимулирует активность, а консерватизм сохраняет идентичность. Изменение и сохранение в равной мере отвечают за существование общественного порядка: ставка на отставание заведомо будет бита; игра на опережение кончается отрывом от реальности. *Ради того хорошего, от которого так легко уходят, вовлекаясь в процесс развития, необходимо покончить с критической страстью к улучшению.*³ Прогресс, из технического условия человеческого существования превратившийся в самодовлеющий принцип, подобен злокачественному процессу в социальном организме.

Так или иначе участвуя в прогрессивных акциях, понимаем ли мы сущность того, в чем соучаствуем? Если предположить, что канцерогенные агенты каким-то чудом обрели сознание, можно поставить три вопроса. 1) Осознали бы раковые клетки организм, в котором образовали опухоль, как биосферу? 2) Какое идеологическое обоснование нашли бы они для разрастания своего сообщества? 3) Возникла бы у них

¹ Эрнст Юнгер. «Эвмесвиль».

² Герман Люббе. «В ногу со временем».

³ Петер Слотердайк. «Критика цинического разума».

в ходе размышлений о своем будущем эсхатологическая идея? Скорее всего, расширенное воспроизводство своего сообщества и распространение метастазами по всему организму идеологи канцерогенеза провозгласили прогрессом. Онкология как онтология...

Спрашивается: кой черт внушил нам ненасытную страсть к переменам? Ведь есть же (были!) и другие концептуальные подходы к истории. В интервью журналу «Фома» (№ 4, 2015) историк древнерусской словесности и ментальности Евгений Водолазкин, автор философского романа «Лавр», средневековое мировоззрение отличает от модернистского следующим образом. *Особенность средневекового мышления, плохо осознаваемая сейчас, — это совершенно другое восприятие времени. Оно было в гораздо меньшей степени насыщено событиями, но в гораздо большей — метафизическими смыслами. Большую часть Средневековья даже часов не было в массовом употреблении, и не в силу технологической отсталости, а просто потому, что потребности не ощущалось. Более того, средневековому человеку был свойственен взгляд на время, так сказать, сквозь вечность. По-латыни это звучит как *sub specie aeternitatis* — с точки зрения вечности. Поэтому обыденное время, повседневное, отчасти размывалось таким подходом.*

Эмпирическому разуму, вероятно, не дано усвоить понятия вечность и бесконечность, но разницу между ними ему необходимо осознать, чтобы не путать пунктир жизни с линией судьбы. Сумеречное сознание стремится к ясности. *Так когда же, спрашивается, конец света, закричала толпа. Нам это важно, простите за прямоту, и в отношении планирования работы, и в смысле спасения души.*¹ Исторический человек не против конца истории, — он хочет лишь определенности.

В контексте постмодерна все понимается относительно. Говорить о конце света бессмысленно. Говорить о конце истории преждевременно. Но пришло время поставить вопрос об отмене прогресса в качестве стратегии мировой цивилизации. Чтобы люди могли спокойно заниматься как своими обыденными делами, так и спасением своей души. То есть обустроить окружающую действительность и оптимизировать внутреннюю реальность. Принимая за должное не больше вероятного, но не меньше возможного.

Особенно актуально это относительно нашего отечества, пытающегося наверстать упущенное. Как тут не вспомнить классическое определение русской судьбы как птицы-тройки... *Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымитесь под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях?* Сказано так сильно, что дух захватывает. Однако захваченный дух вскоре пропитывается сомнением и страхом — *Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа.*

Через полтора века после провидца Николая Гоголя другой русский гений, поэт Владимир Высоцкий, осознал это наводящее ужас движение как стремление к смерти. И взмолился: *Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...*

* * *

Наверное, чтобы не было недомолвок, в заключение следует сформулировать вывод: что делать? Увы, вывода нет. И выхода, похоже, тоже нет. Если бы знать, камо грядеши, чего бы суесться попусту...

Ясно одно: так жить нельзя. Надо что-то делать, чтобы обуздать прогресс. Надо менять существо прогресса — не технологию, а методологию. Основные усилия следует направить на избавление человека от принудительной необходимости отречься от прошлого и жертвовать настоящим во имя будущего, — на исцеление русской

¹ Евгений Водолазкин. «Лавр».

тоски, которая отравила национальную идею темной враждебностью к окружающей действительности.

Мучительное чувство фрустрации, свойственное эсхатологическому комплексу утомленного менталитета, лучше всех выразил не самый лучший поэт Серебряного века —

От места к месту я иду,
Природу строго испытую,
И сокровенного все жду,
И с тем, что явлено, вражду.⁹

Если снять меланхолический флер, в этой формуле обнаруживается кредо модерна. Из чего можно заключить, что идеологема прогресса есть мифологема, онтическим инвестором которой является метафизический ужас. Смертельный страх, растворенный в задних мыслях, обходит защитные природные механизмы и, словно программный вирус, блокирует естественное отношение сознания и бытия. Экзистенциальная установка на будущее — сублимированная форма танатоса, коварно заместившая в коллективном сознании место эроса. Игра на опережение, в которую превращается существование — перманентная утрата настоящего времени в надежде заполнить пустоту в себе завтрашним днем. То есть бегство от жизни.

Стремление впредь стало навязчивым состоянием массового сознания. Гносеологический осел, в коего превратился homo sapiens, одержимый маниакальным психозом, бежит за воображаемой морковкой. И когда жертва прогресса выбьется из сил и свалится под копыта стада, сломя голову несущегося из нынешнего дня в завтрашний, последним озарением в сумеречном сознании открывается страшная правда: завтра не наступит никогда.

Постскриптум

После всего сказанного следует прояснить, насколько серьезно сам автор относится к реакционной теории, изложенной им с усердной последовательностью, но без особой убедительности. Трудно сказать однозначно и определенно... Вероятно, в основе авторского отношения к избранной теме есть изрядная примесь философского фарисейства, — поскольку всякая критика на уровне мотивации суть скрытая защита той действительности, которая подвергается критике. Кто выступает против прогресса, по определению не может призывать к радикальным переменам. Ведь и этот текст, фигурально говоря, не гусиным пером писан, а комфортно отформатирован на мониторе персонального компьютера. Что не лишает резона скепсис, сосредоточенный в эссе.

В чем же все-таки мессидж? Когда автор задается вопросом, какие мгновения жизни казались ему моментами истины, он задним умом понимает, что в своих экзистенциальных экстазах ощущал свое существование как пребывание вне времени. Этот выход за пределы действительности, согласно всем свидетельствам, составляет суть всякого духовного опыта, от глубокой древности до наших дней. Следовательно, никакие технологии никоим образом не способствуют душе в преодолении невыносимой легкости бытия и приближении к недостижимому блаженству. Я думаю, каждый, кто был когда-либо счастлив, чувствовал нечто в этом роде. Однако если для лучшей жизни надо будет отказаться от того, что есть в этой, вряд ли кто, будучи в здравом уме

¹ Федор Сологуб. «Кругом обставшие меня...».

и твердой памяти, согласится на эмиграцию из несостоявшейся утопии в несуществующую пастораль.

Суммируя вышесказанное, автор обнаруживает, что не может сложить в уме то, что разделилось в душе. Собственно говоря, этот и есть надлежащий вывод; если *дом, разделившийся сам в себе, не устоит*,¹ то противоречие, являющееся сутью человеческого существа, укрепляет его решимость устоять в этом мире. То есть становится стимулом судьбы. В умозрительных координатах чистого разума, экстраполирующего траекторию развития homo sapiens как природного существа из прошлого в будущее, прогресс — проекция вектора истории на горизонталь времени. Однако судьба человечества зависит от того, на какой уровень поднимается общественное сознание по вертикали духа.

Чего больше всего хотелось бы автору, не знающему, как без урона для авторства выйти из затянувшегося и запутавшегося рассуждения о том, чего он сам толком не понимает, — чтобы вдумчивый читатель, который сумеет одолеть и преодолеть этот текст, увидел в нем опосредованное выражение когнитивного диссонанса, характерного для шизофренического дискурса эпохи постмодерна. Ис чистой совестью посочувствовал суеверному автору, заблудившемуся в сомнениях, — дорогу мысли, устремленной в будущее, перешла черная кошка тревоги.

¹ Евангелие от Матфея: 12;25.

Татьяна Колмогорова

Выдох на усилия

«Умр, или Новая книга обращений» Санджара Янышева

С Санджаром Янышевым я познакомилась 25 лет назад, когда преподавала на филологическом факультете Ташкентского государственного университета историю русской литературы XX века. Он был для меня одним из тех студентов, ради которых готовишься к лекциям и на чье восприятие ориентируешься в аудитории. Потом Санджар стал писателем, а я — его постоянным читателем и корреспондентом. Работая над книгой «Умр, или Новая книга обращений», Санджар в личных письмах знакомил меня с отдельными произведениями. Затем возникали «зеркала» в «толстожурнальных» публикациях. А теперь уже существует полная электронная версия книги¹.

Я оказалась «закадровым» свидетелем зарождения и формирования книги и шла след в след по той дороге, которую искал и находил автор. В цитатах из наших диалогов (Санджар дал согласие на их публикацию) сохранены размышления автора, помогающие понять его творческие принципы и настроиться на восприятие книги.

Выдохом на усилия называется «обратное» для нормальной физиологии дыхание в нетрадиционной лечебной гимнастике, настолько парадоксальное по своей сути, что требует, прежде всего, резкого поворота мысли и воли, приятия себя в новом качестве. *Выдох на усилия* как метафора художественного «дыхания» Санджара Янышева подходит для книги в целом и для произведений, составляющих ее.

На названии книги застрянет большинство читателей. Каждая часть, каждое слово, сама конструкция названия, кажущаяся иронично старомодной, вызовет вопросы, не имеющие однозначного ответа.

Слово «Умр» — смыкающее кольцо книги. Первое слово названия и последнее слово текста заключительного верлибра. Самое загадочное слово: по звучанию похоже на междометие, а по смыслу связано в русском языке со смертью. И только читатели, знакомые с биографией Санджара Янышева, заподозрят, что слово это — восточного происхождения.

Гуглим — 2 миллиона ответов! Выметаем мусор аббревиатур, и на третьей странице поисковик выдает вот такие неожиданные сведения: «Умр — это гигантское андрогинное существо, возникшее из первичной хаотической субстанции. Имя Умр — "ревущий звук" — согласуется с учениями других религий, в которых сказано, что вначале был первичный звук. Согласно мифам, гигант Умр был убит, а из его тела было создана наша Вселенная». («...ух ты!! — реагирует Санджар на «первичный звук», — чего только не бывает! Мне, кстати, вначале было интересно также созвучие этого

¹ Санджар Янышев. Умр, или Новая книга обращений // Фонд Новый мир, 2014: <http://novymirjournal.ru/index.php/projects/preprints/57-ianyshev-umr>

слова арабскому "умра" — "малый хадж".) Первое же слово освещает цикл светом космогонической мифологии.

Рядом с «Умр» — эпически размеренные и тяжело нагруженные ассоциациями слова. *Новая книга*. Дерзкая попытка создать новую Книгу (Библию, Коран)? Констатация «новой книжности» в эпоху интернета, в котором сосуществуют и профанная говорильня, и графоманство, и источники знаний, и высокие образцы всех видов искусства?

«Обращение» в художественной литературе — в первую очередь, *превращение, обращение в... переход в иное состояние*. Метаморфозы Овидия и Апулея — как традиция, идущая от античности. День сегодняшний: мейлы и социальные сети с их бесконечными обращениями к кому-то или к чему-то. А еще музыкальные аккорды, логические конструкции, экономический оборот капитала...

«Это не вполне стихи, а может, совсем не стихи», — написал мне Санджар. В подзаголовке продолжены игровые «перевертыши»: нестандартное жанровое определение «Стихи, истории, фильмы» и «вывернутое» кинематографическое примечание: «Все персонажи и события книги реальны, совпадения не случайны».

«...пишу КНИГУ и вижу ее ВСЮ. Со всеми перепадами, со всеми аллегро и модерато; большой пестрый хор: тут и тенора, и дисканты, и басы, и контральто. В голове сформирован ОБРАЗ будущей книги, "звучащий слепок", аккорд, которому не достает нескольких отдельных звуков, но который уже звучит "предпризрачно" (обычно призрак, равно слепок, — это то, что *после*, а этот — *перед*)». Автор втягивает читателя в заразительную игру парадоксально оборачивающихся смыслов. Предлагает ему стать соавтором и самому строить из хаотической субстанции вселенную смыслов. Произведения достраиваются в восприятии, когда нарастает теплота понимания, как в игре «холодно — горячо». Первичное опознавание жанра и поиск определений — часть игры, на которую настроил подзаголовок: верлибры, стихотворения в прозе, эссе, притчи, параболы, рассказы... Иногда автор подсказывает: «либретто», «маком», «баллада», «роман».

Из переписки:

С.Я.: Моя эссеистика — это, например, "Ташкент как зеркало" в альманахе "Малый шелковый путь". Эссеистика, сдобренная мемуаристикой. Это весь Розанов, это «Дневник писателя» Достоевского, это публицистика Честертона... Автор канонического эссе всегда говорит *из себя*, никаким вымыслом не припудривая *свои собственные* размышления о том или ином предмете, руководствуясь *своим личным опытом*, опираясь на реальные эпизоды *своей* непридуманной жизни.

Т.Н.: Каноническое эссе? Терминологический парадокс. Я, "книжник, начетчик и фарисей", сейчас постоянно читаю эссе разных авторов. Посылаю Вам выписки из книги Лидии Гинзбург "Человек за письменным столом".

С.Я.: ...в последнем отрывке Гинзбург отказывает процессу творчества в каком-то самом важном органе, может быть, сердце; да, моменты воспитания ребенка крайне важны, но момент зачатия? рождения? В "момент выдумки" видишь произведение целиком, как бы уже написанным, — и сколь долго бы ни пришлось потом над ним работать, только это самое первое переживание дает тебе силы и право (!) совершать "выборку" и "пропуск" — как бы сверяясь с тем образом, что был вначале. Но ведь об этом не напишет ни один литературовед, потому что он по определению занимается текстом (результатом), а точка "возникновения", о которой Пастернак, — это уже область "метафизики" (метеопсихоза, сказал бы я).

Т.Н.: ...в литературоведении есть разные области.

С.Я.: ...сам не знаю, ЧЕМ это считать. Может, все-таки стихотворениями в прозе?

Т.Н.: Наверное, определение "стихотворения в прозе" нужно для дисциплинирующей автора "жанровой памяти". Но зачем для читателя акцентировать вполне умозрительное авторское указание?

С.Я.: ...никаких жанровых определений и подзаголовков я давать не хочу; для меня как автора всё это важно лишь в связи с читательскими запросами...

Т.Н.: ..."притча"? Я вижу в книге только одну классическую притчу — "Слово Деревя".

С.Я.: Мне еще нравится слово "парабола". Это, конечно, не совсем о "поэзии-прозе", но тоже ведь вопрос жанра, нет? А притча и парабола не одно и то же?

Т.Н.: Не зря нравится! Думаю, большинство Ваших произведений в книге именно параболы. *Символическое* иносказание! Оба плана — прямой и иносказательный — равно важны. Кстати, объем текста не показатель (а для притчи краткость обязательна). Параболы — это и Гессе, и Маркес, и Кобо Абэ... Если помните, Василя Быкова в этом ключе мы разбирали на занятиях...

Но ожидания почти всегда будут обмануты. «Роман» у Янышева — сжатый до нескольких фраз «сценарий» истории любви с трагифарсовой развязкой. Верлибр — лироэпическое повествование. Рассказ — притчеобразное иносказание, «предфильмовая» история, сказ необычным голосом... Примерам несть числа, потому что любое из произведений несет органическую неопределенность рода и жанра, «непрозрачность» смысла.

Произведения цикла «аукаются» между собой, вступают в парадоксальные контакты. Зумрад из рассказа «Зоя—Зумрад. Маком об искуплении» в поисках правды об отце обращается из мусульманки в христианку Зою. Герой рассказа «Иосиф Эсхатович Суэта. «Тарракат-марракат»», отец умирающего и принявшего ислам сына, приходит к исламу как к вратам покорности судьбе (дословный перевод арабского слова «ислам» — покорность). Мать из «Исхак Адывар. Праздник Суннат» похожа на Мать из «Творога и масла»: оба образа несут глубину архетипа. Произведения «именные» («Барри Линдон», «Мурад Кайси. Учитель танцев», «Остап Сом. Смерть друга», «Женя Лысенко. Восхождение», «Владимир-Джахангир. «Хвост мыша» и другие) переключаются с «типажными» («Зритель», «Слухач», «Бесцветный человек»). То ли галерея портретов, меняющихся под влиянием освещения и ракурса. То ли коллекция экспонатов кунсткамеры. То ли художественный вариант «книги лиц» — фейсбук.

«Фирменный знак» Янышева: персонажи-«оборотни», в которых есть несколько парадоксально соприкасающихся сущностей. В «Марте и Композиторе» композитор всего лишь переписчик нот, а его жена и муза Марта — глухая в прямом и переносном смысле. В «Марко-Амато. Женщина не отпускает» герой-любownik Марко встречает Драупади — сильную, властную и полигамную женщину, превращаясь в результате в андрогинного Марко, которому подсаживают матку.

«Двоятся» и рассказчики историй. В «Эдике Фишмане» это вообще рассказчица: «Да-да, Эдик Фишман поменял пол — это было бы скучно, но здесь важна подоплека (иначе — *стала* бы я о нем так долго говорить?)...» Включается игра в пол: а не сам ли Эдик Фишман, поменявший половую принадлежность, является рассказчиком истории Эдика Фишмана? В рассказе «Творог и масло» герой-рассказчик — один из двух близнецов, но брат не участвует в событиях, он только придает «двоению» оттенок правдоподобия. В сознании и поведении героя-рассказчика переливаются сдвоенные взросло-детские позиции: подростковая эротичность, любопытство ко всем сторонам жизни, жажда самоутверждения, неистощимая фантазия сочинителя. Устойчивые образные противоположности в «Твороге и масле» двойнически спаяны воедино, как Ян и Инь. Земля — небо. Холод — тепло. Ночь — день. Темнота — свет. Мягкость — твердость. *Творог и масло* тоже оказывается скрытым противопоставлением в духе «перекатывающихся» значений.

«Зеркально» отражаются и умножаются персонажи рассказа. История враждующих братьев — злобного Карима и добродушного Кима (К<ар>има) — спроецирована на библейский слой: убийство Каином Авеля, историю Иакова и Исава. Рождение детей-

«противоположностей» проецируется на множество мифов и сказок: мужчина — женщина, чудовище — красавица, карлик — высокий рост и статность. В буйной фантазии рассказчика-сочинителя связь с братом-близнецом спроецирована в будущее как возможное повторение на новом витке истории Карима и Кима, причем в роли Карима оказывается и рассказчик, который собирается сыграть на московской сцене роль Клавдия, и брат-близнец, которому предстоит сделать предложение третьей жене рассказчика.

Образ Андрея Миронова, кумира и «культурного героя», обращен к зеркалу мифологемы «смерти-воскресения». С первых же абзацев запускается процесс обращений-превращений. Появление (звучание легкомысленной песенки по радио). Унижение (мнение иракского дядюшки). Исчезновение (переключение радиоволны). Прощание («прости нас, любимый артист»). Возрождение («приеду домой, все поправлю»). Финал рассказа — «умер Андрей Миронов» — снимает игровые противоречия. В общей памяти и любви — человеческое бессмертие.

И все истории перехода в иное состояние или иное осознание балансируют на грани реальности и ирреальности. Они — воспользуюсь названиями Янышева — «не со мной» и «не с тобой».

Переключка зачина и финала прочно соединяет цикл. «Причины», открывающие книгу, состоят из назывных предложений — знак особых отношений автора с миром: овладения и власти. Овладение — как процесс — идет от осознания собственной природы «божьей тварности», своей смиренности (я с-миром) и духовной радости от этого осознания. Власть тоже процесс. Это власть поэта-демиурга, созидającego мир. Случайные и всегда новые, неоформленные и «не требующие завершения» молекулы жизни — «невиданный урожай яблок», «новая тропинка между холмами», «прикосновение босой пятки к позвоночнику», «покупка роликовых коньков», «соблазн прозы» — одинаково важны и равноправны в картине мира. Они выхвачены и освещены, как прожектором, лучом человеческой сопричастности. В этом тоже есть не просто эмоционально-реактивная, а высшая радость: «И увидел Бог, что это хорошо». Мир, который существует и создается, — душевно ладный, родной и теплый. Стихотворение превращается в речь, обращенную к любому человеку, который становится твоим собеседником. «Другой» голос в финальной строке — голос друга и вопрос к другу. «Причины» — это причины жить. И чувствовать глазами, слухом, кожей, сердцем, душой, разумом Первопричины.

Верлибр «Бандалик» соединяет, как мост, начальные «Причины» и заключительный «Умр». Мудрые и светлые строки о смерти как об обращении в иную жизнь, о циклической связи сменяющихся поколений — «единственной на земле очереди».

Бандалик примерно равно русскому «приношу соболезнования». Разница этикетных формул — ментальная, философская. В христианской среде соболезнование приносится живым, а в мусульманской — не только живым, но и ушедшему в иной мир человеку, которому предстоит пройти особый путь, прежде чем предстать перед Всевышним. Путь начинается с обряда похорон, который автор изображает с гиперреальностью подробностей, обращающихся в символ Жизни. «Никогда еще мы не были такими зрячими, такими чуткими». Вслед за «Я» персонажа-рассказчика мы увидим его полусидящим в углублении мусульманской могилы, отделенном от общего пространства; услышим пронзительно-тихий звук: «на-най, на-най». И прозреем образ человеческого эмбриона в материнском лоне, младенца, которому нежно напевают колыбельную. Два равно непостижимых для человека таинства — рождение и смерть — соединены в образности этого стихотворения.

Как и некоторые другие произведения, «Бандалик» перекочевал в цикл «Умр» из предыдущих книг. В сборнике избранных стихотворений С.Янышева, опубликованном в 2010 году, в примечании к стихотворению автор дал определение: «бандалик» — слово «соболезнования, сочувствия, сопричастия». Обращает на себя

внимание необычность авторского словоупотребления: вместо «сопричастности» — «сопричастие». Со-причастие... Греческое название таинства Причастия, которое совершается ради духовного обновления человека, — Евхаристия, Благодарение. И одна из важнейших мыслей стихотворения: «И возблагодарили Бога, что путь окончен, / И возблагодарили Бога, что путь — был». Возникает парадоксальный религиозный смысл: соединение мусульманства и христианства. Цикл 2014 года остается без этого примечания. Автор последователен в своем стремлении побудить читающего к усилиям в строительстве собственных смыслов.

Выдохнутый без знаков препинания верлибр «Умр» — гул той общей, *нашей* Вселенной, которая творится из хаотической раздробленности миров. Умр «как я или каждый другой» — и обращен к каждому другому «умру». Умр «управляется нежностью и нежностью». Умр «как жизнь или смерть». Поэтический синтаксис стихотворения подобен заклинанию сил, способных «мертвое» сделать живым.

Картины западных и восточных миров в цикле станут более внятными, когда мы найдем «умр» в недрах сетевых словарей. Ошеломительное, но закономерное открытие: заимствованное из арабского языка, в узбекском языке слово «умр» — «жизнь». Причем не в биологическом, а в человеческом ее измерении. В столкновении смысла узбекского слова и звучания «умр» в русском языке происходит вспышка вечных смыслов циклического круговращения жизни.

«Умр» есть поклон Санджара Янышева, родившегося и выросшего в Ташкенте, родной земле. Проявление неизменного уважения к любому *другому*: человеку, языку, культуре, религии. Уважение, полное человеческого достоинства и гуманистически-объединительного смысла, есть и залог самоуважения. И это самый яркий парадокс книги *другого* поэта о смерти, жизни и творчестве.

Санджар Янышев

«Подбросьте мысль — продлите жизнь»

Мысль как дирижабль

бойтесь желаний юности, ибо — сбудутся
как я умер — не важно; важно, почему я до сих пор жив
раньше я ее *вырабатывал*, а теперь она *поступает* — импульсами, через пробелы,
словно скамейки в парке
давешний флейтист в метро, он бесконечно теребит зачин скерцо из второй сюиты
Баха — как бы по кругу, только круг похож на торт с выеденной четвертью
(фокус в том, что пассажиры успевают пройти мимо ДО начала «второй цифры»,
поэтому она не нужна)
вот и подсказка: исключаем всё ненужное
(телефонные кабинки помните? — это ведь я придумал, чтобы трубка вешалась не
на один штырек, а на два)
к чёрту память — только мысль, мысль *на будущее*

мысль рождает мысль, подобно тому, как ребёнок просыпается от собственного плача

то, что может пригодиться, то и крутит жернова
в остальном отказано, особенно в памяти
жизнь без памяти — как воображение без вкуса (спасибо Гёте!)
но мне оставлено одно воображение
я это понял только что, в 20 часов 36 минут 59 секунд
подбросьте мысль — продлите жизнь

так

спросить у мамы размер брюк; и, наконец, запомнить: вряд ли он уже поменяется

так

додумать про: глаза огня, ноздри воздуха, губы воды... что там ещё? — борода земли
(откуда это? — не важно, думай *вперёд*)

так

когда человек голодает, он ущемляет собственное воспроизводство, животные в этом случае поступают обратным образом
(додумать: и в животном мире и в человеческой истории есть примеры, опровергающие данный тезис)

так

у мужей, ходящих «налево», вырастают сильные дети (додумать)

так

воздушный змей без привязи к полёту не способен (спасибо, мальчик!)

так

зверя можно гладить, но ни в коем случае кормить — от этого он теряет нежность
(что за чушь?)

наверно, можно и про чушь

покуда мысля — не исчезну

неужели я первый?..

этот воздух, убывающий с каждой случайной памятью

этот парк, до которого вдруг сузился мой маршрут

но почему *здесь*?

думай

тридцать лет назад вот на этом мосту

нельзя! отказано

нет, в роще, это было в той роще

отказано, идиот

войско чёрной ольхи

отка...

утки утки

запомнить на будущее: съёмочная группа с софитами и штативами при ближнем взгляде оборачивается стайкой дворников с метлами и в жилетках

[20.37, Коломенское. Температура воздуха +17°C, давление 742 мм рт. ст., влажность 95%., скорость ветра 0 м/с.]

Слово дерева

«Буду цвести только для тебя!» — «Не обманешь?» — «Зови свидетелей».
Ха-ха, слово дерева.
«Ни одного червивого плода». — «Да ну!» — «Разрежь каждый».
Оёй! слово дерева.
«Не послужу висельнику». — «Хватит уже!» — «Вот тебе крест!!»
Тук-тук. Слово дерева.

Роман

Грошиков Архип Иванович (1901—1984).
Грошикова Настасья Гавриловна (1905—1999).
Грошиков Клим Архипович (1937—2010).
Грошикова Алёна Архиповна (1941—2014).

Кажется, всё сбылось.

Умр

не зависит от времени
но чувствует свет
это умр
не подвержен калению и стуже
но управляется нежностью и нежностью
он ведь умр
не боится порчи
но знает что такое ужас и пустота
потому что умр
не имеет но владеет
не хочет но знает
как жизнь
или смерть
как я или каждый другой
умр

Ольга Балла

Вслушиваясь во время

За последние несколько лет — и, в частности, в минувшем году — у многих сотрудников «Дружбы народов» вышли собственные книги или оказались опубликованными важные для них тексты. В 2013-м сразу два сборника — очередной поэтический и первый прозаический — издала заведующая отделом поэзии Галина Климова. В 2014-м главный редактор журнала, прозаик Александр Эбаноидзе издал одной книгой два своих романа, написанных в разные эпохи — с разрывом в тридцать с лишним лет: «Где отчий дом» (1981) и «Предчувствие октября» (2012). В прошлом году на страницах «ДН» (№ 3—4) был опубликован журнальный вариант романа заведующего отделом публицистики Владимира Медведева «Заххок» (полностью роман выходит в нынешнем декабре в издательстве «Арсис»). В том же, 2015-м, книгой вышел роман заместителя главного редактора журнала, прозаика Александра Снегирёва «Вера» и был издан сборник его рассказов «Как же ее звали?», в 2016-м — еще один сборник рассказов: «Бил и целовал». Заместитель главного редактора Наталья Игрунова собрала в книгу «Воздух времени. После СССР: мы и наши мифы» свои беседы и интервью с известными политиками, социологами, культурологами, режиссерами, писателями из России и «ближнего» и «дальнего» зарубежья о том, как за четверть века, минувшую со времени распада Советского Союза, менялся наш образ прошлого и самих себя. В 2016-м же свой изборник «из пяти книг» выпустил ответственный секретарь журнала, поэт Сергей Надеев. В этом же году свои «нетеатральные» и «неисторические» заметки о театре и истории — и о театре истории — за минувшие двадцать лет собрал под одной обложкой старейший сотрудник журнала, обозреватель Лев Аннинский.

Попробуем посмотреть, а что объединяет — объединяет ли что-нибудь вообще — все эти книги, всех людей, эти книги написавших, — помимо чисто формальной их принадлежности к кругу сотрудников и авторов одного журнала? Тем более что принадлежность такого рода ни исключительно формальной, ни целиком случайной не бывает никогда. Можно ли тут говорить об общих ценностях, тяготениях, пристрастиях, интонациях, направлениях внимания?

В этом обзоре мы будем говорить только о вышедших уже авторских книгах и сборниках, оставляя за пределами внимания — безусловно его достойные — переводы, выполненные нашими же сотрудниками (например, переводы Ирины Дорониной — Йэна Макьюэна, Эрнеста Хемингуэя, Кадзуо Исигуро, Скотта Фицджеральда, Джорджа Оруэлла, Трумэна Капоте, Джона Гришема, Джона Апдайка... — вышедшие за последние годы, заслуживают отдельного разговора), и те издания, которые только готовятся к печати.

Галина Климова. Чтобы продолжало быть

Галина КЛИМОВА. В своём роде. — М.: Воймега, 2013; Юрская глина: Путеводитель по семейному альбому в снах, стихах и прозе. — М.: Русский импульс, 2013.

Сразу две вышедшие три года назад книги жизни поэта и переводчика Галины Климовой — сумма личного опыта в образах и ритмах. Небольшая книга стихов «В своём роде» и первая для автора пяти стихотворных сборников прозаическая книга — «Юрская глина», в которой поэт водит собственную память и читательское воображение по страницам своего семейного альбома путями прозы, стихов и — объединяющих два первых пути, служащих истоками им обоим — сновидений. «Избранных снов», как это называется в одном из вошедших сюда — и, кстати, ключевых — текстов.

Обе книги — со сложным внутренним рельефом, обе столь же многонаселенные, сколь и вещные, переполненные живыми предметами, каждый с собственным характером, с внутренней драмой. Даже если это «мешки целлофановые — / сорт рукодельных цветов / или дешёвые из секонд-хенда наряды» — с ними всякое может статься, потому что — живые и выходят из собственных берегов:

Воздушные замки из себя соорюив,
где фиговым листиком не прикрыться,
приют для продувных героев,
мешки вдруг прикинутся:
мы — птицы, птицы...
Синий — синицей,
Розовый — снегирём,
А чёрный мешок — чёрный лебедь Одиллия —
Исполнит батман и надуется пузырьём,
Трудовые порвав сухожилия.
(«Пейзаж с мешками»)

Понятно, что читать эти книги имеет смысл вместе, даже при том — особенно при том, — что отчасти они пересекаются: в прозаической по основному замыслу книге мы встретим стихи, уже прочитанные в поэтическом сборнике («При понятих: / аккомпаниатор, уборщица и канарейка, — / в актовом зале музыкальной школы / мне объяснили, что я — еврейка...»; «Только мама / приучала любить оливки...», «От надрыва фольги — ветерок липкий...»).

Сразу видно, что перед нами — две, проросшие друг в друга, части одного целого. То есть у нас есть все основания для того, чтобы говорить об этих двух книгах, при всей их, вроде бы, разноставности, — как об одной.

«Юрская глина» — это не от геологического юрского периода. Это от другого периода: биографического, биотектонического, если угодно, названного по имени главного — или одного из главных — адресата образующей книгу внутренней и внешней речи: Юрия. Юрия Леснова. По крайней мере, такое имя носит в книге — умерший к моменту начала повествования — муж героини по имени Тася, которая явно альтер эго автора, ее прозрачная лирическая маска. Тасе передовено столько воспоминаний, сразу узнающихся как личные, что в этом не сомневаешься (и родители ей отданы собственные — «Аня и Даня», и «первые детские воспоминания: много солнца, не находящего себе места в комнате. Жизнь — солнечна, и она в ней — очень мелкая прибрежная галька, омытая водами материнского моря» — вот и настоящее имя почти названо). История Таси, вспоминающей Юрия и свою

неотделимость от него, в отличие от почти всех остальных в книге, рассказана от третьего лица, может быть, для создания защитной дистанции? (Кроме нее, таков только рассказ о дедушке и бабушке автора по материнской линии, Романе и Фене Орешкиных, названных их настоящими именами, но главная героиня там тоже «Тася».) Более того, эта история рассказана дважды: ближе к началу книги и в ее конце.

Я — юрская глина,
Я — мужья жена,
огнеупорна, обожжена...

«Афродита, — объясняет автор устами героини своей, так ли уж важно, насколько вымышленной, собеседнице, — вышла из пены морской, Ева — из ребра Адама, а я, наверно, из юрской глины, которая почти везде: это и вязкая грязь под ногами, и полное жизни дно древнего моря, и подручный материал для ваятеля».

(Биография здесь неотмыслима от мифологии, мифологична по определению. Из общего мифологического инструментария поэт заимствует элементы для персональной мифобиографии, насыщая их собственными содержаниями, дополняя собственными элементами.)

Так вот, в обеих книгах речь только и идет что о том многоликом и полиморфном веществе жизни, из которого состоит вспоминающий себя человек.

То есть, по существу, — о чем? О предках, о родных, любимых и друзьях, об их характерах и судьбах, об истории страны, увиденной через их жизни. О поэтах — живых и мертвых. О городах, странах, пространствах, о личных и пристрастных взаимоотношениях с ними, — экзистенциальная география: Севан, дом Параджанова в Ереване, Бавария, Альпийские горы, нерасторжимая пара вечно противопоставляемых друг другу Москвы и Петербурга, станция Фрязево, Ногинск и река Клязьма, «Ташкентские адреса», Коктебель, Болгария... — да, вот особенно эта последняя. Она, похоже, — одна из стран, коренных для автора, во многом определивших ее восприятие жизни, самой себя и даже родного языка. Кроме «физической», географической родины, у человека бывают еще и символические, и для Галины Климовой Болгария со всей очевидностью такова. В персональной мифологии автора эта страна имеет устойчивый статус страны рождения — в некотором смысле, видимо, и ее собственного, — но прежде всего — рождения вообще, источника, начала.

<...> спала долина под июльский зной.
Спала, как все беременные бабы,
В наплыве дурноты, подточена тоской,
Прикрывши маревом и ямы, и ухабы,
Чтоб до утра утробный свой покой
От глаза уберечь и зависти людской.

Но мир уже гудел:
брюхатая долина!
И молодой Орфей молитвы пел:
во чреве чудный град!

Все боги ждали сына,
И Стара-Планина, и каждая вершина.
Но родилась — страна. <...>

(«Фракия»)

Кстати, и «Юрская глина» — повинуюсь неведомо каким, но явно не случайным внутренним тяготениям — начинается не с чего-нибудь, а именно с Болгарии, точнее — с одного-единственного человека оттуда. Притом — почти случайного. «Настоящего болгарина я увидела впервые, когда была еще первокурсницей...» Этот

Асен Маринов, который затем не встретился повествовательнице ни разу в жизни, но неизменно ею вспоминался и вспоминается с благодарностью до сих пор, потому что — буквально парой фраз — изменил ее отношение к самой себе. Переключил его. То есть, в каком-то смысле, определил все, что было потом.

О чем еще? О русской и еврейской частях своего кровного и символического наследства, о связанных с этой двойственностью напряжениях и внутренних — и не только — конфликтах. («Быть полукровкой, не различая в себе горизонта, / черты оседлости, линии перемены дат, / за своих умирать на оба воюющих фронта...») О детстве, о первых рифмованных строчках, точнее даже, об «их зародышах» — и первом потрясении от их непонимания самым близким человеком, отцом. («Я была потрясена собственным провалом, но более того — чувством отчаянного одиночества в своей семье. <...> Папа перестал быть моим доверенным лицом.») Кстати, почему-то (может быть — как раз поэтому?) именно в рассказ о своем первом поэтическом опыте и его провале Климова включила фронтовые воспоминания отца, Даниеля Златкина. Целиком. Прямо в их изначальном, машинописном облике — просто фотографии страниц.

Вообще, в обеих книгах выговаривается многое из фамильной, почти телесной памяти, — это тем важнее, что многое в ней осталось, видимо, непроговоренным в свое время, а многое оказалось утраченным, — и не только потому, что документы не сохранились — да и не в первую очередь поэтому. «Все невещественное — бесценно. Ни купить, ни продать, ни обложить налогами. <...> В нашей семье, довольно благополучной по советским меркам, архивов не заводили, над рукописями не тряслись. Но кое-что уцелело: письма, документы, удостоверения и пропуска, по которым легко считывается профессиональная карьера <...> В ворохе старинных и просто старых фотографий видишь лица, которые не опознать, и некого уже расспросить: кто этот мужик в белых валенках с галошами, до полусмерти придавивший казенный стул, за спинкой которого стоит убитая жизнью женщина, видимо, жена... И выбросить фото рука не поднимается».

Говорится и о личных точках уязвимости, вплоть до отношений, изначально трудных, с собственным именем («Имя Галя изгваждало моё детство, / грезились *Злата, Земфира, Марго, Эвридика...*»), о менявшемся с годами чувстве его, о его обживании и, в конечном счете, — о примирении с ним. И тут соединяются, находя общий язык, ирония и чувственность — внимание к чувственным корням смыслов, к предсмысловым токам, омывающим существование изнутри:

Теперь на 8-е марта все, кому не жалко,
жалуют кубики от Gallina Blanca,
хотя во мне ничего однокоренного с курицей,
галатами, галлами и гало,
но кое-что от тишины (повезло),
от милости ее и смелости —
ядро молочно-восковой спелости
на вкус, и на слух, и во взгляде.

В примирении с именем, в самопринятии, оказывается, снова не последнюю роль сыграла Болгария: «Галя — болгарский глагол *нежить*, / *ласкать, по головке гладить*.»

Все это — не то чтобы исповедь и/или самоанализ, хотя не без элементов и того, и другого. Скорее, нечто более бережное и к себе, и к собственному прошлому: самовосстановление, вызывание ушедшего из небытия — без того и не для того, чтобы его судить или оценивать. Просто — чтобы было. Чтобы продолжало быть.

Александр Эбаноидзе. Подземный гул

Александр ЭБАНОИДЗЕ. Маки на руинах: Романы. — М.: Культурная революция, 2014. (Жизнь прозы).

«Предчувствие октября», написанное в 2012-м, оказалось под одной обложкой с романом «Где отчий дом», который Александр Эбаноидзе написал тремя десятилетиями раньше, не просто по воле случая или повинувшись авторской прихоти. Всего Эбаноидзе принадлежат четыре романа: самый известный «Два месяца в деревне, или Брак по-имеретински» (1968), «Где отчий дом» (1981), «Вниз и вверх» (1990) и «Предчувствие октября». В том, что он издал теперь вместе только эти два — второй и четвертый, — можно увидеть своеобразную форму авторской рефлексии. Романист взял две значительно удаленные, но значимые лично для него точки своего писательского — и общего исторического — опыта и... и между ними проскочила искра.

Оказалось, что эти, взятые с некоторой произвольностью, точки лежат на одной линии, которая совершенно внятно прочерчивается.

«Заканчивая работу над "Предчувствием октября", — пишет автор в предисловии, — я неожиданно обнаружил в нем сходство и родство с давней моей вещью — романом "...Где отчий дом". Сходство было формальным и лежало на поверхности: повествование в обоих романах складывается из внутренних монологов главных персонажей».

Но формальным сходством дело не ограничивается, что, впрочем, автор сразу же заметил и сам:

«Что же до родства, то оно оказалось глубинным и сущностным: рассказанные истории отразили энтропию традиционного уклада жизни, кризис института семьи.»

Соответственно, автор взял два среза со своего понимания проблемы — которая, как видим, привлекает его внимание давно — и дает нам возможность их сравнить. «Видит бог, — настаивает он, — ни в том, ни в другом случае я не ставил такой задачи». Но тем вернее: видимо, проблема всерьез его занимает, раз выговорилась и помимо сознательной постановки задач.

Потому что, на самом деле, за этим стоит тревога куда более общая: проблема устойчивости человеческого мира, связей, удерживающих его в целости. И того, каково человеку при нехватке этой устойчивости.

Тем более что ко времени написания второго романа мир, увиденный нами в первом из них, уже распался.

Собственно, автор и сам об этом говорит — объясняя название книги: «Мысль семейная всегда занимала литературу, можно сказать, доминировала в ней, и первые признаки кризиса были замечены ею давно. Но вплоть до второй половины минувшего столетия это были щербинки и трещины в стенах прочного старого дома. И только научный прогресс с его непредсказуемыми плодами и далеко идущими последствиями нанес сильнейший удар по фундаменту».

Вот только ли в «научном прогрессе» тут дело?

«В Дзирульском ущелье, в моей родной деревне, — говорит он далее, — поодаль от нас стоял добротный каменный дом, в годы моей юности оживленный и многолюдный. В последний приезд я обнаружил на его месте руины в тени одичавших деревьев — черешен, яблонь, груш. Лишь маки, полыхающие в прогалинах тени, напоминали о былой жизни».

Да, два объединенных здесь романа написаны изнутри исторических состояний, которые простодушный наблюдатель готов счесть очень разными. Что может быть,

казалось бы, более разным, чем медленное, вязкое время ранних брежневских восьмидесятых, о котором тогда и сомнений не было, что оно будет вечно — и начало 2010-х, в которых совершенно уже невозможно представить себе, что будет дальше? В них и место действия разное: в первом — грузинская деревня, во втором — Москва.

На самом деле, теперь уже ясно, что в обоих случаях речь идет о мире предкатастрофическом. И оба романа — включая и тот, что написан в 2012-м — мы можем читать под этим углом зрения. В обоих текстах здесь слышен (или он звучит в читательских ушах?) медленно нарастающий подземный гул.

Первый из романов московскому жителю читать существенно интереснее. Хотя бы уже просто потому, что он о грузинской провинциальной жизни, о которой нам, жителям России, мало что известно. А тут она показана не только изнутри, но с подробным знанием предмета, с детально-точным его чувством и с любовью к нему: Эбаноидзе, человек в целом русской культуры, родился и вырос в Грузии, грузинский — один из его родных языков, все его романы, кроме последнего, написаны хоть и по-русски, но на грузинском материале. И Грузию он умеет видеть двумя способами сразу: как грузин и как русский — изнутри и извне.

В романе, разные части которого рассказаны от лица разных героев, звучат и русские, и грузинские голоса — два русских, три грузинских. Правда, звучат они довольно одинаково: во всех случаях автор вкладывает героям в уста одинаково правильный, книжный русский язык, при всем своем лексическом богатстве и точности не дающий увидеть особенности их опыта и душевного устройства. (Не говоря уже о том, что никакие это не внутренние монологи, — внутренняя речь, как каждый знает по своему опыту, сбивчива, нелогична, растет сразу во все стороны. Здесь же речь вполне внешняя, рационально выстроенная, полная подробных диалогов персонажей друг с другом.) Лишь говоря от имени Поли Дрюньковой, автор честно старается имитировать просторечие, но получается не слишком убедительно.

Увы, еще менее этот прием удастся в «московском» романе, состоящем из трех монологов (внутренних столь же мало, сколь и монологичных): двух представителей семьи Краснопевцевых — неудавшейся балерины Даши и ее деда, профессора Фёдора Вениаминовича — и их домработницы Евлампии Епифановны. Говоря от имени Даши и Евлампии, автор очень старается изъясняться «их» языком, «молодежным» и «простонародным» соответственно — и в обоих случаях (особенно в последнем) сильно переигрывает. Много настоящего здесь в речи профессора — скорее всего, потому, что этот персонаж наименее далек от него в культурном и гендерном отношении, и речь его близка к собственной внутренней речи автора.

(Кстати, до последних страниц «московского» романа» читателя не покидает странная мысль, что написан и включен в книгу он, может быть, по большому счету затем, чтобы на его фоне отчетливее прочитался роман первый, «грузинский».)

В «грузинском» же романе изумительна сама фактура собранной в него жизни, — нет, не экзотичность ее, напротив — осязаемость, достоверность. Ну и, наконец, это написано чутким, послушным автору языком:

«В комнате тот же воздух высокогорья, что и во дворе, та же солоноватая солнечная сушь, и в ней разлит удивительный запах древесного нутра — то ли кипарис, то ли можжевельник, — рождающий необыкновенное ощущение чистоты и непорочности, я бы сказала — монастырской непорочности. Этот запах не может исходить от стен — дощатые полы давно выдохлись. И старая мебель не может так пахнуть: ни коротышка комод, застланный дорожкой и уставленный фотографиями, открытками и пятнистым зеркалом с бумажными цветами; ни венские стулья, совершенно огрузинившиеся вдали от родины; ни крашенные табуреты, сколоченные в расчете на десятипудовых пьяниц. Запах исходит от пола. Судя по цвету досок, в доме недавно перестилали полы. Доски сохнут, выдыхая чистую лесную душу — собственно, в этом и состоит процесс высыхания».

Так говорит одна из героинь-повествовательниц романа — русская, Татьяна Махотина. Конечно, это взгляд извне, а потому и удивляющийся, и идеализирующий, но очень живой. И (поскольку взгляд извне моделируется человеком, который на самом деле знает эту жизнь изнутри и любит ее) читатель чувствует все рассказанное буквально собственным телом.

Кроме того, эта жизнь представлена нам здесь в том ее состоянии, которого теперь уже нет. Чтение «грузинского» романа Эбаноидзе — путешествие и в пространстве, и во времени. В утраченное мироощущение, в исчезнувшие интонации. В русско-грузинский культурный симбиоз, взаимоналожение двух культурных реальностей, которые не просто просвечивают друг сквозь друга — они тут еще в некотором смысле одно. Русские персонажи романа в Грузии хоть и гости, но при этом свои. Другие, но не чужие. Здесь совсем нет мотивов отчуждения между представителями разных культур, взаимной непрозрачности их миров, не говоря уже об отталкивании их друг от друга. Непонимание между людьми и одиночество здесь есть, но оно — не межкультурное, а межчеловеческое.

Герои «Предчувствия октября», кажется, уже чужие в собственном культурном мире, «проснувшиеся в чужом доме». Так звучит первая фраза романа, — конечно, работающая как ключ ко всему остальному: «Странно проснуться в чужом доме». Последние его слова — «...поток, огненной лавой текущий в преисподнюю». Что вполне выражает авторскую историософию.

Мне кажется, все это — существенно важнее рассказанных здесь историй как таковых. Сюжеты — и даже характеры, над вылепливанием которых автор постарался — здесь довольно вторичны. Они — всего лишь матрицы, в которые необходимо было уложить вещество жизни, чтобы оно стало видимым.

Вспомним метафору маков в трещинах брошенного дома. В обоих романах Эбаноидзе описывает прорастание своевольной, яркой и трудной жизни в расползающихся трещинах традиционного социума, который вот-вот перестанет — или уже перестает — защищать и оправдывать человека. Оба они, по существу, плач по «добротной» традиционности, по задаваемой ею безусловности человеческих связей и ясной картине мира.

Владимир Медведев. Разрушенный дом

Владимир МЕДВЕДЕВ. Заххок: роман // «Дружба народов». — 2015. — № 3—4.

«— Отца твоего убили.

Я сначала не понял. Он по новой:

— Твоего отца! Убили!

Я понял, но не поверил, а когда поверил, время исчезло. И пространство, наверное, тоже. Пока я ехал, за ветровым стеклом висела мутная пелена, в которой растворились и глухие глинобитные заборы на окраине поселка, и высокие тополя вдоль пыльной дороги, и хлопковые поля, расстилавшиеся до дальних гор. Я вроде бы оглох и онемел. Голос Алика доносился до меня откуда-то со стороны, из другого измерения: ...главврач приказ дал... туда ехать... тело забрать... крюк сделал... за тобой заехал...»

Роман Владимира Медведева — о неизвестной войне. Точнее, это у нас, в глубине России, она неизвестна: кто помнит — кто вообще знает как следует — что было в Таджикистане двадцать лет назад? «Основные события романа разворачиваются на

Дарвазе, в отдаленном и почти изолированном горном ущелье на границе с Афганистаном», — пишет автор в предисловии к роману. Достигает ли этих мест вообще сегодняшнее русское воображение?

А между тем это был один из самых страшных, кровавых конфликтов на территории бывшего СССР, и там его не могут забыть по сей день. Это незажившая рана.

«В гражданской войне те, для кого солнце восходит над Каратегином, уничтожали тех, для кого солнце восходит над Кулябом, а последние отвечали тем же. Вырезались целые кишлаки, людей убивали с изуверской изобретательностью — заживо варили, разрубали на части, пробивали ломом грудину и заливали внутрь авиационный керосин...»

Медведев вводит в сознание людей русской культуры такие пласты реальности, которых до сих пор у нас не бывало. То, что он рассказывает — что он заставляет читателя пережить, — мучительно примерно так же, как уже читанные нами тексты о чеченской войне. Разве что без (явного) чувства нашей собственной вины за происходящее. Но больно все равно.

Тем более, что не относить это к себе невозможно. Это не «экзотическое чужое», нет. Это рассказано — и прожито — на нашем языке. Некоторые герои романа носят русские имена, первое же такое имя бросается нам в глаза, едва мы открываем роман: «Андрей». И возникает оно одновременно со смертью:

«Налегаю на лопату и выворачиваю...

Ни хера себе! Череп.

Человеческий».

Смерть затем будет сопровождать нас на каждой странице, не отпустит до конца.

Подросток Андрей, живущий в таджикском городке Ватане, действительно наполовину русский, и раскол империи пройдет прямо через него. Его отца Умара, таджика, врача, убивают в самом начале романа (непонятно кто, непонятно почему, — в этом пространстве, покинутом законом, такое не только не удивительно, но в порядке вещей). Мы помним симбиоз и взаимопросвещение русской и грузинской культурных реальностей в романе Александра Эбаноидзе мирного 1981 года, — его не получается здесь не вспоминать, тем более что — повинуюсь какой (не)случайности? — «Заххок» тоже построен на внутренних монологах разных героев. Мы помним, как русские в Грузии были хоть и другими, но не чужими. У Медведева русские в Таджикистане середины девяностых — даже те, кто здесь родился — уже чужие. («У вас, русских, никакой культуры нет, — говорит таджичка русской. Не то чтобы даже упрекая, а просто как факт. — Вы не умеете пристойно поздороваться, пристойно начать разговор, у вас нет такта. Вы не умеете соблюдать чистоту, не знаете, как отделять дозволенное от недозволенного».) Таджикская жизнь — лишь частично для них прозрачная, и сама распираемая изнутри множеством непримиримых конфликтов — уже во многом им враждебна и выталкивает их.

Но бежать некуда, тем более что эта чужая жизнь для них — родная.

«...я, — говорит другой таджикостанский русский, — <...> придумал утешительную формулу: "Таджикистан — родина, отечество — Россия". Правда, несколько лет спустя родина и отечество разбежались в разные стороны, а я оказался в роли дитяти из распавшегося семейства.

Так что ныне я здесь чужак».

«О, дом мой, дом мой! Дом мой, разрушенный дом...» Так голосила по убитому Умару вторая жена, о существовании которой русская семья узнала только после его смерти. И это оказался плач по целой жизни — не одного только Умара.

Стоило только закону покинуть эту территорию, как сразу на поверхность выползла та самая традиционная жизнь, с совершенно архаическим, мифологичным сознанием, будто и не было XX века. Точнее, его обломки — все эти «райком», «парторг», «комсомол» и прочие стремительно теряющие смысл слова и вещи —

втягиваются в горнило архаики, переплавляются ею, начинают ей служить. Никакая образованность от этого не спасает. «Я не мог смириться. Я образованный человек. Я анатомию, физиологию, высшую нервную деятельность человека изучал и знаю, что души не существует. Но я горько плакал о том, что душа моего брата Умара в момент смерти вышла не через нос, а улетучилась через неподобающее отверстие, и теперь мой бедный покойный брат никогда не достигнет рая».

Медведев на удивление подробно знает и традиционную таджикскую жизнь, и сопутствующее ей сознание — и ни в малейшей степени ее не идеализирует. Она хтонична, смертоносна, беспощадна ко всем ее участникам. Начинается война всех против всех — и Медведев показывает, как людей втягивает в эту войну, как они, вчера еще «мирный народ», втягиваются в нее по доброй воле. Каждый защищает свое. Все правы.

«Мы, горцы, — мирный народ, — говорит один из героев. — Возделываем скудные поля, пасем скот и терпеливо покоряемся произволу властей. Но когда несправедливость перехлестывает через край, в нас вскипает кровь предков, прогнавших из наших гор солдат Искандара Зулкарнайна, Александра Македонского. На чужое не заримся, но за себя постоять способны». «Отцы и деды скудно жили, во всем уступая, всем подчиняясь, — развивает ту же мысль второй. — Это мудрость слабых. Другое время пришло. Время сильных».

Пришло время, когда от любой искры может вспыхнуть губительное пламя. И оно вспыхивает. «Когда вспыхивает огонь, горит и сухое, и сырое».

«Война назревала исподволь, — свидетельствует наблюдатель событий с русской стороны — родившийся в Таджикистане репортер русской газеты, — на многотысячных митингах, и вдруг наведенное коллективное безумие в один миг выхлестнулось с душанбинских площадей и хлынуло в Вахшскую и Гиссарскую долины. Трудно описать, что тогда началось. Бились между собой отряды полевых командиров и попутно уничтожали всех "соплеменников" противника. Боевые действия более всего походили на этнические чистки, несмотря на то, что и чистильщики, и жертвы принадлежат к одному этносу».

Андрея, вместе с русской матерью и сестрой («С этими русскими разберемся», — пообещали таджикские националисты их родного города Ватана сразу после убийства), брат отца, спасая от расправы, заберет к себе в горный кишлак. Но скрыться от истории не получится даже там. Более того, там-то она их как раз и настигнет: в своем наиболее концентрированном, даже утрированном виде.

Дальше начинается то, что можно было бы счесть антиутопией, если бы только повествование не было таким реалистичным... и вообще не основывалось бы на реальных событиях. «Роман <...>, — писал автор, — навеян одним из эпизодов этой войны: некий полевой командир захватил небольшую горную местность и создал в ней подобие своего собственного независимого государства. Просуществовало оно, разумеется, недолго — центральная власть обрушила на конкурента ударную мощь регулярных войск».

«— У вас тут что, разве не советская власть?» — спрашивает полурусская девочка Зарина, очутившись в таджикском кишлаке, посреди непонятных и чуждых ей обычаев.

«Дядька вздохнул:

— Не знаю, что тебе сказать. Наверное, уже не советская. Россия от нас ушла, и советская власть пропала. Теперь не знаю, в каком веке живем.

Он еще раз вздохнул:

— Вообще-то Зухуршо теперь власть.

Из вежливости я спросила:

— Кто это?

— Э, девочка, в голову не бери. Тебе зачем знать?»

Зухуршо — тот самый диктатор, полевой командир, под властью которого героям

предстоит жить. Заххок — это он: персонаж из «Шах-намэ», которому Зухуршо сознательно подражает. «Заххок — несправедливый тиран и угнетатель. Сын, убивший отца и незаконно завладевший его трон и царством. Нарушитель запретов, из плеч которого выросли две огромные змеи, которых он кормил человеческим мозгом».

Медведев показывает, как, в условиях распада прежней власти, будто бы из ничего возникает такой диктатор, как он подчиняет себе людей, а те сами, опять же по доброй воле, ему подчиняются, — ища «справедливости»: «Никто не ожидал, что она окажется столь страшной». Как вдруг оказывается, что ему невозможно противостоять.

И вот это уже точно касается всех.

Сергей Надеев. Перечитать себя

Сергей НАДЕЕВ. Игры на воздухе. Из пяти книг. — М.: Арт Хаус медиа, 2016.

«В настоящем издании, — гласит предуведомление к изборнику Сергея Надеева из пяти его книг, — под одной обложкой собраны книги, написанные и изданные в прежние годы, и представлены они такими, какими должны быть». Тексты почти за четыре десятилетия. Уже одно это заставляет предположить, что книга — чрезвычайно интенсивная: отбиралось самое существенное. В хронологическом порядке.

«Игры на воздухе», объединившие в себе сборники «Лесное лето» и «Последний поэт», впервые «изготовленные» как два переплетенных машинописных экземпляра («альбом») в непроглядном уже отсюда 1981 году и изданные типографски под тем же названием в совсем другую историческую эпоху — в 1994-м. «Лесное лето» — «ранний из сохранившихся машинописный сборник датирован 1982 годом». «Редкие письма» (написаны совместно с А.Пчелинцевым, — то были настоящие письма в стихах, посылавшиеся по почте в 1983—1985-м) первым изданием вышли в 1990-м. «В библиотеке снов» (1994) — сборничек почти рукотворный: малотиражное издание «отпечатано на ризографе, скреплено и обрезано в домашних условиях», «до 2005 г. книжка изготавливалась, с изъятиями и дополнениями, несколько раз тиражом по 5—10 штук» — выдержав в совокупности аж шесть изданий и достигши тиража в 200 экземпляров. Приписанный же «неизвестному автору», заимствовавший свое название у Ходасевича «Счастливый домик» (2005) и вовсе мимикрирует, с максимальной убедительностью, под эмигрантское, берлинское издание 1923 года — во всем, от поэтики до орфографии — и представлен здесь в своем факсимильном воспроизведении. (Тут мне хочется избежать слова «мистификация», хотя формально это она. Куда более точным кажется сказать, что это — опыт перевоплощения и даже «переодевания», жизни в другом времени и облике — как в другой стране, попытка говорить языком этого времени и облика, выговаривать на нем собственные смыслы и печали без перевода. Кстати, получилось очень органично.)

Вообще, конечно, и о каждом из вошедших сюда сборников, и о книге в целом стоило бы писать гораздо подробнее, чем позволяют здешние форматы.

Что может означать для автора теперь это пятикнижие? Попытку подвести себе итоги? Вывести в поле культурного внимания и связать с собой сегодняшним самодельное, малотиражное и анонимное (заодно — рискнув оторвать старые стихи от их прежней, почти рукописной плоти, от тех контекстов, в которые они были при своем возникновении вращены, — проверить, выдерживают ли они испытание бестелесным, как дух, самодостаточным существованием? Переписать себя, вычеркнув лишнее? Заново собрать себя и — всего в целом, сегодняшними глазами — перечитать?

Второе, думаю, очень вероятно, — но более всего склоняюсь к мысли, что главный мотив тут — все-таки последнее.

Книга получилась очень цельная. И да, испытание самодостаточным, вне родимых контекстов существованием эти стихи выдерживают.

Надеев — поэт типа Арсения Тарковского: зрелый с самого начала и сохраняющий высокое напряжение зрелости и сложности на протяжении всей жизни (кстати, с Тарковским у него сильное интонационное родство). В каком-то смысле — без возраста, помимо возраста. Или, скажем, так: постоянные напряженные, чуткие «сорок», — одновременно в полноте сил, с (остро проживаемой) горечью опыта и понимания, с умением выстроить и удержать дистанцию между этим опытом и собой — и с упрямством самоутверждения в ясном, неупрощающем видении.

Подбитый дымком кострища лёгкий продрогший лес,
стужею сводит ноздри, воздух, втекая, жжёт;
лениво лиса пролает, сломится хлипкий шест,
по голенищу веткой, мокрой насквозь, хлестнёт.

(«Редкие письма»)

Точка, из которой он говорит, в значительной степени — помимо времени (суточные приметы текущих времен важны для него не более — однако же и не менее, — чем осенние опавшие листья). Точнее — в объемном времени: Надеев держит в поэтическом уме весь XX век, все его корни в XIX — и гораздо глубже, постоянно чувствует присутствие всего накопленного русской поэтической традицией опыта как сопротивление материала, требующее ответного мускульного усилия. Однако это усилие стихов не утяжеляет. Он — постоянно рефлексирующий, подчеркнуто литературный, с обильной культурной памятью — умеет быть легким. Эти сны действительно во многом библиотечны, но вещество их прозрачно:

Рядом с тобою — юношей белокурым
В непоправимо задранной треуголке,
Если не богом — так молодым авгуром,
Пересыпающим птички свои наколки.

Или — тираном, не перемогшим воли,
Сентиментальным страждущим симбионтом,
Переходимцем из перекатной голи, —
Но не героем, взятым Эвксинским понтом. <...>

(«В библиотеке снов»)

Благодаря этой полноте культурного опыта Надееву, многоголосому, везде разному, удастся так органично жить в начале эмигрантских, берлинских 1920-х: он — остро ощущающий Большое Бездомье мира, — там тоже дома. Это трудный дом — но мир вообще таков:

Я покину рождённый молитвами город
В стругах белых дымов на трамвайных путях.
Город страхов, запретов, чугунных запоров
На дверях, на калитках, искусанных ртах.

(«Счастливый домик»)

Отдельную ценность представляют собою здесь — исключительно редкие в прижизненных поэтических сборниках, если встречающиеся в них вообще — «автокомментарии»: подробнейшие авторские пояснения к каждой из книг и к

каждому из взятых оттуда стихотворений в отдельности. Семьдесят с лишним страниц — почти четверть книги.

В этих автокомментариях Надеев небывало скрупулезен (кстати, читатель может обратить внимание на то, что скрупулезность характерна и для его поэтического зрения). Так, как будто он описывает не себя, а кого-то другого — чей-то исчезнувший мир, который подлежит теперь тщательной реконструкции. Подобное проделывают разве что исследователи с вводимыми впервые в оборот архивными материалами в изданиях типа «Литературных памятников». В какой-то мере сам автор выполняет здесь предисследовательскую работу, а в некоторой степени — уже и собственно исследовательскую. Не в последнюю очередь и мемуарную — выговаривая хоть отчасти те объемы памяти, которые связаны с его поэтической жизнью.

Если в стихах Надеев умеет быть надвременным, то в комментариях он возвращает нас в самую гущу времени. Поэтому «комментирующая» часть книги, вопреки традиционным представлениям, вовсе не служебная: она не менее важна, чем первая, и должна быть прочитана так же, как и написана, — внимательно. Это литературный текст с собственной концепцией, с собственным продуманным воздействием на читателя.

Описывая прежние свои сборники, поэт упоминает и их формат, и шрифт, и качество бумаги, и переплет, и авторство иллюстраций, и историю их издания и рецензирования (он помещает здесь целиком и послесловие Евгении Добровой-Жарской ко второму изданию «Редких писем», и собственное, совместное с Евгенией Верейской, большое послесловие к «Счастливому домику» вкупе с рецензиями на него Анны Кузнецовой и Сергея Костырко, и даже факсимиле машинописного экземпляра рецензии Льва Аннинского на «Лесное лето»), и количество экземпляров, и где и как они продавались... Вообще говоря, чтение необыкновенное, захватывающее само по себе и вытаскивающее из забвения целую эпоху, и даже не одну, с ее предметными подробностями, с особенностями издательских, самиздатских, типографских и книготорговых практик (прочитывая подряд, видишь эволюцию и всех этих практик, и, главное, окружавшей их жизни). Вот то же «Лесное лето» 1983 года: «...переплет из черного ситчика в золотой листочек, фото на фронтисписе, плотная альбомная бумага, большой формат — 20 на 25 см., мелкий шрифт портативной пишмашинки Consul в два цвета, по четыре строфы в центре страницы, 130 стр., ляссе, и все это — в футляре».

(Раз уж мы читаем все книги этого обзора в некоторой общей оптике, стоит обратить внимание на то, что такое внимание к документу, к самой его вещной плоти очень родственно тому, что делает Галина Климова, которая тоже включает в свою книгу важные для нее тексты — например, воспоминания отца — в их собственном облике, вплоть до потертостей и заломов страниц. Это хочется назвать *поэтикой сбережения*: того, что хрупко, временно и как будто случайно — а плоть вещей всегда такова — от исчезновения.)

Комментарии же к стихам разрастаются до размеров персональной энциклопедии (разве что не очень систематичной — от текста к тексту полнота и характер сообщаемых сведений сильно колеблются). Что стоит за встречающимися в текстах названиями и терминами? Что представляют собой упоминаемые в них растения и животные (а также — каковы их латинские и / или греческие имена), как выглядят, для чего используются — если вдруг такое случается — человеком? Как они фигурируют в сказках, мифах, трудах классиков? («*Душица* — материнка, ладанка, душица, зеновка — медонос, пахучее лекарственное травянистое пряно-ароматическое растение. В гомеопатии — при истерии, эротомании, нимфомании и климаксе. Название встречается в трудах Диоскорида и Гиппократов и происходит от греческих слов *ogos* — холм, гора и *ganos* — блеск, орнамент. В период цветения душица становится глянцево-блестящей и покрывает склоны нарядным ковром».) Какие скрытые

цитаты и аллюзии следует усматривать в тех или иных строчках и что при этом — и сверх того — разумел автор? («...казалось бы, стихотворение (1983 год) недвусмысленно отсылает к строкам А.Фета "...А жаль того огня, / Что просиял над целым мирозданием...", на деле же автор — вслед за В.В.Вейдле — считает, что поэзия — это совесть, и поэтому чем выше, тем труднее».) Как комментируемый текст писался и при каких обстоятельствах был впервые опубликован? (Так, стихотворение «По Успенской дороге — мы слышали — песню запели...» «любопытно тем, что, написанное в 1980 году, дописывалось / переписывалось по телефону под руководством И.Б.Роднянской, "с колес ушло в набор" и открыло один из "перестроечных" номеров "Нового мира" в 1987-м».) Как текст устроен с точки зрения формы? («Стихотворение построено на диссонансных рифмах. Диссонанс (франц. *dissonance*, от лат. *dissono* — нестройно звучу) — вид неточной рифмы, в которой совпадают только послеударные звуки, а ударные гласные не совпадают...».) Как отреагировали на него по опубликовании читатели и критики? Что еще писалось (а также задумывалось, но осталось ненаписанным!) во время создания соответствующего стихотворения? Ну много чего, мы еще и не все перечислили. Тут не один даже слепок, а несколько — с разного: и с авторского кругозора, и с воздуха времени, в котором носилось все, из чего этот кругозор был собран.

Александр Снегирёв. Вырывается бездна

Александр СНЕГИРЁВ. Вера. — М.: Издательство «Э», 2015; Как же ее звали?: Сборник рассказов — М.: Эксмо, 2015; Бил и целовал: Сборник рассказов. — М.: Эксмо, 2016. (Проза о любви и боли)

Снегирёв — беспощадный. Может быть, один из наиболее беспощадных авторов в современной русской словесности. Это — любопытная и, кажется, мало понятая в своем особенном качестве разновидность литературы. Она умеет очень убедительно притворяться обычной реалистической, даже бытописательской прозой — узковатой, скуповатой, целиком погруженной в текущее время с его заботами и слепотами, довольно бесстрастно ощупывающей и протоколирующей поверхность бытия и минимально (если вообще) интересующейся ее подтекстами, глубинами, высотами и иными неочевидностями... и когда читатель уж совсем было в это поверил — тут-то из-под этой поверхности и вырывается бездна. Там, где мы к ней готовы меньше всего. Если к ней вообще возможно быть готовым, но Снегирёв — мастер усыплять бдительность читателя, заводя его между тем в такие края, где тот и не чает оказаться.

Может даже показаться, что Снегирёв — на самом деле зорко-психологичный, чутко улавливающий внутренние движения, вплоть до мельчайших, — сильно упрощает человека. Персонажи, населяющие страницы его прозы, это не характеры во всей их многомерности, даже не типы (иногда можно подумать — карикатуры, и бывает, что на редкость, пожалуй, и до несправедливости, злые). Они — скорее случаи. Причем мало, если вообще, мотивированные. Обладающие всей слепотой случая — и всей его неожиданностью.

Кстати, вряд ли случайно, что Снегирёв далеко не всех своих героев наделяет именами. Я бы даже сказала, что он предпочитает безымянность. Непоименованными у него способны оставаться и персонажи вполне центральные. Такая участь постигает, например, родную мать главной героини романа «Вера»: ей отведена изрядная часть повествования, мы узнаем множество подробностей ее жизни и душевного устройства,

узнаем, как зовут ее мать (Эстер); отец останется безымянным, упоминаясь, когда требуется, как «танкист», но имя так и будет неназванным. (Отец же героини наделен — что исчезающе-редко у Снегирёва — не только именем, но и отчеством: Сулейман Федорович, и даже не одним только именем, но целыми двумя: крестившись в зрелом возрасте, герой, немотивированно названный в свое время в честь Сулеймана Стальского, обрел православное имя Василий.) Некоторых — раз уж надо как-то их обозначать — Снегирёв метит прозвищами-ярлыками, из которых одни пишутся с прописной буквы: Курица (это лицо мужеска пола, названное так за жирность своих волос, подобную курице-гриль), Блондинка (оба — протагонисты рассказа «Чувство вины» из сборника «Бил и целовал», и оба — примеры трагически-злых карикатур) — другие довольствуются строчными (как, например, любовники Веры из одноименного романа — «банкир», «режиссер», «лысый»). Сложно, если возможно вообще, вычислить, по какому принципу у Снегирёва происходит распределение имен, более-менее ясно одно: имя для него — вещь чрезвычайно важная, просто так и лишь бы кому не выдается. Эту мысль делает совершенно очевидным история интеллигента-интроверта Миши Глушецкого (рассказ «Внутренний враг» в сборнике «Бил и целовал»), который оказывается наследником деда-чекиста, узнает собственное настоящее — данное при рождении — имя (крайне редкий у Снегирёва случай, когда названы сразу и имя, и отчество, и фамилия — Степан Васильевич Свет): имя завладевает им и совершенно меняет личность. Это как раз тот самый случай, когда, почти непредсказуемо, из человека вырывается темная бездна, расплавляя и пожирая без остатка все, что еще сохранялось в нем от прежней души и жизни.

Неустранимость, повсеместность, константность зла — сквозная тема Снегирёва.

Он очень внимателен к темной стороне человеческого существа — она у него просвечивает едва ли не через все. Серии, в которой вышли роман и оба сборника рассказов, издательство подобрало довольно точное — далеко не исчерпывающее, но в известных рамках точное — название: «Проза о любви и боли». Любовь у него действительно неотделима от боли, уязвленности и уязвимости. Скорее всего, они у него даже — две стороны одного и того же. И «Бил и целовал» — два глагола, ставшие названием одного из сборников его рассказов, — совершенно неразделимые действия.

Снегирев ходит путями, проложенными, с одной стороны, Кафкой (который обратил внимание своих современников на непостижимость и неподконтрольность человеку мира — да и самого человека), с другой — Достоевским (который, пожалуй, впервые на русском языке выговорил присутствие темного в человеке, соблазн и власть темных сил, которые, во-первых, из человека неизъезжены, во-вторых — могут овладеть кем угодно). Собственно, из Достоевского есть и прямые реминисценции (бывший Михаил Глушецкий, ставши Степаном Светом, мечтает о поедании вишневого компота во время истязания врагов народа).

Перед нами, разумеется, никакая не «психологическая проза» (за которую тексты Снегирёва, в силу их реалистичности, довольно легко принять — чтобы вскоре понять, что ошибаешься). И не «социальная» (хотя на эту последнюю иной раз очень, ну очень похоже; роман «Вера» — так вообще целыми фрагментами; но это — текст, очень разнородный по своему устройству, распадающийся на несколько частей, ни по одной из которых не стоит делать обобщений обо всем романе в целом). Это — совсем другое.

На самом-то деле, подозреваю, Снегирёв только тем и занят, что — болезненно сдирая с человека психологическую, социологическую и прочую шелуху — выявляет устойчивые структуры человеческого существования. Когда же еще о них говорить, как не в эпоху принципиальной неустойчивости?

Он говорит о структурах, которые, по идее, не зависимы в своем устройстве ни от какого времени. Каждый из его персонажей, вроде бы густо облепленный деталями

и приметами своей эпохи, на самом деле — голый человек на голой земле. (Катастрофы и неудачи XX и первых полутора десятилетий XXI века должны были как следует поработать над европейским — и русским — человеком, чтобы эти структуры стали видны, оголены, как провода без изоляции, и били током.) Просто из каждого времени они видятся по-своему, и вот оптика Снегирёва для наших горьких дней представляется мне чрезвычайно характерной.

Мы уже говорили о литературе — по типу мировосприятия — «предкатастрофной» и «катастрофической», примерами которой послужили нам, соответственно, романы Александра Эбаноидзе и Владимира Медведева. Тексты Снегирёва — яркие примеры литературы посткатастрофической. Они — речь изнутри опустошенного катастрофами пространства.

Кстати, из всех авторов, рассмотренных нами в этом обзоре, Снегирёв — самый молодой, ему нет и сорока, он из тех, кто вырос в девяностые, кто застал их как свою исходную данность. Мне кажется, с этим напрямую связано то, что он несколько не склонен к идеализации «традиционного», устойчивого состояния общества и мира.

Он весь — об одиночестве и беззащитности человека (и этого человека он опять же несколько не идеализирует — скорее уж наоборот, — а беззащитности и одиночества несколько не оплакивает, но ставит читателя перед ними как перед фактом). Он не оставляет читателю никакой надежды.

И то, что главная героиня «Веры» (весь роман — вопреки своей, заданной ей автором, тщательно им выписанной редкостной яркости — мучительно не знающая, что с собою делать) в конце этого полного неожиданностей текста все-таки обретает навязчиво, до одержимости желанную беременность («человеческую загогулину, распускающуюся в ней»), тоже никакой надежды не означает. И даже не потому, что неведомо еще, кто у нее родится в результате сексуального рабства у гастарбайтеров. Дело в том, что конец «Веры» (возможно, сновидческий — в последней примерно трети романа грани между «реальностью» и видениями пропадают, и уже невозможно сказать, где именно происходит действие) очень похож на конец света.

«За время проживания в снятом на одиннадцать месяцев пристанище Вера не раз с отчаянием думала — здесь ее конец. Теперь ей стало все равно.

Она подошла к окну. Повсюду была вода. Она покрыла бугры усадеб и углы панельных, все малоэтажное и небоскрежное зодчество. Кресты и звезды поблескивали из глубин».

Все зримое опять покрыли воды. Но вот изобразился ли в них Божий лик — еще большой вопрос. Похоже, что нет.

Лев Аннинский. Поэтика момента

Лев АННИНСКИЙ. Мимолетности. Заметки нетеатрала и неисторика: Литературно-критические очерки. — М.: Институт журналистики и литературного творчества (ИЖЛТ), 2016.

В качестве нетеатрала литературовед и критик Лев Аннинский пишет, как легко догадаться, о театре. В качестве неисторика — об истории. «Неттеатрал» и «неисторик» — это в данном случае не вопрос качества — да и количества — знаний автора о соответствующих предметах (тем более, что, подозреваю, с качеством и количеством знания у него все хорошо, судя, например, по числу просмотренных и

описанных Аннинским спектаклей, по объему увиденного и характеру его восприятия, театрал-то он как раз изрядный, просто это другое знание, не цеховое, — не «технологическое», что ли). Это — куда принципиальнее — вопрос позиции. И — еще того принципиальнее — свободы и свежести взгляда, не зажатого цеховыми интересами и задачами. Такая позиция, на самом деле, насущно необходима: ведь театр обращен (не только к носителям специализированного знания и понимания, а ко всем, а уж история — и подавно).

Вот кстати, если в культуре воспитывается, формируется позиция профессионального понимания, то не менее нуждается в культивировании и позиция понимания «непрофессионального», общечеловеческого: осмысленно выстроенного взгляда извне.

Общечеловеческая оптика — самая трудная, потому что для нее та же самая культура не заготовила внятно формализуемых правил. Тем важнее люди, которые практикуют такой взгляд — и его выговаривание. Именно этим занимается в своей книге Аннинский.

«Да кто я вообще такой, чтобы судить их? — отстраняется автор в самом начале от роли и задач оценщика. — Их профессиональные успехи — это их дело. <...> А мое дело — соотносить, что делается. Со мной, сидящим в зале. С публикой, сидящей вокруг меня. Естественно, и с актерами на сцене. Действие спектакля, однако, совершается, как известно, не только на сцене, но и в зале. И даже больше в зале, чем на сцене. И даже больше в общественном пространстве вокруг театра, чем в самом театре. Надо истолковать не столько спектакль, сколько сам факт появления его в общей ситуации».

Отстраняется он от судящей-оценивающей позиции, может быть, с несколько преувеличенной демонстративностью, потому что на самом деле он очень даже оценивает. У него есть и свои пристрастия, и своя пристрастность, и, важнее того, — хорошо осознанный набор критериев. Например, психологическая убедительность происходящего на сцене. (Кстати, по большей части он толкует все-таки именно спектакль как единицу зрительского переживания.)

Он и припечатать может. И не отказывает себе, когда требуется, в этом удовольствии.

Он всего лишь — как и было сказано — показывает действие спектакля с той его стороны, которая, может быть, наименее отрефлектирована и менее прочего очевидна: со стороны зрительного зала. Говоря о невеликой отрефлектированности, я имею в виду прежде всего не возгласы, устные или письменные, вроде тех: «Госпожа Жемчугова сегодня покорила всех!», «А госпожа Стрепетова была божественна!» — от которых автор дистанцируется в первых же строчках открывающего книгу «Объяснения жанра». Речь идет о рефлексии систематической и качественной, выходящей за рамки непосредственных потребительских реакций типа «нравится — не нравится».

А Аннинский за них, вне всяких сомнений, выходит.

Жанр, в котором он предпочитает высказываться — и название которого стало названием книги — тоже принципиален: «мимолетности». Короткие, в среднем на страницу с небольшим, заметки. «Мимолетность», впрочем, никоим образом не означает легкости: означает она, скорее, стремительное схватывание того, что автору видится наиболее существенным.

Разговорность интонаций, с которыми это все написано, не должна вводить в заблуждение. Короткие — «чтобы на газетной полосе заметочку можно было накрыть ладонью», «чтобы, начав читать, легче было дойти до конца, чем бросить» (средства уловления читателя, да — но как без этого?) — тексты Аннинского насыщены культурной памятью, информацией, именами, отсылками к истории и контекстам не

хуже иной теоретической статьи; каждый из них, случись нужда, мог бы быть в таковую развернутым. (И тут читателю хорошо бы быть в теме, чтобы всю эту свернутую в текстах информацию считывать.) Каждый такой текст — конспект, если не иероглиф.

«Принцип модерна, — пишет Лев Аннинский о спектакле «Счастливое событие», поставленном Светланой Враговой на сцене московского театра «МодернЪ» в 1999 году, — сопряжение "поверхностей", эстетизация текучей эмпирики, торжество ветвящейся ассоциативности. При таком чувстве стиля — чем фантастичнее и парадоксальнее материал, тем интереснее результат. По углам застывают нимфы в боттичеллиевых позах, а в центре летают главные герои, атлетически прыгая на батуте. Змей-искуситель щеголяет в костюме карточного шулера эпохи Великого Немого, а только что родившийся младенец орет и матерится, как свежее испеченный гиперреалист. Декаданс и авангард, а также другие стили не просто совмещены — они прощупаны как ценные пласты, срифмованные в культурной памяти. <...> Результат — торжество того наивного и непосредственного модерна, который еще не обзавелся окончанием "-изм"».

Но кроме того, по напряжению (которому краткость только способствует: сказать сразу важное — иначе места не будет), по динамике и образности они весьма родственны художественной литературе.

Что касается «Заметок неисторика» (которым в книге досталось всего-то пятьдесят страниц), их Аннинский пишет с позиций уже не наблюдателя, а участника — человека, вовлеченного в историю и, если и не делающего ее, то — и это уж точно — создаваемого ею.

Это — по тому же напряжению и образности — еще ближе к художественной литературе (причем, скорее к драматургии: «мимолетности» этого раздела часто строятся на диалогах и имеют своей темой не столько историю как таковую, сколько взаимодействие между людьми по ее поводу), по направлению же внимания — к мемуарам (тем более что личного здесь гораздо больше, чем в огромной «театральной» части, — да практически все личное): тут автор вспоминает те моменты из своей жизни, смысл которых — соприкосновение с историей, нередко — внезапное, почти откровением, понимание в ней чего-то важного. Здесь вообще куда больше о людях, чем об истории; об истории же — в той мере, в какой она была (неминуемой) средой для взаимодействия с ними.

Например, он вспоминает, как мгновенно, одним щелчком, переключали в молодости его понимание исторического процесса некоторые важные собеседники.

Так, Надежда Яковлевна Мандельштам в 1962 году одной-единственной фразой прервала поток смелых речей молодого журналиста о том, что во всем виноват Сталин, направив его мысли в другое русло.

«Всю жизнь, — пишет Аннинский, — я повторяю себе (и всем) эту фразу, повторяю и теперь с благодарностью за пронзительную и беспощадную правду:

— Дело не в нем, дело в нас».

Наталья Игрунова. Сохранить чуткость

Наталья ИГРУНОВА. Воздух времени. После СССР: мы и наши мифы: [Беседы и интервью]. — М.: Редакция журнала «Дружба народов»; Культурная революция, 2015.

Сборник бесед и интервью Натальи Игруновой с писателями, поэтами, переводчиками, режиссерами, издателями, учеными и просто участниками исторического процесса (включая белгородских школьников) о том, как за те двадцать пять лет, что мы живем без Советского Союза, менялось наше восприятие общества, истории и самих себя, несомненно, стоит отнести к авторским книгам: здесь решающее многое определяется постановкой вопросов, расстановкой акцентов, вообще — направлениями внимания, которые заданы интервьюером. И, разумеется, — выбором собеседников.

Мне даже кажется, что именно этот сборник способен задать нашему сегодняшнему разговору об авторских книгах концептуальную рамку, — потому им мы этот разговор и закончим. Здесь прямо говорится о самочувствии человека в историческом времени вообще и в ситуации смены эпох — в частности. То самое предкатастрофическое, катастрофическое и посткатастрофическое состояния, выговаривание которых в художественных образах мы видели в уже обсуждавшихся книгах, — здесь подвергается рефлексии разного уровня теоретичности: публицистической, научной, культурологической.

А собеседники здесь — один нетривиальнее другого.

Все разные: и «западники» и «почвенники», и «либералы» и «традиционалисты», и «демократы» и «государственники», и те, кто склонен идеализировать СССР, и те, кто уверен в необходимости его преодоления. С одной стороны — Томас Венцлова, Борис Дубин, Лев Гудков, Светлана Алексиевич... С другой, например, — Захар Прилепин, Евгений Примаков, Людмила Лаврова (колумнист газеты «Завтра»). Люди, заставшие распад общесоветской жизни взрослыми (таковы здесь почти все), и те, кто вырос уже потом и для кого эта жизнь чужда и экзотична, как иностранная. Такова писательница Ирина Богатырева, родившаяся в 1982 году, — ровесница авторов школьных сочинений из первой части книги. Ею здесь представлен совсем иной — чем у нас, взрослых в СССР — исторический опыт, интересный тем более, что он внимательно отрефлектирован. Попад на проводившуюся «Дружбой народов» встречу с редакторами литературных журналов республик России и «ближнего зарубежья» (Украина, Белоруссия, Молдавия, Эстония, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Азербайджан...), — она оказалась там не просто самой младшей по возрасту, но человеком иной культуры. «...я ощущала себя, — свидетельствует Ирина, — более иностранкой, чем все собравшиеся на этом форуме. Их объединяло чувство некоего культурного единства, которого у меня не было — ни в памяти, ни в ощущениях. Для меня, выросшей в постсоветское время, человек из этих стран — такой же иностранец, как англичанин или француз.»

Тем важнее задача интервьюера: выслушать всех, найти общий язык для разговора с каждым. Иначе не будет объемного образа времени.

Кстати, объемный образ получился. И в нем уже намечены точки разрастания будущих конфликтов. Совсем чуть-чуть, тем более, что задачей себе автор ставил здесь как раз противоположное: выговорить и понять общую, объединяющую память и возможность какой бы то ни было общности в принципе, в будущем.

На этих страницах разность позиций еще не так конфликтна, как могла бы быть сегодня. Тогда еще возможно было друг друга расслышать. Все эти разговоры велись

(начиная с 1994 года) до катастрофы 2014-го, до Крыма и войны на Донбассе. То, что мы читаем теперь, — голоса из принципиально иного исторического состояния.

Мифы с домыслами в книге важны и достойны внимания не менее рациональной рефлексии — все-таки эта последняя, при всей ее ценности, занимает в человеке не так много места (не говоря уже о том, что без них не было бы никакой рациональной рефлексии).

«Казалось бы: всего двадцать пять лет нет на карте мира СССР. Треть жизни современного среднестатистического человека. Но между детскими воспоминаниями родившегося в 1937 году поэта Геннадия Русакова и представлениями о Советском Союзе сегодняшних его ровесников — белгородских школьников — пропасть. Не во времени. Между личной биографией, живой жизнью — и мифом.

Мифом, — пишет Наталья Игрунова, — становится все: общественное устройство, победы и поражения, образы вождей и героев, повседневный быт. На постсоветском пространстве разворачиваются битвы за прошлое, войны памятников. Бывшие сограждане из пятнадцати союзных республик, мы живем теперь в суверенных странах, с новыми границами, национальным составом и национальными идеями и приоритетами. И заново пишем историю — каждый свою — и на свой лад.»

Важно, что — сочинениями белгородских школьников — здесь представлен и пласт массового («общекультурного») сознания, не искушенного в рефлексиях, проблематизациях и дистанцировании от стереотипов: оно, по преимуществу, и образует «воздух времени», по отношению к которому приходится определяться интеллектуалам. Перед нами — два среза этого сознания, из двух разных эпох: из начала 90-х (1992-1993) и из середины 2000-х. Из того времени, когда СССР, формально рухнувший, еще носился в воздухе, входил в состав очевидностей и привычек — и из того, когда он целиком уже отошел к области «наших мифов» (с ними разбирается третья часть сборника). Представления — одно фантастичнее другого, вплоть до того, что в СССР «каждой семье выдавался один кусок хлеба», «не было водопровода», а «за кражу отрезали кисти рук», но при этом «жалко, что его [СССР. — О.Б.] сейчас не осталось», потому что «мороженое стоило 10 копеек», «...почти все люди читали. Милиция была честная и добросовестная. В институтах не брали взятки» и «государство <...> было очень ответственное и дружное».

Предпочтения и ценности у автора есть, их Игрунова и не скрывает. В книге — два типа ее участия: собственно интервью, когда автор только задает вопросы (на самом деле — направляя ход мысли), и беседы, в которых она оказывается полноправным собеседником со своей позицией, — как, например, в разговоре с Борисом Дубиным, Алексеем Береловичем, Георгием Ефремовым и Сергеем Митуричем о «попытке определиться на пересеченной местности». В ответ на замечание Дубина о том, что для нашего сегодняшнего самопонимания важна «возможность стать "другим", посмотреть его глазами», — она говорит, например: «Но мне все же кажется, что это *одна из задач*. Если угодно — один из инструментов, необходимых для того, чтобы продумать, выработать <...> параметры, что ли, своего коллективного «я» и попытаться начать реализовываться в этих новых рамках, формах, в новом статусе. <...> Что мы есть сегодня? Мы — государство, общество, нация. Каковы наши интересы, приоритеты. <...> Мне кажется, толика национального (в смысле — общероссийского) прагматизма в нынешнем положении не помешает.»

Конечно, в работе с этим пластом смыслов у Игруновой многое идет от собственного опыта — и социального, и просто человеческого. Разговор вообще начинается с личной памяти — чувственной, эмоциональной: «Самое первое отчетливое воспоминание — полет Гагарина. <...> Самой вкусной едой была консервированная кукуруза. Потом я узнала, что обилие ее в магазинах было вызвано волонтеристской политикой Никиты Сергеевича Хрущева. Но это обстоятельство почему-то по-прежнему совершенно не заботит, а вот вкус той кукурузы помнится до сих пор.»

Но тем важнее ей выслушать — и дать расслышать нам — тех, у кого ценности, пристрастия и тяготения совсем другие. Это очень ценная — и довольно редкая позиция.

К личному опыту своих собеседников Игрунова тоже обращается постоянно — собственно, о нем только и говорит.

Разные-то они разные, но общее у всех — одно: все они — родом из СССР (даже Ирина Богатырева, которая успела прожить в СССР всего девять лет: «Чувство, что мы родились в огромной — в полмира — и великой стране, — признает она, — успело укорениться в нас...»). Все они — люди с общей, пусть и по-разному истолкованной, исторической памятью, и вполне свободными от этой памяти они уже никогда не будут. Для каждого из этих людей конец СССР — независимо от оценки этого события — означал распад изначального единства их мира.

Едва ли не каждый из собеседников Игруновой — человек со сложной, многосоставной культурной принадлежностью. Такая была возможна только в полиэтнической империи, не раз перемешивавшей свое население (еще в Российской империи — новым обликом которой стал Советский Союз).

Русский украинец Григорий Чухрай.

Почти совсем не русский украинец из Ивано-Франковска Владимир Ешкилев, пишущий, однако, на двух языках — украинском и русском.

Родившийся в Казахстане кореец Анатолий Ким, считающий своей настоящей родиной русский язык.

Успевший сформироваться в Советском Союзе, говорящий по-русски грузин Шота Иаташвили.

Тбилисский армянин Агаси Айвазян, писавший по-армянски, переселившийся в Армению уже взрослым.

Родившийся в Харькове еврей с русским культурным сознанием Адольф Шапиро — главный режиссер знаменитого рижского театра, игравшего на двух языках: русском и латышском — и закрытого за ненужностью после обретения Латвией независимости.

Выросшая в России и уехавшая на родину предков в молодости эстонка Нелли Мельц. «Я родилась в Златоусте, на Урале, в эстонской семье, — рассказывает Мельц. — Уехали из Эстонии еще дедушка и бабушка. До революции, когда в России начали раздавать свободные земли. Мы ходили в русскую школу, и я выросла на русской культуре. И тем не менее мне всегда хотелось поехать в Эстонию, это было свято. Семья у нас очень большая была, много родственников. Я одна вернулась. После школы поступила в Челябинске в институт, закончила первый курс и написала в Тарту... И приехала в Эстонию. Я никуда не хочу уезжать, я эстонка, я должна остаться здесь. Не то что должна... я не могу вернуться в Россию. Не могу — я не русская. Но в Эстонии я — русская. Человек русской культуры... Непросто...»

Собственно, непросто здесь никому. Вся книга — распутывание сплетающих эту сложность волокон.

Теперь, когда у нас больше нет и явно не будет общей страны, особенно важно продумать опыт утраченного единства — не только в травматических, но и в конструктивных его аспектах — и не утратить чуткости друг к другу. Или даже воспитать ее в себе заново.

Людмила Лаврова

На пограничье судеб и времен

Однотомник прозы известного поэта, переводчика и критика Кирилла Ковальджи не просто прочитывается на одном дыхании, буквально с первых страниц эта книга пленяет, «затягивает» читателя таящейся в ней музыкой, где лирические и драматические начала слиты естественно, органичны, неразделимы, как в самой жизни. Такое гармоническое единство невозможно «поверить» никакой алгеброй. Тон всему пространству сборника задает пролог «Двое и война», по цельности чувств и переживаний напоминающий стихотворение в прозе, хотя тема его пронизана злободневностью, которую писатель, видимо, чтобы избежать ненужного пафоса, слегка окрашивает иронией. Эта ирония напоминает неповторимый, горьковатый воздух осенних приднестровских садов... Далекое бывшее, кажущееся уже никогда не бывшим... На то Ковальджи и поэт, чтобы воссоздать в слове подобный эффект: «Воды отхлынули, влажный остров, проспавший тысячу лет, глянул в звездное небо и увидел, что, в сущности, ничего не изменилось, созвездия расположены так же, застыли вечными статистами. Катя на четвереньках ползла по скользким камням, страшась потерять опору. Осмелев, она неуверенно, как на шатком помосте, выпрямилась и тоже увидела звезды. Они были невозмутимы, для них все всегда в полном порядке: чудо ли случилось в назначенный час, или это уже потусторонний сон, последнее видение утопленницы, торжественное прощание с миром...»

Кирилл Ковальджи. Сердце и пуля: Книга прозы. — М.: Союз писателей Москвы; «Academia», 2016.

Однако «материя» прозы Ковальджи, разноголосой, образной, метафоричной, еще и многопланова, многомерна, скрывает в себе глубины размышлений автора о времени и его трагических перверсиях, возбуждающих идейную нетерпимость и национальные предрассудки, вовлекающих самых обычных людей в водовороты войн, смуты и вражды. В романе «Свеча на сквозняке», центральном в книге, политические коллизии специально не педалируются, хотя все происходящее в дорогом для писателя маленьком городке в Бессарабии на протяжении минувшего столетия, на пограничье интересов политиков многих держав, обжигает политической актуальностью и неотрывно преследует нас, до сих пор управляя решениями и действиями тех, кто присваивает себе право вершить судьбы целых народов.

Этот городок в Бессарабии, подлинный многоязыкий «вавилон» в миниатюре, для привыкших ныне смотреть на мир в ракурсе глобализма может представляться ничтожной точкой на карте (от которой разве что-то зависит?). Таким людям ответил Михаил Пришвин еще более полувека назад: «Так оно так, вся Земля наш общий дом, куда приходим мы, рождаясь как граждане мира. И лучше бы как-нибудь работать гражданином мира, но как перешагнуть через родину, через самого себя? Ведь только я сам, действительно близкий к грубой материи своей родины, могу преобразить её, поминутно спрашивая: "Тут не больно?"».

«Тут больно» — вот нерв прозы Кирилла Ковальджи, рассказывает ли он о судьбе простодушной самоотверженной еврейки тети Розы или о богаче-благотворителе Авердяне, о юном революционере-

марксисте Феде, о местном философе и враче Аристиде Аристидовиче или о «маленьком сверхчеловеке» Ремусе, жаждущем быть румыном, «железно-гвардейцем» и озадаченно пасующем, когда ему намекают о его греческих корнях.

На том причерноморском пограничье, о котором пишет Кирилл Ковальджи, веками формировался слаженный «оркестр» людей разных национальностей, сполна изведавших железную поступь мировых войн и острейших социальных конфликтов. Людей, не потерявших при этом «цветущей сложности» своего бытия. О них и написана книга Ковальджи, написана с любовью и даже трепетом, с юмором и преклонением перед ничем неискоренимым своеобразием характеров и человеческой стойкостью перед жизненными неурядицами, зачастую несущими гибель.

«Время было смычком,
А ты — скрипкой,
но все чаще по волнам времён
ненасытные Сцилла с Харибдой
с четырёх налетали сторон», —

пишет автор о родном ему городке, получившем в романе условное название Лиманск, о благодатной земле между Днестром и черноморским лиманом, которая «так густо насыщена историей, что начни ковырять ее перочинным ножом — и пожалуйста, можешь открывать домашний музей». Польский шляхтич считал ее самой южной в Речи Посполитой, а «поближе к нашим дням царский чиновник числил «западной окраиной Российской империи», напротив, «румынский функционер — самой восточной точкой великого королевства»... Для последователей «сверхчеловеков» из Третьего Рейха, грезящих «великолепной войной», городки, подобные Лиманску, всего лишь «мусор». Ведь, по их мнению, «человеки должны разделиться. Меньшинство — полубоги, герои... Большинство — волы и рабочие лошади». Главное — «очистить и возродить нацию»... В «Свече на сквозняке» Ковальджи и его персонажи как раз и показывают читателю, к чему приводят подобные речи в сложившемся за века сообществе армян и

греков, евреев и русских, украинцев и молдаван.

В отличие от многих произведений современных авторов, порою, изумляющих вычурностью форм и приемов, проза Кирилла Ковальджи в этом смысле вполне традиционна. Но в этой традиционности парадоксально заключается ее новаторство — недоступная ныне для многих литераторов подкупающая простота письма, достигающего максимального контакта с читателем на уровне подсознания — воспоминаний, снов, обрывков информации, страхов, надежд и мечтаний. В романе, а затем в коротких новеллах Ковальджи ведет нас между миром «внешним», «дневным» и «неразгаданным, ночным» миром, пугающим, но и влекущим, потому что, как писал в начале XX века Вячеслав Иванов в работе о символизме, «он — наша собственная сокровенная сущность и «родовое наследье», — миром «бестелесным, слышным и незримым», сотканным, быть может, «из дум, освобожденных сном».

Кирилл Ковальджи — тонкий лирик, поэт — в книге «Сердце и пуля» открывается читающей публике и как глубокий прозаик, неподвластный веяниям моды на легковесное интригующее чтиво, при этом полностью умозрительное, «освобожденное» от всякого сердечного участия. А ведь сам «горячий» материал его прозы открывал возможности для конъюнктурной публицистики. Но не зря автором в названии однотомника так опасно сближены два полярных образа-антагониста, олицетворяющих жизнь и смерть. Настоящим мастером, художником, с кровью впитан творческий, даже можно сказать, этический завет классика:

«Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлёт раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба».

Почва и судьба — и есть пульсирующее в слове Кирилла Ковальджи его живое дыхание, побуждающее вынырнуть из мути пустых словес повседневности и погрузиться в настоящую жизнь.

Ольга Гертман

Теперь навсегда

На самом деле, эта книга — вся в целом, как высказывание, как весть — не совсем о литературе. Скорее — не только о ней. Может быть — не о ней в первую очередь. Тем более что уровень вошедших в книгу текстов довольно разный. Общее у авторов, чьи тексты составили антологию, — одно: все они ушли из жизни молодыми, не дожив до сорока.

Антология — итог многолетней работы. Изданию книги предшествовали четыре года литературных чтений «Они ушли. Они остались», которые организовывали и проводили Борис Кутенков, Елена Семёнова и ныне покойная Ирина Медведева. Итог, скорее всего, промежуточный — Чтения, насколько мне известно, намерены продолжаться; безусловно, не полный — в сборник включены тексты далеко не всех поэтов, чьи стихи звучали со сцены в эти четыре года (из самых ярких примеров — не вошли, на что, по словам составителя, были свои причины, Борис Рыжий, Виктор Иванів¹). Отчасти эту неполноту и нехватку восполняют несколько открывающих книгу статей о прошедших сезонах Чтений, где рассказано и о многих других поэтах. Вообще же, кажется, перед нами тот самый случай, когда разговоры о «полноте» и «системе» выглядят неуместно.

Куда важнее понять, о чем же — высказывание и весть?

Герои книги ушли из жизни по очень разным причинам, здесь нет единства. Кто-то — по собственной воле (как Роман

Файзуллин, Евгений Хорват), кто-то — от болезни (как Михаил Лаптев, Алексей Колчев, Марина Георгадзе), кто-то — по вине слепого несчастного случая (как Ольга Подъёмщикова, Манук Жажоян, Илья Тюрин), кого-то погубили наркотики (как Анну Горенко), кого-то убила постсоветская история (Александр Бардодым сгинул при невыясненных обстоятельствах на грузино-абхазской войне 1992 года), кого-то растоптало наше страшное общество (Алексея Шадринова, не достигшего и двадцати лет, насмерть забили в армии).

В этом смысле книга страшная, трагическая. Что ни имя, то рана. Книга утрат, книга возможностей, которые часто едва только начали сбываться — и теперь не сбудутся уже никогда, карта непройденных путей русской литературы. Это — даже не книга-память, но книга-воспоминание. О каждом из ее героев еще невозможно говорить отвлеченно (разве только тем, кто их не знал, но такие случаи в книге единичны). Они — даже умершие четверть века назад — еще, по существу, живые. Они — наши современники, ровесники и сопластники многих из нас, соучастники нашего опыта. Поэтому от их смерти больно, даже если мы не знали их лично.

И тем еще более, что — волею ли составителей, иною ли, высшей волей — смерть сквозит в вошедших сюда стихах, возвращается снова и снова — едва ли не в каждой подборке. Она притягивает взгляды даже тех, кто погиб случайно и вовсе не искал ранней смерти. «Я не умру, главы не преклоню / пред палачом в короне изумрудной...» — первая строчка подборки Леонида Шевченко, убитого на волгоградской улице в нескольких шагах от собственного дома. «Их музыка хрипела серой сукой / (Сорвала голос, потеряв щенков). / Хрипела: выходи и умирай», —

Уйти. Остаться. Жить: Антология литературных чтений «Они ушли. Они остались» (2012–2016) / Сост. Б.О.Кутенков, Е.В.Семёнова, И.Б.Медведева, В.В.Коркунов. — М.: ЛитГОСТ, 2016.

¹ Стихи Иваніва, по словам составителей, непременно будут включены в антологию при ее переиздании.

пишет Тарас Трофимов, попавший под электричку. «Так на лицо отбрасывает тень / Грядущий череп», — замечает шестнадцатилетний Илья Тюрин, настаивая в другом стихотворении: «Тело станет законным. / Значит, я не умру» — за три года до гибели в Строгинской пойме. А, например, у Анны Горенко — так и вообще все о ней, все о ней...

Но смысл антологии — не плач по ушедшим (хотя здесь много еще живого горя — за подборкой каждого поэта следует рассказ о нем, — чаще всего это личные, полные печали и благодарности воспоминания тех, кто их знал) и, слава Богу, не эстетизация смерти (что специально оговаривает Борис Кутенков в предисловии). Это помимо благодарной памяти — попытка разговора о феномене ранней смерти поэта вообще и в последние три десятилетия — в особенности. Именно об этом идет речь в статьях, предваряющих каждый из разделов книги.

Между героями антологии есть единство, по мысли ее составителей, существенно более важное и более глубокое, чем конкретные причины смерти каждого из них, — единство времени. Все эти смерти пришлось на конец XX—начало XXI века. Девяностые, двухтысячные, две тысячи десятые.

Время, которое и составители книги, и многие авторы комментирующих подборки эссе явно склонны чувствовать повышенно смертоносным. В одном из этих эссе (открывающем первый раздел — следовательно, концептуальном) Виктор Куллэ назвал отношения между поэзией и смертью на рубеже тысячелетий «миллениарным обострением». «Мы живем, — пишет он, — в эпоху, когда мирному сосуществованию культуры и цивилизации пришел конец». (Полноте, не пришел ли этот конец еще по меньшей мере в 1914 году?) «Рубеж тысячелетий, — настаивает он, — стал для отечественной поэзии роковой вехой. Помимо миллениарного обострения, стихотворцам суждено было пережить гибель страны и привыкать к бытованию в новой реальности». Вплоть, полагает он, до того, «что само писание стихов в какой-то момент стало представляться занятием бессмысленным» (в чем, по мысли автора, особенно повинен

«белый шум», создаваемый бессчетной армией интернета», из-за которого поэты обречены оставаться неслышанными.

Неужели в эпоху безраздельного господства книгопечатания их слышали лучше?

Не говоря уж о том, что многие из поэтов, чьи стихи помещены на этих страницах, — вот хотя бы Михаил Лаптев, всю жизнь писавший в стол и публиковавшийся крайне скупой и редко, — именно благодаря интернету стали событием нашей жизни и теперь уже не перестанут им быть.

Но это так, пометки на полях.

Всего в антологию включены стихи тридцать одного поэта. В ней три раздела: ушедшие до двадцати пяти, до тридцати и до сорока. Тексты героев книги собраны в эти главы единственно по количеству прожитых авторами лет — а не, скажем, по признаку общности поэтики или поэтического уровня. Среди героев книги есть поэты попросту первого ряда, как, например, очень много обещавший, всерьез писавший всего три года, утонувший в девятнадцать Илья Тюрин, как дожившая всего лишь до лермонтовских двадцати семи Анна Горенко (Карпа), как огненный, сгоревший во внутреннем пламени в тридцать четыре Михаил Лаптев. Кстати, среди собратьев по судьбе они не то чтобы не выделены совсем. Да, в особую главу их тексты не собраны — видимо, потому, что дело здесь не в этом. Выделены они тем, что стихам именно этих авторов, наиболее сильным, в качестве комментирующего эссе сопутствуют не личные воспоминания, но литературоведческие статьи. Самая теоретичная из них, без всякой лирики вообще, — насыщенная, несмотря на небольшой размер, работа Даниила Давыдова об Анне Горенко, в которой критик анализирует характерные приемы ее письма, ее «поэтику последовательного ухода», место ее среди поэтов своего поколения. Впрочем, эта статья стоит в сборнике особняком. Отчасти сопоставимы с нею по аналитичности работа Лили Панн о Мануке Жажояне — рецензия на его посмертный сборник «Случай Орфея» (но там речь идет больше все-таки о личности, чем о поэтике),

короткое эссе не знавшей своего героя лично Людмилы Вязмитиновой о Михаиле Лаптеве, где она намечает его литературную генеалогию и ставит его в контекст литературных процессов поздних восьмидесятых — ранних девяностых, и размышления Марины Кудимовой о творчестве Ильи Тюриня и о том, как он читается сейчас. Все остальные комментирующие тексты существенно более личны и лиричны. Это можно в известной степени утверждать даже об очень интересном эссе Дмитрия Голынка-Вольфсона, посвященном Василию Кондратьеву. А текст, пожалуй, самый интересный здесь, наряду с этюдом Давыдова о Горенко. Он не столько литературоведческий, сколько культурологический, даже антропологический — рассматривающий (увы, лишь конспективно) особенности взаимодействия героя с петербургским ландшафтом и мифологией и его самого как культурный тип. «Многие жизненные, любовные и особенно литературные эксперименты Василия были намеренно, продуманно и пунктуально стилизованы под амплуа "проклятого поэта". В период всеобщего культивирования респектабельности и импозантной черствости его ошарашивающая, расхристанная "проклятость" даже близким знакомым казалась иногда старомодным трюизмом и эстетизированной причудой».

В целом же ничего особенно концептуального, неожиданного, решающего о главном своем предмете — о феномене ранней смерти поэта в наше время — участники разговора, кажется, все-таки не сказали. Много важных человеческих (не теоретических, не нуждающихся в теории, даже сопротивляющихся ей) слов — сказали, да: о том, что «жизнь человека хрупка и, увы, беспамятна» (Владимир Коркунов); о важности «налаживания мостиков» «между необходимостью помнить — и преодолением исконного людского беспамятства» (Борис Кутенков), о том, что «творить настоящие стихи можно только на краю, на изломе, на острие» (Елена Семёнова), что «смерть молодых и талантливых ранит» (Дарья Лебедева). Тут ничего и не возразишь. В отношении этой

темы интереснее всего здесь — небольшое эссе Лолы Звонарёвой о поэзии как о «прении живота со смертью» в контексте европейской культуры; построения же Александра Лаврина о «трех типах смерти поэта» — Входе, Выходе и Исходе — выглядят, признаться, избыточно умозрительными. И некоторые вопросы в очередной раз подтвердили свой статус вечных (то есть таких, которые в разных культурных, социальных, жизненных ситуациях ставятся снова и снова — чтобы получать новые ответы). Например, как все-таки соотносятся культура с цивилизацией? Вредят ли поэзии новейшие для каждого из времен технологии? (Многих героев книги, пишет Дарья Лебедева, «непросто было бы представить сегодня с планшетом или айфоном в руке, в этой всепоглощающей гонке за земными материями».) Возможно ли писать стихи после тех или иных катастрофических исторических событий? В самом ли деле гибельно быть поэтом? «Связан ли тип смерти с сущностью поэта?» (Александр Лаврин). Мыслимы ли не гибельные, но плодотворные и счастливые для поэзии времена? Спасает ли она мир хоть сколько-нибудь? Что ей вообще удастся в одном из ее важнейших дел — в деле противостояния смерти? Но существенно ли приблизились они тем самым к пониманию того, что и почему погубило всех поэтов, чьи стихи мы теперь читаем, возможно ли к такому пониманию вообще приблизиться, возможно ли на это смотреть без того, чтобы черный огонь выжигал глаза? — Не знаю.

Зато составители антологии сделали нечто, на мой взгляд, существенно более важное, чем ответы на какие бы то ни было вопросы: дали читателю возможность пережить уязвимость, единственность и драгоценность человеческого, по отношению к которому поэтическое — (всего лишь) очень высокая его степень, одна из максимальных его концентраций.

Конечно, уязвимость этих совсем молодых людей — первое, что бросается в глаза всем — и читателям, и комментаторам; обреченность их — первое, что навязчиво приходит на ум. Все эти стихи, в каких бы ситуациях ни писались они на самом деле, — теперь упорно видятся написанными на границе бытия и

небытия, с чувством прозрачности и проницаемости этой границы.

«Жизнь становится проста —
Легче и больней,
Акробату без шеста
Легче и вольней.
Птица с каменных деревьев
В воздух входит вброд,
Остаётся, умерев,
Жить наоборот», —

так писал Алексей Ильичёв, проживший на свете двадцать пять лет.

Но ведь это касается нас всех.

И, кстати, о неосуществившихся — с каждым из ушедших — возможностях русской поэзии. Да ведь они уже осуществились. Они будут осуществляться и дальше, пойдут в какой-то — разумеется, непредсказуемый — рост, станут — хоть какие-то из них — стимулами неведомого нам еще развития, потому что, изданные, услышанные, эти стихи стали событием нашей жизни. И уже не перестанут им быть. Они теперь навсегда.

Елена Мовчан

«Эхо погасших дней»

Это вторая антология белорусской поэзии, составленная поэтом и переводчиком Иваном Бурсовым и изданная Виктором Хурсиком. Первая — «Шаги» — вышла в свет в 2011 году (См. рецензию в «ДН» №5 за 2014 г.). Вместе эти две книги представляют белорусскую поэзию от начала XIX до конца XX века. В «Шагах» отражены два основных этапа в истории белорусской поэзии: ее становление и расцвет на протяжении XIX века, связанный с такими именами, как Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович, чьи произведения, естественно, вошли в состав той антологии, и затем рождение новой, уже советской белорусской поэзии, прошедшей через ужасы репрессий, жертвами которых стало большинство поэтов того периода. «Шаги» заканчиваются разделом «И etc...» — продолжение следует. И вот оно последо-вало — в новой антологии.

«Дыхание времени» — название на первый взгляд как будто банальное, но

вместе с тем верное, поскольку поэзия отражает именно дыхание своего времени. Дыхание — нечто легкое, естественное, словно бы и незаметное, но именно оно вместе с биением сердца задает ритм жизни и является свидетельством того, что жизнь продолжается. Новую антологию, составленную И.Бурсовым, можно было бы назвать антологией белорусской советской поэзии, поскольку именно советский период ее истории она представляет: от начала 30-х до 90-х годов XX века. Можно было бы, если бы Бурсов не поместил в нее поэзию эмиграции — стихи поэтов, которые в силу разных обстоятельств (в основном по причине немецкой оккупации Белоруссии во время Великой Отечественной войны) оказались за ее пределами. Имена этих поэтов долгие годы были под запретом и только в последнее время заняли свое место в белорусской поэзии XX века. Иван Бурсов — первый и пока единственный для большинства из них переводчик на русский язык. В своей антологии он представил 11 поэтов, обретших кров на чужбине, но навсегда сохранивших любовь к родной земле и создававших свои

«Дыхание времени»: Антология белорусской поэзии. — Минск: Издатель Виктор Хурсик, 2016.

произведения на родном языке, а потому, безусловно, принадлежащих белорусской культуре. Эта подборка была опубликована в «ДН» (2015, № 3).

В «Дыхании времени» публикация стихов каждого поэта сопровождается послесловием. Как правило, это короткий рассказ составителя о жизни и творчестве автора. Иногда, если речь идет о широко известном поэте, он ограничивается простой био-библиографической справкой или цитатой из статьи о нем. О поэтах малоизвестных или совсем неизвестных русскому читателю рассказано более подробно. По возможности подробные сведения сообщаются и о поэтах-эмигрантах. Истории их жизни, которые может воссоздать читатель не только из послесловий, но и из их стихов, обычно схожи друг с другом. Часто их жизненный путь отмечен двумя вехами: ГУЛАГ и немецкая оккупация. Ранние стихи этих поэтов пронизаны горечью и болью из-за несправедливой и тяжкой кары, выпавшей на их долю, а поздние — печалью и неизбывной тоской по родине. Обе эти темы ярко отразились в стихах М.Седнёва, прошедшего сначала через минскую тюрьму, затем через Колыму и завершившего свой жизненный путь в США. Вот описание состояния его героя в стихотворении «Страх», написанном в тюрьме: «Ночь в темноте держала нас/ На ледяных ножах./ Тюрьма... Безумным блеском глаз/ В решётки бился страх». А это переживание, описанное в стихотворении «Сон» уже периода эмиграции: «Я пришёл к тому месту, где хата родная стояла./ Но знакомое место почему-то сейчас пустовало./ Так прошёл я во сне по земле Беларуси —/ Это, видимо, значит, что туда не вернусь я». Подобный путь и подобные настроения отразили в своих стихах В.Дудицкий, А.Кавыль, В.Клишевич.

Кроме поэтов-эмигрантов, Иван Бурсов ввел в свою антологию поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, впервые публикующихся в русском переводе. Стихи пятнадцати поэтов помещены в антологии под рубрикой «Имена на поверке». Послесловия к подборкам этих поэтов, совсем молодыми ушедших из жизни, как правило, лаконичны: их литературное наследие невелико, и событий в их короткой жизни было совсем немного, — но составитель

предваряет каждую подборку сообщением о времени и месте их гибели, и это в соединении с напечатанными вслед затем стихами производит сильное впечатление.

«...механик-водитель боевой машины Гаврилов Леонид Григорьевич погиб в тяжелых приграничных боях первых дней войны...»

«...старший лейтенант Сурначёв Николай Николаевич командир подразделения противотанковой артиллерии пал смертью храбрых вместе со своими бойцами в рукопашном бою в восьми километрах от Берлина...»

Этим мальчикам было по 23 года, когда началась война, но они уже успели себя проявить на поэтической ниве. В сороковом году оба призваны в армию. Леонид Гаврилов погибает в первые дни войны, и последнее его стихотворение, помеченное 1941 годом, исполнено уверенности в силе и непобедимости нашего оружия: «Наш рубеж из стали и бетона/ Напряжён и чуток, как струна./ Пусть её попробует кто тронуть —/ Громом зазвучит в ответ она». С этой верой и уходит из жизни молодой поэт, выступивший с первыми стихами в 16 лет. Его ровесник и соотечественник, окончивший, как и он, литературный факультет Гомельского пединститута, прошел войну от начала до конца. Сохранились некоторые его военные стихи, и в них наряду с верой в победу и надеждой на будущее возникают реальные картины фронтового быта, перекликающиеся со знаменитыми строчками Кульчицкого: «Война совсем не фейерверк, а просто трудная работа...» Порой у него появляются тяжкие предчувствия, и в стихотворении, датированном 1944 годом, он, словно бы предвидя свою смерть на чужбине, обращается к другу: «Меня ты похорони,/ Обнеси мой холмик оградой,/ А после войны/ Возьми мой прах —/ Пусть с тобой домой возвращусь я —/ К отчим нивам и хатам,/ К рассветам, закатам,/ На просторы моей Беларуси!» Поколение поэтов, пришедших в литературу незадолго до начала войны, представленное данной антологией в «Именах на поверке», было охвачено энтузиазмом построения нового общества, грандиозными масштабами великих строек. Процесс этот был характерен для всей советской литературы того периода,

потому так много у них общего и в содержании, и в стилистике с пришедшими тогда же в литературу русскими поэтами. Так, стихотворение-баллада «Ритмокопытному другу» погибшего в самом начале войны Р.Суніцы прямо отсылает нас к Багрицкому, а в поэзии расстрелянного фашистами в 1942 году А.Дубровіча явная переключка с поэтами Пролеткульта: «Мы — струны, скованные звуком,/ Одним раскалены огнём./ Печальный марш играем мукам,/ Надежде — светлый гимн поём». Собранные в антологии, эти поэты военного поколения делают более полной картину белорусской поэзии XX века.

Поэзия эмиграции и стихи поэтов, погибших на войне, составляют третью часть антологии Ивана Бурсова, но именно она привлекает к себе особое внимание. Прежде всего, конечно, своей новизной, первым появлением в сфере внимания заинтересованного российского читателя. Большую же часть книги составляют стихи поэтов, известных широкому кругу читателей. Особенность антологии «Дыхание времени» в том, что стихи всех поэтов даны в переводах составителя. Это высокие образцы белорусской поэзии, что видно и благодаря талантливым переводам. Антология показывает, помимо всего прочего, как много сделано Бурсовым для ее популяризации в России. Недаром своему короткому предисловию к «Дыханию времени» его издатель, член Союза писателей Беларуси В.Хурсик дал название «Посол белорусской культуры».

В этой книге впечатляет прежде всего полнота и широта охвата: практически все известные, малоизвестные и даже, как мы увидели, совсем неизвестные русскому читателю поэты представлены в ней. Тут и классики белорусской советской поэзии — П.Бровка, М.Танк, Н.Гилевич, М.Лужанин, П.Панченко, и наиболее близкие переводчику по времени обитания и мировосприятию шестидесятники — Г.Буравкин, А.Гречанников, В.Зуенок, В.Короткевич, Е.Лось, М.Стрельцов, Д.Бичель. Немалое, хотя и меньшее, чем упомянутые выше поэты, место занимают представители поколения, начало творческой жизни которых пришлось на 70-80-е годы прошлого века: А.Рязанов, К.Жук, Г.Корженевская, П.Мартинювич, А.Писарик и др. Их стихи Иван Бурсов не только переводил, но и впервые представлял российскому читателю в

различных изданиях: журналах, альманахах, сборниках молодых поэтов.

Переводчик Иван Бурсов выбирает для перевода стихи поэтов, которые близки ему по духу, по мировосприятию. Потому антология, составленная им, — это цельная книга. При тематическом разнообразии в ней есть стержень, который держит ее, связывает отдельные ее главы воедино, и это, безусловно, любовь к своей земле, потребность защищать ее, хранить и передавать эти чувства потомкам.

Особое место в книге жизни переводчика Ивана Бурсова занимает Рыгор Бородулин. Их связывала многолетняя дружба — и личная, и творческая. С первых шагов Бородулина в белорусской поэзии Бурсов переводил его стихи на русский язык. Первая книга Р.Бородулина на русском языке «Целиноград» вышла в Москве в издательстве «Молодая гвардия» в переводах Ивана Бурсова. Бурсов, прекрасный детский писатель, выпустивший несколько собственных книжек для детей, перевел и две детские книжки Бородулина, утверждавшего, что именно Бурсов привлек его к детской литературе. В большей части сборников стихов Рыгора Бородулина, выходявших на русском, есть и переводы Бурсова. Вот и в этой антологии поэзия Бородулина занимает большое место. В подборку его стихотворений включена и своеобразная переписка Бородулина с Василём Быковым, публиковавшаяся в «ДН» (2003, № 3), где на стихотворные письма Бородулина Быков, живший в эти годы в Финляндии, отвечает говорящими картинками. Подборка стихов Р.Бородулина — единственная (если не считать рассказа Василя Быкова «Полководец» в переводе И. Бурсова, чье появление в поэтической антологии, вероятно, обусловлено публикацией вышеупомянутой переписки), которая не сопровождается послесловием. Вместо него — стихотворение Ивана Бурсова «Эхо погасших дней», посвященное их давней дружбе, их радостной молодости, написанное в конце 70-х и заканчивающееся добавленными после ухода Бородулина из жизни в апреле 2014 года горестными словами: «Боже, Боже, как быстро мчится время!..»

Вадим Муратханов

Возвращение русского Киплинга

В своей новой книге «Туркестанский текст в русской культуре: колониальная проза Николая Каразина» доктор филологических наук Элеонора Шафранская продолжает исследовать и фиксировать артефакты, выражения и понятия, пришедшие в обиход россиян из Средней Азии. Предыдущая работа Шафранской в этом направлении была посвящена «ташкентскому тексту» в русской культуре (по аналогии с «петербургским текстом» Владимира Топорова), а также образцам современной прозы, которые послужили его источником.

Писатель и художник Николай Каразин — в истории отечественного искусства фигура загадочная, полузабытая и отчасти маргинальная. Его имя было на слуху во второй половине XIX века, когда происходило завоевание Туркестана. Плодовитый и талантливый литератор и живописец взял на себя роль русского Киплинга — новые восточные земли империи впервые были увидены российским читателем глазами Каразина. Однако после революции о немирном характере присоединения государств Средней Азии к России предпочли забыть. Произведения писателя с их батальными сценами и реалистическим изображением взаимоотношений завоевателей и местных жителей оказались вырванной страницей истории нашей культуры. В советское время его проза не переиздавалась. Единственный сборник произведений Каразина в новой, послереволюционной

орфографии — «Погоня за наживой» — вышел в 1993 году. Стремясь восполнить пробел, Элеонора Шафранская в своей книге не только подробно останавливается на поэтике Каразина, но и обильно цитирует тексты этого автора: «Кибитки установили, котлы поставили на таганы, стряпня началась, и работникам ничего более не оставалось делать, как сесть на корточки и спокойно дожидаться вечера, любуясь, как вдали охотятся чуть заметные всадники» («На далеких окраинах»).

На материале повестей и рассказов автор исследования показывает, что многие связанные с Востоком реалии, понятия и речевые обороты вошли в русскую литературу благодаря ныне забытому беллетристу. Среди них «базар», «плов», «буза», прикладываемая к животу рука, сидение на корточках...

«...Заслуживает внимания, — пишет Шафранская, — то, как писатель вплетает в ткань своих произведений... особенности быта чужой культуры, — это во-первых; во-вторых, крайне частотное упоминание Каразиным — на разные лады — всех этих иноэтнотрультурных черт жизни имеет... четкую цель: привлечь внимание читателя, акцентировать его на этих экзотизмах. Возможно, что не всё, прописанное Каразиным, зафиксировано впервые именно им. Но писатель принадлежит к официально первой волне освоения Туркестана, поэтому его вполне можно считать пионером в литературной этнографии края. Туркестанский текст русской литературы не столько инициирован Каразиным... сколько им и создан: бесчисленное повторение одних и тех же деталей быта и культуры, переходящих из произведения в произведение, превращает их в паттерны/сигнатуры, или, иными словами, в прецедентные

Шафранская Э.Ф. Туркестанский текст в русской культуре: колониальная проза Николая Каразина (историко-литературный и культурно-этнографический комментарий). СПб.: Свое издательство, 2016.

культурные образы-клише в самих каразинских текстах...»

Подробно останавливается Элеонора Шафранская на сюжетных и образных пересечениях прозы Каразина с произведениями его более знаменитых современников — Льва Толстого, Чехова, Салтыкова-Щедрина, Лескова, Чернышевского... В литературе, как в живом организме, непрерывно происходит обмен и заимствование идей, приемов, сюжетных ходов. И писатели первого ряда в исторической перспективе нередко оказываются в более выгодном положении: их тексты в силу большей известности воспринимаются как первоисточник того или иного художественного решения. Шафранская, например, обращает внимание на близость сцен, когда муж застает жену с любовником, в «Крейцеровой сонате» и каразинском романе «Погоня за наживой», опубликованном за семь лет до выхода повести Толстого. В подтверждение своих слов автор исследования приводит оба фрагмента, где наиболее явно совпадающие моменты выделены жирным шрифтом.

Таким же образом, в двух колонках, сопоставляются фрагменты произведений Николая Каразина с чеховскими текстами («Вишнёвый сад», «Крыжовник», «Дама с собачкой»), а затем и с прозой советской писательницы Анны Алматинской.

Элеонора Шафранская пытается не только разобраться в литературных достоинствах прозы Каразина, его влиянии на современников и вкладе писателя в этнографическое исследование края, но и понять его общественную, гражданскую позицию по отношению к происходящим в Туркестане событиям. «По прочтении каразинской художественной прозы и публицистики, — замечает исследователь, — бросается в глаза разность авторской позиции. В публицистике, в очерковых текстах Каразин категоричен: Восток — дик. В художественных текстах, написанных на основе очерковых, Каразин звучит совсем по-другому: появляется отстраненность... даже критические ноты в адрес той стороны, которую он... представляет <...> Ориентализм прозы

Каразина представляется, по большей части, классическим: писатель изображает иную культуру, нравы, быт — с сочувствием и заинтересованностью, исходящими от субъекта повествования. В изображении наиболее экстремальных ниш бытия и быта Востока появляется критический анализ, исходящий от человека европейской культуры». И в то же время Каразин в литературном творчестве «не совсем соответствует своей миссии классического колонизатора». В его ориентализме «прописаны две точки зрения участников процесса, колонизаторов и колонизируемых, находящихся по обе стороны военного и этнокультурного противостояния...»

Отдельного разговора заслуживает используемая в книге терминология. Шафранская настаивает на оправданности и уместности термина «колониальная» применительно к прозе Каразина. Не все ее коллеги разделяют это убеждение. Автор сетует на то, что инерция «ориентализма советского разлива» все еще «ощутима в профессиональном сообществе филологов: нередко приходится слышать недовольные, возмущенные реплики — реакцию на термины *колониальная/постколониальная* русская литература». В советской традиции было принято употреблять эти термины исключительно по отношению к зарубежной истории: предполагалось, что народы СССР и России входили в состав империи добровольно, преимущественно бескровно и последствия присоединения были для них только положительны. Проза Николая Каразина, по мнению Шафранской, «разрушает благолепный флер этой миссии».

В качестве приложения к книге автор целиком приводит рассказ Каразина «Ургут: из походных записок линейца», впервые опубликованный в 1874 году в журнале «Дело». Выбор именно этого рассказа, по-видимому, обусловлен в какой-то степени упомянутой полемикой по поводу колонизации. «Уже расставлены были часовые, и караул расположился как дома; вдруг неожиданный выстрел загремел под воротными сводами, густой

дым повалил из незамеченной двери, и один из караульных солдат, раненный в спину, вскрикнув, присел на ступени лестницы. Наши бросились к предательской двери, но оттуда раздалось еще несколько выстрелов; тогда солдаты, в свою очередь, принялись стрелять в темное пространство, и ни один выстрел, несмотря на то, что пущен был наудачу, не пропадал даром. Сперва слышались бранные, озлобленные крики, потом все затихло. Тогда наши, вооружившись длинными баграми, которые стояли в углу, неподалеку от ворот, принялись вытаскивать осажденных, и на свет стали появляться, одна за другою, растерзанные фигуры в красных и синих халатах».

Сегодня в бывших союзных республиках отношение к России и ее многолетнему присутствию там,

безусловно, сложнее, чем к типичному захватчику и колонизатору (автор касается и этого момента, когда пишет о связанных с Россией новых мифах и ностальгии, порожденной уходом «нетитульных» наций из среднеазиатского региона). Однако Каразин, в силу содержания его произведений, очевидно, и сегодня едва ли может рассчитывать на теплый прием на постсоветском пространстве. Тем важнее проделанная исследователем добросовестная работа по возвращению в литературоведческий обиход потерянного имени. Возможно, это станет еще одним шагом на пути изживания историко-культурных мифов, без чего невозможно ни истинное понимание собственной истории, ни формирование новой национальной идентичности.

Юрий Подпоренко

Созвездие талантов из Апшерона

Выставка «Созвездие Апшерона. Азербайджанские художники 1960-1980-х годов», развернутая в залах Государственной Третьяковской галереи на Крымском валу, вызвала не только немалый искусствоведческий интерес, но и побудила к размышлениям более широкого порядка — об особенностях азербайджанской живописи и искусства в целом.

Еще в давние советские времена Азербайджан воспринимался во многом самой «западной» из «восточных» республик Союза. И имелась в виду не только география, хотя условная граница между Европой и Азией как бы обходит Азербайджан, оставляя эту ныне независимую страну на территории Азии в непосредственной близости от Европы.

Культурное пограничье представителей азербайджанского искусства проявлялось в открытости миру, готовности впускать в свое творчество, в образную структуру произведений разного рода влияния и веяния, которые органично сочетались с продолжением традиций национального искусства.

Нынешняя выставка, включающая работы двенадцати живописцев и одного скульптора, подтверждает, что влияние европейского искусства в них, конечно, ощутимо, но не настолько, чтобы замечать буквальное следование стилистике Шагала, Пикассо или других мастеров живописи XX века.

Так, в полотнах Саттара Бахлулзаде влияние импрессионизма, конечно же, ощутимо, но при этом способствовало созданию собственной стилистики пейзажей, поэтизирующей, возвышающей достаточно суровую реальность скалистого Апшеронского полуострова, моря и силуэтов нефтяных вышек. Живописец по праву считается основоположником азербайджанского импрессионизма.

Фигура Тогрула Нариманбекова привлекает внимание и драматической судьбой художника, и самобытностью его творчества. Сын азербайджанского инженера, получившего образование в Тулузе, а затем репрессированного, и матери-француженки, он в полной мере ощутил на себе давление советской системы. Возможно, поэтому в своих художественных приоритетах он выбирал контрасты и драматическую напряженность. Экспрессивная красочность, осязаемая предметность в его полотнах причудливо переплетаются с традициями национального искусства — ковроткачества, керамики, миниатюрной росписи — и подчеркнутой декоративностью. Сам художник своим творчеством выражал возможность успешного сочетания абстрактного и фигуративного искусства.

Мир Востока, преображенный особым взглядом и талантом художника, предстает и в полотнах Джавада Мирджавадова. Точнее, живописец не столько воссоздает, сколько творит свой образный мир, спрессованный из азербайджанского фольклора,

притч, сказок и легенд и пропущенный через душу современного человека, трезво и, порой, жестко размышляющего о самых сложных аспектах бытия. В эссе «Моя декларация» Джавад Мирджавадов так формулирует свое художническое кредо: «На основе новейшей эстетики я преобразую реальность своих ощущений, и каждая моя картина — это не отражение мира, она сама есть МИР. В нем помещаю солнце, людей, луну, коней. Звезды на небе, узор ковра и кристалла — все проявления необъятной жизни пульсируют на холстах... Они — единая картина, непрерывная музыка, подобная фуге Баха. В полифонии гротеска и нежности, чудовищности и лучезарности я разворачиваю фантасмагорию БЫТИЯ, где звучит контрапункт ДОБРА и ЗЛА».

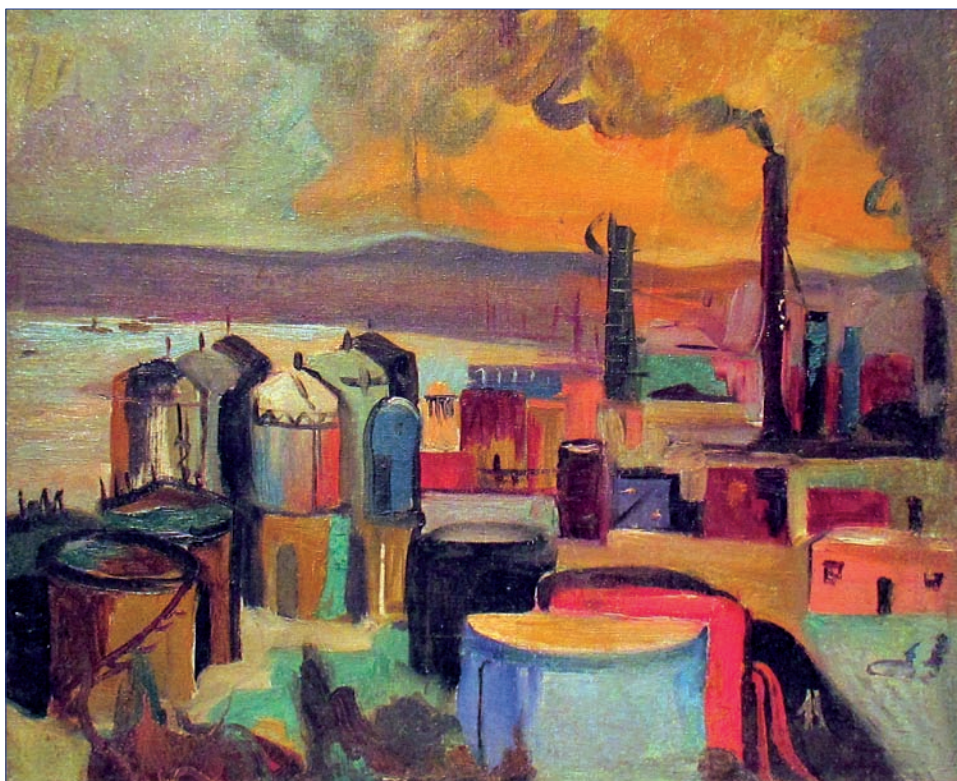
В фантасмагорическом мире полотен Расима Бабаева живут сказочные персонажи: дэвы, волшебные птицы, восточные красавицы и прочие создания, рожденные фантазией художника. В широчайшей палитре авторских позиций — от мягкой иронии до философской аллегории и едкого сарказма — находится место и добрым старикам и старушкам, и фантастическим существам, и чудовищам в человеческом облике.

Значительное место на выставке заняла производственная тема. «Нефтяники», «Индустриальный пейзаж» Тофика Джавадова, «Индустриальный Баку» Надира Абдурахманова, «Нефтеналив» Расима Бабаева и другие работы выполнены лаконично, порой, с приметами сурового стиля, и лишены того ложного пафоса, какого было в избытке во множестве работ того периода истории.

Знаменитый живописец и график Таир Салахов довольно неожиданно предстал на выставке в качестве театрального художника, представив эскизы декораций к спектаклю «Смерть в Гюлистане» по пьесе Дж.Алибекова, и подтвердил высокое мастерство владения композиционными решениями.

Украшением выставки стали скульптурные работы Фазиля Наджафова, которого по праву называют основоположником авангардизма в скульптуре Азербайджана.

Важно отметить, что выставка «Созвездие Апшерона» подготовлена Государственной Третьяковской галереей при поддержке Министерства культуры Российской Федерации совместно с Фондом Гейдара Алиева (Азербайджан) и Фондом Марджани.



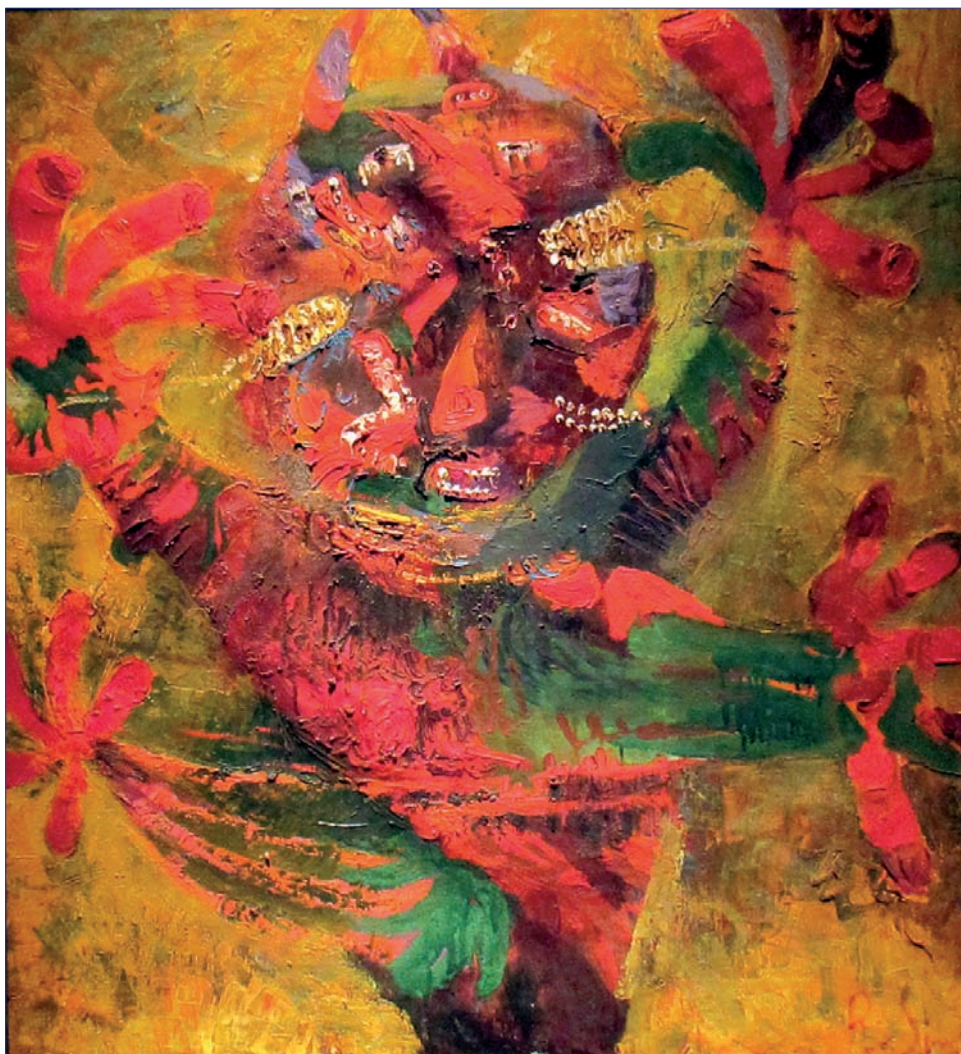
Тофик Джавадов

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ.
Начало 1960-х
холст, масло



Салахов Таир Теймур оглы

КРЫШЫ СТАРОГО БАКУ
холст, масло



Расим Бабаев

МНОГОЛИКИЙ ДИВ.1989
холст, масло



Тогрул Нариманбеков

ОСЕННИЙ БАЗАР. 1982
холст, масло



Надир Абдурахманов Лачин.1965

ЛАЧИН.1965
холст, масло



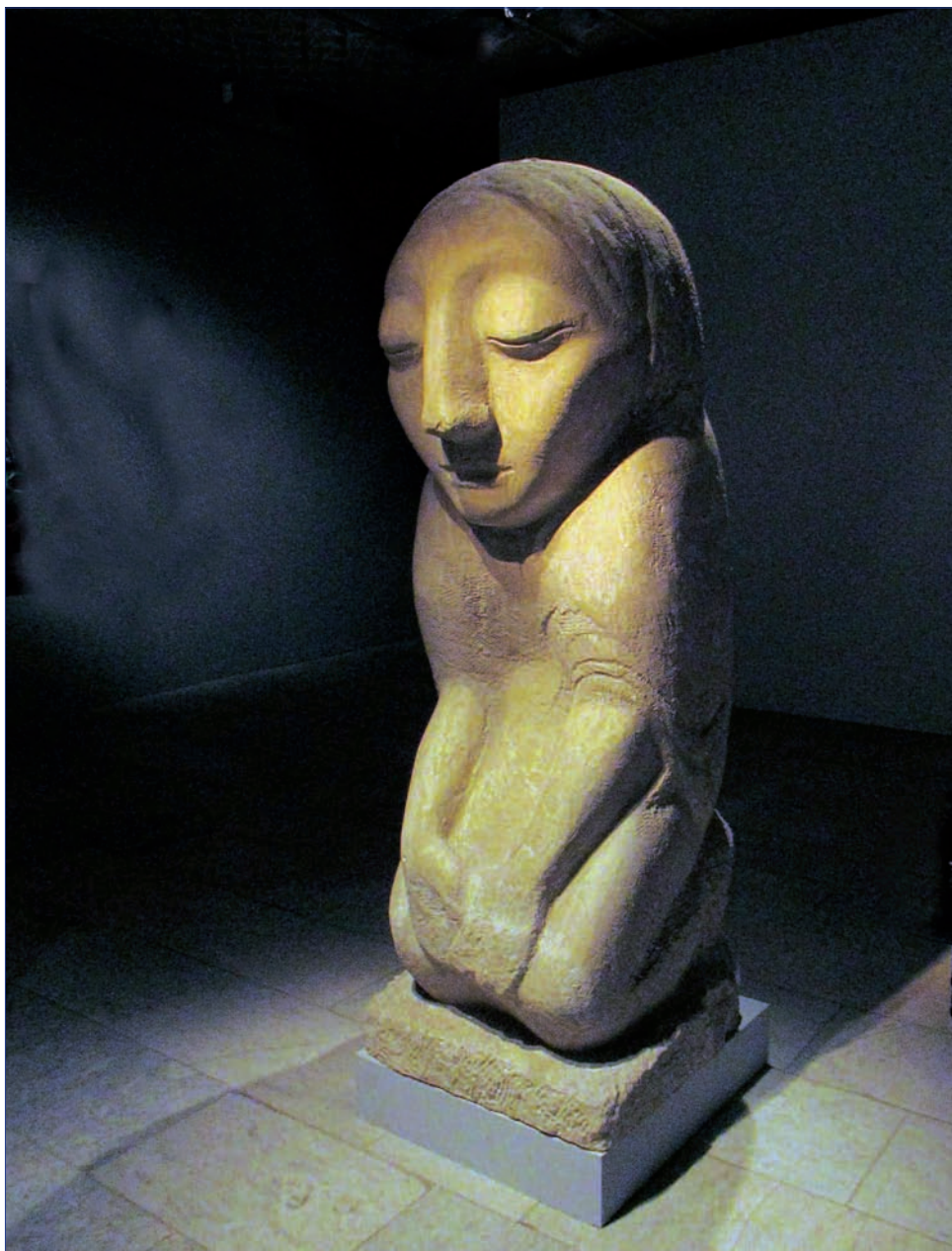
Джавад Мирджавадов

Цикл ИМПРОВИЗАЦИЯ НА ВОСТОЧНЫЕ
МИНИАТЮРЫ. РАЗДУМЬЕ. 1984
холст, масло



Геюр Юнус

БАКИНЦЫ.1989
холст, масло



Фазиль Наджафов

УТРО.1982
известняк

Сова прокричала?

Рубрику ведет Лев Аннинский

«Сезон кончился, но не жисть».
Вячеслав Щепоткин. Крик совы перед концом сезона

Со страниц куняевского журнала «Наш современник» этот роман вполне мог звучать «патриотично» в противовес «либеральности». Напечатанный теперь в издательстве «Русский Мир», он вовсе не воспринимается так односторонне. Объемный шестисотстраничный том охватывает полностью «удалые» 90-е годы (их теперь иногда перекрещивают в «проклятые»). Написанный от имени тогдашней «хеври» сверстников, он выходит далеко за рамки этой хеври и вмещает весь огромный мир советской жизни, накренившийся к краху и в небытие рухнувший.

От того момента, когда на Политбюро ЦК КПСС Андрей Громыко «продавил» в генсеки партии Михаила Горбачёва, и началось «размороженное время» — до того горького финала, когда Борис Ельцин, сменивший Горбачёва, увенчал это время расстрелом парламента, а митинги на Октябрьской площади и в Останкине окончательно все смешали и погребли.

Как истый живописатель, Вячеслав Щепоткин знает, что «у всякого решения — есть фамилия, имя и отчество», — он историю решений, угробивших Советский Союз, восстанавливает в такой гуще рельефных силуэтов, что я проникаюсь к нему читательской благодарностью: имена-то эти, когда-то звеневшие в ушах страны, теперь, как правило, полузабыты...

Но тут же ловлю себя на мысли: а может, это и правильно, что они полузабыты? Те «действующие лица», которые крутились и кувыркались в пьянящем карнавале Перестройки? Пока крик совы, как сказано в романе, не обозначил конец этого политического сезона, — как он обозначает все такие периоды.

Не могу сказать, что я был безучастен к тем веселым переменам. Иногда мне казалось, что это к лучшему... для России. Как именно и к какому лучшему, было смутно, но лишь бы для России! На вопрос: какая Россия мне нужна, я честно отвечал: любая. И теперь так же думаю. Социалистическая или капиталистическая? А сдвигать страну надо в зависимости от — ситуации. Ленин нэпом сдвинул в одну сторону, Сталин диктатурой в другую... А что так и эдак продолжалась именно Россия, у меня сомнений не было. Наверное, в силу моей умом осознанной русскости: она ведь мне не сама собой досталась — по крови я отпрыск (терминами Льва Гумилева) двух субэтнических вариаций российского целого: отцовский исток — казаки с Дона, на красных и белых расколотые, материнский исток — евреи, чудом спасшиеся от антисемитов с Украины.

Мог бы я жить в другой стране? Как потребитель — пожалуй (если там еще и жить лучше). Как индивид — тоже (получая свое по закону). Но как *личность* я существую только в России.

Это я чувствую и в мироощущении автора книги. Особенно остро — на границах русской реальности. Лучшие, сильнейшие страницы романа — не московские.

Вот описание северной охоты. Описание четкое, сочное и вместе с тем выверенно-структурное. «Расставьтесь, где я лыжей кресты сделаю». Там привязочка есть к зреющему расколу на патриотов и либералов. Но на меня больше действует сама плоть действия: охота, природа, образ жизни — вековой опыт бытия — на этой вот земле. Независимо от того, какой «председатель» в столице... здесь — национально-русская жизнь. Или, если угодно, «жисть»...

И еще сильнейшая глава — о моем родном казачестве. О тех, кто веками шел в низовья Дона и держал эту землю в русском обводе. Независимо от того, кто помещичал или политиканствовал в Центре.

Сталин понял роль казаков. Вернул на штаны лампасы. Немцам приручить казаков не удалось. Хотя попытки были.

Так озвучены в «Крике совы» границы Руси. Северная и южная. Многовековые границы, не «сезонные».

Есть однако еще границы — межэтнические. Тоже многовековые, но не такие прочные. Тут-то в наше время многое и перекошилось, и зашаталось, и порвалось. Щепоткин обводит глазами: «Прибалты, Молдавия, Грузия». Прибавляет, ничего не упуская: армяне и азербайджанцы в Карабахе... месхетинцы в Узбекистане... Объясняет (себе и нам): это все устроили перерожденцы партноменклатуры, вспомнили времена баев и ханов. Я согласен: этнобесы хорошо поработали на растаскивании Советского Союза. Но не они решали дело — решала общая ситуация. Не местная и не сезонная (по крику совы), а всемирно-историческая — подошла к какой-то новой стадии. Словно народы, удушенные век назад эпохой мировых войн, почувствовали на замиренной земле возможность «расправиться» и рванули вон из России, из Африки в Европу южную, из Азии в Европу северную, попутно пытаясь сбить исламские массы в новые халифаты...

Завершая этот многонациональный аспект, автор «Крика совы» пишет:

«Если народы территориально вкраплены друг в друга, трения всегда бывают».

Подписываюсь под каждым словом! Но задаю следующий неотвратимый вопрос: а русские, возникшие как великая нация из взаимодействия сцепившихся и сплотившихся вместе народов, они ведь (то есть мы) еще и вкраплены друг в друга! Как же сохраняют единство русские, когда геополитическая ситуация меняется то так, то эдак и сама Россия в очередной «сезон» по крику Совы оказывается во власти непредсказуемых перемен?

Обратившись от границ Союза к столичному Центру, автор «Крика совы» обнаруживает и распутывает такое, что способно привести в замешательство. Не вдруг поймешь, что и откуда влетает в уши и цепляет ум, какая информация забрасывается из-за рубежа в расчете на «агентов влияния», а какая несется из отечественных усилителей, перекрывающих друг друга на митингах. В этой какофонии участвуют со своими фантазиями и Маргарет Тэтчер, и Валерия Новодворская. Пронзительной болью звучат предсмертные записки маршала Ахромеева и министра Пуго. Информация засекреченная и информация рассекреченная неразличимы, радио и телевидение то врут, то проговариваются, стенографисты и секретарши то ли прячут новости, то ли щеголяют новостями...

Гвалт воссоздан мастерски. Как в этом гвалте расслышать то, чем живет народ?

И понимает ли он сам, чем живет?

Народ — хочет свободы? В том смысле, что «когда он свободен, то может делать, что захочет».

А чего хочет, не знает. Лавина несет всех подряд. Вчерашние функционеры не знают, за что теперь бороться и как именно. Заводские рабочие, которые должны бы это знать, не получают указаний и не лезут в общую кучу. А куча отнюдь не мала:

вчерашние противники попадают в одну общую толпу, вчерашние единомышленники — в другую. Колонны сталкиваются и перемешиваются. Женщины бинтуют раненых, не вникая, то ли в этих раненых попали пули охранников, то ли камни демонстрантов, — любая из этих добровольных санитарок могла бы оказаться и в той, и в этой роли. И исполняла бы честно.

Наконец, в это честное столпотворение мягко вплетается танец молодых лебедей. И с ним — полные народолюбия декларации ГКЧП. Это — центральная точка «сезона», который должен кончиться криком Сова. Мелодия доходит до высшей ноты; кто же у нас теперь главный начальник?! Все еще Горбачев? Или уже Ельцин? И кто виноват в том, что с нами происходит? Кто затеял ту жуть, которую мы никак не расхлебаем? Хрущёв? А может, Сталин?

С этой точки мое расхождение с автором «Крика совы» обретает некоторую определенность. Вячеслав Щепоткин выдает на эту тему эпизод, который приковывает мое внимание. Эпизод 30-х годов:

«Июнь 1938 года. Хрущёв всего шесть месяцев работает первым секретарем Компартии Украины. Записка: «Дорогой Иосиф Виссарионович! Украина ежемесячно посылает 17—18 тысяч репрессированных, а Москва утверждает не более 2—3 тысяч. Прошу Вас принять срочные меры. Любящий Вас Н.Хрущев». Из Москвы телеграмма: «Уймись, дурак! И.Сталин».

В первый момент этот эпизод хочется повесить на Хрущёва, потому что двадцать лет спустя именно Хрущёв перевесил вину на Сталина. Так Сталин тут — куда более интересный вариант поведения! Драма деревни фатальна: придется ведь кормить армию в надвигающейся войне, не выпрашивая (и не выторговывая) хлеб у кулаков. Партейцы средне-высшего звена выслуживаются у генерального начальства, перевыполняя задания. А генсек их, дураков, — удерживает, заботясь об устойчивости системы. Известно, что в смертельной ситуации Сталин дойдет до такой жестокости, что тени опричников побледнеют, но в исходе-то он заботится о равновесной прочности системы. Его изначально так и звали: мастер кадровых балансов.

Но не о Сталине моя речь, а о Горбачёве. Он-то, оказавшись на пике советской пирамиды, именно ее старается спасти. Удержать в равновесии. Ничего у него не получается — система фатально ползет к финалу. Если пытается что-то изменить и попытка проваливается, — он в романе виноват. Если не пытается ничего изменить, — виноват, что не пытается. Хочет обвести кого-то вокруг пальца — дурак. Его обводят вокруг пальца — опять дурак. Спросить бы у автора романа: как совмещается вина за перемены ситуации с виной за отсутствие перемен? Это же все равно, что пить разом из двух горлышек... но тут нужен уже не Горбачёв.

У меня он вызывает сочувствие. В чудовищных ситуациях держался! Запросто могли пристрелить по ходу фарса «Чрезвычайное положение». Сохранял достоинство. Что пережил — жена знает: она-то жизнью заплатила за то унижение.

Горбачёва судьба вынесла живым. Он отступил — уступил власть. Ушел, оставив перечень неудач. В делах внутренних — когда пытался справиться с народным пьянством и табачным одурением. В делах международных — когда, поверив западным конкурентам, уступил им ряд позиций. Когда пытался даже лингвистически: спасти СССР, заменив в аббревиатуре «социалистические» на «суверенные». Понимал, что время идет страшное. Но не стервенел от неудач — при неудачах отступал с достоинством.

Я ему сочувствую. Я нахожу справедливым, что судьба выпустила Михаила Горбачёва из смертельных объятий — дала возможность уйти в законную отставку. Унизительные эпитеты в его адрес, пестрящие в «Крике совы», я цитировать не хочу.

Ельцин героям щепоткинскому романа ближе? Пожалуй. Ибо ведет он себя совсем не так, как его осторожный предшественник. Один театральный «выход из партии» чего стоит! Вот уж кто не осторожничает! В заграничном вояже на колесо

самолета в аэропорту мочится. И ресурс держит наготове: недаром же из двух бутылок разом пил, взяв в зубы горлышки. Ельцинский стиль!

Один эпизод пострашнее всех таких фокусов: расстрел парламента. Но и тут надо учесть: не собирался Ельцин уничтожать депутатов, а попугать — хотел. Чтобы удержать перехваченный у них порядок. И напугал, и удержал.

Теперь, вместе с «Совой» оборачиваясь на ельцинский «сезон», я сознаю, что при всех своих театральных фокусах он, Ельцин, в сущности, выжидал, стараясь по-настоящему ничего не «стронуть». И в «Беловежскую кодлу» влез, надеясь удержать то, что оставалось в Союзе после распада. И удерживал, а уже при начале нового века (и тысячелетия!) воззвал к смене всемирной геополитической ситуации. И поверив в такую смену, передал руль страны своему преемнику. Завершил отмеренный ему исторический срок.

«Жисть» продолжилась, по крику Совы она перевалила на новый срок, а герои исчерпанного «сезона» задумались, с чем же они остались? Или так: в ком остались?

Товарищ Сталин подсказал? Они и подхватили:

«Я дурак, что не разобрался сразу», — признает герой романа, а собеседник ему отвечает: «А какой я дурак, ты и представить не можешь».

В финале фраза «Купили нас, дураков» увенчивает тему.

Но не снимает проблемы! А решает ее, нравственную проблему, у Щепоткина эпилог. Герои романа, компенсируя свое уязвленное достоинство, принимаются за изготовление унитазов, украшенных портретами главных героев «сезона»... Нет, уж лучше я процитирую:

«...Унитазы шли нарасхват. В каждом блистало какое-то конкретное лицо. Сначала спросом пользовались изделия с портретом Горбачёва и «Беловежской троицы». Все в цветном изображении, похожие, словно живые. Горбачёв глядел прямо на посетителя туалета. Ельцина, Кравчука и Шушкевича художник изображал барельефно, как когда-то рисовали Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина... Потом интересы сдвинулись. После начала российского разрушения подскочил спрос на Ельцина, Гайдара, Чубайса, Черномырдина. При этом Горбачёв в сортирном рейтинге по-прежнему занимал почетное первое место».

Что тут скажешь? Сова молчит, чуя конец сезона?..

Скажу так: лучше уж стерпеть такую унитазную мерзость, чем отмывать свою или чужую кровь.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ДРУЖБА НАРОДОВ» ЗА 2016 ГОД

ПРОЗА	№	Стр.
АЗНАУРЯН О. Три церкви. <i>Главы из романа</i>	XII,	29
АЛЁХИН Е. Восхождение. <i>Повесть</i>	IV,	157
АНАР. Амулет от сглаза. <i>Повесть. С азербайджанского.</i> <i>Перевод Н.Расулзаде</i>	III,	98
АРБУЗОВА Н. Недоспасовские хроники. <i>Усадебный роман</i>	VII,	6
АРКАТОВА А. Я знаю пять имен девочек. <i>Рассказ</i>	IX,	181
АСИМ З. Книга дней. <i>Повесть</i>	VI,	48
АФЛАТУНИ С. Умаровна. <i>Рассказ</i>	VIII,	92
БАСЫРОВ М. Жэ-Зэ-эл. <i>Роман</i>	IX,	4
БОЧКОВ В. Коронация зверя. <i>Роман</i>	VII,	71
БРЕЙНИНГЕР О. В Советском Союзе не было аддерола. <i>Роман</i>	IV,	84
БЫЛИНСКИЙ В. Заколдованный. <i>Рассказы</i>	VII,	40
ВЕРЕЩАГИН Д. Заманиловка-2. <i>Рассказы Сергея Иванова</i>	IX,	161
ВОЛОС А. Рассказы	XII,	6
ГУЦКО Д. Турчин. <i>Повесть</i>	VIII,	6
ДМИТРЕНКО С. Старушки и старички. <i>Рассказ</i>	I,	144
ДОЛГОПЯТ Е. Земля и небо. <i>Рассказы</i>	IV,	65
ЕВСЮКОВ А. Рассказы	IX,	198
ЕСИПОВ В. Рассказы	VI,	87
ИВАНОВ А. Репетиция парада. <i>Рассказ</i>	VIII,	100
ИВАНОВ С. Армия Спасения Вселенной. <i>Рассказ</i>	VII,	64
КЛИМОВА Г. Майка, Марфа, Жорж. <i>Маленькая повесть о любви</i>	XII,	99
КОТЮСОВ А. Гнездовье бакланов, или У каждого своё Саргассово море. <i>Роман</i>	III,	6
ЛЕБЕДЕВА В. Без труб и барабанов. <i>Роман</i>	IV,	7
.....	V,	62
МЕСЯЦ В. История моего спиннинга. <i>Рассказы</i>	I,	122
МУРАД Т. Тарлан. <i>Повесть. С узбекского. Перевод Г.Власова</i> <i>и В.Муратханова. Вступительная заметка Ю.Подпоренко</i>	II,	8
НАГИМ Ф. Нам двадцать лет. <i>Две короткометражные повести</i>	VI,	113
НЕКЛЯЕВ В. Реинкарнация. <i>Рассказ. С белорусского.</i> <i>Перевод Г.Красоткиной</i>	II,	155
НИКИТИН А. Шкиль-моздиль. <i>Роман</i>	I,	8
ОДИШАРИЯ Г. Кот президента. <i>Повесть. С грузинского.</i> <i>Перевод Т.Гаидаровой</i>	VIII,	25
ОСИПОВ Ю. Краткий курс мальтийской жизни с красивой женщиной (или Большая Белая Акула Как Повод Для Гордости)	I,	91
ПОЛИЩУК Р. Два рассказа	V,	120
РАХМАТ Р. Адашбой. <i>Рассказ. С узбекского. Перевод С.Камиловой</i>	XII,	160
СЕКИСОВ А. Рассказы	III,	146
СЕЛЮКОВА Д. Бардо железной дороги. <i>Рассказ</i>	VI,	97
СЕРГЕЕВ Слава. Пожалуйста, замолчите. <i>Постскриптум к эпохе</i>	V,	8
СМОЛИН А. Рассказы	I,	157
СНЕГИРЁВ А. Божественный вензель. <i>Рассказ</i>	VI,	82
СТАХОВ Д. Свет ночи. <i>Роман</i>	IX,	82
ТИТОВ А. Период. <i>Повесть</i>	VI,	6
ТОПОРОВ А. Фарт. <i>Рассказ. Предисловие, публикация и примечания</i> <i>И. Топорова</i>	IX,	210

ФЕДЕНКО А. Рассказы	IX,	193
ХАНОВ Б. Рассказы	V,	38
ХУРГИН А. Три рассказа	VII,	57
ШЕВЧЕНКО Г. Шахтерская Глубокая. Повесть	II,	78
ШПАКОВ В. Рассказы	XII,	120

ПОЭЗИЯ

АРКАТОВА А. Когда умрёт падежная система. Стихи	V,	59
АСЕНЧИК А. Если не навсегда... Стихи	VIII,	97
БАСОВСКИЙ Н. Просто поэт. Стихи	V,	3
БЕГИМ Г. Жемчужный шёпот. Стихотворения в прозе. С узбекского. Перевод Е.Фельдман	VIII,	22
ВЕРЯСОВА Д. Внутри, где музыка плыла. Стихи	XII,	118
ГЕДЫМИН А. Ничего про запас. Стихи	VIII,	89
ГРИЦМАН А. Пока по времени летишь. Стихи	VII,	53
ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ		
КЛИМОВА Г. С оглядкой на атлантов. Стихи	VI,	42
Из современной армянской поэзии. Х. МАНУКЯН; С.АКОПЯН. Стихи. С армянского. Перевод Г.Климовой	VI,	45
ДЬЯЧКОВ А. На родину под старость зим. Стихи	II,	75
ЕРМАКОВ В. Нелюдимые русские веси. Стихи	IX,	190
ЗОРИН А. Глубже земных красот. Стихи	IX,	178
ЗУБАРЕВА В. Если ты в этот миг одинок. Стихи	IX,	158
ИАТАШВИЛИ Ш. Ален и Боб в Тбилиси. Стихотворение. С грузинского. Перевод и вступительное слово А.Эбаноидзе	XII,	27
КАБЫШ И. Всё хорошо. Стихи	I,	87
КЛИМОВ-ЮЖИН А. В середине земли. Стихи	IV,	61
Колыбельная для Рахель. Три взгляда на новейшую литовскую поэзию. И.БУТКУТЕ, Р.БРУНДЗАЙТЕ, Д.ПЯТРОШЮС. Перевод и вступительное слово Е.Фельдман	XII,	
КОРОВИН А. Жизнеутверждение. Стихи	VII,	37
КУДИМОВА М. На бульваре Вольтера. Стихи	IV,	3
ЛАПШИНА Е. Вне места и времени. Стихи	XII,	3
ЛИВИНСКИЙ С. Терпи, терпи, моя страница. Стихи	VI,	3
Литературные пионеры всегда готовы. Современная белорусская поэзия в переводах Г.Бартоша	III,	141
Международный литературный конкурс «5-й открытый Чемпионат Балтии по русской поэзии—2016». Д.АРТИС; И.РЕМИЗОВА. Стихи	XII,	
МИЛЛЕР Л. Во имя родства. Стихи	V,	35
Мир не привязан к людям. Я.РАЙНИС; АСПАЗИЯ. Стихи. С латышского. Перевод О.Петерсон	VI,	108
ОРЛОВ А. И мир блажен. Стихи	I,	119
ПОЛЯКОВА Н. Жизни целое число. Стихи	I,	141
ПУЧКОВ В. Небесная пропасть ума. Стихи	IV,	81
РАДАУСКАС Х. Простор без имени и жизни. Из стихов, опубликованных посмертно. С литовского. Перевод Н.Аграновского	VIII,	112
РУСАКОВ Г. И лёгок вес начавшегося века. Стихи	I,	3
САЛИМОН В. О горбых и хромых. Стихи	II,	3
СОЛОВЬЁВ С. Между жизнью и речью. Стихи	VII,	3
СОЛОНОВИЧ Е. И не вернулся шарик голубой. Стихи	II,	152
СТЕПАНОВ Е. Счастье какое. Стихи	VII,	69

СУЛЬЧИНСКАЯ О. Мы вместе едем в скором времени. Стихи	IV,	154
СУЧКОВА Н. Монохромная страна. Стихи	IX,	207
ТАЖИ А. На пути к горнилу. Стихи	VI,	80
Трибушный Д. О небесной отчизне. Стихи	III,	95
ФАЛИКОВ И. По касательной. Стихи	IX,	78
ХЛЕБНИКОВ О. Куда нас вывезет кривая? Стихи	VIII,	3
ЧИЛАДЗЕ Т. Время живой тишины. Стихи. С грузинского. Перевод Ю.Ряшенцева	III,	3
ШЕВЧЕНКО Г. Опыт зрения. Стихи	V,	116
ШКЛЯРЕВСКИЙ И. Стихотворение из новой книги	IX,	3

ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ «ДН»

ХЕЧОЯН Л. Рассказы. Подготовка текста и публикация В.Хечояна	VIII,	214
ХЕЧОЯН Л.: «Бог послал художника на Землю, чтобы он мог помолиться за людей». Разговор ведет Н.Игрунова	VIII,	220

ПРОЗА.DOC

ФАЛИКОВ И. Марина Цветаева. Твоя неласковая ласточка	VI,	153
ЧЕМБАРЦЕВА В. Армения. Письма с Ковчега. Главы из книги	VIII,	115

ЭХО ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

ГОЛЬДФАИН И. Путь на Москву не был открыт. (Из почты «ДН»)	V,	183
СУББОТИН В. Знамя Победы. Из дневников писателя	V,	141

ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЕКСЕЕВ А. Казахстан: между Европой и кочевьем. В поисках золотой середины	VIII,	188
БУРОВ А., ПРАШКЕВИЧ Г. О красоте. Два письма на одну тему	I,	228
БУРОВ А., ПРАШКЕВИЧ Г. О молчании. Три письма на одну тему	VI,	208
БЛЯХЕР Л. Трансграничье	VII,	175
ГОЛУБКОВ Н. На Западном фронте незадолго до перемен. Воспоминания о Русском экспедиционном корпусе. Подготовка текста и комментарии М.Голубковой и В.Грачева-мл.	V,	202
ДЕЛБА В. Сухумские антики. Чудаки, сорванцы и поэты недавнего прошлого. (Миры рядом с нами)	II,	199
ДЯТЛОВ В. «Черкизон», «Шанхай» и другие... Этнические рынки в современной России	II,	182
ЕРМАКОВ В. Стремление впредь. Эссе о прогрессе	XII,	203
ЗАГРИБЕЛЬНЫЙ А. Дон Кихот и чёрная дыра. (Лабораторные опыты)	IV,	173
ЖИЖИН В. «В заветном исчезающем молчанье...». История души и судьба страны в письмах детского врача. Вступительная заметка и публикация Д.Шеварова	IV,	189
КАГРАМАНОВ Ю. Обаяние Птолемея. (Лабораторные опыты)	III,	204
МЕДВЕДЕВ В. Шаман и свидетель. Разрозненные заметки	III,	213
НИКУЛИН А., НИКУЛИНА Е. Москва: из «большой деревни» — в «мегасело»	IX,	215
СТОЛЯРОВ А. Ярче тысяч солнц	I,	208

НАЦИЯ И МИР

БАХУРИНА С. Нервных тут не понимают. (Глазами наших соотечественников)	IX,	224
ДЖУМАЕВ А. Понять происходящее с культурой: взгляд из Ташкента	VIII,	144
ДУБРОВСКАЯ Д. From China with Love. (Глазами наших соотечественников)	II,	163
КУТТЫКАДАМ С. Хаос в умах и ответственность за культуру	VI,	194
ЛИСАЧЕНКО А. Немного Кубы минувшей весной. <i>Путевые заметки</i>	IV,	202
МАЛАШЕНКО А. Цивилизации не конфликтуют — они притираются	III,	179
ПИРОЖКОВА Т. Десять «личных правд» о Каталонии. (Глазами наших соотечественников)	VII,	197
Последнее воскресенье августа. <i>История одного события, начавшегося в интернете и продолжившегося на улицах литовского города.</i> <i>Публикацию подготовил Л.Бахнов</i>	XII,	192
РУСАКОВ А. Ответственность культуры и культурное многообразие	I,	170
ЦИРУЛЬНИКОВ А. Страна разных возможностей. <i>Другие входы в культуру.</i> (Страна Россия)	V,	187

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

БЕРШИН Е. На развалинах Вавилона	VIII,	153
КИМ А. В поисках малой родины	VIII,	162
МУРАТХАНОВ В. Город дырявых теней	VIII,	177
ЭБАНОИДЗЕ А. Дом на горе	VIII,	181

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Осторожно: будущее наступает! <i>Жанр предупреждения в литературе и кино</i>		
РЫБАКОВ В. Мечты об улице Вязов	VII,	166
АРБИТМАН Р. Не только Третья мировая. <i>Судя по фильмам- предупреждениям, к Апокалипсису ведут десятки дорог</i>	VII,	171
ЩЕРБАКОВ К. Голоса друзей. <i>О лучших лентах кинематографистов Содружества в 2015 году</i>	VIII,	201

КРИТИКА

АБДУЛЛАЕВ Е. Испытательный стенд. <i>Семь поэтических сборников 2015 года</i>	III,	222
АНАР. «Не могу надыхаться жизнью...». <i>Разговор ведет Л.Лаврова</i>	VIII,	206
БАЛЛА О. Pax Sovietica: большое послесловие — или?.. «Национальные» номера «толстых» журналов	II,	221
БЕРШИН Е. Неевклидово пространство. <i>Заметки на полях (Презентация)</i>	IX,	234
КОЛМАГОРОВА Т. Выдох на усилии. «Умр, или Новая книга обращений» <i>Санджара Янышева; ЯНЫШЕВ С. «Подбросьте мысль — продлите жизнь».</i> <i>Стихи</i>	XII,	212
Комбинация форм и смыслов в мире хаоса и невращения. <i>Литературные итоги 2015 года</i>	I,	240
.....	II,	212
КУРБАТОВ В. Кроме неба... <i>Заметки о новых книгах чужих лауреатов</i>	III,	234
ЛАВРОВА Л. Есть ли ответы в пространстве будущего? (Литература и жизнь)	III,	240

НЕРЛЕР П. Этюды о Владельце Шарманки. <i>Александр Цыбулевский</i> и художественный перевод.....	V,	235
ПОГОРЕЛЬСКАЯ Е. «Акт об уничтожении архива Бабеля нет...». <i>Разговор ведет Е.Константинова</i>	VII,	214
ТУРКОВ А. «В списке славы золотой». <i>Разговор ведет Н.Игрунова</i>	VI,	216

ПЕРВЫЕ СТИХИ

КЕНЖЕЕВ Б. «Время было такое...». <i>Разговор ведет С.Надеев</i>	XII,	186
--	------	-----

ПОДРОБНОЕ ЧТЕНИЕ

АНАСТАСЬЕВ Н. <i>Burnt-out case</i> (Б.Панкин. «Четыре Я Константина Симонова: Роман-биография»)	VII,	225
КОРКИЯ В. Неисчезающее время. (И.Шкляревский. «Золотая блесна». <i>Книга радостей и утешений</i>)	VI,	233

ЖИЗНЬ В СЛОВЕ

ШКЛЯРЕВСКИЙ И. Как учитель сочинял стихи	IV,	233
--	-----	-----

БИБЛИОНАВТИКА

<i>Рубрику ведет Ольга БАЛЛА</i>		
Искусство быть (с) другими	III,	245
А четвертому не бывать	V,	228
Человек усилия	VIII,	237
Вслушиваясь во время	XII,	219

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

<i>Рубрику ведет Евгений АБДУЛЛАЕВ</i>		
Требуется «негр»	IV,	235
Классики и(ли) современники	VI,	229
Война и мир	VII,	235
О рейтингах и «борьбе за потребителя»	IX,	245

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

БАЛЛА О. Опыт прозрачности. [На кн. И.Цыгальской «Ритмы» (2014) и «Рижский альманах (2015)»]	VI,	244
БАЛЛА О. Ничего нельзя исключить. [На кн. И.Харичева «Своя вселенная» (2015)]	VII,	249
БАЛЛА О. Теперь навсегда. [На Антологию «Уйти. Остаться. Жить» (2016)]	XII,	241
БРЕЙДО Е. Поэтика ускользающей ясности. [На кн. Г.Кацова «Три Ц и верлибрий» (2015)]	VII,	252
БУШУЕВА М. Счастливое совпадение. [На кн. Р.Полищук «Житейские истории» (2015)]	IV,	245
ВАСИЛЬКОВА И. «Грозового облака внутри». [На кн. И.Евсы «Юго-Восток» (2015)]	VII,	243
ДЪЯКОВЕЦКИЙ В. Не стоит земля без праведника... [На кн. И.Габая «Письма из заключения (1970—1972)» (2015)]	IV,	249

ЕЛАГИНА Е. Подвиг — Бессмертие — Жертва — Забвение. [На кн. А.Мелихова «И нет им воздаяния» (2015)]	VI,	238
КОТЮСОВ А. Тринадцать писем читателям. [На кн. М.Степновой «Где-то под Гроссето» (2016)]	IV,	238
ЛАВРОВА Л. На пограничье судеб и времен. [На кн. К.Ковальджи «Сердце и пуля» (2016)]	XII,	239
МОВЧАН Е. «Эхо погасших дней». [На кн. «Дыхание времени». Антология белорусской поэзии (2016)]	XII,	244
МУРАТХАНОВ В. Возвращение русского Киплинга. [На кн. Э.Шафранской «Туркестанский текст в русской культуре: колониальная проза Николая Каразина» (2016)]	XII,	247
ПАХОМОВА-СКРИПАЛЁВА О. «И понимаешь простую красоту за гранью боли...». [На кн. Е.Блажеевского «Письмо» (2015)]	VII,	245
РАТНИКОВА Е. Поэзия паломничества. [На кн. А.Орлова «Время вербы» (2015)]	IV,	247
ШИШКОВА-ШИПУНОВА С. Фейсбучный дом Сергея Чуприна. [На кн. С.Чуприна «Фейсбучный роман» (2015)]	VI,	242
ШПАКОВ В. Пёстрая книга. [На кн. С.Василенко «Дневные и утренние размышления о любви» (2016)]	VI,	236
ЧКОНΙΑ Д. Стихотворенье без слов. [На кн. В.Леонovichа «Деревянная грамота» (2014) и «Записки из России» — Специальный выпуск лите- ратурного журнала, посвященный В.Леонovichу (2015)]	IV,	241

ДРУЖБА НА ВЫРОСТ

А если кто не спрятался... Стихи и сказки грузинских писателей в переводе М.Яснова	III,	168
БАЛЛА О. В первый и единственный раз	IX,	249
«Перелистываю журнал, всё нравится...» (Из почты «ДН»)	IV,	251
ДАШЕВСКАЯ Н. Канатоходец. Рассказ	XII,	165
ПРОБА ПЕРА		
ГЕЛОВАНИ Н. Два рассказа. С грузинского. Перевод А.Эбаноидзе	XII,	
НЕМЫКИНА Д. Как Пушкин-лицеист с совенком подружился. Рассказ	XII,	
ЕГОРОВ Н. Два рассказа	XII,	
СЕРЕБРЯНСКИЙ Ю. Казахстанские сказки	VIII,	242
ПРЕЗЕНТАЦИЯ		
Скажи мне «Здравствуй!».	I,	235
ОЛЕЙНИКОВ А. «Мигранты — это не обуза, это на самом деле подарок»	I,	238
ЧКОНΙΑ Д. Что такое суп с котом	VII,	239

СПЕЦНОМЕР «ЖИЗНЬ МОЯ, КИНЕМАТОГРАФ...»

Проза и поэзия

Мария ВАТУТИНА. Про кино. Стихи	X,	3
Анна КОЗЛОВА. F20. Кинороман	X,	7
Юрий РЯШЕНЦЕВ. Пятый павильон. Фрагменты из поэмы	X,	89
Елена ШЕРЕНЦ. Молли, Мика и другие. Тбилисские этюды	X,	92
Вадим МЕСЯЦ. Шумный Шуберт. Стихи	X,	133

Кино. doc

Читай, читай. Авторский проект Евгения КОРЯКОВСКОГО. Четыре сюжета от Захара ПРИЛЕПИНА, Андрея ГЕЛАСИМОВА, Михаила ДУРНЕНКОВА, Ольги СТОЛПОВСКОЙ X, 137

Библионавтика

Ольга БАЛЛА. Живи, живи X, 169

Круглый стол

Идём в кино? В обсуждении принимают участие:

Родион БЕЛЕЦКИЙ, Марина ВИШНЕВЕЦКАЯ, Алиса ГАНИЕВА, Дмитрий ГЛУХОВСКИЙ, Михаил ДУРНЕНКОВ, Анна КОЗЛОВА, Ольга ПОГОДИНА-КУЗМИНА, Алексей СЛАПОВСКИЙ, Леонид ЮЗЕФОВИЧ .. X, 174

Семейный киносеанс

Александр ТИМОФЕЕВСКИЙ. Изюм из булки X, 195

Киномания

Ваграм МАРТИРОСЯН. Телероманы — реальность, буксующая на месте X, 207

Дмитрий САМОЙЛОВ. В предыдущих сериях... И в последующих X, 211

Игорь ЭБАНОИДЗЕ. «Твин Пикс»: кинороман с голубым цветком X, 215

Тонкости ремесла

ИНДУСТРИЯ КИНО И НЕ ТОЛЬКО... *Разговор ведёт Александр Снегирёв*

Марина РАЗБЕЖКИНА. «Жизнь вдохновляет больше, чем кино» X, 220

Ситора АЛИЕВА. «В кино деньги решают не всё» X, 222

Стас ТЫРКИН. «Следить стоит за многими, но очаровываться не стоит никем» X, 226

Дружба на вырост

Сергей ПЕРЕЛЯЕВ. Полковники и песни до упаду. *Три истории про папу*..... X, 229

Книжный развал

СЛУЧАЙНАЯ ВЫБОРКА. Книжки людей, создающих кино.

Составитель — Наталья Игрунова X, 235

Эхо

Цена непротivления. *Размышления после фильма Галины Евтушенко.*

Рубрику ведёт Лев АННИНСКИЙ X, 254

СПЕЦНОМЕР «ДРУЖБА НА ВЫРОСТ»

«Только детские книги читать...». *Заочный «круглый стол»* XI, 3

Проза и поэзия

Фёдор СВАРОВСКИЙ. Кони-в-космосе. *Стихи* XI, 2

Геннадий КАЛАШНИКОВ. «Каво люблю...». *Рассказы* XI, 35

Сергей ВАСИЛЬЕВ. А радость — она кругом. *Стихи* XI, 49

Валерий АЙРАПЕТЯН. Убийцы. *Рассказ* XI, 2

Елена УСАЧЁВА. В «беговой». *По мотивам рассказа*

И.С.Тургенева «Бежин луг» XI, 58

Борис БЕЛКИН. *Рассказы* XI, 66

Рафаэль МОВСЕСЯН. Когда взрослеем. *Стихи* XI, 73

Евгения ДОБРОВА. В Осинках. *Рассказ* XI, 75

Максим КАЛИНИН. Словознатец. *Стихи* XI, 81

Альвидас ШЛЯПИКАС. Виолончель. *Рассказ. С литовского.*

Перевод Тамары Перуновой и Георгия Ефремова XI, 84

Проба пера	
Мариям КАБАШИЛОВА; Евгения УЛЬЯНКИНА; Алексей ШМЕЛЁВ	XI, 94
Семейное чтение	
Андрей ЖВАЛЕВСКИЙ, Евгения ПАСТЕРНАК. образ чацкого скачать бесплатно. <i>Пьеса</i>	XI, 98
Евгений КЛЮЕВ. Поймать датчанина. <i>Рассказ</i>	XI, 125
Александр БЛИНОВ. Обычное дело. <i>Девять историй про счастье</i>	XI, 31
Мемуары	
Лев АННИНСКИЙ. Имя, племя, время. <i>Из книги воспоминаний</i>	XI, 151
Школа	
Дмитрий РУБАШКИН. Вторая задача образования. <i>Главы из будущей книги</i>	XI, 186
Экспертное мнение	
Евгений БУНИМОВИЧ. Поколение X, Y, Z. <i>Записки на полях школьных тетрадей</i>	XI, 216
Глазами взрослых	
Анатолий ЦИРУЛЬНИКОВ. Тихий подземный переход. <i>Детские рассказы</i>	XI, 222
Людмила ЛАВРОВА. Детки. <i>Письма взрослым</i>	XI, 236
Литературный барометр	
Евгений АБДУЛЛАЕВ. «На повороте заплакал трамвай...»	XI, 245
Библионавтика	
Ольга БАЛЛА. Крупные вещи жизни	XI, 248
Культурная хроника	
Юрий ПОДПОРЕНКО. Мир детей на полотнах художников	XI, 252

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

АКИЛОВА К. Национальные и общечеловеческие ценности в современном изобразительном искусстве Узбекистана	II, 249
АЛИЕВ З. Изобразительное искусство Азербайджана на современном этапе	III, 250
ПОДПОРЕНКО Ю. Художественная летопись недавней истории	VIII, 252
ПОДПОРЕНКО Ю. Созвездие талантов из Апшерона	XII, 250
РЕЗНИКОВА Е., ПОДПОРЕНКО Ю. Зыбкая связь времен. <i>Трансформация архетипов в изобразительном искусстве Казахстана</i>	VI, 249

ЭХО

Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ

Счастье нечаянно жить... ..	I, 253
Остановиться... Обернуться... <i>Читая исповедь С.Куттыкадама</i>	II, 252
Счастлиное страдание любви	III, 252
Джохар Дудаев: трагедия в трех актах	IV, 252
Русакову — салют. <i>Вольные раздумья при чтении стихов</i>	V, 253
Романтический хоррор. <i>Из наблюдений над современной прозой</i>	VI, 252
Вспоминая Баруздина... ..	VII, 255
Московский горизонт	VIII, 254
Решетка маски, узость дорожки. <i>Читая Татьяну Любецкую</i>	IX, 254
Сова прокричала	XII,

Summary

Ovanes AZNAURYAN. Three Churches

Telling the story of a wide Armenian family springing from the native Artzvaberd peasant Unan, the author of the novel depicts the lives of his ancestors and through them — the events which were taking place in Armenia during many decades.

The Last Sunday of This August

It happens very rarely that the only post in the social nets rouses such a noise and makes great many people from all over the world to come to a small town of the far not the biggest country and hold not at all festive meeting. It was a sort of repentance and homage to the memory. The story of an unusual event that began in the Internet and continued in the streets of a small Lithuanian town.

Alexander MELIKHOV. Look for the Project

The well-known author in his article subtitled «The Union of Independent States — New Facets of Cooperation» is discussing «the national question» in the light of the present and comes to the conclusion that CIS needs its own aristocracy worried with the future of the overstate unity and at the same time preserving its own national identity. Its task is the work at some great common science or engineering project of historical scale — something like the space or atomic projects.

Poetry

The through theme of reminiscences colours the poetry section of this issue. The intonation differs from plaintive melancholy in the poems by Elena LAPSHINA, Darja VERJASOVA, Ramune BRUNDZAITE (translated by Elena FELDMAN) to ironical — in Shota IOTASHVILY's «Allen Ginsberg Is Staying in the Hotel «Iverija» Incognito» (translated by Alexander EBANOIDZE): Bob Dylan is staying in «Iverija» hotel incognito; Bob Dylan and Allen Ginsberg are sightseeing Tbilisi by night incognito; Allen smokes «Astra» only, Bob takes care of his throat and prefers «Cosmos»... Yes, it's that very Bob Dylan, the Nobel prize winner 2016!

Under the heading «With Room for Growth» we present the first literary experiments of our junior authors: Nicko GELOVANI, Diana NEMIKINA and Nikita EGOROV.

In the last years nearly all members of our editorial staff issued their own books, so we considered it as a good occasion to let the readers know who is making the magazine for them. The well-known critic, member of our editorial board Olga BALLA helped us in this «self-presentation».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

druzbanarodov.com

на его странице в Живом журнале

<http://druzba-narodov.livejournal.com/>

и в Журнальном зале

<http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/>

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на

<https://itunes.apple.com/ru/app/druzba-narodov/id893172883?mt=8>

Верстка Елены ЖИРНОВОЙ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»